

Д. Г. ЛЬЮИСЪ.

# ЖИЗНЬ І. ВОЛЬФГАНГА ГЕТЕ.

Сердце Гете знали немногіе, но оно было  
столь же велико, какъ и его умъ, который  
знали всѣ.

Юнгъ Штйлянгъ.

---

Переведено со втораго англійскаго изданія

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ

А. Н. НЕВЪДОМСКАГО.

(ЧАСТЬ II).

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1867.

**ВЪ ТИПОГРАФИИ Н. ТЫБЛЕНА И КОМП. Н. (НЕКЛЮДОВА).**

**Вас. Остр., 8 л., № 25.**

Содержатель типографии Николай Андреевич Неклюдовъ жительство  
имѣетъ по Фонтанкѣ между Семшовскими и Обуховскими мостами, д. № 87-й.

## СОДЕРЖАНІЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ

### КНИГА ПЯТАЯ.

1779 — 1793.

#### ГЛАВА I.

##### Возрожденіе.

	Стр.
Переходъ отъ юности къ зрѣлому возрасту.—Иогенія въ про- зѣ.—Прозоманія . . . . .	3

#### ГЛАВА II.

##### Иогенія.

Ошибочность мнѣнія, будто Иогенія есть образчикъ грече- ской драмы. — Глубокое различіе между Гете и Эврипидомъ.— Иогенія есть не греческое, а чисто нѣмецкое произведеніе, и не есть драма, а драматическая поэма.—Сравненіе Гетевской Иоген- нии съ Иогеніей Эврипида . . . . .	7
---	---

#### ГЛАВА III.

##### Прогрессъ.

Служебная дѣятельность Гете.—Онъ сдѣланъ тайнымъ совѣт- никомъ.—Его путешествіе съ Карломъ-Августомъ въ Страсбургъ	
---	--

и Франкфуртъ.—Свиданіе съ Фредерикой.—Свиданіе съ Лили.—  
Путешествіе въ Швейцарію.—Первое свиданіе Шиллера съ Гете.—  
Возвращеніе въ Веймаръ.—Измѣненіе въ образъ жизни Гете.—  
Страстные занятія наукой.—Постепенное уясненіе цѣлей жизни.—  
Гете сдѣланъ дворяниномъ.—Его отношенія къ г-жѣ фонъ-  
Штейнъ.—Его случайные раздоры съ Карломъ-Августомъ.—Гете  
сознаетъ, что его истинное назначеніе быть писателемъ . . .

#### ГЛАВА IV.

##### Сборы въ Италію.

Рожденіе наслѣднаго принца.—Поэма «Ильменау». — Увеличе-  
ніе служебныхъ обязанностей.—Путешествіе въ Гарцъ съ Фри-  
цомъ фонъ-Штейнъ.—Рѣчь по случаю возобновленія работъ въ  
рудникахъ Ильменау.—Открытіе межчелюстной кости.—Біографи-  
ческое значеніе этого открытія.—Занятіе естественной исторіей.—  
Перемѣны въ Веймарскомъ обществѣ.—Увеличеніе жалованья.—  
Великодушіе.—Различіе въ мнѣніяхъ между Гете и Якоби.—От-  
вращеніе Гете къ лицемѣрію Лафатера.—Стремленіе въ Италію.—  
Тайный отъѣздъ . . .

#### ГЛАВА V.

##### Италія.

Гете въ Италиі подѣ вымыпленнымъ именемъ.—*Italiänische Reise*.—Его наслажденія въ настоящемъ, а не въ прошедшемъ.—  
Пребываніе въ Венеціи и Римѣ.—Страсть къ искусству.—Стрем-  
леніе открыть тайну растительныхъ формъ.—Веймаръ ропщетъ.—  
Потѣзка въ Неаполь.—Сэръ Вильямъ и лэди Гамильтонъ.—Везу-  
вій, Пестумъ, Помпея, Геркуланумъ, Капуа.—Палермо.—Посѣ-  
щеніе родителей Калиостро.—Литературныя занятія.—Вліяніе  
путешествія въ Италію.—Результатъ изученія искусствъ.—Лю-  
бовь къ молодой Миланкѣ.—Возвращеніе въ Веймаръ. . .

#### ГЛАВА VI.

##### Эгмонтъ и Тассъ.

Эгмонтъ пользуется общей любовью, но не есть образцовое



- художественное произведение.—Эгмонтъ есть разговорный романъ, а не драма.—Разборъ Эгмонта.—Тассъ . . . . . 58

## ГЛАВА VII.

### Возвращеніе домой.

Возвращеніе изъ Италіи въ Веймаръ.—Письмо къ Карлу-Августу.—Освобожденіе отъ тяжелыхъ служебныхъ обязанностей.—Охлажденіе къ г-жѣ фонъ-Штейнъ.—Разсказъ Шиллера о первомъ свиданіи съ Гете.—Ихъ раздѣляетъ цѣлая бездна.—Различіе въ ихъ судьбѣ. . . . . 68

## ГЛАВА VIII.

### Христина Вульпіусъ.

Ея первая встрѣча съ Гете.—Ея положеніе, воспитаніе и характеръ.—Ея связь съ Гете.—*Римскія элегіи*.—На сколько дозвоительно поэту пренебрегать условными приличіями своего времени.—Любовь къ Христинѣ.—Негодованіе Веймарскаго общества.—Разрывъ съ г-жею фонъ-Штейнъ.—Письмо къ г-жѣ фонъ-Штейнъ.—Письмо г-жи фонъ-Штейнъ о болѣзни Гете . . . . . 76

## ГЛАВА IX.

### Гете, какъ ученый.

Многостороннія занятія.—Авторитетъ Гете признанъ въ искусствѣ и отвергнутъ въ наукѣ.—Истинное значеніе авторитета.—*Метаморфоза растений*.—Холодный приѣмъ этого сочиненія.—Оно опередило свой вѣкъ.—Въ наше время оно цѣнится по достоинству.—Высокое значеніе ботаническихъ и анатомическихъ изслѣдованій Гете.—Неудачныя его занятія оптикой.—Ошибочное пониманіе теоріи Ньютона.—*Beiträge zur Optik*.—Упорство и раздражительность Гете.—«Ученіе о цвѣтѣхъ».—Какъ объяснялъ Гете преломленіе лучей.—Источникъ его заблужденій.—Ошибочность метода.—Усилія замѣнить опытъ и математику наблюденіемъ и разсужденіемъ.—Наклонность Гете останавливаться на конкретныхъ явленіяхъ и нерасположеніе къ абстракціямъ.—Его успѣхи въ органическихъ наукахъ.—Онъ былъ мыслитель, но не метафизикъ.—Открытіе межчелюстной кости.—Примѣненіе срав-

нительнаго метода.—Морфологія.—Позвоночная теорія.—Метамор-  
фоза растений.—Типическое рѣшеніе.—Линней и Вольфъ.—Гипо-  
теза Гете объ усовершенствованіи растительнаго сока. — Законъ  
роста и законъ воспроизведенія.—Усілія Гёте создать сравнитель-  
ную анатомію. — Положительный методъ.—Принципъ развитія.—  
Законъ раздѣленія труда въ животномъ организмѣ.—«Введеніе въ  
сравнительную анатомію».—Позвоночная теорія черепа. — Права  
Гете на открытіе этой теоріи . . . . . 89

## Французская Кампанія.

Второе путешествие Гете въ Италію. — Венеціанскія эпиграмы — Возвращеніе въ Веймаръ. — Приемныя вечера у герцогини Амалии. — *Der Gross Kophia*. — Французская кампанія. — Гете сопровождаетъ армію союзниковъ. — Его равнодушіе къ политикѣ, нерасположеніе къ принципамъ революціи, несочувствіе къ роялистамъ. — Его дневникъ во время французской кампаніи. — Возвращеніе въ Веймаръ. — Домъ въ Frauenplan. — Кабинетъ, бібліотека, спальня. — Дружба съ Мейеромъ. — *Bürgergeneral*. — *Aufgeregeten*. — *Reinecke Fuchs*. . . . . 139

## КНИГА ШЕСТАЯ.

**1794—1805.**

## ГЛАВА I.

## Гете и Шиллеръ.

Дружба между Гете и Шиллеромъ.—Глубокое между ними несходство.—Ихъ наружность.—Въ чемъ они сходились.—Ихъ преданность искусству.—Сходство въ ихъ развитіи.—Гете возвращается къ поэзій подѣ влияніемъ Шиллера.—Какъ относился Гете къ своимъ соперникамъ.—Молчаніе Шекспира о своихъ соперникахъ.—Равнодушіе Веймара къ успѣхамъ революціи.—Тогдашнее состояніе нѣмецкой литературы.—*Die Horen*.—Дружба меж-

	Стр.
ду Гете и Шиллеромъ быстро возрастаетъ.—Благодѣтельное влія- ніе Шиллера на Гете.—Научныя занятія и поэтическіе планы Гете.— <i>Die Horen</i> не имѣютъ успѣха.— <i>Xenien</i> .—Произведенное ими впечатлѣніе . . . . .	159

## ГЛАВА II.

### Вильгельмъ Мейстеръ.

Какъ изучали верблюда англичанинъ, французъ и нѣмецъ.—Нѣ- мецкая философская критика.—Первоначальный планъ Вильгельма Мейстера.—Измѣненіе этого плана.—Замѣчаніе Шиллера.—Двой- ственная цѣль этого романа.—Сценическое искусство и воспита- ніе.—Характеры романа.—Артистическій атеизмъ.—Мнимая без- нравственность Вильгельма Мейстера.—Его глубокая и здравая мораль.—«Признанія прекрасной души».—Мнѣніе Шиллера о Виль- гельмѣ Мейстерѣ . . . . .	174
--	-----

## ГЛАВА III.

### Романтическая школа.

Взаимное вліяніе Гете и Шиллера.—Дурное вліяніе философи на нѣмецкую литературу.—Характеръ нѣмецкой романтической школы.—Шлегель, Фихте, Шеллингъ, Шлейермахеръ, Сольеръ.— Шекспиръ въ переводѣ Тика и Шлегеля.—Любовь романтиковъ къ легендамъ и героямъ католицизма.—Общій энтузіазмъ къ мис- тицизму.—Искусство, какъ орудіе религіи.—Теоретическія изслѣ- дованія Гете и Шиллера.—Литературные труды Гете.—Онъ пе- редаетъ Шиллеру свой планъ <i>Вильгельма Телла</i> .—Вальтеръ- Скоттъ . . . . .	187
--	-----

## ГЛАВА IV.

### Германъ и Доротея.

Старинный разсказъ, послужившій темою для поэмы «Германъ и Доротея».—Характеръ этой поэмы.—Вѣрное изображеніе мѣст- ной жизни.—Объективность изображеній.—Сюжетъ поэмы.—Ея языкъ.—Тонкости нѣмецкой эстетической критики. . . . .	194
--	-----

## ГЛАВА V.

## Гете, какъ директоръ театра.

Стр.

Придворный характеръ Веймарской сцены. — Драматическому искусству необходимо народное сотрудничество. — Главное заблужденіе Гете и Шиллера состояло въ томъ, что они имѣли въ виду только немногихъ избранныхъ. — Сцена должна вмѣстѣ и забавлять и поучать. — Опыты Гете на Веймарской сценѣ не удались вслѣдствіе его презрѣнія къ мнѣнію публики. — Іенскіе студенты. — Деспотическое обращеніе съ публикой и съ актерами. — Уваженіе актеровъ къ Гете. — Трудность управленія театромъ. — Представленіе Валентейна. — Критическія замѣчанія Девриена о Веймарской школѣ. — Произношеніе. — Искусство предпочитается природѣ. — Возстановленіе французской трагедіи. — Тщета усилій создать нѣмецкую драму. — Гете не-драматургъ. — Его передѣлка *Ромео и Юліи*. — У Гете, по смерти Шиллера, ослабѣваетъ интересъ къ театру. — Собака Обри. — Карлъ-Августъ отрѣшаетъ Гете отъ управленія театромъ . . . . . 208

## ГЛАВА VI.

## Послѣдніе годы Шиллера.

Образъ жизни Гете. — Приѣмъ посѣтителей. — Бюргеръ и Гейне. — Гете и Шиллеръ по описанію Жанъ-Поль-Рихтера. — Поклонники Гете и Шиллера. — Тщетныя усилія Коцебу разстроить дружбу Гете и Шиллера. — Гердеръ ревнуетъ Гете къ Шиллеру. — *Natürliche Tochter*. — Приѣздъ въ Веймаръ г-жи Сталь. — Болѣзнь Гете и Шиллера. — Смерть Шиллера . . . . . 227

## ГЛАВА VII.

## Фаустъ.

Какъ писался Фаустъ. — Проблема нашей интеллектуальной жизни и изображеніе нашей общественной жизни. — Сходство между Фаустомъ и Гамлетомъ. — Двойственная причина популярности Гамлета: интеллектуальное величіе и драматическое разнообразіе. —

Популярность Фауста. — Разборъ первой части Фауста. — Театральный прологъ. — Прологъ на небѣ. — Необходимость обоихъ прологовъ. — Первая сцена Фауста. — Сцена у городскихъ воротъ. — Кабинетъ Фауста. — Погребъ Ауэрбаха. — Кухня вѣдьмъ. — Встрѣча съ Маргаритой. — Лѣсъ и пещера. — Вальпургіева ночь. — Почему при первомъ чтеніи Фауста приходишь въ разочарованіе, но потомъ чѣмъ больше его читаешь, тѣмъ болѣе проникаешься къ нему восторгомъ. — Невозможность воспроизвести въ переводѣ поэтическое произведеніе. — <i>Faustus</i> Марлоу и <i>El magico prodigioso</i> Кальдерона. — Фаустъ Мюллера. — Сравненіе критическихъ замѣчаній Кольриджа и замѣчаній самого Гете. — Въ Фаустѣ только поставлена проблема, но не рѣшена . . . . .	240
--	-----

## ГЛАВА VIII.

### Лирическія поэмы.

Многосторонность Гете вредитъ его славу. — Совершенство его поэзіи и недостатки его прозы. — Прелесть его лирическихъ произведеній. — Безыскусственность языка. — Простота, непосредственность изображенія. — Коринеская невѣста. — Богъ и баддерка. — Лѣсной царь . . . . .	277
--	-----

## КНИГА СЕДЬМАЯ.

1805—1832.

## ГЛАВА I.

### Битва при Іенѣ.

Вліяніе на Гете смерти Шиллера. — Свиданіе съ Якоби. — Знакомство съ Галлемъ. — Мнѣніе Гете о френологіи. — Битва при Іенѣ. — Разграбленіе Веймара. — Французскіе солдаты въ домѣ Гете. — Мужество герцогини Луизы. — Гнѣвъ Наполеона на Карла Августа. — Характеристическая вспышка Гете. . . . .	283
--	-----

## ГЛАВА II.

## Жена Гете.

Жена Гете. . . . .	Стр. 290
--------------------	-------------

## ГЛАВА III.

## Беттина и Наполеонъ.

Въ Веймарѣ возстановляется спокойствіе.—Свиданіе съ Бэттиной.—Ея характеръ.—Ея отношенія къ Гете.— <i>Переписка Гете съ ребенкомъ</i> есть романъ.—Наполеонъ въ Эрфуртѣ.—Разговоръ Наполеона съ Гете.—Вниманіе Наполеона польстило Гете.—Бетговень.—Мнимое низкопоклонничество Гете ; . . . . .	224
---	-----

## ГЛАВА IV.

## Сродство душъ.

Любовь Гете къ Миннѣ Герцлибъ.—Сродство душъ ( <i>Wahlverwandschaften</i> ).—Содержаніе и характеръ этого романа.—Общія критическія замѣчанія.—Минна Герцлибъ выходитъ за мужъ.—Смерть матери Гете. . . . .	306
---	-----

## ГЛАВА V.

## Политика и Религія.

Знакомство Гете съ Бетгеномъ.—Смерть Виланда.—Борьба Германіи противъ Наполеона.—Равнодушіе Гете къ политикѣ, и его преданность искусству.—Гете обвиняють, будто онъ смотрѣлъ на жизнь только какъ художникъ.—Обвиненіе въ атеизмъ.—Перемены въ его религіозныхъ мнѣніяхъ.—Его нерасположеніе къ догматизму.—Теософія и этика.—Религіозныя мнѣнія Гете.—Его система нравственности.—Гете старикъ.—Изученіе Востока.— <i>Westöstliche Divan</i> .—Посѣщеніе Франкфурта . . . . .	314
---	-----

## ГЛАВА VI.

## Дѣятельность старика.

<i>Kunst und Alterthum</i> .—У Гете возрастаетъ наклонность къ	
--	--

мистицизму.—Свиданіе съ Вертеревой Шарлотой.—Смерть Хри-  
стины.—Женитьба его сына на Оттиліи Потгвичъ.—Анекдотъ объ  
увеличеніи помѣщенія Іенской библіотеки.—Столкновеніе Гете съ  
Веймарскимъ ландтагомъ.—Обвиненіе въ кражѣ слитка золота.—  
Литературныя занятія.—*Wilhelm Meister's Wanderjahre*.—Харак-  
теръ этого произведенія.—Какъ оно писалось.—Впечатлѣніе, про-  
изведенное имъ въ Германіи.—Слава Гете распространяется въ  
Италіи, Англіи и Франціи.—Необыкновенная бодрость Гете въ  
преклонной старости.—Любовь къ дѣвицѣ фонъ-Левецовъ.—Празд-  
нованіе въ Веймарѣ юбилея Гете.—Охраненіе права собствен-  
ности Гете на его произведенія.—Смерть Карла-Августа.—Ея влія-  
ніе на Гете . . . . . 334

## ГЛАВА VII.

### Вторая часть Фауста.

Затруднительность высказать мнѣніе.—Сравненіе впечатлѣній,  
производимого первою и второю частію Фауста.—Характеръ вто-  
рой части.—Значеніе символизма въ искусствѣ.—Вторая часть  
Фауста есть произведеніе неудачное.—Ея разборъ.—Критическія  
замѣчанія . . . . . 350

## ГЛАВА VIII.

### Заключительныя сцены.

Гете на восемьдесятъ-первомъ году жизни.—Іюльская рево-  
люція, и споръ между Кювье и С.-Илеромъ.—Смерть единствен-  
наго сына Гете.—Англичане свидѣтельствуютъ Гете свое уваже-  
ніе.—Пребываніе Тэкерея въ Веймарѣ и свиданіе его съ Гете.—  
Дѣятельность престарѣлаго Гете.—Признаки упадка силъ.—  
Смерть . . . . . 362





КНИГА ПЯТАЯ.

1779 — 1793.

Wenn sich der Most auch ganz absurd gebärdet,  
Es gibt zuletzt doch noch'nen Wein.

[Какъ ни дико бродить виноградный мустъ, но въ концѣ концовъ изъ  
него все-таки получается вино.]

Von jener Macht, die alle Wesen bindet,  
Befreit der Mensch sich, der sich überwindet.

[Человѣкъ, одерживающій побѣду надъ самимъ собою, освобождаетъ себя  
отъ той власти, которой подчинены всѣ существа.]

«Postquam me experientia docuit, omnia, quae in communi vita frequenter occurrunt, vana et futilia esse; quum viderem omnia, a quibus et quae timebam, nihil neque boni neque mali in se habere, nisi quatenus ab iis animus movebatur: constitui tandem inquirere, an aliquid daretur quod verum bonum et sui communicabile esset, et a quo solo rejectis ceteris omnibus animus afficeretur; imo an aliquid daretur, quo invento et acquisito continua ac summa in aeternum fruerer laetitia».

Spinoza.

## ГЛАВА I.

---

### Новая жизнь.

Процессъ образованія характера при переходѣ отъ юношеской распушенности къ устойчивости зрѣлаго возраста походитъ на съигрываніе оркестра: дикая дисгармонія постепенно переходитъ въ гармонію, — разнообразныя дисгармоническіе звуки, кружась около меньшаго центра, постепенно сближаются къ нему, постепенно, одинъ за другимъ, сливаются съ нимъ, и этотъ центръ начинаетъ расти сначала медленно, потомъ все быстрѣе и быстрѣе, и наконецъ изъ дикой дисгармоніи побѣдоносно вырастаетъ стройный аккордъ. Сдѣлаемъ еще другое сравненіе: образованіе характера походитъ на ростъ утренней зари, которая сначала медленно отодвигаетъ мракъ ночи, потомъ растетъ все быстрѣе и быстрѣе, и наконецъ весь горизонтъ заливается потоками свѣта. Для Гёте наступаетъ теперь разсвѣтъ новой жизни; колебанія его впечатлительной натуры все болѣе и болѣе улегаются, получаютъ все болѣе и болѣе устойчивость; цѣли, до сихъ поръ смутныя, начинаютъ выясняться; все, что еще бродитъ въ глубинѣ его духа, начинаетъ кристаллизироваться въ опредѣленныя стремленія. Этотъ процессъ кристаллизаціи переживаютъ всѣ гениальные люди; юность ихъ обуреваемая заблужденіями, страстями, но и самыя ихъ заблужденія, будучи разъ пережиты, служатъ имъ на пользу.

Подобно тому, какъ лава разщеляетъ горный хребетъ, и потомъ, застывши, скрѣпляетъ горную массу, такъ и страсти гениальныхъ людей сначала раздраютъ ихъ жизнь, а потомъ становятся для нихъ источникомъ силы. Алмазъ полируется только алмазной пылью: такъ и гениальные люди воспитываются только въ школахъ своихъ собственныхъ паденій. «И что такое наша жизнь,—говорить Гёте,—какъ не рядъ паденій!»

Поэту наступилъ теперь тридцатый годъ (1779). Жизнь его начинаетъ высвобождаться изъ туманныхъ призраковъ, начинаетъ получать все большее и большее единство, и юношеская вѣтренность смѣняется степенной серьезностью зрѣлаго возраста. Онъ рѣшился теперь «не довольствоваться половиною жизнью, а всецѣло отдаться добру, красотѣ (*sich vom Halben zu entwöhnen und im Ganzen, Guten, Schönen resolut zu leben*).» Происшедшую въ немъ перемѣну обыкновенно приписываютъ пребыванію его въ Италіи, но въ дѣйствительности эта перемѣна была ни что иное, какъ развитіе его генія, и совершилась еще задолго до поѣздки въ Италію, какъ въ этомъ легко убѣдиться при самомъ даже поверхностномъ знакомствѣ съ тѣмъ періодомъ его жизни, къ которому мы теперь приступаемъ. Многозначительно это мѣсто въ его дневникѣ: «привелъ дѣла въ порядокъ, пересмотрѣлъ бумаги и сжегъ все старое. Иныя времена, иныя заботы. Оглянулся я на прошлое, какая безпорядочность въ стремленіяхъ моего сердца, какъ метался я изъ стороны въ сторону, ища повсюду удовлетворенія. Таинственное, туманное имѣло для меня особую привлекательность; все научное давалось мнѣ только наполовину и потомъ опять ускользало; какая смиренная самонадѣянность разлита во всемъ, что я писалъ тогда; какъ недалководивенъ я былъ въ человѣческомъ и въ божественномъ; какъ мало дѣльности, цѣлесообразности и въ мысляхъ, и въ поступкахъ; сколько дней унесли у меня призрачныя страсти и какъ мало пользы извлекаю я изъ всего этого. Половина жизни уже прожита, а между тѣмъ я не подвинулся ни на шагъ. Я похожу теперь на человѣка, который только-что спасся изъ воды и котораго только что-начинаетъ обсушивать благотворное солнце. На жизнь мою въ свѣтъ съ октября 1775 еще не рѣшаюсь я и оглянуться. Да поможетъ намъ Богъ и да просвѣтитъ насъ, чтобы не становились мы самимъ

себѣ поперегъ дороги, проводили бы наши дни за дѣломъ, приобрѣтали бы ясныя понятія о вещахъ и не походили бы на тѣхъ людей, которые цѣлый день жалуются на головную боль, лечатся отъ нея, а потомъ къ вечеру снова напиваются пьяны и на другой день снова занемогаютъ головной болью».

Въ этихъ словахъ есть нѣчто истинно торжественное. Тѣ же мысли выражалъ онъ тогда въ письмѣ къ Лафатеру: «Желаніе соорудить пирамиду своего бытія, — фундаментъ этой пирамиды уже заложенъ, — желаніе соорудить такую пирамиду, чтобы она какъ можно выше возносилась въ пространство, беретъ верхъ надъ всѣми другими и почти никогда не оставляетъ меня. Мнѣ нельзя медлить, уже много годовъ я отжилъ. Смерть, можетъ быть, застанетъ меня за работой и моя вавилонская башня останется неконченной, — тогда скажутъ по крайней мѣрѣ, что смѣло была она задумана, а если я буду живъ, то, Богъ дастъ, хватить у меня силъ ее окончить.» Въ письмѣ къ герцогу онъ говоритъ: «впрочемъ я спокойно выслушиваю всѣ толки и потомъ удаляюсь въ мою старую крѣпость и работаю надъ своимъ дѣтищемъ (Ифигенія). Чувствую однако, что обращаюсь съ божественнымъ даромъ слишкомъ безцеремонно, — пора уже мнѣ быть съ нимъ поэкономнѣе, если только хочу произвести что-нибудь.» <sup>1)</sup>

Написанная имъ въ то время *Ифигенія въ Тавриду* можетъ служить лучшимъ указателемъ происшедшей въ немъ перемѣны. Читатель, быть можетъ, не мало удивится, узнавъ, что это чудное поэтическое произведеніе было первоначально написано прозой. Тогда была мода на прозу, *Гецъ*, *Эммонъ*, *Тассъ*, *Ифигенія*, а также трагедіи Шиллера: *«Разбойники»*, *«Фьеско»*, *«Коварство и Любовь»*, были написаны прозой, и когда Ифигенія облеклась въ поэтическое одѣяніе, то Веймарскіе друзья Гете были недовольны, — они предпочитали прозу.

Это предпочтеніе прозы стихамъ было слѣдствіемъ общей тогда маніи стремиться во всемъ къ естественному. Стихи были признаны неестественнымъ способомъ выраженія, тогда какъ въ дѣйствительности они не болѣе неестественны, чѣмъ пѣснь. Между поэзіей и прозой та же разница, что между пѣніемъ и простой

<sup>1)</sup> Briefwechsel zwischen Karl August und Goethe, I, II.

рѣчью: онѣ выражаютъ собой два различныя состоянія духа. Страстная проза своимъ риѣмическимъ теченьемъ приближается къ поэзіи, также какъ страстная рѣчь разнообразіемъ своего такта приближается къ музыкѣ. При сильномъ душевномъ движеніи Арабъ говоритъ мѣрной рѣчью, почти стихами. Но проза настолько же не поэзія, насколько простая рѣчь не есть пѣніе. Вотъ что писалъ объ этомъ Шиллеръ къ Гете, когда работалъ надъ своимъ *Валленштейномъ* (24-го ноября 1797 г.): «Никогда еще не была для меня столь очевидна, какъ при теперешней работѣ, тѣсная связь въ поэзіи между содержаніемъ и формой. Какъ только я началъ превращать мою прозаическую рѣчь въ рифмованную, я почувствовалъ себя въ совершенно иной сферѣ; даже многіе мотивы, которые въ прозѣ представлялись мнѣ совершенно умѣстными, теперь оказались совершенно непригодны: они были хороши только для обыкновеннаго обиходнаго пониманія, которое находитъ себѣ выраженіе въ прозѣ, но стихи необходимо должны говорить воображенію и поэтому явилась необходимость въ мотивахъ болѣе поэтическихъ.»

Нельзя не удивиться, какъ могъ Гете впасть въ подобное заблужденіе, будто проза болѣе естественна, чѣмъ стихи. Все его существо было переполнено пѣніемъ. Долго еще сохранялъ онъ способность въ мелодической пѣсни, тогда какъ проза его, говоря сравнительно, уже утратила свою силу. Замѣьте притомъ, что проза *Ифигеніи*, *Эдмонта*, переполнена стихами. Онъ думаетъ, что пишетъ прозу, а между тѣмъ его мысли инстинктивно облекаются въ стихи. Мы совѣтуемъ читателю-критику сравнить Ифигенію въ прозѣ съ Ифигеніей въ стихахъ <sup>1)</sup>. Онъ увидитъ, что не только въ этой прозѣ часто попадаются стихи, но и что вообще для всей выдѣлки стиховъ изъ прозы потребовались только незначительныя измѣненія. Вся передѣлка состояла только въ наложеніи тѣхъ красокъ, которыя возвышаютъ поэзію надъ прозой. Такъ наприм. въ прозѣ сказано: *un nütz seyn ist todt seyn* (быть бесполезнымъ значитъ быть мертвымъ),—при переложеніи же въ стихи вышло:

---

<sup>1)</sup> См. vol. XXXIV, изд. 1840.

Ein unnütz Leben ist ein früher Tod

(Безполезная жизнь есть смерть за живо.)

Во второмъ актѣ въ первой сценѣ Орестъ слѣдующимъ образомъ высказываетъ намекъ на Клитемнестру: «лучше умереть здѣсь передъ алтаремъ, чѣмъ въ проклятомъ закоулкѣ, гдѣ свой близкій кровный разставляетъ сѣти убійства.» — Въ прозѣ же этотъ намекъ выраженъ очень неясно, — Орестъ говорить только о «сѣтяхъ убійцы».

Собственно въ самой драмѣ, при передѣлкѣ ея изъ прозы въ стихи, не сдѣлано никакихъ измѣненій, потому мы можемъ считать ее вполне произведеніемъ того періода, о которомъ идетъ рѣчь.

---

## ГЛАВА II.

---

### Ифигенія.

Ифигенія есть «эхо греческой пѣсни» — такъ выразился Шлегель. Это изрѣченіе въ устахъ Шлегеля нисколько не удивляетъ: мы знаемъ, какъ онъ любилъ подобныя реторическія фразы; но что Германскіе ученые могли повторять эту фразу и провозглашать Ифигенію совершеннѣйшимъ новѣйшимъ образцомъ греческой драмы, это — крайне изумительно и можетъ быть объяснено только тѣмъ обстоятельствомъ, что относительно греческой драмы существовала цѣлая масса самыхъ поразительныхъ заблужденій, передававшихся по преданію. Издавна уже три единства считались существеннымъ условіемъ греческой драмы, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ во многихъ драмахъ единство времени очевидно не соблюдено, а въ двухъ или въ трехъ не соблюдено также и единство мѣста. Точно также издавна признавалось, что комическое и трагическое не совмѣстимо въ одномъ произведеніи, а между тѣмъ Эсхилъ и Еврипидъ часто соединяли ихъ вмѣстѣ. Судьба считалась основной пружиной трагизма, а между тѣмъ въ большей части греческихъ драмъ она занимаетъ не большее мѣсто, чѣмъ сколько этого не-

обходимо требовало религіозное міросозерцаніе поэтовъ, — она имѣетъ въ греческой драмѣ такое же значеніе, какъ хрістіанство въ драматическихъ созданіяхъ хрістіанскихъ поэтовъ, т. е. составляетъ только необходимую подкладку.

Самая фраза, къ которой критики обыкновенно прибѣгаютъ для охарактеризованія Ифигеніи, вполне обнаруживаетъ всю несостоятельность ихъ сужденія. Эта фраза гласитъ, что Ифигенія имѣетъ «все спокойствіе греческой трагедіи». Что это значитъ: спокойствіе въ трагедіи? Не все ли это равно, какъ еслибъ мы сказали: спокойствіе въ страшномъ вулканическомъ взрывѣ страстей. Трагедія, — какъ говоритъ намъ Аристотель, — должна черезъ ужасъ и состраданіе возбуждать въ насъ сочувствіе къ страждущимъ. Предполагать, что этой цѣли можетъ достигать «задумчивое спокойствіе, которымъ дышетъ каждый стихъ,» не все ли это равно, какъ еслибъ мы предположили, что боевая пѣснь тѣмъ болѣе способна воспламенить сражающихся, чѣмъ болѣе подходитъ къ колыбельной пѣснѣ.

Понятія о греческой скульптурѣ незамѣтнымъ образомъ были перенесены на греческую драму, — отсюда и самое выраженіе: спокойствіе. Но ближайшее знакомство съ греческой драмой должно было бы предохранить критиковъ отъ подобнаго заблужденія, должно было бы указать имъ, что не слѣдуетъ смѣшивать спокойствіе выраженія и спокойствіе жизни. Безстрастная простота греческихъ театральныхъ представленій была неизбѣжнымъ слѣдствіемъ условій греческой сцены, но вѣдь не скажемъ же мы, что волкапъ холоденъ, потому что вершина его покрыта снѣгомъ. Если бы греческая драма была поставлена въ такія же сценическія условія, какія существуютъ въ новѣйшей Европѣ, еслибы греческіе актеры являлись на сцену безъ котурна и маски, то глубокія волненія страстей всплыли бы наружу и сопровождались бы соотвѣтственнымъ измѣненіемъ формы; но на греческой сценѣ ничего подобнаго быть не могло: греческая драма представлялась предъ многотысячной колоссальной публикой и поэтому въ ней все было колоссально, — она говорила болѣе массами, чѣмъ подробностями, и такимъ образомъ неизбѣжно должна была усвоить себѣ до нѣкоторой степени скульптурныя формы, выражаться въ группахъ и для достиженія своихъ цѣлей руководиться особой эврифмической



конструкціей. Вотъ почему такая медленность въ ея движеніи, — быстрота была для нея безобразіемъ. Пусть сомнѣвающіеся въ этомъ критики попробуютъ разыграть Шекспира при такой обстановкѣ, чтобъ актеры ходили на ходуляхъ и говорили въ слуховую трубу: тогда для нихъ сдѣлается ясно, въ какія условія былъ поставленъ греческій актеръ своимъ котурномъ и своей маской, имѣвшей одно неподвижное выраженіе. Очевидно, что греческій актеръ не могъ играть въ томъ смыслѣ, какъ мы понимаемъ сценическую игру, — онъ могъ только декламировать, но не могъ выражать борьбу страстей, и поэтому почти былъ поставленъ въ необходимость выражать страсти въ большихъ неподвижныхъ массахъ. Вотъ почему въ греческой драмѣ такая коллосальность, простота и медленность движенія.

Но если мы проникнемъ за внѣшнія сценическія условія въ самую глубь драматизма греческихъ трагедій, то какое спокойствіе найдемъ мы въ нихъ? Спокойствіе есть понятіе относительное. Полюемъ, швырявшій утесы такъ же легко, какъ школьники швыряютъ вишневые косточки, безъ сомнѣнія улыбнулся бы при видѣ нашихъ подвиговъ, какъ мы улыбаемся жужжанію мухъ. Молохъ, наполняющій неизмѣримую пустынь дикими воплями отчаянія, позавидовалъ бы нашему отчаянію и назвалъ бы его спокойствіемъ. Мѣрзя человѣческимъ масштабомъ, я не знаю «Скорбящаго», чья скорбь доходила бы до такихъ размѣровъ, чтобъ онъ могъ назвать спокойствіемъ скорбь Эдипа, Агамменона, Аякса. Исторія Лабдакидовъ есть одна изъ самыхъ мрачныхъ тваней, какую когда-либо сплетали Парки.

Греческіе драматурги почти всегда выбирали для своихъ драмъ такіе сюжеты, гдѣ выступали на сцену самыя глубокія, мрачныя страсти. Такъ въ Агамменонѣ мы находимъ безуміе, прелюбодѣяніе, убійство; въ Хоефорѣ — месть, убійство и матереубійство; въ Эдипѣ — кровосмѣшеніе; въ Медеѣ — зависть и дѣтоубійство; въ Ипполитѣ — кровосмѣсительное прелюбодѣяніе; въ Аяксѣ — безуміе и т. д. Въ греческой драмѣ страсти не смолкаютъ ни на минуту, не даютъ вамъ ни минуты отдыха, то приводятъ въ ужасъ, то возбуждаютъ состраданіе, — однимъ словомъ, несмотря на медленность сценическаго движенія, греческая драма отличается совершеннымъ отсутствіемъ спокойствія, т. е. именно такимъ ка-

чествомъ, которое прямо противоположно тому, что считалось ея характеристической принадлежностію.

Здѣсь замѣчаемъ мы первое глубокое различіе между Гете и греческими драматургами. Спокойствіе, которое греческому драматургу навязывали внѣшнія условія и которое было для него такимъ же затрудненіемъ, какъ твердость мрамора составляетъ затрудненіе для скульптора, это спокойствіе является у Гете при такихъ условіяхъ, которыя его вовсе ему не навязывали, и между тѣмъ какъ у Грековъ оно только на поверхности, есть только внѣшность, у Гете же оно проникаетъ въ самую жизнь драмы. Подражаніе Грекамъ ограничивается у Гете только вещами второстепенными, въ существенномъ же у него нѣтъ подражанія. Расинъ, къ которому Шлегель былъ такъ несправедливъ, воспроизвелъ намъ страстную жизнь греческой драмы, хотя его герои и говорятъ другу другу: *Madame Hermione* и *Monsieur Oreste*, — онъ подражалъ Грекамъ не только въ медленности сценическаго движенія, но и воспроизводилъ тотъ страстный драматизмъ, который прикрывается въ греческой драмѣ спокойной внѣшней оболочкой.

Итакъ, не греческимъ масштабомъ должны мы мѣрить Ифигенію Гете. Она есть произведеніе нѣмецкое, и вмѣсто борьбы страстей старой легенды мы находимъ въ ней глубокую нравственную борьбу. Она вовсе не греческая ни по идеѣ, ни по чувству, — она есть произведеніе нѣмецкое и переноситъ Германію восемнадцатаго столѣтія въ Скифію мифическихъ временъ, совершенно также, какъ Расинъ переноситъ Версальскій дворъ въ Авлидскій лагерь <sup>1)</sup>. Все сходство Гетевой Ифигеніи съ греческими драмами заключается, во первыхъ, въ медленности сценическаго движенія и въ простотѣ хода дѣйствія, что производитъ соотвѣтствующее спокойствіе въ рѣчи, и во вторыхъ, въ богатствѣ мифическаго матеріала; все же прочее въ ней есть нѣмецкое Шиллеръ, какъ

---

.) Критики, отличавшіеся больше ученостію, чѣмъ пониманіемъ дѣла, осмѣивали эту невѣрность мѣстныхъ красокъ у Расина, — они не видѣли, что не только условія драматическаго искусства вынуждаютъ драматурга къ подобнымъ невѣрностямъ, но эти невѣрности встрѣчаются и у самихъ Грековъ. Въ Иеигени Еврипида вы найдете невѣрности, не менѣе грубыя, чѣмъ какія встрѣчаются у Расина, и нельзя этого ставить въ упрекъ Еврипиду: онъ писалъ для современниковъ, а не для предковъ.

драматургъ, ясно это видѣлъ. «Я очень удивился, — говоритъ онъ, — что Ифигенія не произвела на меня того благопріятнаго впечатлѣнія, какое производила прежде, хотя я и сознаю по прежнему, что она есть произведеніе, полное жизни. Но она такъ поразительно нова, до такой степени не греческая, что не понимаешь, какъ возможно было находить въ ней сходство съ греческими драмами. Она чисто нравственная, но той силы, жизни, движенія, того, что дѣлаетъ произведеніе истинно драматичнымъ, ничего этого въ ней нѣтъ. Гете давно уже мнѣ самъ всколь говорилъ объ этомъ, но я принялъ это за игру воображенія, или даже за нѣкотораго рода кокетство, а теперь я понимаю его».

Шиллеръ прибавляетъ къ этому, что независимо отъ своей драматической формы Ифигенія есть чудное поэтическое произведеніе, которое будетъ всегда восхищать и удивлять людей. Въ этомъ замѣчаніи Шиллера затронута вѣрная струна. Ифигенія не есть драма. Она есть чудная драматическая поэма. Величіе и торжественность ея движенія совершенно соотвѣтствуютъ широтѣ и простотѣ развивающихся въ ней идей. Она дышетъ величественнымъ спокойствіемъ. Ея языкъ такъ ясенъ, такъ чистъ, что развитие характеровъ предстоить предъ вами столь же ясно, какъ работа пчелъ въ стеклянномъ ульѣ. Въ ней есть нѣчто высоко-гармоническое, высоко-музыкальное, такъ что, читая ее, чувствуешь себя какъ будто въ какомъ святилищѣ. Въ ней всѣ прелести подробностей совершенно исчезаютъ передъ той великой чарующей силой, которою греческія статуи обладаютъ преимущественно передъ всѣми прочими произведеніями человѣческаго искусства, — эта чарующая сила заключается въ единствѣ впечатлѣнія, такъ что во всемъ произведеніи вы не видите ничего искусственнаго, а все какъ-бы вырастаетъ одного изъ другаго, ничего излишняго, все въ органической связи между собой, нѣтъ никакихъ отдѣльныхъ частныхъ эффектовъ, и вы выносите только одно общее впечатлѣніе, производимое цѣлымъ. Эта поэма совершенно обхватываетъ вашу душу, и какъ ни особенно хороши въ ней тѣ или другія мѣста, но вашъ умъ не останавливается на нихъ и вы прежде всего видите предъ собой одно чудное цѣлое.

Ифигенія Гете возбуждаетъ во мнѣ такой восторгъ, что я ина-

че и говорить о ней не могу какъ гиперболами, но тѣмъ неменѣе я нахожу, что между произведеніемъ Гете и Ифигеніей Эврипида можетъ быть проведена весьма поучительная параллель, и какъ ни громадно превосходство Гете надъ Эврипидомъ въ интеллектуальномъ отношеніи, какъ ни велики преимущество на сторонѣ нѣмецкаго поэта относительно языка, но все это нисколько не прикрываетъ, что, какъ драматургъ, онъ ниже Эврипида.

Вотъ содержаніе Эврипидовой драмы: Ифигенія осуждена на закланіе, Діана спасаетъ ее и подставляетъ вмѣсто нея лань. Спасенная Ифигенія дѣлается жрицей Діаны въ Тавридѣ и завѣдуетъ тамъ кровавыми жертвоприношеніями, на которыя обречены всѣ чужеземцы, попавшіе на негостепріимный берегъ. По повелѣнію оракула Орестъ и Пиладъ отправляются въ Тавриду, чтобы похитить изображеніе Діаны: этотъ подвигъ долженъ избавить Ореста отъ терзающихъ его фурій. Пришельцы пойманы. Ихъ приводятъ къ Ифигеніи для закланія. Она узнаетъ ихъ и помогаетъ имъ выполнить ихъ предпріятіе. Ихъ преслѣдуютъ Скифы, но Минерва охраняетъ ихъ и укрощаетъ гнѣвъ Тоаса.

Гете модернизировалъ эту исторію. У него характеры дѣйствующихъ лицъ существенно различны отъ характеровъ греческой драмы, — у него иные нравственные мотивы, иное дѣйствіе. Его Ифигенія во всѣхъ отношеніяхъ выше Греческой жрицы, — она ни болѣе, ни менѣе, какъ христіанская дѣвушка, высокаго, благороднаго, нѣжнаго, любящаго сердца. Будучи вынуждена исполнять обязанности жрицы, она своимъ кроткимъ вліяніемъ побѣждаетъ свирѣпый предрассудокъ Тоаса и побуждаетъ его прекратить человѣческія жертвоприношенія. Она сама едва не погибла на жертвенникѣ, а теперь должна участвовать въ гибели другихъ! Такая любовь къ людямъ есть чувство новыхъ временъ. Личныя чувства Гречанки не могли быть такимъ образомъ возмущены требованіями ея религіи. Указанная нами черта проходитъ черезъ всю драму и составляетъ общій ея характеръ.

Ифигенія груститъ, тоскуетъ по роднымъ берегамъ. Ни окружающія ее почести, ни добро, которое она дѣлаетъ благодаря своему вліянію на Тоаса, ничто не можетъ разсѣять ея грусти. Ее тревожитъ судьба ея семьи. Тоасъ въ нее страстно влюбленъ.

Возвратясь побѣдителемъ съ войны, которую предпринялъ для отмщенія за смерть сына, онъ хочетъ взять ее себѣ въ жены.

Ты раздѣлила скорбь мою, когда  
Мечъ недруговъ лишилъ меня навѣкъ  
Послѣдняго, достойнѣйшаго сына.  
Пока въ груди преобладала месть,  
Я пустоты не чувствовалъ и въ домѣ;  
Теперь когда за сына я отмстилъ  
И, царство ихъ разрушивъ, воротился,  
Ничто въ дому не радуетъ меня!... \*)

Далѣе онъ выражаетъ надежду «ввести ее въ свой домъ супругой»; она кротко отклоняетъ это предложеніе. Онъ порицаетъ ее, что она держитъ въ тайнѣ свое происхожденіе. Она отвѣчаетъ:

Когда бъ ты зналъ, кто предъ тобой стоитъ,  
Какую ты несчастную питаешь  
И чувствуешь,—негодованье, страхъ,  
Твоимъ бы мощнымъ сердцемъ овладѣли;  
Не тронъ со мной хотѣлъ бы ты дѣлать,—  
Изгналъ бы навсегда меня изъ царства....

Тоасъ великодушно возражаетъ, что ничто не можетъ ее лишить его покровительства:

Мнѣ ввѣрила судьбу твою богиня;  
Ты мнѣ, какъ ей, святынею была, —  
Пусть будетъ мнѣ законъ ея внушенье:  
И ежели надежду дасть тебѣ  
На родину вернуться, — ты свободна!...

Это обѣщаніе получаетъ важное значеніе въ развязкѣ драмы и введено весьма искусно. Ифигенія уступаетъ его просьбѣ и произносить эти страшныя слова:

. . . Слушай, я  
Изъ рода злополучнаго Тантала!

Тоасъ смутился, Ифигенія рассказываетъ ему исторію своего рода. Выслушавъ рассказъ, онъ снова предлагаетъ ей быть его

\*) Всѣ выписки изъ Ифигеніи приведены въ переводѣ г. Яхонтова. Этотъ переводъ напечатанъ въ изданіи г. Вейнберга: Сочиненія Вольфганга Гете, томъ III. — *Перев.*

женой, и она снова отклоняетъ предложеніе. Раздраженный отвѣтомъ, Тоасъ говоритъ:

И такъ, останься жрицою богини,  
Тебя избравшей! Да простить меня  
Богиня, что ее несправедливо,  
Хоть съ внутреннимъ раскаяньемъ, досель  
Лишалъ я жертвъ, ей отданныхъ издавна.  
Не подходилъ никто изъ чужеземцевъ  
Благополучно къ нашимъ берегамъ:  
Смерть вѣрная его здѣсь ожидала.  
Лишь ты душевной благостью своей,  
Въ которой, сердцемъ радуясь, я видѣлъ  
То нѣжную дочернюю любовь,  
То милую привязанность невесты,  
Сковала, будто чарами, меня,  
И я забылъ свой долгъ передъ богиней.  
Да, волю усыпила ты во мнѣ,  
Не слушалъ я народнаго роптанья;  
Оно вину слагаетъ на меня  
За гибель преждевременную сына,  
Я долѣе не стану для тебя  
Удерживать волненія народа,  
Который жертвы требуетъ.

. . . . .  
Два чужеземца найдены у насъ,  
На берегу скрывавшіеся въ гротахъ;  
Не жду отъ нихъ землѣ моей добра.  
Они—въ моихъ рукахъ; да приметъ снова  
Богиня, жертвъ лишенная давно,  
Въ нихъ первую и праведную жертву!  
Я ихъ пришлю со стражею сюда:  
Ты вѣдаешь, что долгъ повелѣваетъ.

Такъ кончается первый актъ. Личность Тоаса выступаетъ въ этихъ сценахъ съ такимъ характеромъ, который дѣлаетъ драматическую коллизію невозможной. Ясно, что такой благородный, великодушный характеръ не можетъ устоять, если обратятся къ его великодушію, и зритель съ первыхъ же сценъ предвидитъ, что тутъ не будетъ борьбы. У Эврипида, напротивъ, свирѣпый Скионъ

все время видѣнь зрителю только въ сумрачной дали, неумолимый, какъ судьба,—греческій драматургъ искусно держитъ его все время за сценой и выводитъ на сцену только въ самомъ концѣ. Зритель до самаго конца не предвидитъ, какъ совершится укрошеніе. Правда, у Эврипида укрошеніе совершается не черезъ драматическое распутываніе сплетшихся нитей, а съ помощью *Deus ex machina*, но этотъ драматическій недостатокъ болѣе чѣмъ выкупается впечатлѣніемъ, какое производитъ драматическая коллизія, и тѣмъ, что въ зритель до самаго конца поддерживается неослабно-возбужденное состояніе. У Гете Тоасъ есть личность нравственная, но не драматическая <sup>1)</sup>).

Гете очевидно не заботился о драматической эффектности, отсутствіе которой ослабляетъ его драму. Онъ не воспользовался для этого даже и тѣми драматическими струнами, которыя были уже указаны Эврипидомъ. Такъ напр. у Эврипида зритель убѣжденъ, что Ореста и Пилада ожидаетъ смерть. Или приведемъ другой примѣръ: у Гете Орестъ и Пиладъ появляются на сценѣ уже по возвращеніи зрителю ихъ плѣненія,—у Эврипида же они являются передъ зрителемъ еще свободными и потомъ возвращеніе объ ихъ плѣненіи потрясаетъ зрителя, тогда какъ у Гете оно не производитъ никакого впечатлѣнія <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> Мысль представить Тоаса влюбленнымъ не нова. Въ произведеніи Лагранж-Шанселя (*Lagrange-Chancel*), *Oreste et Pylade* (это произведение не можетъ не доставить наслажденія каждому, кто умѣетъ цѣнить смѣшное), Тоасъ влюбленъ въ Иогенію, Иогенія влюблена въ Пилада, и между тѣмъ, какъ свирѣпый Скиръ изнываетъ отъ любви къ Гречанкѣ, по немъ издыхаетъ Томириса, *princesse du sang royal des Scythes*. Какъ образчикъ точнаго соблюденія *couleur local*, упомянемъ, что въ этой пьесѣ у Тоаса есть свой *Capitaine des gardes* и два *ministres d'Etat*,—при его дворѣ находится *ambassadeur Sarmate*.

<sup>1)</sup> Eurip. V. 264 и слѣд. Мы находимъ у Эврипида въ разсказѣ простолюдина весьма характеристическое мѣсто, которое показываетъ, что боги въ тѣ времена совершенно просто гуляли по землѣ и каждый чужеземецъ легко могъ прослыть за бога.

ἐταῦθα δίσσους εἶδε τις νεανίας  
βουφορβός ἡμῶν κατεχώρασεν πάλιν  
ἄχροισι δακτύλισι πορβμείων ἵχνος,  
ἐλεξε δ' οὐχ ὄρατε θαίμονες τινες,  
θάσσουσιν οἶδε.

«Одинъ изъ нашихъ пастуховъ увидалъ двухъ юношей и, отступя осторожно назадъ, сказалъ: Развѣ вы не видите? тамъ сидятъ боги.»

Во второмъ актѣ появляются Орестъ и Пиладъ. Сцена между ними весьма недраматична, но весьма хороша, какъ поэтическое выраженіе ихъ душевнаго состоянія. Орестъ видитъ, что близка смерть:

Путь смерти попираемъ мы теперь;  
Моя душа спокойнѣй съ каждымъ шагомъ.

Но Пиладу дорога жизнь, дороги ея надежды:

Не полонъ ли я бодрости и силы?  
Любовь и бодрость духа—два крыла  
Къ свершенью дѣлъ великихъ.

*Орестъ.* Дѣлъ великихъ?

Да, было время, предъ собою ихъ  
Мы видѣли! Когда за звѣремъ дикимъ  
Носились мы по доламъ и горамъ  
И, слою руки подобны предкамъ,  
По слѣду, съ толстой палицей, съ мечомъ,  
Гнались за нимъ, за хищникомъ однажды,  
И у моря широкаго потомъ,  
Склонясь другъ къ другу, вечеромъ сидѣли,  
У нашихъ ногъ плескалася волна,  
И міръ вдали широко и открыто  
Лежалъ предъ нами,—о, не разъ тогда  
За мечъ рука съ отвагою хваталась  
И подвиги грядущіе во мглѣ,  
Несчетные, предъ нами возставали,  
Какъ звѣзды изъ таинственной дали.

*Пиладъ.* Повѣрь мнѣ! Подвигъ жизни безконеченъ,  
Торопимся исполнить мы его.

Мы дѣло каждое въ такомъ размѣрѣ  
Хотѣли бъ вдругъ свершить, въ какомъ оно  
Растетъ и представляется потомкамъ,  
Когда уже чрезъ многіе года  
Передадутъ его, преувеличивъ,  
Уста поэта позднимъ племенамъ.  
Дѣла отцовъ звучать для насъ такъ чудно,  
Когда, покоясь вечеромъ въ тѣни,  
Ихъ юноша струнами арфы тихой  
Изъ мрака вызываетъ. Между тѣмъ,  
Свершаемое нами, какъ и предкамъ,  
Намъ кажется лишь суетнымъ трудомъ.



Тщетно старается Пиладъ возбудить въ своемъ другѣ надежду на спасеніе отъ постыдной смерти. Орестъ спокойно ожидаетъ своей участи. Узнавъ отъ стражей объ Ифигеніи, Пиладъ радуется, что ихъ судьба въ рукахъ женщины:

Нѣтъ, благо намъ, что женщина она!  
Мужъ, лучший даже, духъ свой приучаетъ  
Къ жестокости; что прежде презиралъ,  
То самое въ законъ себѣ онъ ставитъ.

Завидя приближающуюся жрицу, Пиладъ подъ предлогомъ, не совсемъ понятнымъ, проситъ Ореста удалиться и оставить его съ жрицей на-единѣ. Ифигенія снимаетъ съ узника оковы и едва успѣваетъ проговорить нѣсколько словъ, какъ Пиладъ восклицаетъ:

О сладкій голосъ, благодатный звукъ, —  
Звукъ языка роднаго на чужбинѣ!  
Опять предъ взоромъ плѣнника встаютъ  
Родная пристань, горы голубыя <sup>1)</sup>.

Потомъ онъ рассказываетъ о себѣ и своемъ другѣ. Разсказъ его вѣренъ дѣйствительности, но онъ скрываетъ имена, — съ какой цѣлью, трудно понять. На ея вопросъ о своей семьѣ, онъ рассказываетъ ей о злодѣяніи ея матери, и замѣтивъ, что она взволнована, спрашиваетъ, не связана ли она съ этой семьей узами дружбы. На это она мрачно отвѣчаетъ:

Скажи мнѣ, какъ свершилось преступленье?

Пиладъ исполняетъ это желаніе. Ифигенія прерываетъ разсказъ вопросами. Ея вопросы кратки, въ нѣсколькихъ словахъ, но они производятъ потрясающее впечатлѣніе. Какъ только Пиладъ кончаетъ разсказъ, она опускаетъ покрывало и удаляется, говоря:

Довольно! ты меня еще увидишь.

---

<sup>1)</sup> Патенъ (Patin), по моему мнѣнію, неправильно понялъ значеніе этихъ словъ. Сравнивая ихъ съ возгласомъ Филоклета, онъ говоритъ: «Philoclete n'en savait pas tant, il n'était pas si habile à se rendre compte de ses secrets mouvements: tout ce qu'il pouvait, c'était de s'écrier: o doux parole!» — *Etudes sur les Tragiques Grecs*, III, p. 323. Пиладъ не отвыкъ отъ звуковъ роднаго языка, онъ только-что передъ этимъ говорилъ съ Орестомъ и, конечно, на родномъ языкѣ: очевидно, что онъ произноситъ эти слова не какъ выраженіе своихъ чувствъ, а какъ средство расположить къ себѣ Ифигенію.

Такъ нѣсколько уклончиво кончается второй актъ. Третій актъ начинается свиданіемъ Ифигеніи съ Орестомъ. Ифигенія проситъ его разсказать недосказанное его другомъ. Разсказъ Ореста нѣсколько длиненъ. Онъ пренебрегаетъ хитростью, къ какой прибѣгнулъ Пиладъ, не скрываетъ именъ и смѣло говоритъ: «Я — Орестъ!» Эта сцена есть въ полномъ смыслѣ *ἀνὰ γυναικισιν*. И естественныя, и драматическія условія заставляютъ ожидать, что эти слова «Я — Орестъ!» произведутъ въ Ифигеніи сильное душевное движеніе, что она бросится въ объятія къ брату и откроетъ, что она ему сестра. Но вмѣсто того она продолжаетъ слушать разсказъ, потомъ удаляется, и открываетъ, кто она, уже только въ слѣдующей сценѣ! Такого нарушенія и естественныхъ и драматическихъ требованій можно было бы ожидать развѣ только отъ совершенно юнаго драматурга, но никакъ не отъ великаго поэта. Къ Оресту возвращается припадокъ бѣшенства. Оправясь, онъ чувствуетъ себя очищеннымъ чистотою своей сестры. Пиладъ напоминаетъ, что они должны похитить изображеніе богини и бѣжать.

Драматизмъ сюжета, какъ очевидно, состоитъ въ томъ, что сестра должна убить брата, не зная, что онъ ей братъ. Но Гете не только не пользуется этимъ драматическимъ положеніемъ, онъ почти даже вовсе его не касается и ни на минуту не возбуждаетъ въ зрителѣ никакихъ опасеній насчетъ участи двухъ друзей; отъ начала до конца драмы зритель не встревоженъ, не взволнованъ, — въ немъ только возбуждается любопытство, какимъ образомъ совершится избавленіе друзей отъ страшной участи. У Эврипида же, напротивъ, все ведетъ къ тому, чтобъ увеличить драматизмъ положенія. Ифигенія, сначала столь кроткая, что проливаетъ слезы съ своими жертвами, потомъ неистовствуетъ подобно львицѣ, у которой отняли дѣтенышей. Она думаетъ, что Ореста уже нѣтъ въ живыхъ, и въ отчаяніи рѣшается выместить свое горе на другихъ. Приводятъ къ ней брата и его друга. Она спрашиваетъ, кто они. Орестъ отказывается сказать свое имя. Разговоръ Ифигеніи съ незнакомцами состоитъ изъ быстро смѣняющихся вопросовъ и отвѣтовъ. Узнавъ изъ этого разговора судьбы своей семьи, Ифигенія предлагаетъ незнакомцамъ спасти одного изъ нихъ съ тѣмъ условіемъ, чтобъ другой доставилъ ея письмо въ Аргосъ. Тутъ между друзьями возникаетъ споръ, — они соревнуютъ въ ве-

ликодушн: каждый хочет умереть и предоставить спасение другому. Наконец Пиладъ вынужденъ уступить. Тайна раскрывается слѣдующимъ образомъ: Пиладъ, обязавшись клятвою доставить письмо, останавливается на затрудненіи, какъ исполнить онъ свой обѣтъ въ случаѣ, если письмо какъ-нибудь потеряется, напр. если опрокинется его судно. Тогда Ифигенія на случай, еслибъ письмо потерялось, рассказываетъ ему его содержаніе и при этомъ произноситъ свое имя. При имени сестры изъ груди Ореста вылетаетъ крикъ радости, онъ называетъ себя и бросается въ ея объятія. Драматическое движеніе этой сцены превосходно. У Эврипида съ этого пункта интересъ слабѣетъ, а у Гете растетъ. Въ греческомъ произведеніи этотъ моментъ есть высшій пунктъ драматизма. Далѣе вниманіе зрителя сосредоточивается на хитрости, задуманной Ифигеніей, чтобъ похитить священное изображеніе. Какъ ни льстила эта хитрость вкусамъ Аѳинской публики <sup>1)</sup>, но во всякомъ случаѣ, наслажденіе, какое она могла доставить, было низшаго разряда, обращалось къ низшимъ способностямъ и потому не могло сравниться съ тѣмъ наслажденіемъ, какое выносилъ зритель изъ трагическаго величія первыхъ частей драмы. Въ Германской же драмѣ, напротивъ, слабый до сихъ поръ интересъ, представляемый игрою страстей, переходитъ въ высокій нравственный интересъ, такъ что драма, развиваясь, обращается болѣе къ совѣсти, чѣмъ къ чувствамъ, есть скорѣе борьба долга противъ долга, чѣмъ борьба страсти противъ страсти.

Въ четвертомъ актѣ Ифигенія предстонтъ спасти своего брата не только отъ смерти, но и отъ друзей. Спасти силой — невозможно; единственное средство — прибѣгнуть къ обману. Грека это нисколько не затрудняло: Грекъ предпочиталъ обманъ.

---

<sup>1)</sup> Еврипидъ, 1157 и слѣд. Ифигенія прибѣгаетъ къ такой хитрости: она утверждаетъ, что образъ богини оскверненъ нечистыми руками двухъ пѣлнниковъ и необходимо требуетъ очищенія, что для этого нужно погрузить образъ въ море и что это должно быть сдѣлано такъ, чтобъ никто не видѣлъ, поэтому проситъ Тоаса приказать всѣмъ жителямъ не выходить изъ домовъ и тщательно избѣгать, чтобъ не взглянуть на то, что можетъ ихъ осквернить, — *μολοχα γὰρ τὴ τοιοῦτήν*. Мало этого, ея хитрость доходитъ почти до смѣшнаго: она проситъ Тоаса оставаться въ храмѣ, покрывъ лицо покрываломъ, и предупреждаетъ, чтобъ онъ не безпокоился, если она нѣсколько замедлитъ возвращеніемъ.

снѣ; но христіанская совѣсть возмущается противъ обмана, — для нея обманъ есть поступокъ глубоко безнравственный. Поэтому у Гете Ифигенія ужасается подобнаго поступка и приходитъ въ нерѣшительность, вспомнивъ, какъ Тоасъ былъ къ ней всегда добръ и внимателенъ. Когда потомъ является Пиладъ и подстрекаетъ ее къ бѣгству, она высказываетъ ему свои сомнѣнія.

*Пиладъ.* Убійцу

Роднаго брата покидаешь ты.

*Ифигенія.* Не онъ ли былъ и благодѣтель мой.

*Пиладъ.* То, что внушаетъ намъ необходимость,  
Назвать неблагодарностью нельзя.

*Ифигенія.* Нужда ее оправдываетъ только.

*Пиладъ.* Да, предъ богами и передъ людьми.

*Ифигенія.* Но сердце оправдать ее не можетъ.

*Пиладъ.* Не гордость ли скрывается въ душѣ,  
Гдѣ требованья совѣсти такъ строги?

*Ифигенія.* Я углубляться въ это не хочу,  
Я только чувствую.

Не такъ должна была говорить Гречанка. У Гетевой Ифигеніи, очевидно, христіанская совѣсть. Пиладъ возражаетъ ей съ житейской мудростью.

Жизнь учить насъ съ собою и къ другимъ

Быть меньше строгими; сама ты это

На опытъ узнаешь. Родъ людской

Такъ чудно созданъ, многосложно такъ

Запутанъ, связанъ тайными судьбами,

Что въ немъ никто, ни порознь самъ въ себѣ,

Ни въ отношеняхъ съ близкими, не можетъ

Быть чистымъ, независимымъ вполне.

Отступить ли чистая душа Ифигеніи отъ высокихъ своихъ стремлений ради спасенія брата: въ этомъ весь узелъ драматизма. Положеніе весьма трагическое. Изобразивъ всю силу соблазна, всю немощь человѣческихъ слабостей, поэтъ потрясаетъ насъ величіемъ своей героини и влагаетъ въ ея уста эту пламенную рѣчь:

. . . Да, слушай, государь:

Вокругъ тебя обманъ куется втайнѣ.

Не спрашивай, гдѣ плѣнники твои:

Они далеко! Ищутъ, безъ сомнѣнія,  
У берега спутниковъ своихъ,  
На корабль скрывающихся; старшій,  
Который былъ недугомъ одержимъ,  
Но исцѣленъ теперь,—мой братъ Орестъ;  
Другой—его сообщникъ, другъ отъ дѣтства,  
Зовутъ его Пиладомъ. Аполлонъ  
Изъ Дельфовъ ихъ прислалъ на этотъ берегъ,  
Похитить ликъ Діаны имъ велѣлъ  
И возвратитъ сестру ему; за это  
Тому изъ нихъ, что фуріями былъ  
Преслѣдуемъ, на комъ проклятемъ тяжкимъ  
Кровь матери лежала, обѣщаль  
Онъ исцѣленъ. Въ руки предала я  
Тебѣ теперь судьбу обоихъ насъ  
Послѣднихъ въ родѣ Тантала: губи насъ,  
Когда посмѣешь!—

Въ греческой Пфигеніи мы не находимъ ничего подобнаго.

Еслибъ Тоасъ былъ изображенъ свирѣпымъ Скиномъ, или, по крайней мѣрѣ, еслибъ мы не были заранее убѣждены въ его великодушія, то драматическое столкновение вышло бы гораздо сильнѣе. Но мы заранее знаемъ, что Тоасъ не способенъ къ жестокости, и находимъ его почти совершенно смягчившимся, когда Орестъ вбѣгаетъ съ мечемъ и торопитъ Пфигенію бѣжать, такъ какъ ихъ замыселъ открытъ. Затѣмъ слѣдуетъ сцена, въ которой Тоасъ рѣшительно объявляетъ, что не допуститъ похищенія лика Діаны, но Орестъ настаиваетъ, и споръ, повидимому, долженъ рѣшиться оружіемъ, какъ вдругъ Оресту внезапно приходитъ въ голову свѣтлая мысль, которая объясняетъ ему истинное значеніе словъ оракула.

Усердно я молилъ его (Аполлона) отъ фурій  
Меня избавить; вотъ его отвѣтъ:  
«Когда сестру, которая въ Тавридѣ,  
Во храмѣ, противъ воли остается,  
Ты въ землю Грековъ снова привезешь,  
Съ тебя проклятье снимется».—Мы ложно  
Въ словахъ его истолковали смыслъ:  
Сестру мы разумѣли Аполлона,  
А онъ тебя въ нихъ разумѣлъ, сестра.

Такъ развязывается узелъ. Потомъ Ифигенія напоминаетъ Тоасу обѣщаніе отпустить ее, если только ей представится случай возвратиться въ семью. Тоась не охотно говоритъ: «Свободны вы— идите!» Но Ифигенія не довольна такимъ отвѣтомъ.

Нѣтъ, не такъ  
Мой Царь! безъ твоего благословенья,  
Въ раздорѣ не разстанусь я съ тобой.  
Не изгоняй насъ! Межъ тобой и нами  
Обмѣнъ да будетъ правъ гостепріимства,  
Такъ будемъ не на вѣкъ разлучены.  
Ты дорогъ мнѣ, какъ былъ отецъ мнѣ дорогъ,  
И впечатлѣнны это глубоко  
Въ душѣ я сохраняю. Еслибъ даже  
Послѣдній изъ народа твоего  
Мнѣ звукъ принесъ знакомой здѣшней рѣчи,  
И если на послѣднемъ бѣднякѣ  
Подобіе одеждъ я вашихъ встрѣчу,  
Какъ бога я приму его! Сама  
Я для пришельца ложе приготовлю,  
Предъ очагомъ домашнимъ посажу  
И спрашивать его подробно стану  
Лишь о тебѣ, о жребіи твоёмъ.  
Пусть боги, за дѣла твои и милость,  
Достойно воздадутъ тебѣ хвалу!  
Прости же, Царь! Взгляни на насъ и добрый  
Привѣтъ прощенья всѣмъ намъ возврати!  
Тогда и вѣтеръ тише будетъ вѣять,  
Нашъ парусъ наполняя, и слеза  
Отрадище изъ глазъ моихъ польется.  
Прости! въ залогъ старинной нашей дружбы  
Дай руку на прощенье мнѣ!

Тоась. (протягивая руку) Простите!

Драма заканчивается этими трогательными, благородными словами, которыя совершенно гармонируютъ съ цѣлымъ.

Мои заключенія объ этомъ произведеніи и такъ заняли уже слишкомъ много мѣста, и поэтому, не вдаваясь въ дальнѣйшія критическія замѣчанія, я ограничусь только указаніемъ двухъ характеристическихкихъ различій между древнимъ и новымъ искусствомъ: у Эври-

пида Фурія суть страшныя явленія, дѣйствительныя лица, изображаемые на сценѣ актерами, у Гете же онѣ не болѣе какъ только фантастическія видѣнія страждущей души, видимыя только внутреннему глазу, — у Эврипида развязка происходитъ чрезъ личное вмѣшательство богини, а у Гете чрезъ разъясненіе смысла словъ оракула.

### ГЛАВА III.

#### Прогрессъ.

Въ началѣ 1779 г. мы находимъ Гете дѣятельно занятымъ своими новыми служебными обязанностями. Онъ принялъ на себя управление Военнымъ Департаментомъ, который въ это время получилъ внезапно особенную важность по случаю приготовленій къ войнѣ. Онъ постоянно объѣзжалъ страну и употреблялъ всѣ усилія, чтобы облегчить положеніе народа. «Бѣдность, говоритъ онъ, становится для меня столь же прозаичной, какъ огонь въ моемъ каминѣ, я не отступаю отъ своей мысли и буду бороться съ незнакомымъ Ангеломъ, еслибы даже мнѣ пришлось переломить себѣ бедро. Никто не знаетъ, что я дѣлаю и сколько враговъ мнѣ надо побѣдить, чтобы сдѣлать немного.»

Къ числу этого немногаго принадлежитъ между прочимъ образованіе пожарныхъ командъ, въ которыхъ тогда сильно нуждались. Пожары были не только многочисленны, но и производили страшныя опустошенія, такъ какъ пожарная часть не имѣла никакого правильнаго устройства. Еще въ бытность во Франкфуртѣ Гете однажды изумилъ толпу своей распорядительностью на пожарѣ; въ Апольдѣ и Эттерсбургѣ онъ принималъ такое ревностное участіе въ тушеніи пожара, что опалилъ себѣ брови и обжогъ ноги. Неустройство пожарной части онъ всегда близко принималъ къ сердцу и теперь воспользовался своимъ положеніемъ, чтобы озаботиться объ ея устройствѣ.

Въ день его рожденія (ему минуло 30 лѣтъ) герцогъ, въ награду за усердную службу, сдѣлалъ его Тайнымъ Совѣтникомъ,

Geheimrath. «Странно, какъ будто это сонъ,—пишетъ франкфуртскій Bürger, пожалованный новой почестью,—что я на тридцатомъ году жизни очутился на самой высокой степени, какой только можетъ достигнуть нѣмецкій гражданинъ. On ne va jamais plus loin, que quand on ne sait où l'on va». Ему это казалось страннымъ, а для веймарцевъ это было болѣе, чѣмъ странно,—это былъ чистый скандалъ. Виландъ писалъ: «Съ тѣхъ поръ какъ Гете сдѣланъ тайнымъ совѣтникомъ, ненависть къ нему, хотя онъ никому не сдѣлалъ зла, доходитъ до ярости.» Но если возгласы недовольныхъ и доходили до герцога, то онъ не обращалъ на нихъ никакого вниманія. Онъ теперь болѣе, чѣмъ когда-нибудь, былъ неразлученъ съ своимъ другомъ. 12-го сентября они отправились на короткое время въ Швейцарію подъ самымъ строгимъ инкогнито, взявъ съ собой только небольшіе чемоданы, заѣхали по дорогѣ во Франкфуртъ и остановились въ старомъ домѣ въ Hirschgraben. Старикъ Гете не только обрадовался сыну, но и былъ гордъ видѣть у себя такихъ высокихъ гостей. Что же касается до матери, то, какъ и слѣдовало ожидать, она была внѣ себя отъ восторга: присутствіе такихъ гостей не только радовало ея материнское сердце, но и льстило ея гордости.

Изъ Франкфурта они отправились въ Страсбургъ. Воспоминаніе о Фредерикѣ неудержимо влекло Гете въ Зезенгеймъ. Въ письмѣ къ г-жѣ фонъ-Штейнъ онъ говоритъ: «25 числа отправился я верхомъ въ Зезенгеймъ, и нашелъ тамъ семью пастора такую же, какъ оставилъ ее восемь лѣтъ тому назадъ. Меня встрѣтили самымъ дружескимъ образомъ. Младшая дочь любила меня въ былое время болѣе, нежели я заслуживалъ, и болѣе тѣхъ, на которыхъ я самъ потратилъ много любви и вѣры. Разлука со мной едва не стоила ей жизни. Она только слегка коснулась этого эпизода, чтобъ сказать мнѣ, какіе слѣды оставила въ ней старая болѣзнь; какъ только я переступилъ порогъ, мы очутились съ ней лицомъ къ лицу, и она съ первой же минуты выказала мнѣ такую теплую дружбу, что у меня на душѣ сдѣлалось необыкновенно легко. Я долженъ отдать ей справедливость,—она ни разу не сдѣлала ни малѣйшей попытки пробудить во мнѣ прежнюю любовь. Она повела меня въ бесѣдку. Мы тамъ усѣлись и намъ было хорошо; была тихая лунная ночь. Я спрашивалъ обо всѣхъ



и обо всемъ. Мы вспоминали, какъ проводили время въ тѣ счастливые дни, и мнѣ представилось все такъ живо, какъ будто съ тѣхъ поръ прошло не больше полугода. Старикъ былъ очень радъ мнѣ; говорили, что я выглядываю моложе. Я остался тамъ ночевать, и выѣхалъ на зорѣ, дружески распрощавшись со всѣми. Съ этимъ уголкомъ земли будетъ для меня теперь соединяться пріятное воспоминаніе, — я знаю теперь, что они всѣ въ мирѣ со мной.»

Есть нѣчто весьма трогательное въ этомъ свиданіи и въ этомъ разсказѣ, обращенномъ къ женщинѣ, которую онъ теперь любитъ и которая не платитъ ему той любовью, какую, какъ онъ думаетъ, вдохнулъ онъ Фредерикъ. Онъ нашелъ эту очаровательную дѣвушку еще не замужемъ, и ему, быть можетъ, не мало польстила мысль, что его образъ до сихъ поръ еще остался для нея незамѣнимъ. Она разсказала ему, какъ Ленцъ влюбился въ нее, но умолчала о своихъ чувствахъ къ Ленцу: это умолчаніе весьма понятно и едвали кто рѣшится строго осуждать его, тѣмъ болѣе, что ея чувства къ Ленцу были въ то время, безъ сомнѣнія, еще далеко не лишнія. Не говоря уже о романичности, какую должна была имѣть для нея эта неожиданная встрѣча съ старымъ возлюбленнымъ, не могла она не радоваться, не гордиться при мысли, что этотъ возлюбленный сталъ теперь знаменитымъ, — ей должна была льстить уже одна та мысль, что такой человѣкъ былъ когда-то неравнодушенъ къ ней, и она должна была чувствовать, что его отношенія къ ней были именно таковы, какъ этого и слѣдовало ожидать.

26-го числа Гете возвратился къ своему компаньону. «Въ полдень я зашелъ къ Лили, и нашелъ милую Grasaffen <sup>1)</sup> съ семи-недѣльнымъ ребенкомъ. Ея мать была тутъ же. И здѣсь мнѣ также удивились и обрадовались. Я спрашивалъ о многомъ и къ моему восхищенію нашелъ, что доброе созданіе счастливо замужемъ. Ея мужъ, судя по всему, что я о немъ слышалъ, долженъ быть человѣкъ хорошій, разсудительный, дѣловой, имѣть хорошее состояніе, принадлежить къ хорошей фамиліи, хорошо поставленъ

---

<sup>1)</sup> Grasaffen, т. е. зеленая обезьяна, — франкфуртское простонародное выраженіе, означающее «распускающуюся дѣвицу». Гете намекаетъ на то время, когда посѣщалъ ее во Франкфуртѣ.

въ свѣтѣ, короче сказать, имѣетъ все, что ей нужно. Его не было дома. Я остался обѣдать. Послѣ обѣда я пошелъ съ Герцогомъ смотрѣть Соборъ, а вечеромъ смотрѣлъ великолѣпную оперу Пазилло, *L'infante di Zamora*. Потомъ ужиналъ у Лили и возвратился домой при лунномъ свѣтѣ. Я не могу описать, какія пріятныя чувства волновали меня».

Приведенныя выписки свидѣлствуютъ, какое различіе было между двумя этими женщинами, Фредерикой и Лили, и какъ различны были къ нимъ чувства поэта. Изъ Страсбурга онъ поѣхалъ въ Эммендингенъ и посѣтилъ тамъ могилу сестры. Оттуда отправился въ Швейцарію, сопутствуемый мыслями, вынесенными изъ этихъ трехъ посѣщеній. Любопытный читатель можетъ узнать изъ его *Briefe aus der Schweiz*, которыя состоятъ по большей части изъ писемъ къ г-жѣ фонъ-Штейнъ, какое впечатлѣніе произвела на него живописная природа Швейцаріи; мы же не станемъ прерывать нашъ рассказъ выписками изъ этихъ писемъ и упомянемъ только, что въ Цюрихѣ онъ провелъ нѣсколько счастливыхъ часовъ въ обществѣ Лафатера и на обратномъ пути написалъ оперетту *Jery und Bätely*, полную воспоминаній о Швейцаріи. Въ Штутгартѣ Герцогу пришло въ голову посѣтить дворъ, и такъ какъ у туристовъ не было съ собой приличнаго костюма, то они должны были обратиться къ портнымъ и ожидать, пока будетъ готово платье. Они присутствовали на празднествѣ въ Военной Академіи, и здѣсь въ первый разъ двадцатилѣтній Шиллеръ, у котораго въ головѣ уже были «Разбойники», увидѣлъ автора «Гена» и «Вертера». У молодого честолюбиваго студента не могло не биться сердце при мысли, что въ толпѣ тѣснящейся въ залахъ и галлерейхъ, присутствуетъ великій поэтъ, уже бывшій тогда во всемъ блескѣ своей славы. Жаль, что до сихъ поръ ни одинъ художникъ не выбралъ этого сюжета для исторической картины. Блѣдный, болѣзненный юноша въ неуклюжемъ военномъ костюмѣ того времени, съ косою и въ локонахъ, со шпагой и съ треугольной шляпой подъ мышкой, выступивъ впередъ, чтобы поцѣловать полу платья своего владѣтельнаго Герцога въ знакъ признательности за присужденныя ему три награды по медицинѣ, хирургіи и вѣдѣніи, не могъ не имѣть въ мысляхъ, что на него смотритъ знаменитый Гете и вѣроятно знаетъ, что

этотъ студентъ, получающій ничтожныя медицинскія награды, не удостоился преміи за нѣмецкое сочиненіе. Еще нѣсколько лѣтъ и они сдѣлаются благородными соперниками, бессмертными друзьями, которые, великодушно соревнуя другъ другу и взаимно восторгаясь своими произведеніями, дадутъ міру рѣдкій примѣръ литературной дружбы. Съ какой жадностью долженъ былъ въ то время двадцатилѣтній Шиллеръ устремлять свои взоры на великаго поэта, который, конечно, не могъ тогда имѣть о немъ иного понятія, какъ о медицинскомъ студентѣ, подающемъ нѣкоторыя надежды.

Возвращаясь черезъ Франкфуртъ, Карлъ Августъ опять остановился въ домѣ Гете и оказалъ особое вниманіе къ старому рейнскому вину, которымъ угощала его Frau Aja. Онъ потомъ прислалъ ей денегъ въ вознагражденіе за издержки, сдѣланныя на его приемъ. 12-го января вернулся онъ въ Веймаръ, издержавъ на путешествіе болѣе двадцати тысячъ гульденовъ, включая сюда и покупки произведеній искусствъ.

И Герцогъ и поэтъ, оба теперь значительно измѣнились въ свою пользу. Въ своемъ дневникѣ Гете пишетъ: «Я чувствую, что съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе приобретаю общее довѣріе. Дай Богъ, чтобы я могъ его заслужить не какимъ-нибудь легкимъ путемъ, а именно такъ, какъ того желаю. Никто не видитъ, что происходитъ во мнѣ. Уединеніе мнѣ дорого: я въ немъ расту и приобретаю то, чего не отнять у меня ни огонь, ни мечъ.» Съ нимъ происходилъ теперь процессъ кристаллизаціи, — онъ постепенно приобреталъ полное господство надъ собой. «Я хочу быть господиномъ надъ самимъ собой. Кто не господинъ себѣ, тотъ не достоинъ властвовать, и не можетъ властвовать». Но при такомъ темпераментѣ, какимъ его одарила природа, не легко ему было совладать съ собой; вино и женскія слезы были его слабостью, какъ онъ самъ сознается:

Ich könnte viel glücklicher sein,  
Gäb's nur keinen Wein  
Und keine Weiber thränen.

(Я могъ бы быть гораздо счастливѣе, еслибъ не вино  
и не женскія слезы.)

Не могъ онъ совершенно освободиться отъ этихъ слабостей. Онъ былъ истый уроженецъ Рейна, съ ранняго дѣтства привыкъ къ вину и, какъ поэтъ, не могъ не быть чувствителенъ къ женскимъ чарамъ. Но какъ любовь къ вину никогда не доводила его до пьянства, такъ и любовь къ женщинамъ никогда не доводила его до самозабвенія. Онъ никогда не отдавался вполнѣ ни одной женщине, — возбужденное состояніе никогда не доходило у него до опьяненія. Любовь была для него потребностью. Онъ любитъ г-жу фонъ-Штейнъ, но эта любовь, не находя себѣ полного удовлетворенія, начинаетъ охлаждаться, начинаетъ переходить въ спокойное чувство сердечной привязанности. Въ то же время отношенія его къ Коронѣ Шрётеръ становились все болѣе и болѣе близки. Спектакли любителей не только были для него пріятнымъ отдыхомъ отъ тяжелыхъ служебныхъ занятій, но и давали ему матеріалъ для «Вильгельма Мейстера». «Театральныя представленія — говоритъ онъ — принадлежатъ къ числу тѣхъ немногихъ вещей, которыми я забавляюсь, какъ ребенокъ, и наслаждаюсь, какъ артистъ». Гердеръ, державшій себя прежде нѣсколько въ сторонѣ, теперь сближается съ нимъ все тѣснѣе и тѣснѣе, вѣроятно вслѣдствіе перемѣны, происшедшей въ его образѣ жизни. Дружба съ Гердеромъ возбуждаетъ въ немъ желаніе видѣть Лессинга, но предположенная поѣздка въ Вольфенбюттель не успѣла осуществиться, какъ пришла печальная вѣсть, что Лессинга уже нѣтъ въ живыхъ.

Одновременно съ перемѣной въ образѣ жизни, мы замѣчаемъ въ Гете ту многозначительную перемѣну, что научныя его занятія, до сихъ поръ отрывочныя, поверхностныя, становятся для него страстью, начинаютъ получать то серьезное значеніе, которое потомъ имѣли для него въ теченіе всей его жизни. Въ неизданномъ трактатѣ о «гранитѣ», который былъ написанъ около того времени, онъ говоритъ: «Человѣкъ, незнакомый съ прелестями тайнъ природы, удивится, что я оставилъ прежнюю сферу моихъ наблюденій и съ страстнымъ восторгомъ устремился въ эту новую сферу. Я не боюсь упрека, что будто единственно духъ противорѣчія побудилъ меня переброситься отъ изученія человѣческаго сердца къ изученію природы. Не стануть, конечно, отрицать, что всѣ предметы находятся въ тѣсной связи между собой и что

пытливому уму свойственно стремиться постичь все, что доступно пониманію. Я знаю, что такое значить вѣчное волненіе чувствъ и мнѣній,—я это испыталъ, выстрадалъ, и теперь наслаждаюсь чуднымъ покоемъ, который дается намъ общеніемъ съ великой, краснорѣчивой, невозмутимой природой». Онъ стремился найти прочную основу своимъ цѣлямъ; но понятно, что для этого ему нужно было прежде всего найти прочную основу для своего ума, а эту основу могло ему дать только изученіе природы. Если справедливо, какъ не безъ ироніи выражались нѣкоторые ученые, что Гете былъ поэтъ въ наукѣ (что во всякомъ случаѣ нисколько не противорѣчитъ тому факту, что онъ былъ великъ въ наукѣ и сдѣлалъ великія открытія), то одинаково справедливо также, что онъ былъ ученый поэтъ.

Въ одной изъ слѣдующихъ главъ мы рассмотримъ его значеніе въ наукѣ, а теперь укажемъ только на ходъ его занятій. Превосходное произведеніе Бюффона: *Les Epoques de la Nature*, теперь уже устарѣвшее, такъ какъ геологія сдѣлала съ того времени большіе успѣхи, но и до сихъ поръ еще весьма привлекательное по своему стилю и по своимъ мыслямъ, произвело на него глубокое впечатлѣніе. Въ Бюффонѣ, какъ и въ Спинозѣ и позже въ Жоффруа-Сентъ-Илерѣ, онъ нашелъ взглядъ на природу, совершенно совпадавшій съ его наклонностью къ поэтическому синтезу. Соссюръ, съ которымъ онъ видѣлся въ Женевѣ, возбудилъ въ немъ желаніе заняться минералогіей, а такъ какъ по службѣ на немъ лежали заботы о рудникахъ Ильменау, то изученіе минералогіи получило для него практическій интересъ и скоро превратилось въ страсть—къ крайнему неудовольствію Гердера, который видѣлъ интересъ только въ книгахъ и постоянно трунилъ надъ нимъ, что онъ возится съ своими камнями и капустой. Кромѣ того онъ занимался анатоміей, и въ особенности остеологіей, которая еще и прежде привлекала къ себѣ его вниманіе, когда онъ рисовалъ головы животныхъ для *Физиономіи* Лафатера. Для болѣе успѣшнаго изученія анатоміи онъ ѣздилъ въ Іену, чтобы пользоваться руководствомъ профессора Лодера <sup>1)</sup>. Ради этихъ занятій онъ долженъ былъ упражнять свою способ-

<sup>1)</sup> Briefwechsel zwischen Karl August und Goethe, I, 25, 26.

ность или лучше сказать свою неспособность къ рисованью. Чтобы болѣе усовершенствоваться въ познаніяхъ, онъ разъ въ недѣлю читалъ лекціи о скелетѣ. Такимъ образомъ среди важныхъ обязанностей и среди развлеченій, придворныхъ праздниковъ, баловъ, маскарадовъ, театровъ, онъ находилъ время для разнообразныхъ ученыхъ занятій. Онъ былъ, подобно Наполеону, гигантскій работникъ, и никогда не былъ такъ счастливъ, какъ когда былъ за работой.

Въ это время началъ онъ писать Тасса (прозой), продолжалъ Вильгельма Мейстера, написалъ много мелкихъ произведеній, но ничего не печаталъ. Онъ жилъ для себя и для небольшого кружка друзей, нисколько не думая о публикѣ, и публика съ своей стороны мало думала о немъ,—она была занята только-что появившимися въ то время «Разбойниками» Шиллера: полпивныи пришли отъ нихъ въ восторгъ, салоны были скандализированы. Однимъ словомъ, нѣкто Кютнеръ, издавая въ 1781 г. свое сочиненіе: «*Нѣмецкіе Поэты и Прозаики*» (1781), могъ не безъ основанія замѣтить, что не слыхать уже болѣе тѣхъ громкихъ похвалъ, какими нѣкогда осыпали Гете его рьяные поклонники. Между тѣмъ «Эгмонтъ» выросталъ и принималъ совершенно иной характеръ, чѣмъ какъ былъ задуманъ первоначально.

Мы находимъ въ его письмахъ весьма обильныя подробности относительно этого періода его жизни, но не будемъ на нихъ останавливаться: онъ только заняли бы много мѣста, но не раскрыли бы намъ ничего новаго, не доставили бы намъ болѣе близкаго знакомства съ поэтомъ,—всѣ онъ имѣютъ одинъ характеръ: свидѣлствуютъ, какъ постепенно выработывался у него окончательный планъ жизни. 27-го мая умеръ его отецъ. 1-го іюня онъ оставилъ Gartenhaus и переселился въ городъ, какъ этого требовали его занятія и его служебное положеніе. По случаю этого переѣзда герцогиня Амалия доставила ему часть необходимой мебели. Съ сожалѣніемъ оставилъ онъ свой Gartenhaus, и по временамъ искалъ въ немъ уединенія. Вскорѣ послѣ того герцогиня Амалия принялась убѣждать его въ необходимости сдѣлаться дворяниномъ. Герцогъ же, какъ свидѣлствуетъ Дюнцеръ, никогда не рѣшался говорить съ нимъ объ этомъ. И въ самомъ дѣлѣ, шесть лѣтъ прожилъ онъ при Веймарскомъ дворѣ безъ дворянскаго па-

тента, и теперь убѣжденія въ «необходимости одворяниться» могли имѣть для него даже нѣчто оскорбительное. Впрочемъ, какъ намъ кажется, франкфуртскій гражданинъ скоро примирился съ частичкою фонъ, тѣмъ болѣе что никогда не обнаруживалъ особенно сильнаго презрѣнія къ внѣшнимъ отличіямъ. Вслѣдъ затѣмъ случилось, что Каммеръ-Президентъ фонъ Кальбъ былъ неожиданно отрѣшенъ отъ своего поста, и Гете занялъ его должность *ad interim*, сохраняя свое мѣсто въ Тайномъ Совѣтѣ.

Болѣе важности имѣютъ для насъ его отношенія къ Карлу Августу и къ г-жѣ фонъ-Штейнъ. Письма его несомнѣнно свидѣтельствуютъ, что въ отношеніяхъ его къ г-жѣ фонъ-Штейнъ произошла около этого времени (1781—82) значительная перемѣна. Тонъ писемъ, ставшій передъ этимъ спокойнѣе, опять говоритъ вамъ о пламенной страсти, и въ каждой строкѣ слышится счастливый любовникъ. Мы не можемъ съ достовѣрностью указать причину этой перемѣны, такъ какъ письма г-жи фонъ-Штейнъ до насъ не дошли и мы не имѣемъ никакихъ другихъ свидѣтельствъ. Можетъ быть, Корона Шретеръ возбудила въ ней ревность, можетъ быть она боялась потерять его. Мы склонны заподозрѣть съ ея стороны какой нибудь не совсѣмъ чистый мотивъ,—мы знаемъ, что ея отношенія къ Гете съ самаго начала не были прямодушны и впослѣдствіи, какъ увидимъ, не отличались великодушіемъ. Но какова бы ни была причина, фактъ несомнѣненъ. Его письма явно говорятъ о необыкновенномъ обаяніи, какое на него производила ея личность, о глубокомъ, неослабномъ поклоненіи ей, о сосредоточеніи на любви къ ней всѣхъ его мыслей и стремленій. Достаточно одной или двухъ выписокъ: «О, милая моя! Всю жизнь не оставляло меня идеальное желаніе, какъ могъ бы я быть любимъ, но даже и въ мечтахъ я не находилъ его осуществленія; теперь міръ съ каждымъ днемъ дѣлается свѣтлѣе для меня—я наконецъ нашелъ въ тебѣ осуществленіе этого идеала.» (20 марта, 1782 г.). Чѣмъ тебѣ я не обязанъ! Если бъ ты даже и не оказывала особой любви ко мнѣ, еслибъ даже только терпѣла меня въ числѣ своихъ друзей, то и тогда я счелъ бы себя обязаннымъ посвятить тебѣ всю мою жизнь. Безъ тебя могъ ли бы я отречься отъ всѣхъ своихъ заблужденій? Могъ ли бы такъ ясно смотрѣть на міръ и чувствовать себя въ немъ столь счаст-

ливымъ.» (9-го апрѣля).—«Твое существо, твоя любовь, подобно чудной мелодіи, возносятъ меня на небо и заставляютъ забывать всѣ заботы и скорби. Я брожу по друзьямъ и знакомымъ, какъ будто вездѣ ищу тебя и потомъ возвращаюсь въ свое уединеніе.» (25 авг).

Между тѣмъ какъ Гете наслаждался счастьемъ, между тѣмъ какъ цѣли жизни для него все болѣе и болѣе уяснялись, юный герцогъ еще сохранялъ, весь пылъ юности, вслѣдствіе чего между нимъ и поэтомъ нерѣдко происходили несогласія. Изданная ихъ переписка подтверждаетъ справедливость свѣдѣнія, почерпнутаго мной изъ другаго источника, что отношенія поэта къ своему государю только въ первыя годы ихъ дружбы были совершенно чужды всякой тѣни этикета; но что впослѣдствіи, хотя Карлъ Августъ никогда не обращался къ поэту иначе, какъ съ обратнымъ ты, и вообще всегда держалъ себя по отношенію къ нему весьма дружески и фамиллярно, тѣмъ не менѣе отношенія поэта къ государю стали вскорѣ нѣсколько измѣняться, стали принимать все болѣе и болѣе почтительный тонъ. По мѣрѣ того, какъ поэтъ входитъ въ лѣта, письма его къ герцогу облачаются въ болѣе и болѣе формализмъ; герцогъ пишетъ къ нему, какъ къ другу, а онъ отвѣчаетъ ему, какъ государю.

Это происходило не вслѣдствіе охлажденія къ герцогу, а единственно потому, что становясь серьезнѣе, онъ сталъ обращать больше вниманія на соблюденіе декорума. Герцогиня внушала ему къ себѣ нѣжныя, благоговѣйныя чувства, въ родѣ тѣхъ, какія Тассъ питалъ къ Принцессѣ. Ея благородная, высокая, хотя и нѣсколько холодная натура, ея великодушіе, ея тонкій умъ,—все это имѣло тѣмъ болѣе цѣны въ глазахъ поэта, что онъ близко зналъ ту сторону ея жизни, которая не вполне была счастлива, и сочувствовалъ ей. Ему часто приходилось быть свидѣтелемъ домашнихъ несогласій, и онъ нерѣдко выговаривалъ герцогу за его жесткость.

Изъ писемъ къ г-жѣ фонъ-Штейнъ мы видимъ, что хотя Гете высоко цѣнилъ прекрасныя качества Карла Августа, но часто огорчался его сумасбродствами, которыя иногда даже просто выводили его изъ терпѣнія. «При всемъ своемъ страстномъ влеченіи къ добруму, къ справедливому, онъ, однако, ни въ чемъ не нахо-



доть, повидимому, столько удовольствія, какъ въ томъ, что предосудительно. Онъ удивительно разсудителенъ, проницателенъ, много знаетъ; но если даже примется и за хорошее дѣло, то и тутъ непремѣнно сдѣлаетъ какую-нибудь глупость. Къ несчастію, это свойство глубоко лежитъ въ его натурѣ: хотя лягушка и можетъ нѣкоторое время жить на сушѣ, но тѣмъ неменѣе она все-таки — водяное животное.» — «Раболѣпный царедворецъ», какъ видимъ изъ слѣдующей выписки, не только упрекаетъ герцога за его сумасбродства, но и отказывается сопутствовать ему, потому что въ предшествовавшую поѣздку остался недоволенъ его поведеніемъ: «При этомъ прилагаю посланіе къ герцогу. Если одобрите, передайте его герцогу, выскажите ему все, не щадите его. Я хочу спокойствія, и хочу, чтобъ онъ зналъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло. Вы можете ему также передать, что я объявилъ вамъ, что никогда съ нимъ болѣе не поѣду. Сдѣлайте это такъ, какъ вамъ укажетъ ваша мудрость и кротость». Герцогъ вынужденъ былъ ѣхать одинъ, но потомъ друзья помирились и угроза осталась безъ выполненія. Въ письмѣ, писанномъ два мѣсяца спустя, мы находимъ слѣдующую фразу, которая свидѣтельствуетъ о происшедшемъ примиреніи. «Я долго и серьезно говорилъ съ герцогомъ. Самая богатая жатва въ этомъ мірѣ, моя милая, достается на долю драматическаго писателя. Мудрецы говорятъ: не осуждай другаго въ томъ, чего самъ не испыталъ». Позднѣе онъ опять ропщетъ, что герцогъ дѣлаетъ дурное даже при желаніи сдѣлать хорошее. «Богъ знаетъ, научится ли онъ когда-нибудь, что фейерверкъ днемъ не производитъ никакого эффекта. Не могу я вѣчно быть неотлучнымъ при немъ пугаломъ, а у другихъ онъ не спрашиваетъ совѣта и даже не сообщаетъ имъ своихъ намѣреній». Въ другомъ письмѣ онъ говоритъ: «Герцогиня любезна въ высшей степени, герцогъ также славный малый, — его можно было бы любить отъ всей души, еслибъ только не его сумасбродства, не отчаянная его отважность, которая способна даже доводить его друзей до равнодушія къ его скорбямъ и радостямъ. Удивительное чувство — имѣть друга, отъ котораго ежеминутно ожидаешь, что онъ или свихнетъ себѣ шею или сломитъ руку, или ногу, и наконецъ до такой степени свыкнуться съ этой возможностью, что относиться къ ней совершенно

спокойно при всемъ участіи къ другу.» Два дня спустя онъ писалъ: «Герцогъ ѣдетъ въ Дрезденъ. Онъ очень просилъ меня ѣхать вмѣстѣ съ нимъ, но я останусь здѣсь.... Приготовленія къ поѣздкѣ въ Дрезденъ совершенно не въ моемъ вкусѣ. Герцогъ дѣлаетъ ихъ на свой ладъ, что не всегда бываетъ хорошо. Я совершенно спокоенъ, потому что это неоправимо, и только радуюсь, что нѣтъ другаго государства, котораго судьба зависѣла бы отъ такихъ рукъ».

Такого рода разногласія между друзьями были неизбежны по мѣрѣ того какъ Гете начиналъ серьезнѣе смотрѣть на жизнь; но мы не должны забывать, что это были только случайныя, временныя вспышки, которыя въ сущности нисколько не измѣняли отношеній поэта къ герцогу. «Герцогъ—пишетъ Гете—повиненъ во многихъ сумасбродствахъ, но я охотно ихъ ему извиняю, вспоминая свои собственные». Онъ знаетъ, что каждую минуту, какъ только вздумаетъ, можетъ навсегда оставить Веймаръ, и это сознаніе себя свободнымъ миритъ его съ судьбой, хотя онъ теперь съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе убѣждается, что истинное его назначеніе—быть писателемъ и ничего болѣе. «Ничто не доставляетъ мнѣ такого наслажденія, какъ когда я напишу что-нибудь, что меня удовлетворяетъ».—«Я рожденъ быть частнымъ человѣкомъ, и не понимаю, какъ умудрилась судьба впутать меня въ управленіе государствомъ и такъ близко свести съ семьей государя». По мѣрѣ того, какъ уяснялось для него истинное его назначеніе, онъ чувствовалъ себя счастливѣе. Представьте себѣ, какія чувства должны были овладѣть имъ, когда онъ теперь, въ первый разъ по прошествіи десяти лѣтъ, перечелъ произведеніе своей юности,—Вертера. Онъ сдѣлалъ въ немъ нѣкоторыя измѣненія, преимущественно въ отношеніяхъ Альберта къ Лоттѣ, и помѣстилъ эпизодъ о крестьянницѣ, который изъ ревности лишаетъ себя жизни. Шелль въ своихъ замѣткахъ къ «Stein Korrespondenz» указываетъ на весьма любопытный фактъ: Гердеръ, помогавшій Гете при пересмотрѣ Вертера, сдѣлалъ то же самое замѣчаніе, которое двадцать два года позднѣе сдѣлалъ Наполеонъ, — онъ указалъ, какъ на ошибку, что Вертеръ лишаетъ себя жизни по двойственному мотиву: вслѣдствіе неудовлетвореннаго честолюбія и вслѣдствіе несчастной любви. Но вопреки мнѣнію Гердера и Наполеона

и вопреки мнѣнію самого Гете я въ этомъ не вижу никакой ошибки со стороны автора, о чемъ скажу подробно при описаніи свиданія Гете съ Наполеономъ.

## ГЛАВА IV.

### Сборы въ Италію.

Съ 1783 г. Гете все болѣе и болѣе погружается въ серьезные занятія. Онъ пересталъ уже быть «главнымъ предводителемъ всѣхъ обезьянъ», роется въ старыхъ книгахъ, въ архивахъ. Рожденіе наслѣднаго принца, наполнившее радостью весь Веймаръ, произвело въ герцогѣ замѣтную перемѣну: онъ сталъ серьезнѣе. Крещеніе новорожденного принца (5-го февраля 1783 г.) было великимъ событіемъ для Веймара. Гердеръ говорилъ проповѣдь, потомъ пѣлась кантата, сочиненная на этотъ случай Виландомъ. «Гердеръ говорилъ какъ Богъ», — такъ выражается Виландъ. Процессія съ факелами, всевозможнаго рода празднества, оды всевозможныхъ поэтовъ, свидѣтельствовали о радости народа. Только одинъ Гете ничего не написалъ по поводу этого торжества, и это, конечно, не можетъ быть приписано равнодушію: въ этомъ молчаніи сказалось великодушіе поэта, — всегда готовый съ балетомъ, оперой, или поэмой для чествованія дня рожденія двухъ герцогинь, Гете чувствовалъ теперь, что не слѣдуетъ ему вступать въ состязаніе съ другими Веймарскими писателями, — онъ зналъ, что его произведеніе, хотя и было бы худшимъ изъ всѣхъ, будетъ превознесено выше всѣхъ уже потому только, что вышло изъ-подъ его пера.

Герцогъ, гордясь, что сталъ отцемъ, пишетъ Мерку: «Вы не ошибаетесь, раздѣляя мою радость, — если и есть во мнѣ какіе хорошіе задатки, то они до сихъ поръ не имѣли точки опоры, а теперь у меня есть прочный крюкъ, на который я могу вѣшать свои картины. Съ помощью Гете и счастливой судьбы я постараюсь такъ рисовать, чтобъ потомство, если только хватитъ у меня силъ, могло сказать: «онъ былъ художникъ!» Съ этихъ поръ,

кажется, въ немъ произошла рѣшительная перемѣна, хотя онъ и жалуется на молчаливость своего Herr Kammerpräsident'a (Гете), котораго только и можно «вытащить» подаркомъ эстампа. И дѣйствительно этотъ Kammerpräsident сильно работаетъ, живетъ въ совершенномъ уединеніи, счастливый въ любви и совершенно погруженный въ свои занятія. Служебныя обязанности, за которыя онъ прежде принялся съ такимъ жаромъ, очевидно стали для него теперь въ тягость, тѣмъ болѣе, что ему становилось все яснѣе и яснѣе его истинное призваніе. Давнишнее желаніе видѣть Италію начинаетъ томить его съ болѣею силой, чѣмъ когда-либо. «Что всего радостнѣе (пишетъ онъ къ г-жѣ фонъ-Штейнъ въ октябрѣ 1783 г.),—я могу теперь сказать, что стою на прямомъ пути; съ этой минуты ничто не будетъ потеряно».

Въ поэмѣ Шпеннау, которая была написана въ этомъ же году, Гете живыми красками изображаетъ характеръ герцога, и это описаніе несомнѣнно свидѣтельствуетъ о происшедшей въ герцогѣ перемѣнѣ. Мы видѣли, какъ онъ отзывался о немъ въ своихъ письмахъ къ г-жѣ фонъ-Штейнъ, и намъ пріятно замѣтить, что эти отзывы не были «бросаніемъ камня изъ-за угла», такъ какъ онъ ихъ съ полной откровенностью высказываетъ и въ своей поэмѣ. «Поэма Ильменау»—сказалъ Гете Экерману—«изображаетъ, въ видѣ эпизода, эпоху, которая предшествовала нѣсколькими годами 1783 году, такъ что я могъ въ ней говорить о себѣ исторически и бесѣдовать съ своимъ собственнымъ прошлымъ я. Тамъ, какъ вы знаете, описывается ночная сцена послѣ одной изъ нашихъ безразсудныхъ охотъ въ горахъ. Мы построили у подошвы скалы маленькіе шатры и прикрыли ихъ еловыми вѣтвями, располагаясь такимъ образомъ провести ночь на голой землѣ; передъ шатрами развели огня, и принялись жарить и варить, что добыли на охотѣ. Кнебель, не выпускавшій трубки изъ рта, сидѣлъ подлѣ самаго огня и оживлялъ компанію шутками. между тѣмъ какъ фляжка съ виномъ переходила изъ рукъ въ руки. Долговязый Секендорфъ развалился подлѣ дерева и напѣвалъ себѣ подъ носъ разныя пѣсни. Нѣсколько въ сторонѣ лежалъ герцогъ и крѣпко спалъ. Самъ я сидѣлъ у тлѣвшихъ угольевъ, погруженный въ тяжелыя мысли о бѣдствіяхъ, причиненныхъ моими произведеніями». Вотъ какъ изображенъ герцогъ въ этой поэмѣ. «Кто можетъ сказать гусеницѣ, что бу-

дѣтъ ея пищею? Кто можетъ помочь куколѣ пробить ея скорлупу? Придетъ время, куколка сама пробьетъ свою скорлупу и полетитъ на лоно розы. Такъ точно и ему укажутъ года, куда направить свои силы. Теперь же, при горячемъ стремленіи къ истинѣ, въ немъ есть еще страсть къ заблужденію. Отвага влечетъ его вдаль, никакая скала ему не крута, никакой проходъ не тѣсенъ. Когда подстережетъ его какое злополучіе и ввергаетъ въ мученія, тогда болѣзненно напряженное возбужденіе порывисто мечетъ его изъ стороны въ сторону, но, переживъ бурную невзгону, онъ опять является такимъ же неугомоннымъ, какимъ былъ прежде. Въ свѣтлые дни онъ сумрачно дикъ, необузданъ, но нельзя сказать, чтобъ весель, и, измучившись душой и тѣломъ, засыпаетъ на жесткомъ ложѣ».

Такъ какъ рѣчь идетъ объ Ильменау, то кстати упомянемъ, что до сихъ поръ еще показываютъ путешественникамъ начерченное имъ въ сентябрѣ того года превосходное стихотвореніе на стѣнѣ одной изъ хижинъ на горѣ Гикельганъ:

Ueber allen Gipfeln  
Ist Ruh,  
In allen Wipfeln  
Spürest du  
Kaum einen Hauch;  
Die Vöglein schweigen in Walde;  
Warte nur, balde  
Ruhest du auch.

(На вершинахъ тишина; въ воздухѣ ни малѣйшаго дуновенія; птицы умолкли въ лѣсу; подожди немного, скоро отдохнешь и ты).

Обязанность контролера причиняла ему не мало непріятностей, такъ какъ всѣ его усилія ограничить расходы герцога опредѣленными предѣлами оказывались тщетны. Подобная аккуратность въ расходахъ всегда признавалась почти невозможной для государей (а часто невозможной даже и для частнаго человѣка) и вовсе не соотвѣтствовала характеру герцога. Виландъ писалъ къ Мерку: «Гете прилагаетъ всѣ старанія къ исполненію своихъ обязанностей, — онъ въ истинномъ смыслѣ *l'honnête homme à la cour* и видимо стра-

даетъ и душой и тѣломъ отъ обузы, которую принялъ на себя ради нашего блага. Мнѣ иногда бываетъ даже больно видѣть, какъ онъ старается принять веселый видъ, между тѣмъ какъ грусть, подобно червю, точить его сердце. Онъ заботится о своемъ здоровьѣ сколько можетъ, и дѣйствительно оно ему очень нужно». Подобные слухи, какъ надо предполагать, дошли до его матери, такъ какъ въ одномъ изъ писемъ къ ней, относящихся къ этому времени, онъ выражаетъ сожалѣніе, что эти «пустые толки ее потревожили». — «Вы никогда и не знали меня такимъ здоровымъ, каковъ я теперь, а если я сдѣлался серьезенъ, то это весьма естественно: не можетъ же человѣкъ не быть серьезенъ, когда занятъ серьезными дѣлами и особенно если отъ природы имѣетъ склонность къ задумчивости и озабоченъ стремленіями къ добруму и справедливому.... Я, по обыкновенію, чувствую себя превосходно, исправно работаю; пользуюсь обществомъ добрыхъ друзей, и остается еще довольно времени и силъ для любимыхъ моихъ занятій. Я не могу придумать, какое лучшее мѣсто могъ бы я имѣть,—я здѣсь вижу большой свѣтъ, и знаю, что происходитъ за горой въ долинѣ. Будьте довольны моимъ теперешнимъ положеніемъ. Если мнѣ придется оставить міръ прежде васъ, вы не будете краснѣть за мою жизнь,—я оставлю хорошее имя и добрыхъ друзей, и для васъ останется утѣшеніе, что я не весь умеръ. Будьте спокойны, судьба, можетъ быть, дастъ намъ пріятную старость, и мы будемъ ей за это благодарны».

Нельзя не замѣтить въ этихъ успокоительныхъ увѣреніяхъ нѣкоторой грусти, которая подтверждаетъ справедливость замѣчаній Виланда. Герцогъ, заботясь о его здоровьѣ, уговорилъ его, въ сентябрѣ этого года, совершить поѣздку на Гарцъ. Онъ отправился вмѣстѣ съ Фридрихомъ фонъ-Штейнъ, старшимъ сыномъ своей возлюбленной, которому было тогда десять лѣтъ. Онъ любилъ его какъ сына. «Его любовь ко мнѣ и заботливость не знали границъ» — говоритъ Штейнъ, съ благодарностію вспоминая тѣ счастливые дни. Онъ оставлялъ его у себя на нѣсколько мѣсяцевъ, училъ его, игралъ съ нимъ, образовывалъ его. Любовь къ матери въ этомъ случаѣ придавала особую силу его природной привязанности къ дѣтямъ. Отношенія къ маленькому фонъ-Штейну представляютъ прелестный эпизодъ въ его пестрой Веймарской

жизни. Обстоятельства отказали ему въ женѣ и дѣтяхъ и онъ, среди служебныхъ заботъ и ученыхъ изслѣдованій, вкушалъ радости отца въ попеченіи о сынѣ любимой женщины.

Поѣздка въ Гарцъ возстановила его здоровье и расположеніе духа. Особенно пріятны ему были бесѣды съ знаменитымъ анатомомъ Земмерингомъ и съ другими учеными, съ которыми онъ видѣлся во время этой поѣздки. Возвратясь въ Веймаръ, онъ продолжалъ «Вильгельма Мейстера», который былъ уже написанъ до четвертой книги, принялся снова за служебныя обязанности, все чаще и чаще видался съ Гердеромъ, — который писалъ тогда свои *Ideen*, — и наслаждался улыбками своей возлюбленной.

1784-й годъ начался перемѣнами въ театральномъ мірѣ. Любительскіе спектакли, доставлявшіе такъ много занятій и наслажденій, теперь прекратились, и въ Веймаръ была ангажирована труппа актеровъ. Ко дню рожденія герцогини Гете приготовилъ маскарадное шествіе: танецъ планетъ (*Planetentanz*). Въ это же время онъ готовилъ рѣчь по случаю открытія работъ въ рудникахъ Ильменау, что особенно радовало его, какъ осуществленіе давнишняго желанія, которое не покидало его съ самаго пріѣзда въ Веймаръ. Онъ употреблялъ всѣ усилія, чтобы возобновить ихъ разработку, и послѣ многихъ препятствій его усилія наконецъ увѣнчались успѣхомъ. Открытіе работъ послѣдовало 24-го февраля. Рассказываютъ, что по случаю этой рѣчи съѣхались всѣ важныя лица изъ окрестныхъ мѣстностей, — сначала ораторъ говоритъ очень плавно, потомъ вдругъ остановился, память измѣнила ему и онъ, казалось, совершенно забылъ продолженіе своей рѣчи. Другой на его мѣстѣ пришелъ бы въ замѣшательство — говоритъ рассказчикъ, — но онъ нисколько не смутился, устоялъ пристально свои взоры на многочисленныхъ слушателей и спокойно оставался такимъ образомъ по крайней мѣрѣ десять минутъ; его личность производила такое впечатлѣніе на слушателей, что въ теченіе всего этого весьма продолжительнаго и почти даже смѣшнаго перерыва сохранялась невозмутимая тишина. Наконецъ онъ сталъ продолжать рѣчь и докончилъ ее, не запинаясь и такъ спокойно, какъ будто ничего и не случилось.

Остеологическія занятія привели его къ открытію, что у че-

ловѣка есть также межчелюстная кость, какъ и у животныхъ <sup>1)</sup>. Въ одной изъ слѣдующихъ главъ <sup>2)</sup> мы рассмотримъ историческое и анатомическое значеніе этого открытія, а теперь ограничимся только его біографическимъ значеніемъ. До этого открытія считали, что у человѣка совершенно особое строеніе, отличное даже отъ строенія высшихъ разрядовъ животныхъ, такъ какъ у него (какъ ошибочно предполагали) нѣтъ межчелюстной кости. Гете, вѣря въ единство природы и стремясь его постичь, держался въ своихъ изслѣдованіяхъ той мысли, что подобнаго различія между строеніемъ человѣка и строеніемъ животныхъ въ дѣйствительности не существуетъ, и результатъ изслѣдованій вполне подтвердилъ его мысль. Въ это время Гердеръ также старался доказать отсутствіе всякаго различія въ строеніи человѣка и животныхъ; и Гете, увѣдомляя Кнебеля о своемъ открытіи, писалъ, что имѣетъ нѣчто сказать въ подкрѣпленіе Гердера. «Человѣкъ состоитъ въ самомъ близкомъ родствѣ съ животными. Координація цѣлаго дѣлаетъ каждое существо тѣмъ, что оно есть, и человѣкъ есть человѣкъ на столько же по строенію своей верхней челюсти, какъ и по строенію мизинца на ногѣ. Каждое существо есть только нота великой гармоніи, которую можно изучать только въ Цѣломъ, а какая-либо часть этой гармоніи, взятая въ отдѣльности, есть не болѣе какъ мертвая буква. Съ этимъ взглядомъ написалъ я небольшой трактатъ,—въ этомъ, собственно говоря, и заключается весь интересъ этого трактата».

Помянутое открытіе имѣетъ значеніе, какъ свидѣтельство его стремленій постичь природу въ ея единствѣ. Оно было прелюдией къ открытію метаморфозы растений и позвоночной теоріи черепа, такъ какъ всѣ три открытія имѣютъ основой одинъ и тотъ же взглядъ на природу. Въ это же время онъ съ большимъ рвеніемъ занимался ботаникой. Лишней былъ его постояннымъ спутникомъ во

---

<sup>1)</sup> Такъ онъ пишетъ Гердеру объ этомъ, 27 марта 1784 года: Спѣшу увѣдомить васъ о томъ счастьи, которое выпало на мою долю. Я открылъ ни золота, ни серебро, но то, что доставило мнѣ невыразимую радость, *os intermaxillare* въ человѣкѣ! Я сравнивалъ черепъ человѣка съ черепами животныхъ вмѣстѣ съ Ладеромъ и напалъ на этотъ слѣдъ, смотрите вотъ онъ! *Aus Herder's Nachlass*, I, 75.

<sup>2)</sup> См. далѣе въ главѣ: Поэтъ какъ Ученый Человѣкъ



всѣхъ поѣздкахъ и онъ съ большою жадностію изучалъ всѣ наблюденія ботаниковъ. «Мои геологическія занятія идутъ весьма успѣшно,—писалъ онъ къ г-жѣ фонъ-Штейнъ. Я вижу гораздо болѣе, чѣмъ мои спутники, потому что открылъ нѣкоторые основные законы формаци, которыя держу въ тайнѣ, и съ помощію ихъ могу лучше наблюдать и судить о феноменахъ.... Всѣ удивляются моему уединенному образу жизни; это—загадка для нихъ, потому что они не знаютъ, съ какими удивительными невидимыми существами нахожусь я въ общеніи.» Видѣ зебры, которая была тогда въ Германіи новостью, приводилъ его въ восторгъ. — Черепъ слона былъ для него источникомъ неизсякаемыхъ удовольствій. Люди, зарывшіеся въ книгахъ и чьихъ мысли едва переступали за порогъ литературы, отзывались съ сарказмомъ и съ соболѣзнованіемъ о такой, по ихъ мнѣнію, бесполезной тратѣ времени, — они не понимали, что въ изученіи мертвыхъ костей можетъ быть столько же поэзіи, сколько въ изученіи этнихъ скелетовъ прошедшаго, исторіи и классиковъ. Тутъ все зависитъ отъ свойствъ ума: есть умы, въ которыхъ нѣсколько старыхъ костей могутъ пробудить мысли о великихъ органическихъ процессахъ природы, не уступающія глубиной и возвышенностію тѣмъ мыслямъ, какія въ умѣ историка возбуждаетъ созерцаніе памятниковъ давноминувшаго. Такъ великій Боссюэтъ промѣнялъ блестящій дворъ Людовика XIV на анатомическій театръ Дювернэ, и результатомъ этихъ трудовъ былъ трактатъ: *De la Connaissance de Dieu*<sup>1)</sup>. Но есть умы, и они составляютъ большинство, для которыхъ высохшія кости суть высохшія кости и ничего болѣе. «Я не могу тебѣ выразить, какъ легко теперь читаю я книгу Природы, — пишетъ Гете; мое упражненіе въ складахъ принесло плодъ и теперь я испытываю невыразимое наслажденіе. Я встрѣчаю много новаго, но не нахожу ничего неожиданнаго; мнѣ все подѣ-стать, потому что у меня нѣтъ никакой предвзятой системы, и я стремлюсь только къ чистой истинѣ». Чтобы облегчить себѣ, какъ онъ выражается, свое чтеніе по складамъ, онъ начиналъ

---

<sup>1)</sup> Въ этомъ сочиненіи находится небольшое разсужденіе объ анатоміи, которое свидѣтельствуетъ о терпѣніи богословскаго занятія.

изучать алгебру, но математика была совершенно не сродна его уму и занятія алгеброй продолжались не долго.

Въ тѣ дни наука и любовь поглощали все его бытіе. Въ одномъ изъ многочисленныхъ писемъ къ г-жѣ фонъ-Штейнъ онъ пишетъ: «Я чувствую, что ты всегда со мной; твой образъ никогда не оставляетъ меня. Ты для меня есть мѣрило всѣхъ женщинъ, даже всѣхъ людей вообще; твоей любовью мѣрю я судьбу. Я не хочу этимъ сказать, чтобы любовь къ тебѣ заслоняла мнѣ весь остальной міръ,—напротивъ, она освѣщаетъ мнѣ остальной міръ. Я вижу ясно, каковы люди, какъ они думаютъ, чего они желаютъ, къ чему стремятся, чему радуются, воздаю каждому должное, и, сравнивая себя съ ними, въ душѣ радуюсь, что обладаю такимъ сокровищемъ».

Герцогъ увеличилъ его жалованье на 200 талеровъ, и годовой его доходъ простирался теперь до 3200 талеровъ, такъ-какъ онъ получалъ съ отцовскаго имѣнія 1800 талеровъ. Ему нужны были деньги какъ для своихъ занятій, такъ и для многочисленныхъ благотвѣній. Читатель не забылъ его великодушіе къ Крафту. Въ одномъ письмѣ къ своей возлюбленной онъ восклицаетъ: «Дай Богъ, чтобы я съ каждымъ днемъ жилъ разсчетливѣе, тогда я бы могъ болѣе дѣлать для другихъ». Читатель знаетъ, что это не брошенная на вѣтеръ фраза. Всѣ его письма свидѣлствуютъ, какое онъ испытывалъ страданіе при видѣ нуждъ народа. «Міръ тѣсенъ,—пишетъ онъ;—не всякій уголокъ земли годится для каждаго дерева; люди влачатъ печальную жизнь, и становится стыдно, видя себя въ благополучіи среди столькихъ тысячъ нуждающихся. Часто слышимъ мы, что земля бѣдна и съ каждымъ днемъ становится бѣднѣе; но мы отчасти не вѣримъ этому, а отчасти стараемся прогонять отъ себя такія мысли, когда истина вдругъ неотразимо предстаетъ предъ глаза и видишь зло несправимое, и это зло все растетъ!» Что онъ дѣлалъ все возможное, чтобы облегчить положеніе народа, и помогалъ, насколько хватало силъ, всѣмъ, кого зналъ въ бѣдственномъ положеніи,—объ этомъ съ поразительнымъ единодушіемъ свидѣлствуютъ всѣ сколько-нибудь близко знавшіе его жизнь. Если онъ не писалъ дионрамбъ свободѣ, если не былъ восторженнымъ патриотомъ, то во всякомъ случаѣ этому причиной не бездушіе.

Уединенная трудовая жизнь Гете повлияла отчасти на тонъ Веймарскаго общества. Онъ сталъ рѣдко показываться при дворѣ и его отсутствіе было весьма чувствительно, такъ что герцогиня Амалія жаловалась, что всѣ спятъ. Герцогъ также находилъ, что общество стало скучно, мужчины пережили свою юность, а женщины повыходили замужъ. Вліяніе друга сильно сказывалось въ герцогѣ и онъ видимо становился серьезнѣе съ каждымъ днемъ, сталъ даже заниматься естественными науками, какъ это видно изъ его писемъ. Гердеръ, работавшій въ то время надъ своимъ знаменитымъ произведеніемъ, также часто входилъ въ идеи Гете и все болѣе сближался съ нимъ. Около этого времени пріѣзжалъ въ Веймаръ Якоби, радостно свидѣлся съ своимъ старымъ другомъ, но разстался съ нимъ глубоко огорченный. Онъ былъ занятъ въ это время полемикой о спинозизмѣ Лессинга и хотѣлъ вовлечь въ нее Гете, но тотъ отвѣчалъ весьма характеристически: «Прежде, чѣмъ писать *мета та физика*, я долженъ уяснить себя *физикъ*». Всякая полемика была противна натурѣ Гете: «Еслибъ даже самъ Рафаэль разрисовалъ ее, еслибъ даже самъ Шекспиръ ее драматизировалъ, то и тогда едвали я получилъ бы къ ней расположеніе». Притомъ полемика, которую велъ Якоби, была вовсе не такого рода, чтобъ побѣдить это перасположеніе. Гете не только не одобрялъ тона его полемики, но и не раздѣлялъ его мнѣній. «Когда самоуваженіе высказывается въ презрѣніи къ другому, то какъ бы ни былъ низокъ этотъ другой, оно всегда имѣетъ въ себѣ нѣчто отталкивающее. Только человѣкъ легкомысленный можетъ унижать, презирать другихъ, превознося самого себя; но человѣкъ, дѣйствительно уважающій самого себя, не можетъ, мнѣ кажется, относиться къ другимъ съ презрѣніемъ. И какое, въ самомъ дѣлѣ, имѣемъ мы основаніе превозносить себя надъ другими». — «Тебѣ есть въ чемъ позавидовать, — говорилъ онъ Якоби, — у тебя есть даже богатство, дѣти, сестра, друзья и проч., и проч., и проч. Но, наградивъ тебя такими благами, Богъ въ тоже время наказалъ тебя метафизикой. Меня же Богъ благословилъ наукой, чтобы я могъ находить счастье въ созерцаніи Его дѣяній!» Весьма характеристичны эти слова: «Ты говоришь, что мы можемъ только вѣрить въ Бога, скажу тебѣ на это: я хочу видѣть (schauen). Спиноза, говоря о *sciencia intuitiva*, сказалъ: Нос *cogno-*

scendi genus procedit ab adequata idea essentiae formalis quorundam Dei attributorum ad adequatam cognitionem essentiae rerum,—эти немногія слова дали мнѣ мужество посвятить всю свою жизнь на совершаніе предметовъ, мнѣ доступныхъ, о которыхъ я могу надѣяться составить себѣ истинное понятіе, и при этомъ ничуть не тревожусь, какъ далеко и куда можетъ это завести меня». Гете не раздѣлялъ мнѣнія Якоби и его сторонниковъ, утверждавшихъ, что Спиноза былъ атеистъ,—и конечно, Гете былъ правъ. Онъ говорилъ, что Спиноза былъ самый теистическій человѣкъ изъ всѣхъ текстовъ, самый христіаннѣйшій изъ всѣхъ христіанъ — *theissimum et christianissimum*.

Несмотря, однакожъ, на все различіе въ мнѣніяхъ, Гете постоянно питалъ большую симпатію къ Якоби, какъ къ старому своему другу. Иначе было съ Лафатеромъ. Гете былъ съ нимъ въ отношеніяхъ весьма дружескихъ и никакое различіе въ мнѣніяхъ не могло ослабить этой дружбы, пока наконецъ поповскій элементъ не сказался въ Лафатерѣ со всей рѣзкостью и не заволокъ его ума религиозными предрасудками до такой степени, что онъ началъ пророчествовать, увѣровалъ въ Калиостро и въ его чудеса, восклицая: «Кто могъ бы сравниться въ величіи съ этимъ человѣкомъ, еслибъ только онъ имѣлъ истинное понятіе объ Евангеліи?» Онъ ѣздилъ нарочно въ Страсбургъ, чтобъ обратить на путь истинный этого архи-обманщика, но его усилія не увѣнчались успѣхомъ. «Когда въ великомъ человѣкѣ есть темный уголъ, то этотъ уголъ страшно темень,—писалъ Гете о Лафатерѣ въ 1782 году.... «Весьма тонкія, но нерасторжимыя узы соединяють въ Лафатерѣ высокій умъ съ самымъ ненавистнымъ предрасудкомъ,—

Wie verfährt die Natur, um Hohes und Niedres im Menschen  
Zu verbinden? Sie stellt Eitelkeit zwischen hinein.»

(Какъ дѣлаетъ природа, чтобъ соединить въ одномъ человѣкѣ высокое и низкое? Она для этого употребляетъ тщеславіе.)

Одного различія въ мнѣніяхъ было для Гете недостаточно, чтобы разойтись съ другомъ, но какъ только ему уяснилась лицемѣрная натура Лафатера, онъ отшатнулся отъ него и дружба ихъ кончилась.

Научныя его занятія теперь расширились микроскопическими наблюденіями: онъ слѣдилъ за изслѣдованіями Глейхена и знако-

мился съ чудесами міра инфузорій. Рисунки микроскопическихъ животныхъ онъ посылалъ къ г-жѣ фонъ-Штейнъ. Въ это время писалъ онъ къ Якоби: «Ботаника и микроскопъ суть главные мои враги, съ которыми я теперь борюсь. Живу я въ совершенномъ уединеніи, вдали отъ всего свѣта, и глухъ ко всему, какъ рыба». Занятія его были весьма многосторонни. Онъ изучалъ и минералогію и остеологію и ботанику, «углублялся въ Спинозу». Можно было бы подумать, что при такой многосторонности занятій поэзія была совершенно отложена въ сторону, еслибъ мы не знали, что въ это же время работалъ онъ надъ «Вильгельмомъ Meisterомъ» и довелъ его до пятой книги,—написалъ *Scherz, List und Rache*, начерталъ планъ большой религіозно-ученой поэмы *Geheimnisse*, окончилъ два дѣйствія *Elpenor*, кромѣ того написалъ много мелкихъ стихотвореній. Между послѣдними особенно замѣчательны двѣ пѣсни въ «Вильгельмѣ Meisterѣ»: *Kennst du das Land* и *Nur wer die Sehnsucht kennt*, которыя ясно свидѣтельствуютъ о его стремленіи въ Италію. Онъ приготовлялся къ этому путешествію, никому не сообщая о своемъ намѣреніи, и учился Итальянскому языку. Въ это же время принялся онъ за пересмотръ своихъ произведеній для втораго изданія, при чемъ ему помогали Виландъ и Гердеръ.

Любовь, дружба, занятія,—цѣли, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе уяснявшіяся,—маленькій фонъ-Штейнъ, къ которому онъ питалъ чувство отца,—все это, казалось бы, должно было удерживать его въ Веймерѣ а между тѣмъ, какъ мы видимъ, онъ неудержимо стремится за Альпы. Что же влекло его туда? Италія была мечтой его юности,—онъ видѣлъ въ ней страну, гдѣ томившая его потребность самообразованія должна найти богатый матеріалъ и прочную основу. Онъ ясно сознавалъ теперь, что рожденъ быть поэтомъ и жаждалъ уединиться въ страну поэзіи.

Въ іюлѣ 1786 г. онъ отправился вмѣстѣ съ герцогомъ, Гердеромъ и г-жей фонъ-Штейнъ въ Карлсбадъ, и въ это время пересматривалъ свои сочиненія для новаго изданія. Эта работа, повидимому, еще болѣе усилила его стремленія въ Италію. Когда Гердеръ и г-жа фонъ-Штейнъ уѣхали обратно въ Веймаръ, оставивъ его одного съ герцогомъ въ Карлсбадѣ, то онъ приступилъ къ окончательнымъ приготовленіямъ къ путешествію, тщательно

скрывая отъ всѣхъ свое намѣреніе, за исключеніемъ герцога, отъ котораго ему необходимо было имѣть дозволеніе. Впрочемъ даже и герцогу онъ не открывалъ вполнѣ своихъ намѣреній. «Простите, — писалъ онъ къ нему, — если при отъѣздѣ я говорилъ неопредѣленно о своемъ путешествіи и какъ долго оно продолжится. Я еще и самъ не знаю, что будетъ со мною. Вы счастливы, вы идете по желанному пути, который сами себѣ избрали. Ваши дѣла въ хорошемъ порядкѣ и вы конечно позволите мнѣ заняться теперь своими собственными дѣлами, такъ какъ вы и сами нерѣдко напоминали мнѣ объ этомъ. Дѣла не требуютъ въ настоящее время моего присутствія, они находятся въ такомъ положеніи, что нѣкоторое время могутъ идти очень хорошо своимъ чередомъ и безъ меня, потому я прошу васъ дать мнѣ отпускъ на неопредѣленное время». Онъ говоритъ, что ему необходимо для умственного здоровья перенестись на нѣкоторое время въ міръ, гдѣ его не знаютъ, и проситъ никому не говорить объ этомъ. «Искренно желаю вамъ всего хорошаго и прошу васъ сохранить вашу любовь ко мнѣ. Повѣрьте мнѣ, что стремясь сдѣлать свое существованіе полнымъ, я при этомъ имѣю въ виду полнѣе, чѣмъ до сихъ поръ, наслаждаться имъ вмѣстѣ съ вами».

Такъ писалъ онъ герцогу 2-го сентября 1786 г., и на другой день уѣхалъ изъ Карлсбада. Его слѣдующее письмо къ герцогу начинается такъ: «Еще одно дружеское слово съ дороги, безъ числа и мѣста. Скоро развяжу я свой языкъ и скажу, что дѣлаю. Какъ бы меня обрадовало теперь письмо отъ васъ». Въ концѣ письма онъ говоритъ: «Конечно надо, чтобъ всѣ думали, что вы знаете, гдѣ я». Въ слѣдующемъ письмѣ онъ говоритъ: «Я долженъ еще нѣкоторое время держать въ секретѣ, гдѣ я».

---

## ГЛАВА V.

---

### Италія.

Наконецъ давнишнее его желаніе исполнилось: онъ въ Италіи. Одинъ, защищенный чужимъ именемъ (онъ путешествовалъ подѣ

именемъ купца Миллера) отъ всѣхъ безпокойствъ, которыхъ иначе трудно было бы избѣжать знаменитому автору Вертера при многочисленности поклонниковъ, онъ проѣзжалъ рощи апельсинныхъ деревьевъ, виноградники, города, осматривалъ статуи, картины, зданія, чувствуя себя въ этомъ новомъ мірѣ какъ-бы дома, на родной сторонѣ. Страстное желаніе Миньоны, зародившееся еще въ юности, росло вмѣстѣ съ годами, не ослабляясь честолюбивыми стремленіями зрѣлаго возраста, и дошло наконецъ до болѣзненной тоски. Последнее время предъ отъѣздомъ въ Италію онъ не могъ видѣть итальянскаго ландшафта, не могъ читать латинской книги,—Гердеръ говоритъ, что кромѣ Спинозы не видалъ у него въ рукахъ ни одного латинскаго автора: все, напоминавшее Италію, сильно волновало его. Тоска по Италіи превратилась у него въ душевный недугъ, въ болѣзненную тоску по родинѣ, и только Итальянское небо могло излечить его отъ этого недуга. Письмъ Миньоны «Kennst du das Land», написанная передъ отъѣздомъ въ Италію, свидѣтельствуетъ, до какого экстаза доходили его представленія объ этой странѣ.

Душевное его безпокойство теперь улеглось. Кругомъ него слышится итальянская рѣчь, надъ нимъ—итальянское небо; передъ нимъ итальянское Искусство. Онъ чувствуетъ въ себѣ какъ будто возрожденіе къ новой жизни. Все его существо прохвачено теплотой и свѣтомъ. Передъ нимъ разстилается жизнь спокойная, сіяющая, сильная. Онъ видитъ передъ собой великія цѣли и чувствуетъ въ себѣ силы для достиженія этихъ цѣлей.

Онъ оставилъ намъ описаніе этого путешествія. Нельзя не признать, что хотя въ *Italienische Reise* и встрѣчаются мѣста, которыя по всей справедливости могутъ быть причислены къ самымъ лучшимъ страницамъ, когда либо написаннымъ объ Италіи, но говоря вообще оно далеко не соответствуетъ тому, что мы вправѣ были отъ него ожидать. Впрочемъ это нисколько не должно насъ удивлять, если мы примемъ во вниманіе, при какихъ условіяхъ писалось это сочиненіе. Конечно Гете былъ болѣе способенъ, чѣмъ кто-нибудь, написать истинно великое произведеніе въ этомъ родѣ, еслибы серьезно принялся за подобный трудъ; но онъ писалъ его не по возвращеніи, когда все было еще живо въ его памяти и онъ былъ въ полномъ цвѣтѣ силъ, а уже въ

томъ возрастѣ, когда силы его были въ упадкѣ,—и какъ писалъ онъ!—небрежно, безъ малѣйшаго энтузіазма сшивалъ на скорую руку выдержки изъ писемъ, которыя были имъ писаны изъ Италіи къ г-жѣ фонъ-Штейнъ, къ Гердеру и къ другимъ. Еслибы онъ просто перепечаталъ письма, какъ они были, то мы нашли бы въ нихъ, безъ сомнѣнія, болѣе интересное и болѣе живое описаніе этого путешествія, чѣмъ какое находимъ въ ихъ передѣлкѣ, утомляющей насъ различными мелочными подробностями, которыя въ письмахъ могли быть совершенно уместны, а тутъ утратили всю свою живость и привлекательность. *Italienische Reise* не имѣетъ ни качествъ серьезнаго труда, ни привлекательности простаго собранія писемъ. Оно представляетъ только тотъ интересъ, что знакомитъ насъ съ тѣмъ, какого рода вліяніе имѣла Италія на умъ поэта. Очевидно, что это вліяніе было слишкомъ глубоко, чтобъ могло сразу найти себѣ выраженіе. Новая жизнь такъ всецѣло охватила поэта, что онъ не имѣлъ времени анализировать и записывать свои впечатлѣнія.

Замѣчательно, что даже и во время этого путешествія всякаго рода геологическія и метеорологическія факты возбуждали въ немъ неослабный интересъ. Многіе относились къ этому съ насмѣшкой, какъ будто поэту не прилично и заниматься ничѣмъ инымъ, какъ только писаніемъ стиховъ,—находили понятнымъ, весьма свойственнымъ поэту, когда онъ въ Виченцѣ пришелъ въ такой восторгъ отъ произведеній Палладія, что принялся изучать архитектуру, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ намѣревался сдѣлаться архитекторомъ, но съ недовольной усмѣшкой рассказывали, какъ поэтъ засѣлъ въ Падую «подъ корнями, надъ капустой», углубясь въ какую-то смутную мысль о типическомъ растеніи. Впрочемъ я готовъ согласиться, что это недовольство на поэта не было совершенно лишено основанія. Давнишнее пламенное его желаніе наконецъ исполнилось: онъ въ Италіи, а между тѣмъ мы видимъ его почти совершенно чуждымъ всякаго литературнаго энтузіазма! Италія есть страна исторіи, литературы, живописи, музыки; тамъ все говоритъ о прошломъ, все полно біографическаго и артистическаго интереса. Гете восторгается климатомъ, восторгается красотами природы, но остается почти совершенно глухъ и къ литературѣ, и къ музыкѣ, и къ исторіи. Онъ проѣзжаетъ Верону



даже и не вспомнивъ о Ромео и Юліи, проѣзжаетъ Феррару, даже и не вспомнивъ объ Аріостѣ, и едва только мимоходомъ упоминаетъ о Тассѣ. Въ этой странѣ прошедшаго его привлекаетъ только настоящее. Изображеніе распятій, мученичествъ, изнуренныхъ монаховъ, весь этотъ страдальческій пафосъ, которымъ переполнены картинныя галереи Италіи, внушаетъ ему только отвращеніе, — только на произведенія Рафаэля останавливается онъ съ наслажденіемъ, потому что находитъ въ нихъ болѣе здоровыя красоты и болѣе человѣческія мысли. Мы видимъ въ немъ полное отсутствіе историческаго пониманія, которое бы смягчало ненависть къ суевѣрію созерцаніемъ страшной религіозной борьбы, облекшейся, въ своемъ развитіи, въ эти суевѣрныя, отталкивающія формы. Онъ относится къ произведеніямъ итальянской живописи только какъ къ настоящему, и такъ какъ мотивы ихъ ему не по-сердцу, то онъ ничего не чувствуетъ къ нимъ кромѣ отвращенія. Но не такъ отнесся бы къ нимъ человѣкъ съ историческимъ пониманіемъ: при всемъ отвращеніи къ идеямъ, которыя въ нихъ выражаются, онъ сдумалъ бы оцѣнить эти идеи по тому значенію, какое онѣ имѣютъ въ историческомъ развитіи человѣчества.

Вы не найдете въ *«Italienische Reise»* ни литературы, ни исторіи, никакого поэтическаго энтузіазма, никакого краснорѣчія, даже при описаніи Венеціи, гдѣ поэтъ въ первый разъ увидалъ море. Нельзя не удивляться такой сдержанности. Неужели и въ самомъ дѣлѣ видъ моря, представъ въ первый разъ предъ глаза поэта, не взволновалъ глубоко его души! Но хотя *Italienische Reise* не блеститъ краснорѣчіемъ, каждая строка въ нихъ согрѣта высокимъ счастіемъ. Въ Венеціи, напримѣръ, поэтъ переживалъ, какъ видно, минуты высокаго наслажденія, — названіе каждой мѣстности переставало быть для него *именемъ* и дѣлалось *картиной*. Каналы, лагуны, узкія улицы, великолѣпныя зданія, шумная толпа, — все было для него неистощимымъ источникомъ наслажденій. Изъ Венеціи онъ быстро проѣхалъ чрезъ Феррару, Болонью, Флоренцію, Ареццо, Перуджію, Фолиньо, Сполето, и 28-го октября пріѣхалъ въ Римъ.

Въ Римѣ пробылъ онъ четыре мѣсяца. Удовольствія и занятія здѣсь шли у него рука объ руку. «Теперь какъ будто ожили передо мной всѣ мечты моей юности. Куда ни оглянусь, все старыя знакомыя, все

именно такъ, какъ я воображалъ себѣ, и между тѣмъ, все для меня ново. Тоже могу сказать и о моихъ наблюденіяхъ и о моихъ мысляхъ. Новыхъ мыслей у меня нѣтъ, но старыя стали такъ опредѣленны, живы, пришли въ такую тѣсную связь между собой, что ихъ можно принять за новыя». Римъ такъ богатъ, что съ перваго раза ослѣпляетъ своими богатствами; въ немъ надо долго жить, чтобы каждый отдѣльный предметъ выяснился изъ общей массы. Гете жилъ здѣсь въ обществѣ нѣсколькихъ нѣмецкихъ художниковъ, въ числѣ которыхъ были Анжелика Кауфманъ, Типбейнъ, Морицъ. Они сохраняли его инкогнито, насколько могли, хотя его присутствіе въ Римѣ и не могло долго оставаться въ совершенной тайнѣ. Впрочемъ онъ вполне достигъ главной цѣли своего инкогнито: его не беспокоили ухаживанья горячихъ поклонниковъ. Онъ пріѣхалъ въ Италію не для того, чтобы пожинать лавры, а для самообразованія, и ревностно стремился къ этой цѣли.

Среди великихъ памятниковъ прошедшаго, на землѣ вѣчнаго города, каждое дуновеніе вѣтерка съ Семи Холмовъ должно было навѣвать на поэта мысли о прошлыхъ судьбахъ человечества. «Даже Римскія древности,—пишетъ онъ—начинаютъ интересоваться меня. Исторія, надписи, монеты, что прежде нисколько меня не занимало, получило теперь въ моихъ глазахъ великій интересъ. Здѣсь читаешь исторію совершенно иначе, чѣмъ гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ,—не только Римскую исторію, но и всемірную исторію». Впрочемъ не видно, чтобы онъ и здѣсь, въ Римѣ, много занимался исторіей. Его главнымъ образомъ занимало искусство. Притомъ его не оставляла страсть къ рисованью и чѣмъ болѣе предавался онъ этой страсти, тѣмъ рѣзче выдавалось отсутствіе въ немъ всякой способности къ живописи. Ревностно посѣщалъ онъ храмы и галереи, изучалъ Винкельмана, бесѣдовалъ объ искусствѣ съ нѣмецкими художниками и, къ сожалѣнію, много тратилъ драгоцѣннаго времени на безполезныя усилія усовершенствоваться въ живописи. Впрочемъ всѣ эти занятія не помѣшали ему окончить версификацію *Ифигеніи*. Онъ читалъ ее въ нѣмецкомъ кружкѣ, и только одна Анжелика оцѣнила ее, другіе же ожидали отъ него что-нибудь болѣе гениальное, что-нибудь въ родѣ *Геца*. Не болѣе успѣха имѣла *Ифигенія въ стихахъ* и въ Вей-

марѣ, гдѣ, какъ мы выше говорили, ей предпочитали *Ифигенію въ прозѣ*.

Итакъ, искусство теперь сильно и многосторонне охватило поэта, но не поглотило однако всей его многосторонней дѣятельности. Предъ нимъ раскрывались новыя чудныя страницы природы, его не покидала мысль раскрыть тайну растительныхъ формъ и онъ задумчиво блуждалъ по окрестнымъ садамъ Рима. Только люди, никогда не испытывшіе, что такое значить стремленіе къ постиженію тайнъ природы, могутъ насмѣшливо относиться къ тому, что поэтъ могъ въ вѣчномъ городѣ ради своей ботаники забыть и величіе римскаго сената и краснорѣчіе Цицерона; но кто это испыталъ, тотъ не можетъ отказать въ сочувствіи поэту, тому понятно, какъ ничтожны должны были ему казаться тысячи Цицероновъ, когда дѣло шло объ открытіи Закона Природы.

Къ числу немногихъ лицъ, съ которыми Гете свелъ знакомство въ Римѣ, принадлежалъ поэтъ Монти. Гете присутствовалъ при первомъ исполненіи его трагедіи *Aristodem*. Благодаря этому знакомству, Гете попалъ, противъ желанія, въ число членовъ литературнаго общества *Arcadia*, гдѣ ему дали титулъ *Megalio «per causam de la grandezza, или скорѣе grandiosita delle mie opere, какъ они выражаются»*<sup>1)</sup>.

Но что говорилъ Веймаръ о такомъ продолжительномъ отсутствіи своего поэта? Онъ не радовался его радостямъ, не сочувствовалъ его стремленіямъ, а только ворчалъ и сплетничалъ, и громко порицалъ поэта за небреженіе къ своимъ обязанностямъ. Шиллеръ, пріѣзжавшій въ то время въ Веймаръ, писалъ оттуда къ Кернеру. «Бѣдный Веймаръ! Когда вернется Гете, неизвѣстно, и многіе считаютъ рѣшеннымъ, что онъ навсегда удалится отъ дѣлъ. Онъ занимается живописью, а здѣсь Фохты и Шмидты должны работать за него, какъ ломовыя лошади. Онъ ничего не дѣлаетъ и получаетъ жалованье 1800 таллеровъ, а они при жалованьи вдвое меньшемъ должны вдвойнѣ работать». Грустно слышать подобное сужденіе отъ Шиллера. Въ его письмахъ встрѣчаются еще и многія другія мѣста, въ которыхъ обнаружи-

---

<sup>1)</sup> Письмо къ Фридриху Фридриху-Штейнъ, отъ 4 января 1788.

вается зависть къ великому сопернику. Положимъ, это можно отчасти объяснить тяжелымъ несчастнымъ положеніемъ, противъ котораго ему приходилось тогда бороться, но тѣмъ неменѣе все-таки это фактъ весьма грустный. Впослѣдствіи, какъ увидимъ далѣе, эта зависть выказалась явно и даже съ жесткой рѣзкостью.

Между тѣмъ какъ Веймаръ негодовалъ на своего поэта, Веймарскій герцогъ дружески писалъ ему, что освобождаетъ его отъ всѣхъ должностныхъ обязанностей и продолжаетъ ему срокъ отпуска, насколько онъ пожелаетъ. Конечно, Веймаръ безъ Гете много утрачивалъ въ глазахъ Карла Августа, но герцогъ не давалъ ходу своимъ эгоистическимъ чувствамъ и не торопиль возвращеніе своего друга изъ Италіи. 22-го февраля Гете отправился изъ Рима въ Неаполь, и провелъ тамъ пять недѣль съ истиннымъ наслажденіемъ. Сбросивъ съ себя инкогнито, онъ познакомился съ тамошнимъ обществомъ, и особенно любилъ вращаться въ простомъ народѣ, который восхищалъ его своимъ счастливымъ, беззаботнымъ *far niente*. Тамъ онъ познакомился съ Гамильтономъ, и видѣлъ лэди Гамильтонъ, эту прелестную сирену, которая своей красотой околдовала благороднаго Нельсона. Гете былъ очарованъ граціей, съ какою она танцевала бывшій тогда въ большой модѣ танецъ съ шалью. Въ это же время восхищался онъ сочиненіями Вико, съ которыми его познакомилъ Филанджіери, отзывавшійся о великомъ мыслителѣ со всѣмъ пыломъ южнаго энтузіазма.

«Въ Римѣ чувствуешь влеченіе къ занятіямъ, пишетъ онъ, — а здѣсь въ Неаполѣ можно только жить». И онъ жилъ здѣсь богатой, многосторонней жизнью, — на берегу моря, между рыбаками, между народомъ, въ аристократическомъ кругу, на Везувіѣ, на морѣ при лунномъ свѣтѣ, въ Помпеѣ, въ Паузлиппо, вездѣ онъ находилъ источники новыхъ наслажденій, новую пищу для своей фантазій и для своего знанія жизни. Три раза всходилъ онъ на Везувій, и подобно тому, какъ во французскую кампанію мы находимъ его во время сильной канонады спокойно занимающимся научными наблюденіями, такъ теперь, всходя на Везувій, онъ не обращалъ вниманія ни на какія опасности, чтобы только имѣть возможность ближе наблюдать вулканическія явленія. Укажемъ еще на ту замѣчательную черту, что Везувій не возбудилъ въ немъ

никакихъ поэтическихъ мыслей, — онъ описываетъ его такъ же спокойно, какъ еслибы рѣчь шла о Веймарскомъ Эттерсбургѣ.

Впрочемъ по временамъ его охватываетъ энтузіазмъ; такъ въ Пестумѣ онъ приходитъ въ восторгъ при видѣ руинъ древняго храма, которыя такъ краснорѣчиво говорятъ о величіи греческаго искусства.

Помпея, Геркуланумъ, Капуа интересовали его менѣе, чѣмъ можно было ожидать. «Природа — говоритъ онъ — есть единственная книга, въ которой каждая страница имѣетъ великое содержаніе». Эта книга имѣла для него всю очаровательность, какую имѣютъ для дѣтей волшебныя сказки. «Онъ блуждалъ по берегу, питая свою юность чудными сказаніями науки и поученіями временъ давно прошедшихъ». Въ своихъ одинокихъ странствованіяхъ, убаюкиваемый музыкальнымъ шумомъ волнъ, онъ углублялся въ свои мысли, и тайна растительныхъ формъ, такъ долго его занимавшая, наконецъ стала ему уясняться: тиническое растеніе теперь уже не было для него только туманнымъ представленіемъ, а стало ясно сознаннымъ принципомъ.

2-го апрѣля онъ пріѣхалъ въ Палермо. Здѣсь, въ тѣни апельсиновыхъ деревьевъ и олеандровъ, провелъ онъ двѣ недѣли, всецѣло отрѣшившись ото всего, что не было настоящее, всецѣло предавшись наслажденію настоящимъ. Здѣсь впервые Гомеръ сталъ для него живой книгой. Онъ купилъ экземпляръ «*Одиссеи*», читалъ ее съ невыразимымъ наслажденіемъ и сталъ переводить ее для своего друга живописца Киппа. Вдохновенный Гомеромъ, онъ начертилъ планъ драмы *Nausikla*, въ которой предполагалъ драматизировать *Одиссею*. Но подобно многимъ другимъ и этотъ планъ остался невыполненнымъ. Алкиноевъ садъ долженъ былъ уступить мѣсто *Метаморфозъ Растеній*, которая теперь тиранически завладѣла всѣми его мыслями.

Палермо былъ родиной графа Калиостро, этого дерзкаго авантюриста, который, три года передъ этимъ, игралъ такую видную роль въ дѣлѣ объ ожерельѣ. Подстрекаемый любопытствомъ, Гете посѣтилъ его родителей, выдавъ себя за англичанина, который пришелъ имъ сообщить извѣстія объ ихъ сынѣ. Онъ рассказываетъ объ этомъ нѣсколько подробно, но такъ какъ въ его разсказѣ нѣтъ ничего біографическаго, то я ограничусь краткимъ

указаніемъ, — замѣчу только, что и здѣсь, какъ всегда, любовь къ людямъ сказалась у него дѣятельнымъ образомъ: два раза посылалъ онъ денегъ бѣднымъ родителямъ Каліостро.

14-го мая онъ возвратился въ Неаполь. Судно, на которомъ онъ плылъ, едва не подверглось кораблекрушенію и поэту угрожала смерть въ волнахъ океана. Во время этого переѣзда онъ занимался версификаціей двухъ первыхъ актовъ *Тасса*. Перечитывая ихъ, онъ нашелъ, что выраженія слабы и неопредѣленны, но что въ остальномъ не требовалось существенныхъ перемѣнъ. Въ Неаполѣ онъ пробылъ полмѣсяца. 6-го іюня, 1787 г., снова вернулся въ Римъ, гдѣ пробылъ до 22-го апрѣля 1788 г. Это десятимѣсячное пребываніе въ Римѣ при необыкновенной его дѣятельности было для него чрезвычайно плодотворно. Много времени потратилъ онъ на занятія живописью, стремясь къ тому, въ чемъ ему отказала природа. Но усилія такого ума, къ чему бы ни были они устремлены, не могли, конечно, остаться совершенно безплодными. Если онъ и не сдѣлался живописцемъ, то во всякомъ случаѣ занятія живописью были не бесполезны для него въ другихъ отношеніяхъ. Онъ изучалъ искусство и древности въ дружескомъ обществѣ артистовъ. Римъ уже самъ по себѣ есть образовательная школа, а Гете одушевляло горячее стремленіе къ самообразованію. Практическія занятія искусствомъ усовершенствовали въ немъ пониманіе искусства. Онъ учился перспективѣ, рисовалъ съ моделей, горячо добивался успѣха въ ландшафтной живописи и даже началъ заниматься лѣпной работой. Анжелика Кауфманъ говорила, что онъ лучше понимаетъ искусство, чѣмъ кто-либо, а другіе быть можетъ надѣялись, что при надлежащемъ изученіи его успѣхи не ограничатся однимъ только пониманіемъ. Но всѣ его усилія были напрасны; онъ никогда не достигалъ въ живописи даже и того успѣха, какой достается на долю способнымъ дилетантамъ. Когда подумаешь, какъ настойчиво работалъ Гете надъ такимъ дѣломъ, къ которому рѣшительно не имѣлъ никакой способности, то снисходительнѣе смотришь на эти столь часто встрѣчающіеся примѣры, что люди высокоодаренные упорно расходуютъ свои силы на жалкое стихотворство, производя такіа поэтическія созданія, которыхъ не можетъ читать ни одинъ образованный умъ: дѣло въ томъ, что при всемъ ихъ образованіи и при всемъ ихъ

просвѣщенномъ взглядѣ на вещи, отъ нихъ ускользаетъ различіе между стремленіемъ и вдохновеніемъ.

Если онъ и тратилъ часть драгоцѣннаго времени на безуспѣшныя усилія сдѣлаться живописцемъ, за то остальная часть была хорошо употреблена. Кромѣ научныхъ изслѣдованій онъ много занимался и литературной работой. Эгмонтъ былъ окончательно передѣланъ. Первые два акта этой драмы были вчернѣ написаны еще во Франкфуртѣ въ 1775 г., а вся драма вчернѣ окончена еще въ Веймарѣ въ 1782 г. Теперь онъ принялся за окончательную отдѣлку; трудъ былъ не легкій, но доставлялъ ему большое наслажденіе и онъ съ гордостью смотрѣлъ на свое произведеніе, надѣясь заслужить похвалу у своихъ Веймарскихъ друзей. Гердеръ отчасти разрушилъ эти надежды. По обыкновенію всегда скупой на похвалы, онъ находилъ въ Кларѣ большіе недостатки, между тѣмъ какъ поэтъ, и справедливо, считалъ, что эта личность ему особенно хорошо удалась. Кромѣ *Эмонта*, онъ просмотрѣлъ и передѣлалъ для новаго изданія своихъ сочиненій двѣ комическія оперы *Claudine von Villa Bella* и *Erwin und Elmire*. Въ это время также были написаны нѣкоторыя сцены *Фауста* и стихотворенія: *Amor als Landschaftsmaler*; *Amor als Gast*; *Kunstlers Erdenwallen* и *Kunstler's Apotheose*.

Пребываніе въ Италіи, и преимущественно пребываніе въ Римѣ имѣло на него многостороннее и сильное вліяніе. Заграничное путешествіе даже на людей необразованныхъ и нелюбопытныхъ всегда сильно вліяетъ, не только потому, что предъ ними являются новые предметы, но и потому также,—и это есть главное,—что отрываетъ умъ отъ той обычной обстановки, съ которою онъ такъ свыкается, что оно замаскировываетъ отъ него дѣйствительныя отношенія жизни. Последнее обстоятельство весьма важно, потому что оно ставитъ насъ на новую точку зрѣнія для сужденія о самихъ себѣ и о другихъ, и обнаруживаетъ намъ, что многое, казавшееся намъ существеннымъ, въ дѣйствительности есть не болѣе какъ только рутина. Безъ сомнѣнія, пребываніе въ Италіи многое уяснило для Гете, уяснило ему его самого и его жизненный путь, оторвало его отъ тѣхъ узъ и рутины, которыя окружали его въ Веймарѣ, освѣтило, расширило его взглядъ на свое положеніе. Судя по всѣмъ признакамъ, онъ возвратился домой далеко не тѣмъ,

какимъ отправился. Процессъ кристаллизаціи, начавшійся еще въ Веймарѣ, закончился въ Римѣ. Яркимъ свидѣтельствомъ этому можетъ служить тотъ фактъ, что онъ наконецъ отрекся здѣсь окончательно отъ своихъ стремленій сдѣлаться живописцемъ, — онъ созналъ, что рожденъ быть поэтомъ, и рѣшился посвятить себя литературѣ.

Занятія искусствомъ имѣли для него тотъ результатъ, что теоретическія его воззрѣнія пришли въ согласіе съ его стремленіями. Мы уже неоднократно указывали на объективное направленіе его ума. Онъ пришелъ теперь къ тому убѣжденію, что объективное направленіе есть господствующее въ древнемъ искусствѣ. «Выскажу мою мысль въ нѣсколькихъ словахъ, — пишетъ онъ Гердеру; — древніе изображали бытіе (Existenz), мы же обыкновенно изображаемъ эффектъ; они изображали то, что страшно, пріятно и т. д. мы же изображаемъ дѣйствіе страшнаго, пріятнаго и т. д. Отсюда происходитъ наше преувеличеніе, манерничанье, фальшивая грація, напыщенность, потому что, добиваясь эффекта, и только одного эффекта, намъ все кажется, что мы недостаточно эффектны». Это превосходное изрѣченіе совершенно невѣрно въ историческомъ отношеніи, если только мы будемъ разумѣть подъ древними не одного Гомера и нѣкоторые произведенія скульптуры. Въ примѣненіи къ Эсхилу, Эврипиду, Пиндару, Теоокриту, Горацию, Овидію, Катуллу, оно оказывается совершенно неправильнымъ и вообще есть не болѣе какъ только повтореніе стараго общераспространеннаго заблужденія относительно древняго искусства; но во всякомъ случаѣ оно бросаетъ ясный свѣтъ на воззрѣнія Гете. Въ этомъ изрѣченіи сказались наклонности его собственнаго въ высшей степени конкретнаго ума. «Толкуютъ объ изученіи древнихъ, — сказалъ онъ Экерману, — но не значить ли это сказать: обратись къ дѣйствительному міру и старайся его воспроизводить, — такъ поступали древніе». Далѣе онъ продолжалъ: «всѣ эпохи упадка субъективны, и наоборотъ, всѣ прогрессивныя эпохи имѣютъ объективное направленіе. Наше время ретрогадно и потому субъективно». Онъ отвѣчалъ спокойной улыбкой, когда въ Римѣ друзья артисты говорили ему, что считаютъ его некомпетентнымъ въ метафизическихъ вопросахъ. «Такъ какъ я художникъ, то не считаю это важнымъ. Я даже предпочитаю, чтобъ оставался для меня сокры-



тымъ тотъ принципъ, въ силу котораго я работаю». Немного найдется нѣмцевъ, которые могли бы это сказать не краснѣя, могли бы повторить вмѣстѣ съ нимъ: *«Ich habe nie über das Denken gedacht»*—я никогда не мыслить о мышленіи».

Изъ числа біографическихъ частныхъ, относящихся къ пребыванію Гете въ Италіи, укажемъ на тотъ фактъ, что и здѣсь онъ попалъ въ сѣти несчастной страсти. Мы видѣли, съ какими чувствами расстался онъ съ госпожей Штейнъ; ея образъ сопровождалъ его всюду. Онъ писалъ къ ней постоянно. Но, какъ онъ и самъ признался, онъ любилъ ее менѣе, когда былъ въ разлукѣ съ нею, а теперь долгая разлука, казалось, охладила пылъ его страсти. Уже годъ прошелъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ расстался съ г-жей фонъ-Штейнъ, и прелести молодой миланки, съ которою онъ случайно встрѣтился въ Кастель-Гандольфо, заставили его забыть ту холодность въ обращеніи съ женщинами, доходившую почти до суровости, которая охраняла его отъ женскихъ чаръ. Съ опрометчивостью юноши влюбляется онъ въ молодую Итальянку и потомъ вдругъ узнаетъ, что она уже невѣста другого. Я не могу обстоятельно рассказать эту исторію, такъ какъ ему было уже восемьдесятъ лѣтъ, когда онъ писалъ свой прелестный, но весьма смутный рассказъ объ этомъ въ *«Italienische Reise»*, а другихъ источниковъ относительно этого факта я не имѣю. Мы знаемъ только, что онъ влюбился, потомъ узналъ, что его возлюбленная уже невѣста, и тогда отдался отъ нея, чтобъ излечить свое горе; знаемъ, что между ней и ея женихомъ произошла какая-то ссора, что она послѣ этого занемогла, что во время болѣзни Гете оказывалъ ей признаки вниманія и видался съ нею по ея выздоровленіи, но хотя она и была уже въ это время свободна, однако, насколько намъ извѣстно, поэтъ не сдѣлалъ никакого шага, чтобы заступитъ мѣсто ея прежняго жениха. Въ это время тонъ его писемъ къ г-жѣ фонъ-Штейнъ видимо измѣнился: письма его стали менѣе сообщительны, менѣе конфиденціальны и эта перемѣна, конечно, не ускользнула отъ вниманія г-жи фонъ-Штейнъ.

Письма его къ Гердеру были неизмѣнно дружественны. Приятно видѣть, какое сердечное участіе принималъ онъ въ трудахъ

Гердера, съ какимъ восторгомъ читалъ въ Римѣ его *Ideen*. Но такъ относился Гердеръ къ произведеніямъ своего друга.

22-го апрѣля 1788 г. Гете оставилъ Римъ съ невыразимымъ сожалѣніемъ, и отправился обратно домой. «Предпринимая путешествіе въ Италію, я имѣлъ двѣ главныя цѣли,—такъ писалъ онъ герцогу,—освободиться отъ физическаго и нравственнаго нездоровья, которое дѣлало меня почти бесполезнымъ, и утолить лихорадочную жажду насладиться искусствомъ. Первая цѣль достигнута въ удовлетворительной степени, вторая достигнута вполне». Взявъ съ собою *Тассо*, чтобъ окончить его въ дорогѣ, онъ отправился въ путь черезъ Флоренцію, Миланъ, Чиавенну, Констанцское озеро, Штутгартъ и Нюрнбергъ, и 18-го іюня въ десять, часовъ вечера пріѣхалъ въ Веймаръ.<sup>1)</sup>

---

## ГЛАВА VI.

---

### Эгмонтъ и Тассъ.

Есть люди, поступки которыхъ мы не можемъ одобрить, но которыхъ, несмотря на это, любимъ болѣе, нежели тѣхъ, чьихъ поступки внушаютъ намъ удивленіе, — и когда строгіе цѣнители указываютъ намъ на недостатки нашихъ любимцевъ, то хотя разсудокъ и соглашается съ приговоромъ этихъ цѣнителей, но сердце говоритъ свое, и хотя мы не протестуемъ противъ приговора, но любовь наша остается непоколебима. Тоже слѣдуетъ замѣтить и о поэтическихъ произведеніяхъ. Наиболѣе любимыя

---

<sup>1)</sup> Изъ этого маршрута видно, что Гете не былъ въ Генуѣ, слѣдовательно то мѣсто въ перепискѣ Шиллера съ Кернеромъ (т. IV, р. 59), гдѣ упоминается о нѣкомъ Г., воспылавшемъ несчастной страстью къ одной натурщицѣ, не можетъ относиться къ нему. Это достаточно ясно видно уже изъ самого письма Шиллера и изъ отвѣта Кернера; но многіе писатели такъ охотно собираютъ скандалы безъ всякой повѣрки, что намъ кажется излишнимъ предостеречь ихъ отъ заблужденія. Напримѣръ, Везе, въ своей книгѣ о Веймарскомъ дворѣ, утвердительно говоритъ, что Г. есть ни кто иной, какъ Гете; ему не приходитъ и на мысль справиться, былъ ли Гете когда-нибудь въ Генуѣ, или не указываютъ ли явно числа этихъ писемъ, что тутъ идетъ рѣчь совсѣмъ не о Гете.

нами произведенія не суть тѣ, которыя наименѣе подлежатъ укорамъ критики, и наоборотъ: произведенія, наиболѣе безукоризненныя въ глазахъ критики, не суть тѣ, которыя пользуются наибольшей нашей любовью. Я говорю это не съ тѣмъ, чтобъ заподозрить нашу любовь или сужденія критики. Дѣло въ томъ, что въ этихъ случаяхъ какъ у людей, такъ и въ поэтическихъ произведеніяхъ, недостатки отодвигаются на задній планъ какимъ-либо выдающимся достоинствомъ.

Къ числу такихъ произведеній принадлежитъ *Эгмонтъ*. Это далеко и даже весьма далеко не образцовое произведение, а между тѣмъ пользуется общей любовью. Какъ трагедія оно не выдерживаетъ критики; но что бы ни говорила критика, вопреки всѣмъ ея приговорамъ, *Эгмонтъ*, *Клара* дороги читателю. Эти личности глубоко врѣзываются въ памяти; это—свѣтлыя, гениальныя, чудныя поэтическія созданія, не уступающія самымъ высокимъ созданіямъ поэтического творчества.

Какъ драма, т. е. какъ произведение, написанное для сцены, оно имѣетъ два существенныхъ недостатка: въ немъ нѣтъ столкновенія страстей, порождающаго трагическій интересъ, и самая форма, въ которую обдѣланъ матеріалъ, не драматична. Первый недостатокъ заключается въ концепціи произведенія, а второй—въ исполненіи. Первый есть заблужденіе драматическаго поэта, а второй есть заблужденіе драматурга. Еслибъ Шекспиръ написалъ драму на этотъ сюжетъ, то его драма конечно не имѣла бы этихъ недостатковъ, но я не думаю, чтобъ онъ создалъ что-нибудь выше Гетевского *Эгмонта* и Гетевской *Клары*.

Медленность, вялость, дѣлающая эту пьесу на сценѣ даже нѣсколько утомительной, происходитъ не столько отъ длинноты рѣчей и сценъ, сколько отъ недраматичности построения. Юліанъ Шмидтъ мѣтко замѣтилъ: «Видно, что у поэта было въ мысляхъ написать драму, а на самомъ дѣлѣ у него вышло произведение въ лирическо-музыкальномъ стилѣ. Такъ, въ сценѣ свиданія, *Эгмонтъ* и *Оранскій* только разговариваютъ, возражаютъ другъ другу, но не дѣйствуютъ одинъ на другаго». Нѣкоторыя мѣста *Эгмонта* драматичны, но въ цѣломъ онъ не драматиченъ. Это — не драма, а скорѣе романъ въ разговорной формѣ.

Шиллеръ, въ своемъ знаменитомъ разборѣ этого произведенія,

восхваляетъ вѣрность историческихъ красокъ, но большинство публики охотно пожертвовало бы этими историческими красками, еслибъ въ замѣнъ ихъ пьеса имѣла побольше драматизма. Эти «историческія краски» въ *Эгмонтъ* суть дѣло эрудиціи, а не поэзіи, — онъ не настолько живы, какъ въ *Гецъ* или въ романахъ Вальтеръ-Скотта, чтобъ воссоздавать предъ нами прошлую эпоху. Шиллеръ порицаетъ историческую невѣрность, что *Эгмонтъ* сдѣланъ не женатымъ, и видитъ ослабленіе его достоинства, какъ героя, что онъ представленъ влюбленнымъ. Гете, конечно, зналъ, что у *Эгмонта* была жена и дѣти, и съ намѣреніемъ отступилъ отъ исторической правды. Я готовъ согласиться съ Шиллеромъ, что чрезъ это онъ лишилъ себя нѣсколькихъ весьма драматичныхъ положеній, но тѣмъ менѣе нахожу, что онъ хорошо сдѣлалъ, поступивъ такимъ образомъ: весьма сомнительно, чтобъ онъ совладалъ съ сильными драматическими положеніями, и притомъ у него тогда не было бы *Клары*. Онъ самъ сознавалъ свою неспособность къ драматизму. «Я не рожденъ быть трагическимъ поэтомъ, — писалъ онъ къ *Цельтеру*, — у меня натура мирная, поэтому истинно трагическія положенія не привлекаютъ меня, такъ какъ они уже по самому существу своему не допускаютъ примиренія».

*Эгмонтъ* — благородная, высокая героическая личность. Поэтъ изображаетъ великаго человѣка, но не изображаетъ намъ его великихъ дѣяній. *Эгмонтъ* — герой въ истинномъ смыслѣ слова; мы видимъ его высокія качества, выскія дарованія, его великодушіе, — видимъ, что это — глубоко любящая натура, одушевленная свѣтлымъ, истиннымъ духомъ свободы, но мы не видимъ его въ минуты столкновеній, борьбы, въ минуты напряженія силъ, способностей: онъ является предъ нами только въ спокойномъ обладаніи своихъ силъ. При такомъ изображеніи характера не можетъ быть и рѣчи о драматизмѣ. Гете, по свойствамъ своего ума, имѣлъ наклонность смотрѣть на людей скорѣе глазами натуралиста, чѣмъ глазами драматурга, поэтому изображеніе характера предпочиталъ изображенію страсти. Замѣтимъ кромѣ того: вѣрный своей наклонности воспроизводить самого себя въ своихъ созданіяхъ, онъ изобразилъ *Эгмонта* такимъ, какимъ былъ бы самъ *Вольфгангъ Гете*, еслибъ находился въ тѣхъ же самыхъ обстоятельствахъ. Подъ вліяніемъ этой же наклонности выражать въ

поэтических произведеніяхъ свой жизненный опытъ, создалъ онъ Клару. Розенкранцъ, стараясь выказать высокія достоинства *Эгмонта*, какъ исторической драмы, говоритъ, что любовь къ Кларѣ была необходима, какъ указаніе симпатіи, соединявшей Эгмонта съ народомъ; но, по моему мнѣнію, въ этомъ сказались скорѣе автобіографическія побужденія, чѣмъ требованія исторической драмы.

Сюжетъ этой пьесы есть весьма мрачный и трагическій эпизодъ исторіи. Нидерландская революція была исторической необходимостью; это было возстаніе гражданъ противъ возмутительнаго гнета,—протестъ совѣсти противъ религіозной тираніи, возстаніе народа противъ чужеземцевъ. Герцогъ Альба, заступившій мѣсто Катерины Пармской, былъ того мнѣнія, что лучше лишиться Нидерландовъ, чѣмъ терпѣть ересь, но въ то же время вовсе не желалъ для Имперіи подобной утраты и явился въ Нидерланды мечемъ и эшафотомъ смирять еретиковъ. Рѣзкое различіе между Испанцемъ и Голландцемъ, между Католикомъ и Протестантомъ, между деспотизмомъ и свободой, все это выразилось въ произведеніи Гете, но безъ всякаго драматизма. Дѣйствующія лица только говорятъ, и говорятъ они хорошо, но не дѣйствуютъ. Изъ разговоровъ мы только узнаемъ о положеніи дѣлъ, но не видимъ самаго ихъ совершенія.

Пьеса начинается народной сценой; солдаты и граждане стрѣляютъ въ цѣль. Изъ длиннаго разговора мы узнаемъ тайну неспокойнаго состоянія страны и настроеніе умовъ. Сравните эту сцену съ подобными сценами у Шекспира, и тогда ясно увидите всю разницу между драматической и недраматической обдѣлкой матеріала. Въ этой сценѣ у Гете дѣйствующія лица точно куклы, во всемъ, что они ни говорятъ, вамъ слышится авторъ; у Шекспира же люди высказываютъ самихъ себя, каждый имѣетъ свой особый отпечатокъ.

Слѣдующая сцена еще слабѣе. Герцогиня Пармская совѣщается съ Макиавелемъ. Последній совѣтуетъ ей терпимость; но она находитъ это невозможнымъ. За исключеніемъ указанія на характеры двухъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, Эгмонта и Оранскаго, вся эта сцена совершенно излишня. Шиллеръ, передѣлывая эту пьесу для

сцены, совсѣмъ вычеркнулъ герцогиню изъ числа дѣйствующихъ лицъ.

Откровенная, беззаботная, довѣрчивая натура Эгмонта весьма рельефно противопоставлена подозрительной натурѣ Оранскаго; его характеръ изображенъ весьма живо и намъ ясно видна вся опасность, какая должна угрожать человѣку съ такимъ характеромъ при такихъ обстоятельствахъ. Но вся сцена отъ начала до конца есть не болѣе какъ только разговоръ. Въ слѣдующей сценѣ является Клара и влюбленный въ нее несчастный Бракенбургъ. Весьма хорошо это мѣсто:

*«Мать. Ты уже опять его выпроводила.»*

*Клара. Я хочу знать, что дѣлается, и притомъ—не сердись на меня — его присутствіе меня тяготитъ. Я не знаю, какъ мнѣ держать себя съ нимъ, я неправа предъ нимъ, и мнѣ больно видѣть, какъ онъ сильно чувствуетъ свое несчастье. Но я тутъ ничего не могу сдѣлать.*

*Мать. Онъ такой хорошій человѣкъ.*

*Клара. Я не могу его совсѣмъ бросить, не могу не обращаться съ нимъ дружески. Часто ненамѣренно моя рука сжимаетъ его руку, когда онъ протягиваетъ ее такъ нѣжно, съ такой любовью. Я упрекаю себя, что обманываю его, что поддерживаю въ его сердцѣ тщетную надежду. Меня это мучитъ. Видитъ Богъ, что я не хочу его обманывать. *Я не хочу его обнадеживать, но и не могу же допустить до отчаянія.»**

Не ясно ли, что это взято прямо изъ жизни?

*«Клара. Онъ мнѣ всегда нравился и я до сихъ поръ вполне расположена къ нему отъ всей души. Я могла бы даже согласиться быть его женой; но я думаю, что никогда не была влюблена въ него.»*

*Мать. Ты была бы счастлива съ нимъ.*

*Клара. Была бы пристроена и вела бы спокойную жизнь.*

*Мать. И все это рушилось по твоей винѣ.*

*Клара. Я нахожусь въ странномъ положеніи. Когда подумаю, то какъ будто и понимаю и не понимаю, какъ все это случилось. Но какъ только взгляну я на Эгмонта, мнѣ все становится весьма ясно, даже болѣе чѣмъ ясно. Ахъ! Что это за человѣкъ!*

Всѣ благословляютъ его. Въ его объятіяхъ я была бы самое счастливое существо въ мірѣ!

*Мать.* А потомъ что было бы?

*Клара.* Я только спрашиваю—любить ли онъ меня? Любить ли онъ меня—какъ будто еще въ этомъ можетъ быть сомнѣніе!»

Не напоминаетъ ли вамъ Фредерику эта простая, любящая Клара съ ея самоотверженной любовью къ человѣку, столь высоко стоящему надъ ней. Какъ ни очаровательна эта сцена, но она вовсе лишена драматическаго движенія, это только разговоръ; тутъ нѣтъ никакого дѣйствія. Появленіе Бракенбурга и его монологъ, выражающій отчаяніе, заканчиваютъ актъ весьма неудовлетворительно.

Второй актъ также начинается народной сценой: граждане видимо становятся нетерпѣливѣе. Является Ванзенъ и поджигаетъ къ возстанію, завязывается драка. Появленіе Эгмонта возстановляетъ спокойствіе. Эгмонтъ совѣтуетъ гражданамъ быть благо-разумными: «Старайтесь всячески сохранять общественное спокойствіе. Вы уже и безъ того на худомъ счету. Не раздражайте короля. Власть въ его рукахъ. Честный гражданинъ, который трудится, всегда бываетъ настолько свободенъ, насколько это ему нужно». Уходя, Эгмонтъ обѣщаетъ сдѣлать для нихъ все, что можетъ, и совѣтуетъ не слѣдовать дурнымъ внушеніямъ, не пытаться сохранить льготы съ помощью мятежа. Народный герой оказывается вовсе не демагогъ. Онъ вмѣстѣ и противъ народныхъ волненій и противъ тиранніи королевской власти. Въ слѣдующей сценѣ онъ бесѣдуетъ съ своимъ секретаремъ. Здѣсь рѣзко выступаютъ наружу вся его доброта и вся его беззаботность. «Я веселъ, пользуюсь жизнью, не боюсь опасностей, — въ этомъ мое счастье, котораго я не промѣняю на безопасность съ ея могильнымъ покоемъ. Въ моихъ жилахъ нѣтъ ни одной капли крови, годной для испанскаго образа жизни. Я не имѣю охоты соразмѣрять каждый мой шагъ съ придворнымъ кадансомъ. Развѣ я живу только для того, чтобы думать о сохраненіи своей жизни? Развѣ я долженъ отказаться отъ наслажденія настоящей минутой, потому что не увѣренъ въ будущей, и зачѣмъ буду я отравлять будущее опасеніями и заботами». Это — языкъ не политика, а счастливаго человѣка. «Если смотрѣть на жизнь слишкомъ серьез-

но, то что же это будетъ тогда за жизнь! Если утро не будетъ пробуждать насъ къ новымъ радостямъ, если вечеръ не будетъ приносить намъ надежды на новыя наслажденія, то стоитъ ли тогда каждый день одѣваться и раздѣваться? Развѣ солнце свѣтитъ мнѣ сегодня для того только, чтобы я размышлялъ о томъ, что было вчера? чтобы я старался предвидѣть и разгадать то, чего нельзя ни разгадать, ни предвидѣть, — судьбу завтрашняго дня?» Для него довольно и настоящаго. «Незримыя силы быстро мчатъ легкую колесницу нашей судьбы, и намъ ничего болѣе не остается, какъ, вооружась мужествомъ, крѣпко держать вожжи и, направляя колесницу судьбы то вправо, то влево, стараться миновать рытвины и каменья. Знаетъ ли кто, куда мчится его колесница? помнитъ ли даже откуда?»

Весьма поэтиченъ и вмѣстѣ весьма трагиченъ контрастъ этого характера съ окружающими его обстоятельствами. Мы знаемъ, какая опасность угрожаетъ ему, и чувствуемъ, что при такомъ характерѣ эта опасность несомнѣнно приведетъ къ гибели. Это производитъ на насъ такое же дѣйствіе, какъ веселье Ромео, который за минуту передъ полученіемъ страшной вѣсти о смерти Юліи надѣется на «близкое счастье», восторгается радостными мыслями. Далѣе, въ разговорѣ Эгмонта съ Оранскимъ, очень хорошо выражено различіе ихъ взглядовъ на положеніе дѣлъ. Оранскій убѣждаетъ Эгмонта бѣжать, потому что только въ бѣгствѣ и есть спасеніе, но Эгмонтъ видитъ, что его бѣгство ускоритъ внутреннюю войну, и остается.

Въ третьемъ актѣ передъ нами опять являются герцогиня и Макіавель, и опять разсуждаютъ о затруднительномъ положеніи дѣлъ. Истомъ дѣйствіе переносится въ домъ Клары и передъ нами происходитъ превосходная сцена свиданія, напоминающая ту сцену въ «Кенильвортѣ» Вальтеръ Скота, когда Лейчестеръ является къ Ами Робсартъ во всемъ герцогскомъ блескѣ. Какъ ни великолѣпна эта сцена, но она недостаточна, чтобы составить цѣлый актъ драмы, и въ особенности третій актъ, потому что въ ней нѣтъ никакого дѣйствія, нѣтъ даже никакого указанія на дальнѣйшее развитіе событій драмы, нѣтъ ничего, что не было бы уже извѣстно прежде: драма остается неподвижна, и передъ нами только рисуется картина восторга любящей женщины и картина мужественной нѣжности героя.



Читатель, увлекаясь поэтическими красотами этой сцены, легко может придти въ негодованіе отъ замѣчаній критики, назоветъ ихъ педантствомъ, скажетъ, что такая поэтическая картина неизмѣримо выше всякаго драматическаго эффекта. Но что бы ни говорилъ читатель, критика тѣмъ не менѣе обязана указывать, какъ на недостатокъ, на то, что не соответствуетъ техническимъ требованіямъ. Если поэтъ намѣревался создать драму, то критика обязана мѣрить его произведеніе драматическимъ масштабомъ, и какъ бы мы ни восхищались поэтическими красотами этой сцены, но не можемъ не признать, что Шекспиръ съумѣлъ бы придать ей драматическое движеніе, потому что онъ былъ не только поэтъ, но и поэтъ драматическій.

И четвертый актъ также начинается толками гражданъ о трудномъ времени, которое все болѣе и болѣе принимаетъ зловѣщій характеръ. Въ слѣдующей затѣмъ сценѣ является страшный Альба. Оранскій бѣжалъ, но Эгмонтъ остался. Между Эгмонтомъ и Альбою происходитъ длинный разговоръ, богатый по содержанію, но совершенно не драматичный, и оканчивается арестомъ Эгмонта.

Въ пятомъ актѣ Клара старается побудить Бракенбурга и гражданъ къ мятежу и къ освобожденію Эгмонта. Эта сцена очень жива: любовь возвышаетъ Клару до героизма. Граждане—въ страхѣ, боятся даже произнести имя Эгмонта:

«*Клара*. Остановитесь! остановитесь! Не бѣгите при имени того, котораго вы привыкли встрѣчать такъ радостно! Бывало, едва только дойдетъ молва о его приближеніи, какъ раздастся радостный крикъ: «Эгмонтъ ѣдетъ! ѣдетъ изъ Гента!» и граждане радостно толпились на улицахъ, по которымъ онъ долженъ былъ проѣзжать. Бывало, какъ только послышится топотъ его коней, всѣ бросали работу, бѣжали къ окнамъ, забывали всѣ заботы, на всѣхъ лицахъ сіяли надежда и радость. Помните, какъ вы тогда поднимали на руки своихъ дѣтей и говорили имъ: «Смотрите! вотъ Эгмонтъ! великій Эгмонтъ! Онъ приготовитъ вамъ долю, лучшую той, какая досталась въ удѣлъ вашимъ несчастнымъ отцамъ.» Берегитесь! Дѣти ваши спросятъ васъ: что же съ нимъ стало? гдѣ же та доля, которую вы имъ обѣщали?»

Всѣ усилія Клары побудить гражданъ къ возстанію оказались тщетны, и Бракенбургъ уводитъ ее домой. Слѣдующая сцена пред-

ставляетъ тюрьму. Эгмонтъ разсуждаетъ самъ съ собой о своей судьбѣ. Далѣе слѣдуетъ сцена, въ которой Клара съ болѣзненнымъ нетерпѣніемъ ожидаетъ Бракенбурга съ извѣстіями. Является Бракенбургъ и возвѣщаетъ, что Эгмонтъ долженъ умереть. Клара принимаетъ ядъ, Бракенбургъ въ отчаяніи рѣшается также умереть. Последняя сцена весьма слаба и весьма длинна. Эгмонтъ убѣждаетъ сына Альбы помочь ему бѣжать, но безуспѣшно; потомъ онъ ложится спать и ему является видѣніе: Свобода въ обликѣ Клары подаетъ ему лавровый вѣнокъ. Затѣмъ, онъ просыпается, — тюрьма наполняется солдатами, и его уводятъ на казнь.

Произведеніе это имѣетъ большія неровности въ обработкѣ и въ стилѣ. Гете писалъ его въ три различныя эпохи своей жизни, и такая отрывочность хотя съ одной стороны и могла способствовать болѣе тщательной обдѣлкѣ частей, но съ другой стороны не могла также не отозваться на цѣлостности творчества. Художественное произведеніе должно быть окончено прежде, чѣмъ успѣютъ высохнуть краски, а въ противномъ случаѣ измѣненія, происходящія съ теченіемъ времени въ умѣ художника, неизбѣжно отразятся въ разнохарактерности произведенія. Гете началъ писать *Эгмонта* въ тотъ періодъ, когда находился подъ вліяніемъ Шекспира, а окончилъ его, когда уже получилъ классическое направленіе. Въ *Эгмонтѣ* нѣтъ ни бурной жизни *Гецца*, ни спокойной красоты *Ифигеніи*. Шиллеръ находитъ, что въ заключительной сценѣ слишкомъ много опернаго, а Гервинусъ того мнѣнія, что занятія оперой (по случаю дружескихъ отношеній съ музыкантомъ Кайзеромъ) придали всему произведенію оперный характеръ. Признаюсь, я не вижу ни того, ни другаго; но вижу явный недостатокъ въ отсутствіи драматической конструкціи, что замѣтно и во всѣхъ его позднѣйшихъ произведеніяхъ. Какъ мы объ этомъ подробнѣе скажемъ впослѣдствіи, Гете не понималъ, что собственно требуется для драмы, чтобъ она была драмой. Впрочемъ, несмотря на этотъ недостатокъ, я кончаю тѣмъ, чѣмъ началъ: какъ бы ни были велики недостатки *Эгмонта*, онъ все-таки одинъ изъ тѣхъ общихъ любимцевъ, противъ которыхъ безсильна всякая критика.

Съ драматической точки зрѣнія, *Тассъ* еще менѣе удовлетворителенъ, чѣмъ *Эгмонтъ*. О немъ можно сказать тоже, что Джон-

тонъ говорить о *Сотис*. «Это есть рядъ безупречныхъ строкъ, но не драма». Чтобы вполне насладиться этимъ поэтическимъ произведеніемъ, читатель долженъ читать его, какъ читаетъ *Сотис*, *Манфреда*, или *Филиппа фонъ-Артемвальда*, т. е. не ожидая найти въ немъ достоинствъ *Отелло* или *Валентейна*. Оно имѣетъ неотразимую прелесть, но вмѣстѣ съ тѣмъ мы находимъ въ немъ полное отсутствіе всякихъ сценическихъ качествъ. Въ немъ почти нѣтъ никакого дѣйствія, а если и есть какое, то оно заключается только въ борьбѣ, происходящей въ самомъ Тассѣ; но нѣтъ никакой борьбы, никакой коллизіи между дѣйствующими лицами. Даже драматическіе элементы, любовь и сумасшествіе, изображены совершенно недраматично. Мы только чувствуемъ ихъ присутствіе въ личности Тасса, но не видимъ ихъ дѣятельности, ихъ пламенной энергіи,—передъ нами болѣзнь, но нѣтъ фактовъ, въ которыхъ бы проявлялась эта болѣзнь. Поэтому вся красота этого произведенія заключается въ его поэтичности и не можетъ быть передана въ переводѣ.

Гете избралъ для своей драмы тотъ моментъ, когда Тассо окончилъ уже «Освобожденный Иерусалимъ» и обнаруживаетъ явные признаки несчастной страсти и несчастной болѣзни, которыя сдѣлали его біографію одной изъ грустнѣйшихъ въ грустномъ спискѣ біографій «великихъ поэтовъ, бѣдственно окончившихъ свою жизнь». Хотя нѣмецкіе критики и утверждаютъ, что эта пьеса переполнена историческими фактами и мѣстнымъ колоритомъ, но ясно, что въ этомъ произведеніи поэтъ очень свободно обращается и съ исторіей и съ мѣстнымъ колоритомъ, что для него было даже необходимо, такъ какъ рѣзко бросается въ глаза внѣшнее сходство между положеніемъ Тасса при дворѣ Феррарскомъ и положеніемъ самого автора при Веймарскомъ дворѣ, и поэтому если бы авторъ изобразилъ дѣйствительныя отношенія между Тассомъ и Альфонсомъ, то публика не преминула бы прочесть между строками указаніе на Карла Августа. Трудно не согласиться съ замѣчаніемъ г-жи Сталь, что «les couleurs du Midi ne sont pas assez rпопопсés». Характеръ этого произведенія есть чисто нѣмецкій.

*Тассъ* былъ оконченъ вскорѣ послѣ разрыва съ г-жею фонъ-Штейнъ, о которомъ намъ предстоитъ говорить. Если я упомянулъ здѣсь объ этомъ произведеніи, то единственно ради удобства въ

ходѣ изложенія; въ дѣйствительности же на *Тасса* слѣдуетъ смотрѣть, какъ на произведеніе первыхъ годовъ жизни поэта въ Веймарѣ, такъ какъ въ тотъ періодъ, о которомъ теперь идетъ рѣчь, онъ только переложилъ его въ стихи.

---

## ГЛАВА VII.

---

### Возвращеніе домой.

Гете воротился изъ Италіи, обогащенный знаніемъ, но это обогащеніе еще далеко не удовлетворяло его, а напротивъ, служило для него возбужденіемъ, ставило ему новыя проблемы, открывало передъ нимъ новый горизонтъ: «всякое новое знаніе есть такъ сказать арка, сквозь которую виднѣтся новый невидимый доселѣ міръ, но берегъ его исчезаетъ отъ насъ по мѣрѣ того, какъ мы къ нему приближаемся». Жизнь въ Римѣ привела его къ сознанію, что и цѣлой жизни, посвященной наукѣ, едва ли достаточно, чтобъ утолить жажду знанія, и съ глубокимъ сожалѣніемъ покинулъ онъ Италію. Возвращеніе домой уже само по себѣ было для него тягостно, а когда вернулся, то почувствовалъ эту тягость еще сильнѣе. Это пойметъ каждый, кому случалось хоть на нѣсколько мѣсяцевъ отрѣшиться отъ обычной обстановки, отъ старыхъ привычекъ, разлучиться со старыми знакомыми и перенестись въ новую сферу, болѣе широкую, болѣе соотвѣтствующую его характеру и стремленіямъ: возвратясь въ прежнюю сферу и найдя въ ней неизмѣнными тѣ же порядки, цѣли, стремленія, чувствуешь себя въ ней какъ-бы чужимъ. Испытавшій это пойметъ, что долженъ {былъ чувствовать Гете, возвратясь изъ Италіи въ Веймаръ. Если даже Лондонъ, столь богатый разнообразными интересами, производитъ на насъ тяжелое впечатлѣніе, когда возвращаешься назадъ изъ заграничнаго путешествія: находя друзей, занятыхъ тѣми же интересами, которые занимали ихъ и до нашего отъѣзда, слыша тѣ же рѣчи, толки о тѣхъ же предметахъ, книгахъ, читая тѣ же неизмѣнныя вывѣски на неизмѣнныхъ улицахъ, кажется, что здѣсь какъ будто жизнь замерла, между тѣмъ

какъ мы сами много жили и пережили, — что же долженъ былъ почувствовать Гете, возвратясь въ Веймаръ изъ Италіи, гдѣ онъ такъ много пережилъ, такъ много перечувствовалъ! Никто, видимо, не понималъ его; никто не симпатизировалъ ни его энтузіазму, ни его сожалѣніямъ. Друзья нашли его совершенно измѣнившимся, а онъ нашелъ своихъ друзей вращающимися въ старомъ вытопченномъ кругѣ, подобно слѣпымъ лошадямъ, работающимъ на мельницѣ.

Прежде всего замѣтимъ, что онъ возвратился съ твердой рѣшимостью посвятить свою жизнь искусству и наукамъ и не тратить болѣе своихъ силъ на многотрудныя служебныя обязанности. Изъ Рима онъ писалъ Карлу Августу: «Какъ я вамъ благодаренъ за данный мнѣ отпускъ. Еще ребенкомъ я мечталъ о путешествіи въ Италію, и это желаніе не давало мнѣ покоя, пока я не осуществилъ его. Мои служебныя отношенія къ вамъ возникли изъ моихъ личныхъ къ вамъ отношеній, и теперь, послѣ столькихъ лѣтъ, должны смѣниться другими. Я долженъ сказать вамъ откровенно: осьмнадцать мѣсяцевъ, проведенныхъ въ Италіи, меня научили лучше понимать себя. Я пришелъ къ сознанію, что я артистъ. Могу ли я быть чѣмъ инымъ, кромѣ какъ артистомъ, — вы это сами обсудите. Вы постоянно совершенствовались въ себѣ способность, столь необходимую для правителя, — умѣть различать людей и употреблять ихъ сообразно съ ихъ способностями. Мнѣ это ясно свидѣтельствуетъ каждое изъ вашихъ писемъ. Я охотно подчинюсь вашему сужденію. Всегда, какъ только найдете нужнымъ мое содѣйствіе по достиженію цѣлей, къ которымъ стремитесь, вы найдете во мнѣ человека, готоваго прямо и честно высказать свое мнѣніе. Я бы желалъ жить подлѣ васъ всей полнотою моего существа, и тогда мои силы, подобно свѣжему, чистому ключу, падающему съ высоты, будутъ устремляться по вашему указанію въ томъ или другомъ направленіи. Я теперь уже чувствую, какую пользу принесло мнѣ это путешествіе, — оно просвѣтило, расширило все мое существо. Будьте ко мнѣ такимъ же, какъ были до сихъ поръ; вы сдѣлали мнѣ больше добра, чѣмъ я былъ въ состояніи самъ для себя сдѣлать, и больше чѣмъ я могъ желать и надѣяться. Я жилъ теперь въ великомъ, прекрасномъ уголкѣ міра, но пришелъ къ убѣжденію, что

могу жить только съ вами и съ людьми, которые васъ окружаютъ. Я теперь, можетъ быть, даже больше могу быть полезенъ вамъ чѣмъ прежде, если только вы возложите на меня то, чего нельзя возложить на другихъ, а все остальное поручите другимъ. Чувства, какими проникнуты ваши письма ко мнѣ, до такой степени для меня лестны, что заставляютъ меня краснѣть; и мнѣ ничего болѣе не остается какъ сказать вамъ: Государь, я весь къ твоимъ услугамъ, дѣлай съ твоимъ рабомъ, что пожелаешь. «Герцогъ отозвался достойнымъ образомъ на это воззваніе своего друга. Онъ освободилъ поэта отъ обязанностей камер-президента и отъ управления военнымъ департаментомъ, но удержалъ за нимъ почетное мѣсто въ Совѣтѣ, «на случай, если другія дѣла позволятъ ему принять участіе въ дѣлахъ Совѣта.» Поэтъ остался по прежнему совѣтникомъ своего государя. но былъ освобожденъ отъ всѣхъ тяжелыхъ для него служебныхъ обязанностей. За нимъ осталось только завѣдываніе рудниками и разными учрежденіями по части наукъ и искусствъ, а между прочимъ и управленіе театромъ.

Всѣ нашли, что по возвращеніи изъ Италіи онъ сталъ вообще сдержаннѣе, чѣмъ былъ прежде. Дѣйствительно, переживаемый имъ въ то время процессъ кристаллизациі быстро подвигался впередъ, что, безъ сомнѣнія, произошло бы и въ томъ случаѣ, еслибы даже онъ и вовсе не оставлялъ Веймара; но теперь къ этому присоединялось еще то обстоятельство, что онъ чувствовалъ глубокое различіе между собой и окружающими. Чѣмъ менѣе понимали его, тѣмъ болѣе сосредоточивался онъ въ самомъ себѣ. Но люди, понимавшіе его, какъ напр. Морицъ, Мейеръ, Герцогъ, Гердеръ, не находили причины быть имъ недовольными.

Первое время по возвращеніи въ Веймаръ онъ былъ постоянно при дворѣ. Гофъ-фурьерская книга свидѣтельствуетъ, что онъ обѣдалъ во дворцѣ на другой же день по пріѣздѣ, т. е. 19-го іюня, потомъ обѣдалъ 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30, и въ іюлѣ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21, и такимъ образомъ почти ежедневно до сентября. Съ прекращеніемъ официальныхъ обязанностей онъ еще ближе сошелся съ герцогомъ. Понятно, что каждый желалъ слышать отъ него разсказъ о его путешествіи, и всякій разговоръ объ этомъ путешествіи доставлялъ ему истинное наслажденіе.

Но если Веймаръ въ первое время и былъ недоволенъ перемѣной, какая произошла въ его поэтѣ, однако скоро съ ней свыкся. Не такъ было съ г-жею фонъ-Штейнъ. Разлука охладила страсть Гете. Въ Римѣ къ отрицательному вліянію разлуки присоединилось еще положительное вліяніе новой любви. Благодарный за счастье, какое нѣкогда находилъ подлѣ нея, Гете сохранилъ къ ней чувство искренняго расположенія, котораго не могли уничтожить никакіе поступки съ ея стороны и которое продолжалось у него неослабно до конца жизни; но прежней страсти уже не было. Онъ вернулся въ Веймаръ съ полнымъ убѣжденіемъ, что окончательно пережилъ эту страсть, и дѣйствительно, даже присутствіе предмета прежней страсти оказалось безсильнымъ раздуть угасшій огонь. Шарлотѣ фонъ-Штейнъ было теперь сорокъ пять лѣтъ. Она очень измѣнилась въ его отсутствіе. Не трудно себѣ представить, какое впечатлѣніе должна была произвести на него эта перемѣна. Еслибы онъ съ ней вовсе не разлучался, то перемѣна, постепенно совершаясь передъ его глазами, могла бы пройти для него незамѣченной, могла бы не произвести того впечатлѣнія, какое произвела теперь, когда долгая разлука сняла повязку съ его глазъ. Теперь она и въ его глазахъ, какъ въ глазахъ другихъ, была сорокапятилѣтняя женщина. Такое положеніе весьма опасно для женщины, и г-жа фонъ-Штейнъ не счумѣла найтись въ этомъ положеніи. Она избрала самый худшій путь. Видя, что у него не тѣ уже чувства къ ней, какія были прежде, она отнеслась къ этому не такъ, какъ требовало благоразуміе, стала выговаривать ему за его холодность, стала осыпать его упреками, что должно было еще болѣе усилить невыгодное впечатлѣніе отъ той перемѣны, какую совершили въ ней годы. Такое средство возратить къ себѣ утраченнаго любовника есть чисто женское, но обыкновенно оказывается неудачнымъ. Въѣсто того, чтобы сочувствовать поэту въ его сожалѣніяхъ объ Италіи, она видѣла въ этихъ сожалѣніяхъ обиду для себя. И дѣйствительно, въ нихъ могло быть для нея нѣчто обидное, но болѣе высокая натура счумѣла бы слить свое горе съ горемъ человѣка, котораго любить. Она чувствовала, что не можетъ замѣнить для него дорогой ему Италіи, и ея самолюбіе страдало. Кокетка, такъ долго державшая его въ своихъ цѣпяхъ, теперь увидѣла, что узникъ ускользнулъ изъ цѣпей. Положеніе

тяжелое, но, при самомъ даже неблагоприятномъ исходѣ, г-жа фонъ-Штейнъ могла найти не малое утѣшеніе въ томъ сознаниі, что все-таки же остается для него лучшимъ его другомъ, а дружба такого человѣка болѣе цѣнна, чѣмъ любовь кого другаго. Но г-жа фонъ-Штейнъ не такая была женщина, чтобъ оцѣнить его дружбу.

Прежде чѣмъ дошло между ними до окончательнаго разрыва, онъ ѣздилъ вмѣстѣ съ ней въ Рудольфштадтъ, и тамъ въ первый разъ говорилъ съ Шиллеромъ. Вотъ что писалъ объ этомъ свиданіи Шиллеръ Кернеру, 12-го сентября, 1788 года: «Наконецъ, я могу тебѣ сказать кой-что о Гете, которымъ ты, какъ я знаю, столь сильно интересуешься. При первомъ взглядѣ онъ не производитъ того впечатлѣнія, какого я ожидалъ, слышавшійся рассказовъ о его привлекательной, прекрасной наружности. Онъ средняго роста, держитъ себя прямо и ходитъ прямо, лицо у него не открытое, но глаза весьма выразительны, живы, такъ что съ удовольствіемъ останавливаешься на его взглядѣ. Выраженіе лица у него серьезное, но въ то же время доброе, располагающее. Онъ брюнетъ, и показался мнѣ старше своихъ лѣтъ. Голосъ у него весьма пріятный; рѣчь плавная, живая; вообще его слушаешь съ большимъ удовольствіемъ, а когда онъ въ хорошемъ расположеніи духа, какъ случилось въ этотъ разъ, то говорить охотно и увлекательно. Мы скоро познакомились. Наше знакомство завязалось весьма просто, безъ малѣйшей натянутости. Впрочемъ, общество было такъ многочисленно и кругомъ него всѣ такъ ревностно увивались, что я не могъ долго быть съ нимъ одинъ, и мы могли съ нимъ поговорить только мимоходомъ объ общихъ предметахъ. . . . Говоря вообще, мое высокое о немъ мнѣніе не пострадало отъ знакомства съ нимъ, но я сомнѣваюсь, чтобъ мы когда нибудь сблизились. Многое, что меня теперь еще интересуетъ, онъ давно уже пережилъ. Онъ такъ далеко опередилъ меня (и не столько годами, сколько опытностію и развитіемъ), что намъ никогда не придется идти рука объ руку. Притомъ все его существо совершенно отлично отъ моего, его міръ — не мой міръ, наши понятія существенно различны. Впрочемъ изъ такого кратковременнаго знакомства нельзя сдѣлать никакихъ вѣрныхъ, основательныхъ заключеній. Время покажетъ, ошибаюсь ли я».

Еслибъ Шиллеръ могъ въ то время поближе заглянуть въ



душу Гете, то увидѣлъ бы, что различіе между ними еще глубже, чѣмъ онъ думалъ. Едва ли можно найти другой примѣръ такой горячей дружбы между двумя людьми, которые, казалось, были совершенно противоположны одинъ другому. Въ то время, о которомъ идетъ рѣчь, Гете былъ особенно нерасположенъ къ дружбѣ съ Шиллеромъ, потому что видѣлъ въ немъ сильнаго соперника, который извращаетъ вкусъ его соотечественниковъ и увлекаетъ ихъ на ложный путь. Мы знаемъ изъ его собственныхъ словъ, какъ грустно ему было, когда, по возвращеніи изъ Италіи, онъ нашелъ Германію въ восторгѣ отъ *Ардинелло* Гейнзе, отъ *Разбойниковъ* и *Фьеско* Шиллера. Онъ давно уже и навсегда отрѣшился отъ стремленій *Sturm und Drang*, давно уже переросъ эти стремленія, и даже съ презрѣніемъ относился къ своимъ собственнымъ произведеніямъ, которыя были ими порождены. Италія окончательно вывела его на новый путь, и онъ воротился съ надеждой, что какъ прежде соотечественники его слѣдовали за нимъ, такъ и теперь послѣдуютъ въ новыя высшія сферы. Но между тѣмъ какъ онъ подвигался впередъ, соотечественники его оставались неподвижны и «онъ прошелъ мимо, какъ корабль въ морѣ». Онъ надѣялся очаровать германскую публику спокойной, идеальной красотой *Ифигеніи*, героизмомъ *Эмонта*, но публика не очаровалась имъ и продолжала сосредоточивать всѣ свои восторги на *Ардинелло* и *Карлѣ Морѣ*. Его издатель жаловался, что новое изданіе его сочиненій, на которое было истрачено столько труда и времени, продавалось вяло, между тѣмъ какъ произведенія его соперниковъ расходились тысячами.

Schüler macht sich der Schwärmer genug, und rühret die Menge,  
Wenn der vernunftige Mann einzelne Liebende zählt,  
Wunderthätige Bilder sind meist nur schlechte Gemälde  
Werke des Geists und der Kunst sind für den Pöbel nicht da.

(Мечтатель находитъ много поклонниковъ и восхищается толпу, между тѣмъ какъ человѣкъ разсудительный считаетъ своихъ поклонниковъ единицами. Чудотворные образа бываютъ по большей части весьма плохія картины. Высокія произведенія—не для толпы!)

Понятно, что при такомъ настроеніи ума Гете держался вдали отъ Шиллера, не подавался на усилія, друзей сблизить между собою двухъ поэтовъ. Вотъ что писалъ Шиллеръ

Кернеру въ февралѣ 1789 года: «Часто видѣться съ Гете было бы для меня несчастіемъ. Даже и съ самыми близкими друзьями у него не бываетъ минутъ полной откровенности. Онъ долженъ быть эгоистъ въ высшей степени. У него есть способность покорять, привязывать къ себѣ людей, оказывая имъ внимательность, какъ въ маломъ, такъ и въ большомъ, по при этомъ онъ всегда умѣетъ сохранять за собой полную свободу. Онъ даетъ благодѣтельно чувствовать свое существованіе, но не отдаетъ самого себя: я вижу въ этомъ послѣдовательный и совершенно цѣлесообразный образъ дѣйствія, рассчитанный на то, чтобъ достигать эгоистическихъ наслажденій . . . . Поэтому онъ ненавистенъ мнѣ, хотя я люблю его гений отъ всего сердца и имѣю о немъ высокое мнѣніе. Онъ возбудилъ во мнѣ странное къ себѣ чувство, представляющее какую-то смѣсь любви и ненависти, — чувство, можетъ быть до нѣкоторой степени похожее на то, какое Брутъ и Кассій чувствовали къ Цезарю. Я способенъ убить его гений и все-таки любить его отъ всего сердца!» Странно читать теперь эти строки, когда знаешь, какъ въ послѣдствіи Шиллеръ любилъ и уважалъ человека, о которомъ онъ здѣсь судитъ такъ ошибочно и такъ поверхностно. Эти строки интересны для насъ во многихъ отношеніяхъ и главнымъ образомъ въ томъ отношеніи, что онѣ представляютъ яркій примѣръ несостоятельности неблагопріятныхъ сужденій о великомъ поэтѣ. Примѣръ Шиллера, который сначала такъ жестоко осуждалъ и потомъ такъ горячо полюбилъ своего соперника, даетъ намъ не малое основаніе сказать читателю, успѣвшему уже составить себѣ неблагопріятное мнѣніе о поэтѣ: проверьте ваше мнѣніе, ознакомьтесь ближе съ поэтомъ, и ваше мнѣніе измѣнится.

Въ другомъ письмѣ Шиллеръ говоритъ: «Я не сравниваю себя съ Гете, когда онъ примѣняетъ къ дѣлу всѣ свои силы. У него больше генія, больше знанія, болѣе вѣрная воспримчивость, и ко всему этому у него присоединяется артистическій вкусъ, развитый, усовершенствованный многостороннимъ изученіемъ искусства». Но съ этимъ сознаніемъ превосходства своего соперника, у Шиллера соединялось прискорбное чувство зависти, что объясняется его собственнымъ крайне несчастнымъ положеніемъ. «Я открою тебѣ мое сердце, — пишетъ онъ Кернеру, — этотъ человекъ, этотъ Ге-

те стоитъ мнѣ на дорогѣ, непрестанно напоминаетъ мнѣ, что судьба поступаетъ со мной жестоко. Какъ благопріятствовала она его гению, а мнѣ до сихъ поръ приходится выносить тяжелую борьбу».

И въ самомъ дѣлѣ, судьба была къ нимъ далеко не одинаково благосклонна. Переписка Шиллера представляетъ намъ грустную картину мелкихъ заботъ, тяжелыхъ усилій изъ-за средствъ къ существованію. Здоровье его плохо и въ тоже время его давить нужда, и онъ долженъ торговать литературнымъ трудомъ, а это—плохая торговля. Онъ работаетъ, какъ наемникъ, сидитъ за переводомъ за ничтожную плату и даже радъ, когда имѣетъ подобную работу, радъ даже случаю передать работу другимъ за меньшую плату, чѣмъ сколько самъ получаетъ. Гений влечетъ его въ нныя, высокія сферы, но тяжелая нужда сковываетъ порывы его гения. Онъ еще не пережилъ пылкихъ стремленій юности, еще не достигъ зрѣлой возмужалости, а между тѣмъ нужда давить его и судьба предоставляетъ его собственнымъ силамъ, не даетъ ему никакой помощи извнѣ, которая бы облегчила ему тяжелую борьбу. Гете, напротивъ, никогда не испыталъ ничего подобнаго, никогда не зналъ, что такое бѣдность, имѣлъ достатокъ, свободное время, славу, высокое положеніе въ обществѣ, — вообще внѣшнія условія его жизни сложились такъ, что съ нимъ мало случилось такого, что могло бы сдѣлать его несчастливymъ. Сравнивая свое положеніе съ положеніемъ Гете, Шиллеръ могъ не безъ основанія сказать, что судьба поступала съ нимъ, какъ скупая мачиха, а съ его соперникомъ, какъ расточительная и любящая мать.

Но и у Гете были свои скорби, только иного рода. Гений есть пылающій свѣточъ, который не только свѣтитъ, но и пожираетъ. Гете также выносилъ тяжелую борьбу, но не съ внѣшними обстоятельствами, а съ самимъ собою. Онъ чувствовалъ себя чужимъ на родной сторонѣ. Немногіе понимали его рѣчь, никто не понималъ его стремленій, и онъ углубился въ самого себя.

Для надлѣжащей оцѣнки тогдашнихъ отношеній между двумя поэтами, необходимо еще указать на одно весьма важное обстоятельство. Какъ ни высоко цѣнятъ теперь Шиллера, и какъ ни высоко цѣнилъ его впослѣдствіи Гете, но въ то время онъ былъ еще не болѣе, какъ только молодой писатель, подающій нѣ-

которыя надежды. Правда, его первыя сочиненія имѣли огромную популярность; но такую же популярность имѣли и первыя произведенія Клингера, Малера, Мюллера, Ленца, Бючебу и другихъ. То время было еще такъ далеко отъ надлежащей оцѣнки Шиллера, что, по прїѣздѣ въ Веймаръ, онъ съ удивленіемъ и даже съ оскорбленнымъ самолюбіемъ жаловался, что Гердеръ, повидимому, знаетъ его только по имени, и даже, какъ кажется, не читалъ ни одного изъ его произведеній. Гете въ официальной бумагѣ, въ которой рекомендуетъ Шиллера на профессорскую кафедру въ Іенѣ, называетъ его: «*Herr Friedrich Schiller, авторъ историческаго сочиненія о Нидерландахъ*». Итакъ, въ то время не только стремленія Шиллера глубоко расходились съ стремленіями Гете, но и положеніе Шиллера въ литературѣ было еще далеко не таково, чтобъ могло высоко поставить его въ глазахъ противника. Прибавимъ къ этому, что Гете слишкомъ высоко цѣнилъ значеніе искусства въ развитіи человѣчества, чтобъ равнодушно относиться къ различію въ направленіи.

## ГЛАВА VIII.

### Христина Вульпіусъ.

Однажды, въ началѣ іюля 1788 г., Гете по обыкновенію гулялъ въ любимомъ паркѣ, какъ къ нему неожиданно подошла молодая красивая дѣвушка и послѣ многихъ *реверансовъ*, почтительно подала просьбу. Поэтъ взглянулъ въ свѣтлые глаза просительницы и съ чувствомъ благорасположенія прочиталъ просьбу: его просили помочь доставить мѣсто одному молодому писателю, который въ то время жилъ въ Іенѣ переводами съ французскаго и итальянскаго языка. Этотъ молодой писатель былъ Вульпіусъ, авторъ *Ринальда Ринальдини*, котораго, безъ сомнѣнія, многія изъ нашихъ читателей не безъ сердечнаго трепета читали во времена своей юности. Его разбойничьи романы были одно время весьма популярны; но если его имя спаслось отъ забвенія, то единственно потому, что онъ былъ братъ той Христины, которая, какъ

мы выше сказали, подала Гете просьбу о своемъ братѣ, что положило начало знакомству, кончившемуся тѣмъ, что эта бѣдная дѣвушка стала женой великаго поэта. Христина Вульпиусъ во многихъ отношеніяхъ весьма интересная личность для тѣхъ, кто интересуется біографіей Гете; любовь къ ней поэта и та преданность, которую она постоянно ему оказывала въ продолженіе двадцатисюми лѣтъней съ нимъ жизни, даютъ ей право на большее вниманіе, чѣмъ какое обыкновенно ей удѣляютъ.

Ея отецъ былъ горькій пьяница и своимъ пьянствомъ довелъ всю семью до нищеты. Нерѣдко онъ пропивалъ даже свое платье. Дѣти, какъ только подросли, должны были оставить отца и сами заботиться о своемъ пропитаніи: сынъ занимался литературой, дочери дѣлали искусственные цвѣты, вышивали и пр. <sup>1)</sup> Общераспространенное мнѣніе говорить, что Христина была крайне необразована, а злоязычные писаки не замедлили возвѣстить, что «Гете женился на своей служанкѣ». Служанкой она никогда не была, и также не была безъ образованія. Дѣйствительно, ея положеніе въ обществѣ было весьма незавидное, какъ читатель можетъ заключить изъ указанныхъ нами обстоятельствъ, въ какихъ находилась ея семья; но что она не была лишена образованія, это ясно видно изъ тѣхъ несомнѣнныхъ фактовъ, что для нея были написаны *Римскія элегии* и *Метаморфоза растений*, и что она принимала участіе въ оптическихъ и ботаническихъ изслѣдованіяхъ своего мужа. Насколько понятны были для нея эти изслѣдованія, мы не можемъ сдѣлать никакого заключенія; но несомнѣнно, что не сталъ бы Гете бесѣдовать съ ней объ этихъ предметахъ, еслибы она ихъ не понимала. Онъ говоритъ, что проводилъ съ ней время не только въ однихъ нѣжностяхъ, но и въ серьезныхъ разговорахъ:

Wird doch nicht immer geküsst, es wird vernünftig gesprochen.

[Мы не все цѣловались, мы вели между собой разумныя рѣчи].

Это свидѣтельство не можетъ быть подвергнуто сомнѣнію. Изъ всей его разнообразной переписки мы постоянно видимъ, что онъ

---

<sup>1)</sup> Эти подробности могутъ служить читателю ключемъ къ поэмѣ: *Der arme Raubias*.

писалъ различнымъ лицамъ о различныхъ предметахъ, соображаясь съ тѣмъ, что кого интересуешь, и онъ могъ бы найти кромѣ науки многое другое, о чемъ говорить съ Христиной, еслибъ разговоръ о такомъ предметѣ былъ для нея недоступенъ. Въ одной изъ *Элеий*, именно въ восьмой, мы находимъ нѣсколько строкъ, которыя даютъ намъ ясное понятіе, какого рода умомъ и какого рода красотой обладала Христина, У нея былъ не тотъ умъ, которымъ заслуживаются похвалы школьныхъ учителей; она не была способна къ книжному учению. Красота ея не соответствовала обиходнымъ понятіямъ о красотѣ: у нея не было тѣхъ правильныхъ очертаній, въ которыхъ обыкновенно видятъ красоту.

Wenn du mir sagst, du habest als Kind, Geliebte, den Menschen  
Nicht gefallen, und dich habe die Mutter verschmäht,  
Bis du grösser; geworden und still dich entwickelt; ich glaub' es:  
Gerne denk' ich mir dich als ein besonderes Kind.  
Fehlet Bildung und Farbe doch auch der Bluthe des Weinstocks,  
Wenn die Beere, gereift, Menschen und Götter entzückt.

[Когда ты мнѣ говоришь, милая, что не нравилась людямъ, что мать не любила тебя, пока ты была дитей, пока не выросла, не развилась,—я вѣрю этому: ты была не какъ всѣ дѣти. Такъ и виноградъ не имѣетъ ни красоты, ни пріятнаго цвѣта, пока не созрѣетъ, а созрѣвъ, восхищаетъ и людей и боговъ].

Можно ли усомниться, что слова поэта въ этомъ случаѣ заслуживаютъ полного довѣрія.

Впрочемъ, опровергая общее заблужденіе, мы не должны вдаваться въ противоположную крайность. Христина была женщина привлекательная, но не была женщина высоко-одаренная. У нея не было высокихъ качествъ г-жи фонъ-Штейнъ: она не была способна дѣлать мысли и высокія стремленія поэта. Быстрый живой умъ, живой характеръ, любящее сердце, большая способность къ домашнимъ обязанностямъ: всѣмъ этимъ она, безъ сомнѣнія, обладала, была всегда весела, всегда обходительна, любила удовольствія даже до чрезмѣрности и, какъ свидѣлствуютъ вдохновенныя ею произведенія, была дорога не столько уму, сколько сердцу поэта. Ея золотисто-каштановые волосы, веселые глаза, розовыя щеки, губы, вызывающія на поцѣлуй, ея граціозно-окру-

гленный станъ, все придавало ей видъ «юной Діонизіи» <sup>1)</sup>. Ея наивность, веселость, живость совершенно очаровали Гете. Онъ нашелъ въ ней одно изъ тѣхъ вольныхъ, здоровыхъ дѣтей природы, которыхъ не обезобразило искусственное воспитаніе. Она походила на то дитя чувственно-прекрасной Италіи, которое онъ только что передъ этимъ покинулъ съ такимъ сожалѣніемъ. Не много найдется на всѣхъ языкахъ міра такихъ страстныхъ поэтическихъ пѣсень, какъ тѣ, въ которыхъ онъ увѣковѣчилъ свою любовь къ Христинѣ Вульпіусъ.

Почему же онъ не женился на ней въ первое же время? Мы видѣли уже, какъ боялся онъ женитьбы, а въ этомъ случаѣ присоединялось еще большое неравенство общественнаго положенія. Это неравенство было столь велико, что даже сама Христина отклоняла мысль о бракѣ, и во всякомъ случаѣ такой бракъ не мало скандализировалъ бы тогдашнее общество. По свидѣтельству Стера, еще живы люди, слышавшіе отъ самой Христины, что она сама была причиной, почему такъ долго не была въ законномъ бракѣ. Несомнѣнно, что когда въ Рождество 1789 г., родился у нея сынъ (Августъ фонъ-Гете, у котораго герцогъ былъ крестнымъ отцемъ), то Гете перевезъ ее съ матерью и сестрой къ себѣ въ домъ и вообще относился къ ней, какъ къ своей женѣ. Но какъ бы то ни было, а общественное мнѣніе не могло простить такого пренебреженія къ общественнымъ законамъ. Свѣтъ громко осуждалъ Гете, и даже его почитатели говорили объ этомъ не иначе, какъ съ соболѣзнованіемъ. Шеферъ говоритъ: «Германія никогда не могла простить своему величайшему поэту это нарушеніе закона и обычая; ничто такъ не препятствовало справедливой оцѣнкѣ его нравственнаго характера, ничто не подавало такого сильнаго повода къ ложнымъ сужденіямъ о духѣ его произведеній, какъ этотъ полу-бракъ».

Будемъ справедливы. Нельзя, конечно, не пожалѣть, что Гете, имѣвшій такую сильную потребность въ семейной жизни, не встрѣтилъ женщины, которую бы могъ назвать своей женой въ полномъ смыслѣ этого слова, которая была бы и хозяйкой дома и

---

<sup>1)</sup> Такъ говоритъ г-жа Шёппенгауеръ, которую въ этомъ случаѣ нельзя заподозрить въ пристрастіи.

подругой жизни; но въ то же время, взвѣсивъ всѣ обстоятельство, нельзя также не признать, что если его отношенія къ Христинѣ Вульпиусъ имѣли свою темную сторону, скандализировали общество, тѣмъ неменѣе у нихъ была другая, широкая, свѣтлая сторона, и въ минуты грусти, горя, онъ находилъ въ нихъ утѣшеніе, счастье. Христина была существо любящее, преданное. Онъ наслаждался подлѣ нея всѣми тихими радостями семейной жизни, о которыхъ такъ давно тосковалъ.

Oftmals hab'ich geirrt, und habe mich wieder gefunden,  
Aber glücklicher nie; nun ist dies Mädchen mein Glück!  
Ist auch dieses mein Irrthum, so schont mich, ihr klügeren Götter,  
Und benehmt mir ihn erst drüben am kalten Gestad.

[Часто я заблуждался и потомъ опять находилъ истинный путь, но никогда не былъ я счастливѣе чѣмъ теперь, — въ этой дѣвушкѣ нашелъ я мое счастье! Но если я и теперь въ заблужденіи, пощадите меня, мудрые боги, не отнимайте у меня этого заблужденія, пока я не достигну того берега].

До сихъ поръ сохранилось письмо, писанное десять лѣтъ послѣ перваго знакомства съ Христиной, въ которомъ Гете, подобно страстному любовнику, сожалѣетъ, что не взялъ что-нибудь изъ ея вещей съ собой въ дорогу, хотя бы туфлю, чтобъ не такъ сильно чувствовать свое одиночество. Могла ли бы Христина внушить къ себѣ подобную любовь, еслибъ дѣйствительно была такова, какой обыкновенно ее описываютъ. Прибавимъ, что мать была довольна его выборомъ, обращалась съ Христиной какъ съ дочерью, писала къ ней всегда ласково и никогда не хотѣла слушать услужливыхъ друзей, когда тѣ пытались убѣдить ее въ предосудительности такой связи.

*Римскія элегии* имѣютъ для насъ двойной интересъ: какъ выраженіе чувствъ поэта, и какъ едва ли не лучшее произведеніе въ этомъ родѣ, какое только существуетъ въ какой-либо литературѣ. Онѣ свидѣтельствуютъ, какъ глубоко проникся его умъ духомъ древняго искусства во время пребыванія въ Италіи. Но воспроизводя прошедшее съ несравнимымъ совершенствомъ, онъ въ то же время остается совершенно *оригиналенъ*. Нигдѣ, ни въ греческой



ни въ римской литературѣ, я не встрѣчалъ подобнаго соединенія великихъ мыслей и страстности, что придаетъ Римскимъ элегіямъ необыкновенное величіе, силу и глубину. Это не только элегіи, не только изліяніе индивидуальных чувствъ; это—*Римскія* элегіи, въ нихъ отражается весь Римскій міръ. Въ поэтическихъ произведеніяхъ новыхъ временъ классическія воспоминанія по большей части холодны, искусственны, носятъ на себѣ явный слѣдъ кабинетнаго труда, не имѣютъ той естественности, той непосредственности, которая составляетъ отличительный признакъ истинной поэзіи; въ римскихъ же элегіяхъ классическій міръ воскресъ передъ нами такъ живо, что мѣстами кажется, какъ будто поэтъ античнѣе даже, чѣмъ сами древніе. Напримѣръ, тринадцатая элегія (*Amor der Schalk*) написана въ анакреоновскомъ родѣ, но стоитъ далеко выше всего, что до насъ дошло изъ произведеній Анакреона. Весьма античны также та прямота, ясность, съ какой выражается чувственность поэта, и тотъ невозмутимый пылъ страсти, который однако не заглушаетъ другихъ сторонъ натуры поэта, но соединяется съ ними и придаетъ имъ особенную силу. Такъ въ пятой элегіи мы находимъ изображеніе самой страстной чувственности, но эта чувственность не заглушаетъ, а возбуждаетъ поэтическую дѣятельность. Сколько поэзіи, какая глубина чувства и мысли въ этихъ строкахъ:

Ueberfällt sie der Schlaf, lieg'ich und denke mir viel.  
Oftmals hab'ich auch schon in ihren Armen gedichtet,  
Und des Hexameters Mass leise mit fingernder Hand  
Ihr auf dem Rücken gezählt. Sie athmet in lieblichem Schlummer,  
Und es durchglühet ihr Hauch mir bis ins Tiefste die Brust.

[Она спитъ, а я лежу подлѣ и думаю. Часто въ ея объятіяхъ предавался я поэтическому творчеству и тихонько на ея спинѣ провѣрялъ указательнымъ пальцемъ свои гексаметры, между тѣмъ какъ она покоилась въ сладкомъ снѣ и ея дыханіе глубоко проникало мнѣ въ грудь.]

Эти строки весьма типично изображаютъ характеръ его любви. Онъ любилъ, наслаждался любовью, но страсть не заглушала его генія, а напротивъ питала его, и въ минуты отдыха отъ наслажденій въ немъ со всей силой сказывались стремленія къ высочайшимъ цѣлямъ.

Слѣдующее мѣсто можетъ служить образчикомъ сліянія индивидуальной страсти съ классическими формами, — тутъ прошедшее воскресаетъ къ новой жизни въ чувствахъ, переживаемыхъ въ настоящемъ:

Lass dich, Geliebte, nicht reu'n, dass du mir so schnell dich ergeben!  
Glaub' es, ich denke nicht frech, denke nicht niedrig von dir.  
Vielfach wirken die Pfeile des Amor: einige ritzen  
Und vom schleichenden Gift kranket auf Jahre das Herz.  
Aber mächtig befiedert, mit frisch geschliffener Schärfe  
Dringen die andern ins Mark, zünden behende das Blut.  
*In der heroischen Zeit, da Götter und Göttinnen liebten  
Folgte Begierde dem Blick, folgte Genuss der Begier.*  
Glaubst du, es habe sich lange die Göttin der Liebe besonnen,  
Als im Idäischen Hain einst ihr Anchises gefiel?  
*Hätte Luna gesäumt, den schönen Schläfer zu küssen,  
O, so hätt' ihn geschwind, neidend, Aurora geweckt.*

[Не жалѣй, милая, что такъ скоро отдалась мнѣ. Вѣрь, я не думаю дурно, не думаю низко о тебѣ. Стрѣлы Амура дѣйствуютъ не одинаково: иногда онѣ только оцарапнуть и потомъ сердце болитъ годы отъ ихъ яда, а иногда онѣ бываютъ такъ сильно открылены и такъ заострѣны, что сразу проникаютъ въ мозгъ и воспаляютъ кровь. *Въ героическія времена боги и богини наслаждались любовью, — взявъ возжигаль желаніе, а желаніе сопровождалось наслажденіемъ.* Не думаешь ли ты, что богиня долго томилась любовью, когда въ рощѣ Иды впервые увидала Анхиза? *Еслибъ Луна замедлила поцѣловать спящаго красавца, то завистливая Аврора быстро пробудила бы его.]*

Я могъ бы привести еще многія другія, не менѣе прекрасныя мѣста, которыя не уступаютъ этому ни по античности выраженія, ни въ другихъ отношеніяхъ. Гете весьма вѣрно замѣтилъ Эккерману, что стихотворный метръ есть особаго рода покрывало, которое прикрываетъ наготу выраженія и дѣлаетъ возможнымъ то, что въ прозѣ и даже въ легкой стихотворной формѣ было бы нарушеніемъ приличія. Онъ говоритъ, что матеріалъ *Римскихъ Элегій* былъ бы неприличіемъ, если его облечь въ строфы *Донъ Жуана*. Вотъ какъ выражается Шиллеръ о значеніи для поэта условныхъ правилъ приличія, налагаемыхъ требованіями времени: «Невинность не знаетъ законовъ приличія; эти законы порождены

развратомъ. Но такъ какъ развратъ существуетъ и естественная простота нравовъ исчезла, то законы приличія священны и нравственное чувство не позволяетъ ихъ нарушать. Они имѣютъ то же значеніе въ искусственномъ мірѣ, какое имѣютъ законы природы въ мірѣ первобытной чистоты. Въ томъ именно и состоитъ отличительная особенность поэта, что въ немъ должно исчезать все, напоминающее искусственный міръ, и природа должна являться у него въ первоначальной своей простотѣ; какъ скоро онъ этого достигъ, то чрезъ это самое дѣлается свободенъ отъ всѣхъ законовъ, которыми развратное сердце оберегается отъ самого себя. Тогда онъ дѣлается чистъ, невиненъ, и все, что дозволяется невинной природѣ, то дозволяется и ему. Если ты, читатель или слушатель, утратилъ свою невинность, и если даже очищающее присутствіе невинности не можетъ тебя возвратить къ ней хотя на мгновеніе, то это твоя вина, а не вина поэта, — тогда оставь поэта въ покоѣ, онъ поетъ не для тебя».

Еслибъ даже Гете ничего не написалъ кромѣ *Римскихъ Элегій*, то и этого произведенія было бы достаточно, чтобъ поставить его въ ряду первоклассныхъ Германскихъ поэтовъ. Кромѣ того, эти элегіи имѣютъ большое значеніе и въ біографическомъ отношеніи: онѣ краснорѣчиво говорятъ о любви его къ Христинѣ. Не одну эту дань принесъ онъ ей прелестямъ и счастію, которыми она его надѣлила; но и однѣ уже *Римскія Элегіи* сами по себѣ очевидно свидѣтельствуютъ о несправедливости сужденій, распространенныхъ о ней злыми языками Веймара. Эти сужденія были очевидно несправедливы, хотя и нашли себѣ нѣкоторое подтвержденіе въ старческой ея возрастъ, когда юность и красота исчезли и всѣ природные недостатки выступили наружу. Христину постигла въ потомствѣ та же участь, какая постигла и Гете. Поэтъ живетъ въ памяти потомства болѣе, какъ спокойный, холодный старикъ, чѣмъ какъ блестящій юноша, — его бюсты, портреты, и даже дошедшія до насъ біографическія о немъ подробности относятся по большей части къ позднѣйшему періоду его жизни. Точно также и свѣдѣнія о его женѣ идутъ по большей части отъ лицъ, которые знали ее только въ то время уже, когда привлекательность юности уступила мѣсто непривлекательнымъ формамъ старческаго возраста.

\*

Сознавая обязанность біографа, я старался изобразить Гете именно такимъ, какимъ онъ дѣйствительно былъ во времена своей юности, — точно также и память Христины старался я очистить отъ неправды и отъ фальшивыхъ отзывовъ, которые переносятъ на дни юности недостатки старческаго возраста.

Я уже выше упомянулъ, что Веймаръ громко осуждалъ отношенія поэта къ Христинѣ, между тѣмъ какъ отношенія его къ Г-жѣ фонъ-Штейнъ не вызвали ни малѣйшаго норицанія. Главная причина, навлекшая на поэта негодованіе общества, заключалась повидимому въ томъ, что выборъ его палъ на женщину, которая по общественному положенію стояла гораздо ниже его. Связь съ Христиной вызвала противъ него вопль негодованія и привела его къ окончательному разрыву съ г-жею фонъ-Штейнъ. Вотъ письмо, въ которомъ онъ отвѣчаетъ на ея упреки: «Если ты только расположена мени выслушать, то я скажу тебѣ откровенно, что хотя твои упреки въ первую минуту и огорчили меня, но не оставили въ моемъ сердцѣ противъ тебя ни досады, ни гнѣва. Я умѣю цѣнить ихъ, и если ты много терпѣла отъ меня, то справедливо, чтобъ и я въ свою очередь терпѣлъ отъ тебя. Гораздо лучше объясниться дружески, чѣмъ тщетно стремиться къ единодушію и, потерпѣвъ неудачу, снова расходиться. Съ тобой мнѣ нельзя считаться, — какъ бы я ни подводилъ счеты, все-таки останусь у тебя въ долгу. Но если мы поразмыслимъ, какъ много приходится намъ терпѣть отъ другихъ людей, то будемъ, моя милая, снисходительнѣе другъ къ другу. Прощай и люби меня. При первой возможности ты узнаешь подробнѣе о прекрасныхъ тайнахъ».

Этими словами: «прекрасныя тайны» онъ по всей вѣроятности намекалъ на Христину. Это письмо вызвало отвѣтъ, на который онъ съ своей стороны отвѣчалъ слѣдующимъ образомъ: «Благодарю за письмо, хотя оно по многимъ причинамъ меня весьма огорчило. Я нѣсколько замедлилъ отвѣчать на него, потому что въ подобныхъ случаяхъ трудно быть чистосердечнымъ и не огорчить. Что я оставилъ въ Италіи, не буду повторять; мою откровенность на этотъ счетъ ты приняла довольно недружелюбно. Къ моему прискорбію, когда я возвратился, ты была въ какомъ-то странномъ настроеніи, и признаюсь: твой приемъ меня глубоко ѵогорчилъ. И Гердеръ, и герцогиня настоятельно предлагали мнѣ

ѣхать съ ними, но я остался для друзей, ради которыхъ вернулся, и что же? Мнѣ въ это же самое время непрестанно и съ сарказмомъ повторяли, что я могъ бы остаться въ Италіи, что я не имѣю ни къ кому сочувствія и т. п. И все это было въ то время, когда еще не могло быть и рѣчи о связи, которая теперь, повидимому, тебя такъ огорчаетъ. И что же дурнаго въ этой связи? Дѣлаетъ ли она кому вредъ? Можетъ ли кто предъявить притязанія на чувства, которые я питаю къ этому бѣдному существу, — на время, которое я ей удѣляю? Спросите Фрица, спросите Гердера, всѣхъ, кто хорошо меня знаетъ, — менѣ ли я принимаю участіе въ судьбѣ моихъ друзей, чѣмъ прежде, менѣ ли я сострадаю, сталъ ли я менѣ готовъ на услуги? Не принадлежу ли я и теперь прежде всего моимъ друзьямъ и обществу! Это было бы истинное чудо, еслибъ я при этомъ утратилъ чувства дружбы именно къ тебѣ, т. е. именно къ тому человеку, который былъ особенно дорогъ. Какъ живо я почувствовалъ, что во мнѣ не ослабѣли эти чувства дружбы, когда однажды я нашелъ тебя въ расположеніи вести со мной бесѣду. Но признаюсь, ты обыкновенно такъ держала себя относительно меня, что мнѣ просто становилось невыносимо. Когда я былъ расположенъ говорить, ты зажимала мнѣ ротъ; когда я былъ откровененъ, ты упрекала меня въ равнодушіи; когда я заботился о друзьяхъ, ты упрекала меня въ холодности, въ небреженіи къ нимъ. Ты постоянно критиковала каждый мой шагъ, каждое мое движеніе, и постоянно приводила меня въ такое состояніе духа, что я чувствовалъ себя *mal à mon aise*. Могъ ли я относиться къ тебѣ съ прежней откровенностью, съ прежней прямою, видя, что ты преднамѣренно отталкиваешь меня. Я бы могъ еще много къ этому прибавить, еслибъ не боялся, что, при теперешнемъ твоёмъ расположеніи духа, это скорѣе раздражитъ тебя, чѣмъ примиритъ со мной. Къ сожалѣнію, ты давно уже пренебрегла моимъ совѣтомъ относительно кофе, и придержишься діеты, крайне вредной твоему здоровью. Какъ будто тебѣ и такъ уже не довольно трудно одолѣвать нѣкоторыя нравственныя впечатлѣнія, а ты еще усиливаешь свою ипохондрію физическими средствами, которыя сама уже давно признала для себя вредными и въ которыхъ, изъ любви ко мнѣ, ты прежде отказывала себѣ въ явной пользѣ для

своего здоровья. Дай Богъ, чтобъ леченіе и путешествіе принесли тебѣ пользу. Я еще не совсѣмъ отказался отъ надежды, что ты оцѣнишь мои чувства. Прощай. Фрицъ счастливъ и часто посѣщаетъ меня».

На этомъ письмѣ она написала крупное *O!!!* И дѣйствительно, это было ужасное для нея нисъмо. Она видѣла въ немъ вопіющую несправедливость, пришла въ негодованіе, считала себя «непонятой». Въ подобныхъ случаяхъ подобные люди обыкновенно ропшутъ, что ихъ не поняли, считаютъ себя безупречными, и удивляются, что ихъ такъ «мало знаютъ».

Читая это письмо безпристрастно, не глазами г-жи фонъ-Штейнъ, мы находимъ въ немъ полное оправданіе Гете. Мы видимъ, какъ несочувственно приняла она поэта по возвращеніи его изъ Италіи, а послѣдующее ея поведеніе еще болѣе усиливало впечатлѣніе первыхъ свиданій послѣ разлуки. Она держала себя по отношенію къ нему даже болѣе чѣмъ несочувственно. Замѣчаніе, что она употребленіемъ кофе и дурною діетой усиливаетъ свою ипохондрію, можетъ показаться даже нѣсколько дерзкимъ, но въ нашихъ глазахъ оно не имѣетъ этого значенія: мы знаемъ, какъ вообще ревностно возставалъ онъ противъ употребленія кофе и какъ ясно всегда представлялась его уму связь между физическимъ и нравственнымъ здоровьемъ. Во всякомъ случаѣ, хотя бы въ этомъ письмѣ и встрѣчались нѣкоторые жесткіе звуки, нельзя не признать, что въ немъ слышится скорбь писавшаго. Недѣлю спустя Гете опять писалъ къ ней. Вотъ это письмо:

«Трудно, чтобъ мнѣ опять пришлось когда нибудь писать съ такимъ тяжелымъ чувствомъ, какъ то, какое я испыталъ, когда писалъ тебѣ послѣднее мое письмо. Вѣроятно тебѣ также непріятно было читать его, какъ мнѣ тяжело было его писать. Впрочемъ я доволенъ, что по крайней мѣрѣ высказался откровенно, и желалъ бы, чтобъ эта откровенность никогда не прерывалась между нами. Ни въ чемъ не находилъ я такого высокаго счастья, какъ въ довѣріи къ тебѣ, и это довѣріе было безгранично. Но какъ скоро я былъ поставленъ въ невозможность примѣнять это довѣріе къ дѣлу, я сдѣлался другимъ человѣкомъ, и въ будущемъ это должно произвести во мнѣ еще большія перемѣны. Я не жажду на мое настоящее положеніе, — я устроился, какъ могъ, и

надѣюсь ужиться, хотя климатъ уже опять даетъ мнѣ себя чувствовать и рано или поздно сдѣлаетъ меня неспособнымъ ко многому хорошему. Какъ подумаешь о сыромъ, холодномъ лѣтѣ, о суровой зимѣ, о поведеніи герцога и о различныхъ другихъ обстоятельствахъ, вслѣдствіе которыхъ у насъ все такъ несостоятельно такъ бесплодно, — какъ подумаешь, что не можешь назвать почти ни одного человѣка, который былъ бы доволенъ своимъ настоящимъ положеніемъ, то требуется не мало силъ, чтобъ поддержать въ себѣ бодрость и дѣятельность. При такихъ тяжелыхъ отношеніяхъ къ близкимъ людямъ просто теряешься. Я это говорю не только относительно себя самого, но и относительно тебя, и могу тебя увѣрить, мнѣ безконечно прискорбно, что я при такихъ обстоятельствахъ еще причиняю тебѣ тяжелыя огорченія. Я не стану оправдываться, но прошу тебя: помоги мнѣ сама, чтобъ связь, которая тебѣ такъ не по сердцу, не извратилась, а осталась бы такою, какова она теперь. Возврати мнѣ твое довѣріе, смотри на ту связь безъ предубѣжденія, позволь мнѣ говорить съ тобой объ этомъ прямо, откровенно, и я надѣюсь, что тогда между нами все разъяснится и возобновятся наши дружескія отношенія. Ты видѣла мою мать и доставила ей этимъ большую радость; сдѣлай такъ, чтобъ и для меня свиданіе съ тобой было также радостью».

Такъ предлагалъ онъ ей дружбу, но тщетно: онъ уязвилъ самолюбіе тщеславной женщины, а уязвленное самолюбіе порождаетъ въ низкихъ натурахъ то злобное, ядовитое чувство, которое отравляетъ дружбу и уничтожаетъ всѣ чувства признательности. Г-жѣ фонъ-Штейнъ недостаточно было, что онъ любилъ ее столько лѣтъ съ такой рѣдкой преданностью, что онъ былъ для ея сына болѣе даже, чѣмъ его отецъ, и что даже теперь, когда съ нимъ произошла неизбежная перемѣна, онъ сохранялъ къ ней чувство нѣжной привязанности и оставался ей глубоко благодаренъ за то, чѣмъ она была для него. Ей этого было недостаточно, и одинъ тотъ фактъ, что онъ болѣе не питалъ къ ней прежней страсти, изгладилъ въ ея памяти все прошедшее. Натура, сколько нибудь благородная, никогда не забываетъ, что однажды любила, въ чемъ находила счастье, — великодушное сердце всегда благодарно въ своихъ воспоминаніяхъ. Но сердце г-жи фонъ-Штейнъ ничего не понимало, кромѣ нанесенныхъ ему ранъ. Съ

мелкой злобой говорила она о «низкой особѣ», заступившей ея мѣсто, отвергла дружбу Гете, принимала видъ, будто жалеетъ его, и распространяла злыя сплетни о его женѣ. Встрѣчь другъ съ другомъ они не могли избѣжать, но уже встрѣчались не такъ, какъ прежде. Тѣмъ не менѣе Гете сохранялъ къ ней до конца жизни нѣжныя чувства и всегда говорилъ о ней не иначе, какъ въ самыхъ нѣжныхъ выраженіяхъ.

Въ заключеніе этого эпизода не будетъ неумѣстно привести одно дошедшее до насъ письмо г-жи фонъ-Штейнъ къ ея сыну, которое свидѣтельствуетъ, какія чувства имѣла она къ Гете двѣнадцать лѣтъ спустя послѣ происшедшаго между ними разрыва:

Веймаръ, 12-го января 1801 года.

Я не ожидала, что нашъ прежній другъ Гете еще такъ дорогъ для меня, чтобъ его болѣзнь, могла столь сильно на меня подѣйствовать. Онъ уже девятый день страдаетъ судорожнымъ кашлемъ. Кромѣ того у него сдѣлалась рожа. Онъ не можетъ лечь въ постель и долженъ постоянно находиться въ стоячемъ положеніи, потому что иначе кашель задушитъ его. Шея и лице у него распухли, и образовались внутренніе нарывы. Левый глазъ у него выкатился, какъ большой орѣхъ, и изъ него течетъ кровь и матерія. Онъ часто бываетъ въ бреду, такъ что боялись, чтобъ у него не сдѣлалось воспаленіе въ мозгу, и ему пустили кровь. Потомъ ему дѣлали ножныя горчичныя ванны, отъ чего ноги у него распухли. Эти средства, кажется, послужили ему въ пользу; но сегодня ночью судорожный кашель возобновился....

Это письмо тебя извѣститъ или о его смерти, или о поворотѣ болѣзни къ лучшему, — пока это не разъяснится, я не отправлю письма. Шиллеръ и я уже много пролили слезъ о немъ въ послѣдніе дни; очень мнѣ прискорбно, что когда онъ пріѣзжалъ ко мнѣ въ Новый Годъ, я не могла принять его, потому что лежала въ постели отъ головной боли; а теперь, можетъ быть, я никогда уже его не увижу.

14-го января. Гете лучше, но надо выждать, что будетъ послѣ двадцать перваго дня болѣзни, такъ какъ до того времени болѣзнь можетъ еще принять дурной оборотъ, потому что воспа-



леніе повредило что-то у него въ головѣ и въ грудобрюшной перепонкѣ. Вчера онъ ѣлъ съ большимъ аппетитомъ немного супа, который я послала ему; глазъ у него также лучше, но онъ весьма печаленъ и, говорятъ, плакалъ три часа; въ особенности онъ плачетъ, когда видитъ Августа, который теперь имѣетъ пристанище у меня. Мнѣ жаль бѣднаго мальчика, онъ былъ сильно разстроенъ, но уже привыкъ заглушать горе виномъ; недавно, въ клубѣ, гдѣ собирается общество того класса, къ которому принадлежитъ его мать, онъ выпилъ семнадцать бокаловъ шампанскаго, и я съ большимъ трудомъ удерживаю его отъ вина.

15-го января. Гете сегодня присылалъ ко мнѣ, благодарилъ за участіе и надѣется что ему скоро будетъ можно выходить; доктора находятъ, что онъ внѣ опасности, но выздоровленіе будетъ совершаться медленно».

Бто могъ бы подумать, что эти строки писала женщина о человѣкѣ, который страстно любилъ ее въ теченіе десяти лѣтъ, и теперь, какъ она думаетъ, лежитъ на смертномъ одрѣ? Даже и тутъ она не могла сдержать своей ненависти къ Христинѣ.

---

## ГЛАВА IX.

---

### Гете, какъ ученый.

Къ многостороннимъ его занятіямъ искусствомъ и наукой теперь присоединилось еще знакомство, хотя и отрывочное, съ философіей Канта. Онъ не имѣлъ достаточно терпѣнія и не находилъ достаточно удовольствія въ метафизическихъ абстракціяхъ, чтобъ вполне совладать съ *Критикой Чистаго Разума*, но урывками читалъ ее, какъ читалъ Спинозу, и особенно интересовала его эстетическая часть творенія Канта: *Kritik der Urtheilskraft*. Изученіе Канта должно было сблизить его съ Шиллеромъ, который еще живо чувствовалъ глубокое различіе между собой и своимъ соперникомъ, какъ это мы видимъ изъ слѣдующихъ строкъ, писанныхъ имъ въ то время къ Кернеру: «Его философія беретъ свой матеріалъ преимущественно изъ чув-

ственного міра, а я черпаю его изъ души. Его взглядъ на вещи для меня слишкомъ чувственъ. Но его гевій неустанно работаетъ, изслѣдуетъ по всѣмъ направленіямъ, стремясь создать цѣлое, и это дѣлаетъ его въ моихъ глазахъ великимъ человѣкомъ!»

И дѣйствительно, дѣятельность Гете поражаетъ своей многосторонностью. Окончивъ *Тассо*, онъ принимается за описаніе Римскаго карнавала, пишетъ о «подражаніи природѣ», въ то же время равностно изучаетъ тайны ботаники и оптики. Однѣ уже *Римскія Элегии* достаточно свидѣтельствуютъ о богатой производительности его занятій поэзіею, хотя теперь поэтическая дѣятельность и стояла у него на второмъ планѣ, а первое мѣсто занимали занятія наукой. Отношенія его къ обществу были теперь непріятны, тяжелы, и какъ онъ самъ впослѣдствіи признавался, никогда бы не былъ онъ въ состояніи перенести столь тяжелаго положенія, еслибъ не искусство, не природа, въ которыхъ онъ всегда находилъ убѣжище и утѣшеніе.

Когда онъ говорилъ объ искусствѣ, его слушали съ вниманіемъ; но когда говорилъ о наукѣ, его не хотѣли слушать, молча отворачивались, даже насмѣхались. И въ наукѣ и въ искусствѣ онъ былъ только диллетантъ. Но хотя онъ не былъ ни достаточно искуснымъ живописцемъ, ни достаточно искуснымъ скульпторомъ, чтобъ его произведенія могли придавать авторитетность его мнѣніямъ, тѣмъ не мене сужденіе его объ искусствѣ слушалось уваженіемъ, часто даже съ энтузіазмомъ<sup>1)</sup>. И артисты и публика допускали, что человѣкъ съ гевіемъ, хотя бы и былъ не болѣе какъ диллетантъ, можетъ говорить объ искусствѣ съ нѣкоторымъ авторитетомъ, но ученые не допускали, чтобъ человѣкъ съ гевіемъ былъ способенъ судить о предметахъ науки, не пройдя чрезъ рядъ экзаменовъ и не запасшись дипломомъ. Самый тупоголовый изъ тупоголовыхъ, потому только, что имѣлъ дипломъ въ карманѣ, считалъ себя вправѣ насмѣхаться надъ «стряпней поэта по сравнительной анатоміи». Поэтъ дѣлалъ открытія, раскрывалъ законы, а записные ученые подсмѣивались, даже не понимали его трудовъ,—такъ

---

<sup>1)</sup> Скульпторъ Раухъ говорилъ мнѣ, что мысли Гете объ искусствѣ возбуждали въ немъ такой энтузіазмъ, что имѣли вліяніе на его жизнь. Многіе другіе, безъ сомнѣнія, могутъ сказать то же самое.

низко стояло въ ихъ глазахъ его знаніе по сравненію съ ихъ высокою ученостью.

Конечно, люди, спеціально занимающіеся наукой, имѣютъ основаніе недовѣрчиво относиться къ трудамъ диллетанта, зная, какого усидчиваго труда требуетъ наука. Но какъ бы ни была основательна въ этомъ случаѣ недовѣрчивость, тѣмъ не менѣе нелѣпо съ ихъ стороны зажимать себѣ глаза. Когда диллетантъ выдаетъ за научное открытіе какую нибудь нелѣпость, то насмѣшки, презрѣніе съ ихъ стороны совершенно законны, но если диллетантъ дѣйствительно дѣлаетъ открытіе, а они относятся къ этому открытію съ презрѣніемъ, какъ къ нелѣпости, то въ такомъ случаѣ выражаемое ими презрѣніе падаетъ на нихъ самихъ. Если только спеціальное образованіе даетъ какое-нибудь превосходство, то это превосходство должно прежде всего состоять въ усовершенствованіи способности пониманія, а между тѣмъ въ дѣйствительности мы этого вовсе не замѣчаемъ. Дѣло въ томъ, что масса, уже потому только, что она есть масса, съ трудомъ принимаетъ всякую новую идею, выходящую изъ ряда ея знанія, и эта трудность, которую приходится преодолевать каждой новой идеѣ, еще удесят�еряется, когда новая идея исходитъ изъ источника, который самъ по себѣ не авторитетенъ.

Но что такое авторитетность? Уваженіе къ дарованію, къ труду. Способный человѣкъ, посвятившій, какъ намъ извѣстно, много времени на изученіе какого-нибудь предмета, предполагается нами болѣе компетентнымъ въ томъ предметѣ, чѣмъ всякій другой, мало имъ занимавшійся. Конечно, какъ бы ни были велики дарованія человѣка, какъ бы онъ много ни изучалъ предметъ, онъ можетъ ошибиться, но ему легче уберечься отъ ошибки, и потому у насъ образуется предрасположеніе вѣрить въ истинность его заключеній: это предрасположеніе ему вѣрить и есть то, что мы называемъ его авторитетностью. Когда поэтъ начинаетъ говорить намъ о научныхъ вопросахъ, въ насъ естественно возникаетъ предположеніе, что онъ недостаточно изучилъ предметъ, а дарованіе, какъ бы оно ни было велико, безъ надлежащаго изученія не можетъ дать авторитетности. Но если научныя изслѣдованія поэта свидѣтельствуютъ, что онъ дѣйствительно изучалъ предметъ, то мы не имѣемъ основанія смотрѣть на него только какъ на поэта и

отказывать ему въ научномъ гражданствѣ. Вѣдь никто же не оспариваетъ огромной славы Галлера, или Реди, на томъ основаніи, что они были поэты. Они дѣйствительно были поэты, но въ то же время они были и научные дѣятели. Таковъ былъ и Гете. Можетъ быть его научная дѣятельность скорѣе получила бы надлежащую оцѣнку, еслибъ онъ шелъ избитыми путями научной мысли; но онъ открывалъ новыя пути, слѣдовательно признать его научное значеніе значило признать его руководителемъ, что при общей людской слабости было невозможнымъ подвигомъ для записныхъ ученыхъ. Къ предубѣжденію противъ поэта присоединялось предубѣжденіе противъ новизны: каждое изъ этихъ препятствій уже и само по себѣ въ отдѣльности было бы достаточно, чтобъ помѣшать надлежащей оцѣнкѣ его ученыхъ трудовъ, но, соединенныя вмѣстѣ, они были неодолимы.

Итакъ, когда Гете написалъ свой превосходный трактатъ о *Метаморфозѣ растений* ему предстояло одолѣть двойное препятствіе: предубѣжденіе противъ новизны и предубѣжденіе противъ его научной компетентности. Если бы этотъ трактатъ былъ написанъ какимъ-нибудь неизвѣстнымъ ученымъ, то какъ бы публика ни была мало расположена къ принятію новизны, тѣмъ не менѣе неизвѣстное имя имѣло бы для нея въ этомъ случаѣ болѣшій *prestige*, чѣмъ имя великаго поэта. Обыкновенно, всякая новизна *prima facie* подозрительна, и только молодежь способна относиться къ ней довѣрчиво, потому что всякое новое открытіе кладетъ до нѣкоторой степени тѣнь на достоинство способностей тѣхъ, которымъ нужна была указка, чтобъ увидѣть истину. Поэтъ возвѣщаетъ какую-то научную новость, — можетъ ли это быть что иное, какъ не поэтическая фантазія, и стоитъ ли труда опровергать фантазію? Конечно, нѣтъ. Такъ рѣшили авторитеты науки. Издатель сочиненій Гете, посовѣтовавшись съ однимъ ботаникомъ, отказался печатать *Метаморфозу Растеній*. Наконецъ, сочиненіе было напечатано, благодаря тому, что нашелся одинъ предприимчивый книгопродавецъ, рѣшившійся на это въ надеждѣ чрезъ это пріобрѣсть право на изданіе другихъ произведеній поэта. Когда трактатъ появился въ печати, публика приняла его какъ прекрасную поэтическую фантазію, не болѣе. Ботаники пожимали плечами и сожалѣли, что авторъ не прибере-

гаетъ своей фантазіи для своихъ поэмъ. Никто не вѣрилъ въ научное значеніе его теоріи, даже и самые близкіе его друзья. Много лѣтъ пришлось ему ждать, пока наконецъ его теорія получила общее признаніе, но и тогда это признаніе совершилось только благодаря авторитету нѣкоторыхъ знаменитыхъ ботаниковъ. Одинъ весьма авторитетный ученый говоритъ, что теорія Гете несправедливо была долгое время въ пренебреженіи, но что «depuis dix ans (это писано въ 1838 году) il n'a peut être pas été publié un seul livre d'organographie, ou de botanique descriptive, qui ne porte l'empreinte des idées de cet écrivain illustre» <sup>1)</sup>. Дѣйствительно, главная причина, почему эта теорія такъ долго оставалась въ пренебреженіи, заключалась именно въ томъ, что авторъ ея былъ никто иной, какъ авторъ *Вертера*; но мы не должны при этомъ упускать изъ виду еще и то обстоятельство, что она далеко опережала тогдашнее положеніе науки. Замѣчательно, что идею, лежащую въ основѣ этой теоріи, хотя кратко, но весьма ясно высказалъ еще въ 1759 году Каспаръ Фридрихъ Вольфъ въ своей заслуженно знаменитой *Theoria Generationis*, и потомъ, въ 1764 году, въ своей *Theorie von der Generation*. Я буду еще говорить о Вольфѣ, а теперь замѣчу только, что даже высокій авторитетъ этого ученаго и вся его замѣчательная даровитость не могли побудить ботаниковъ обратить хотя малѣйшее вниманіе на морфологическую теорію, — обстоятельство, очевидно свидѣтельствующее, что тогдашнее время еще не было достаточно зрѣло для принятія этой теоріи.

Прошло нѣсколько лѣтъ по выходѣ въ свѣтъ *Метаморфозы растений*, и нѣкоторые знаменитые ботаники начали ихъ цѣнить по достоинству. Такъ Кизеръ сказалъ, что давно уже въ физиологій растений не было ничего столь замѣчательнаго. Фохтъ съ негодованіемъ отзывался о слѣпотѣ ботаниковъ, которые не видятъ высокаго достоинства этого трактата. Фонъ-Эзенбекъ, одно изъ замѣчательнѣйшихъ именъ въ наукѣ, писалъ въ 1818 году: «*Теофрастъ* былъ творцомъ ботаники, а Гете — ея нѣжный отецъ, къ которому она обратитъ взоры, полные любви и благодарности, какъ

---

<sup>1)</sup> AUGUSTE ST. HILAIRE: Comptes Rendus des Seances de l'Acad: vii, 437. Смотри также его сочиненіе: *Morphologie végétale*, vol. i, p. 15.

скоро выйдетъ изъ дѣтства и сознаетъ, чѣмъ ему обязана!» Шпренгелъ въ своей *Исторіи Ботаники* часто упоминаетъ о теоріи Гете. Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ: «Трактатъ Гете *Метаморфоза Растеній* такъ глубокомысленъ и въ тоже время такъ привлекателенъ своей простотой и такъ богатъ полезными послѣдствіями, что не будетъ ничего удивительнаго, если онъ подастъ поводъ къ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ, хотя многіе ботаники и относятся къ нему съ небреженіемъ». Въ настоящее же время съ нѣкоторыхъ поръ вошло въ общее обыкновеніе въ каждой книгѣ, трактующей о ботаникѣ и имѣющей притязаніе на научный характеръ, посвящать хотя главу метаморфозъ растеній.

«Болѣе полустолѣтія,—говоритъ Гете въ историческомъ изложеніи своихъ занятій ботаникой,—я извѣстенъ какъ поэтъ и въ своемъ отечествѣ и въ чужихъ странахъ, и мой поэтический талантъ пользуется общимъ признаніемъ. Но далеко не имѣетъ такой общезнѣстности, что я также съ большимъ рвеніемъ изучалъ природу въ ея общихъ физическихъ и въ ея органическихъ феноменахъ, непрерывно и страстно занимался наблюденіями. Поэтому, когда мой опытъ объ образованіи растеній, напечатанный сорокъ лѣтъ назадъ, обратилъ на себя вниманіе ботаниковъ въ Швейцаріи и Франціи, то, казалось, не могли достаточно надивиться, какимъ образомъ поэтъ, привыкшій останавливать свое вниманіе только на предметахъ, говорящихъ чувствамъ и воображенію, могъ такъ уклониться отъ своего пути и мимоходомъ сдѣлать столь важное открытіе. Чтобы уничтожить это ошибочное мнѣніе я написалъ исторію моихъ ботаническихъ занятій, которая покажетъ, что большую часть жизни я страстно, съ увлеченіемъ, занимался естествознаніемъ и достигъ счастливаго результата не по внезапному неожиданному вдохновенію, а послѣ ряда долговременныхъ и послѣдовательныхъ усилій. Конечно, я могъ бы не только удовольствоваться, но и могъ бы даже гордиться высокой честью, какую люди дѣлали моей проницательности. Но такъ какъ для науки одинаково пагубно исключительно ограничиваться фактами, или исключительно идеями, то я счелъ долгомъ изложить если не съ полной подробностію, то съ полной исторической вѣрностію, исторію моихъ ботаническихъ изслѣдованій».

Холодный приемъ, оказанный публикою его ученому трактату, не очень его огорчилъ. Онъ зналъ, какъ неохотно публика отдаетъ справедливость людямъ, стремящимся къ успѣху въ различныхъ сферахъ, и нашелъ ея холодный приемъ весьма естественнымъ, не безъ гордости замѣчая при этомъ, что «живой человѣкъ живетъ ради самаго себя, а не ради публики».

Мы будемъ еще имѣть случай говорить о его ботанической теоріи; а теперь ограничимся только еще однимъ біографическимъ замѣчаніемъ, что часы, проведенныя за ботаникой, онъ причислялъ къ счастливѣйшимъ часамъ своей жизни. «Эти занятія, — говоритъ онъ, — были для меня неоцѣнны. Имъ обязанъ я дружбой Шаллера».

Сказавъ о его занятія ботаникой, намъ предстоитъ теперь остановиться на его занятіяхъ оптикой. Его изслѣдованія по этимъ двумъ отраслямъ представляютъ въ высшей степени поучительный контрастъ, который бросаетъ яркій свѣтъ вообще на научный методъ, а также на научныя достоинства и недостатки самаго изслѣдователя. До сихъ поръ мы говорили о его научныхъ трудахъ съ сочувствіемъ и удивленіемъ, а теперь намъ приходится испытать тяжелое чувство при видѣ, какъ великій умъ становится безплоденъ, разъ попавъ на ложный путь. Намъ досадно на публику, которая не умѣла отдать справедливости его трудамъ по анатоміи и ботаникѣ, но оптическія его изслѣдованія были такого рода, что свѣдущіе люди не могли не отнестись къ нимъ съ небреженіемъ.

Онъ написалъ также исторію и своихъ занятій оптикой. Съ юности имѣлъ онъ склонность теоризировать о живописи, что было слѣдствіемъ, какъ онъ мѣтко замѣчаетъ, «отсутствія во мнѣ дѣйствительнаго таланта къ живописи». Ему не было необходимости теоризировать о поэзіи, — онъ былъ одаренъ поэтическимъ творчествомъ; но ему необходимо было теоризировать о живописи, чтобъ «размышленіемъ и знаніемъ восполнить отсутствіе природной способности». Въ Италіи эта наклонность къ теоризированію нашла себѣ богатый стимулъ. Тамъ съ друзьями артистами бесѣдовалъ онъ о цвѣтѣ и колоритѣ и высказывалъ имъ различные смѣлые парадоксы, надѣясь такимъ образомъ вызвать съ ихъ стороны раскрытіе истины. Но къ сожалѣнію, понятія его друзей были весьма

смутны. Не менѣе смутны были и критическіе трактаты объ этомъ предметѣ. Не находя нигдѣ прочной основы, онъ рѣшился подступить къ предмету съ противоположной стороны, — вмѣсто артистической проблемы поставить его, какъ научную проблему. Онъ задался вопросомъ: что такое цвѣтъ? Ученые указали ему, что надо обратиться къ Ньютону, но и Ньютонъ мало ему помогъ. Профессоръ Бютнеръ далъ ему оптическіе инструменты. Онъ держалъ ихъ долго, но не дѣлалъ изъ нихъ никакого употребленія. Наконецъ Бютнеръ проситъ возвратить инструменты. Гете инструментовъ не возвращаетъ, но и не пользуется ими, — откладываетъ со дня на день, углубясь въ другія занятія. Наконецъ Бютнеръ терпѣетъ терпѣніе, опять посылаетъ за инструментами, пишетъ, что если ему они нужны, то впослѣдствіи дастъ ихъ ему опять, а теперь проситъ непременно возвратить безъ отлагательства. Нечего дѣлать, приходилось разстаться съ инструментами, а между тѣмъ разстаться было жаль, не сдѣлавъ изъ нихъ даже и малѣйшаго употребленія, — и Гете немедленно принимается за наблюденія, проситъ подождать посланнаго отъ Бютнера, беретъ призму и начинаетъ смотрѣть на бѣлую стѣну своей комнаты, ожидая, что она представится ему разцвѣченной различными цвѣтами, согласно теоріи Ньютона. Но, къ удивленію, ничего подобнаго не оказалось, — бѣлая стѣна оставалась по прежнему бѣлой стѣной, и только гдѣ падала тѣнь, обозначились болѣе или менѣе опредѣленные цвѣта, оконныя же рамы были болѣе разцвѣчены, хотя на свѣтло-сѣромъ небѣ не было замѣтно и слѣда никакихъ цвѣтовъ. «Не много требовалось размышленія, чтобъ открыть, что для произведенія цвѣта необходима граница, и я инстинктивно воскликнулъ: теорія Ньютона ошибочна!» О возвратѣ инструментовъ въ такую минуту, конечно, нечего было и думать, — Гете написалъ Бютнеру письмо, просилъ его повременить, и ревностно принялся за наблюденія.

Таковъ былъ крайне неудачный его приступъ къ оптическимъ изслѣдованіямъ. Онъ началъ съ превратнаго пониманія теоріи Ньютона и думалъ, что опровергаетъ Ньютона, тогда какъ на самомъ дѣлѣ опровергалъ только свое собственное заблужденіе. Ньютонова теорія вовсе не говоритъ, что если смотрѣть на бѣлую поверхность сквозь призму, то она разцвѣтится, — она говоритъ, что поверхность останется бѣлой, а разцвѣтятся только выпуклости. Воображаемое открытіе ошибочности



ньютоновой теоріи не давало Гете покоя. Онъ съ усиленнымъ рвеніемъ принялся за наблюденія, непрестанно размышлялъ о предметѣ, и вмѣсто того чтобъ приняться за работу какъ слѣдуетъ, вмѣсто того чтобы начать съ начала, съ А В С науки, онъ избралъ самый длинный путь, принялся дѣлать опыты, не имѣя къ тому достаточной подготовки. Онъ начертилъ бѣлый кругъ на черномъ фонѣ и, взглянувъ на него сквозь призму, увидалъ spectrum, какъ и слѣдовало по теоріи Ньютона; потомъ онъ начертилъ черный кругъ на бѣломъ фонѣ и получалъ тотъ же результатъ. «Если свѣтъ, подумалъ я про себя, разрѣшается въ различные цвѣта въ первомъ случаѣ, то и мракъ также разрѣшается въ различные цвѣта во второмъ случаѣ». Такимъ образомъ, онъ пришелъ къ заключенію, что цвѣтъ не заключается въ свѣтѣ, а есть продуктъ смѣшенія свѣта съ мракомъ.

«Будучи совершенно неопытенъ въ такихъ вещахъ, и не зная какъ идти далѣе, я обратился къ одному физику, прося его проверить добытые мной результаты. Еще прежде высказалъ я ему свои сомнѣнія на счетъ гипотезы Ньютона, и теперь ожидалъ, что онъ тотчасъ же согласится съ моимъ убѣжденіемъ. Но, къ моему удивленію, онъ мнѣ сказалъ, что феноменъ, о которомъ я говорю, уже давно извѣстенъ и въ совершенствѣ объясненъ теоріей Ньютона. Тщетно старался я опровергнуть его аргументы,—онъ крѣпко держался своего *Credo*, и совѣтывалъ мнѣ повторить опыты въ *sa-mega obscura*».

Но это обстоятельство не обратило его на истинный путь, а только оттолкнуло отъ физиковъ, т. е. отъ людей, специально знающихъ предметъ, и онъ молча принялся за дальнѣйшіе опыты, не спрашивая ни чьихъ указаній. Друзья его забавлялись, интересовались его опытами, и такъ какъ были совершенно въ этомъ невѣжественны, то и сдѣлались слѣпыми его послѣдователями. Особенно интересовали его опыты герцогиню Луизу, которой онъ и посвятилъ потомъ свое *Farbenlehre*. Карлъ-Августъ также относился съ энтузіазмомъ къ его изслѣдованіямъ. Герцогъ Готскій предоставилъ ему въ полное распоряженіе великолѣпную лабораторію. Принцъ Августъ прислалъ изъ Англіи великолѣпныя призмы. Принцы и риноплеты вѣрили, что онъ низвергнетъ Ньютона, но люди науки улыбались этимъ притязаніямъ,

и даже не удостоивали опровергать его теорію. Онъ самъ рассказываетъ слѣдующій весьма замѣчательный фактъ, но не отдаетъ однако себѣ отчета въ истинномъ его значеніи: «въ числѣ ученыхъ, одобрявшихъ мои труды, я нахожу анатомовъ, химиковъ, литераторовъ, философовъ, какъ напр. Лодера, Коммеринга, Гетлинга, Вольфа, Форстера, Шеллинга (и впоследствии Гегеля), но ни одного физика—hingegen keinen Physiker!» Странно, что этотъ фактъ не навелъ его на сомнѣніе въ справедливости его притязаній.

Какой вѣсь можетъ имѣть мнѣніе анатомовъ, литераторовъ, философовъ въ подобномъ вопросѣ? Что сказали бы вы о математикѣ, который обратился бы по математическому вопросу къ свидѣтельству зоологовъ и ихъ свидѣтельство вздумалъ бы противопоставить единогласному свидѣтельству всѣхъ математиковъ какъ настоящаго, такъ и прошлаго времени? Впрочемъ, многое можно сказать и въ защиту Гете. Приѣмъ, сдѣланный открытію межчелюстной кости и «метаморфозъ растений», показали ему, съ какимъ пренебреженіемъ способны относиться научные авторитеты къ новымъ открытіямъ, а теперь онъ не только провозглашалъ новую теорію, но вмѣстѣ съ этимъ нападалъ на самый высшій авторитетъ науки, и поэтому ожидалъ, что къ его теоріи отнесутся съ небреженіемъ, что всѣ послѣдователи Ньютона будутъ смотрѣть на него, какъ на своего врага, и будутъ упорно держаться своихъ предразсудковъ. Онъ смотрѣлъ на своихъ противниковъ, какъ на такихъ людей, чьихъ интересъ и невѣжество побуждаютъ возставать противъ всякой новизны, поэтому ихъ мнѣніе не могло заставить его усумниться въ своей правотѣ. Онъ думалъ, что его противники глубоко ошибаются, утверждалъ, что оптика есть часть математики, и такъ какъ самъ не понималъ математики, то и не могъ оцѣнить ихъ аргументовъ.

Его *Beiträge zur Optik*, появившіяся въ 1791 г., были нѣчто въ родѣ пробнаго камня, брошеннаго въ публику, и публика отнеслась къ нимъ совершенно несочувственно. Люди несвѣдущіе вовсе не интересовались этимъ предметомъ, а если интересовались, то, конечно, вовсе не были расположены обращаться за поученіемъ къ поэту; люди же свѣдущіе сразу ясно увидѣли всю ошибку поэта. «Вездѣ,—говоритъ онъ,—я встрѣчалъ недовѣріе къ моей ком-

петентности въ этомъ предметѣ, повсюду видѣлъ несочувствіе къ своимъ усиліямъ; и чѣмъ ученѣе, образованнѣе были люди, тѣмъ большее они выказывали нерасположеніе».

Цѣлые годы продолжалъ онъ свои изслѣдованія съ терпѣніемъ, достойнымъ удивленія. Оппозиція не останавливала его, а скорѣе только увеличивала его упорство, даже раздражала его, такъ что по этому случаю мы встрѣчаемъ у него такого рода полемическія выраженія, которыя весьма удивляютъ въ устахъ челоуѣка, обыкновенно столь спокойнаго, столь чуждаго всякой нетерпимости. Можетъ быть, какъ замѣтилъ мнѣ Кингслей, это было слѣдствіемъ нѣкоторой неувѣренности. признакомъ, что онъ и самъ, хотя смутно, но чувствовалъ ошибочность своихъ выводовъ, и раздражительность его въ этомъ случаѣ едва ли не свидѣтельствуетъ о нетвердости убѣжденія. Когда онъ былъ твердо убѣжденъ, онъ былъ спокоенъ, не раздражался. Холодный пріемъ его трактата: *Метаморфоза растений*, отрицаніе его открытія межчелюстной кости, равнодушіе къ его трудамъ по сравнительной анатоміи, все это онъ переносилъ съ философскимъ спокойствіемъ. Но какъ только заходила рѣчь о *Farbenlehre*, онъ всегда раздражался. а въ старости это доходило даже до смѣшнаго. Эккерманъ рассказываетъ, что однажды ему случилось указать Гете фактъ, противорѣчащій его теоріи; Гете сейчасъ же пришелъ въ раздраженіе и сталъ даже отвергать существованіе факта. Вообще, когда заходила рѣчь о цвѣтѣ, Гете оказывался одинаково слабъ, и нравственно и умственно. «Все что я совершилъ, какъ поэтъ,—сказалъ онъ въ старости,—все это я не ставлю себѣ въ особое достоинство. И кромѣ меня были превосходные поэты въ мое время,—лучшіе, чѣмъ я, поэты жили до меня и явятся послѣ меня. Но что я въ мой вѣкъ былъ единственный, постигшій истину въ трудной наукѣ о цвѣтахъ, этимъ я не мало горжусь».

Безъ сомнѣнія, читателю любопытно сколько-нибудь ознакомиться съ Гетевой *Теоріей цвѣтовъ*. Мѣсто позволяетъ намъ изложить ее только вкратцѣ. Такое изложеніе, конечно, неблагоприятно для нея, такъ какъ при этомъ необходимо придется опустить многія объясненія и опыты, придающія ей благовидность, но во всякомъ случаѣ оно будетъ достаточно, чтобъ видѣть въ чемъ суть дѣла.

\*

По теоріи Ньютона, бѣлый свѣтъ состоитъ изъ семи призматическихъ цвѣтовъ, т. е. лучей, имѣющихъ различныя степени преломленія. Гете же говоритъ, что бѣлый свѣтъ вовсе не составной, а есть самая простая, самая однородная вещь, какую мы только знаемъ \*). По его мнѣнію, утверждать, что бѣлый свѣтъ составленъ изъ цвѣтовъ, есть нелѣпость, потому что всякій опцвѣченный свѣтъ темнѣе, чѣмъ свѣтъ безцвѣтный. Только есть два чистыхъ цвѣта, синій и желтый, — оба переходятъ въ красный, проходя первый чрезъ фіолетовый, а второй чрезъ оранжевый. Есть также два смѣшанные цвѣта: зеленый и пурпуровый. Каждый другой цвѣтъ есть только та или другая степень одного изъ этихъ цвѣтовъ, или есть цвѣтъ нечистый. Цвѣта образуются чрезъ модификацію свѣта внѣшними условіями. Они развиваются не изъ свѣта, но съ помощью свѣта. Для образованія цвѣта необходимы свѣтъ и мракъ. Цвѣтъ, ближайшій къ свѣту, мы называемъ желтымъ; а цвѣтъ, ближайшій къ мраку, мы называемъ синимъ. Смѣшайте эти два цвѣта и получите зеленый цвѣтъ.

Исходя изъ ошибочнаго основанія, что свѣтъ есть вещь простая, а не составная, Гете старается объяснить всѣ феномены цвѣта съ помощью дѣйствія такъ-называемыхъ «*trüben Mittel*». Онъ противопоставляетъ свѣтъ мраку и утверждаетъ, что если между ними поставить полупрозрачную среду, то отъ каждого изъ нихъ въ отдѣльности образуются цвѣта, такъ же между собой противоположные, какъ противоположны другъ другу свѣтъ и мракъ, но что эти цвѣта, вслѣдствіе взаимнаго дѣйствія другъ на друга, сейчасъ же сливаются въ одинъ общій цвѣтъ.

Высшая степень свѣта, видимая сквозь среду, имѣющую возможно наименьшую плотность, даетъ желтый цвѣтъ. Если уменьшать прозрачность среды или увеличивать ея толщину, то свѣтъ будетъ постепенно переходить въ желто-красный цвѣтъ, и наконецъ перейдетъ въ рубиновый.

---

\*) «Возблагодаримъ боговъ, восклицаетъ Шеллингъ, что они избавили насъ отъ ньютоноваго свѣта. Это по истинѣ *spectrum*! Мы обязаны этимъ гению, который и крокъ этого уже совершилъ такъ много». *Zeitschrift für speculative Philo.* II, p. 60. Въ томъ же смыслѣ говоритъ Гегель въ своей *Encyclopädie der philos. Wissenschaften*.

Высшая степень мрака, видимая сквозь полупрозрачную среду, освещенную падающим на нея свѣтомъ, даетъ синій цвѣтъ, который дѣлается блѣднѣе по мѣрѣ увеличенія плотности среды; и наоборотъ, темнѣе по мѣрѣ того какъ среда дѣлается прозрачнѣе. При самой меньшей степени плотности, т. е. при самой полной прозрачности, темно-синій цвѣтъ дѣлается великолѣпнымъ фіолетовымъ.

Въ поясненіе этой теоріи Гете приводитъ много интересныхъ фактовъ. Такъ напр. дымъ на свѣтломъ фонѣ кажется желтымъ или краснымъ, и синимъ — на темномъ фонѣ; сильнее пламя у нижней части свѣтильни происходитъ отъ темнаго фона. Свѣтъ, проходя чрезъ воздухъ, дѣлается желтымъ, оранжевымъ или краснымъ, смотря по плотности воздуха, а мракъ, проходя чрезъ воздухъ, дѣлается синимъ, какъ напр. видъ неба, или отдаленныхъ горъ.

Для объясненія образованія синяго цвѣта онъ рассказываетъ весьма курьезный анекдотъ. Одинъ живописецъ сталъ чистить старый портретъ одного духовнаго лица. Какъ только провелъ онъ сырой губкой по черной бархатной одеждѣ, черный бархатъ превратился въ свѣтло-синій плисъ. Удивленный этимъ дѣйствительно замѣчательнымъ феноменомъ, и не понимая его, онъ сильно опечалился, думая, что испортилъ портретъ; но на слѣдующее утро, къ великой его радости, черный бархатъ опять пришелъ въ свой прежній видъ. Это обстоятельство сильно заинтересовало живописца, и онъ не могъ удержаться, чтобъ не повторить опыта, опять вытеръ сырой губкой часть одежды, и черный бархатъ снова принялъ свѣтло-синій цвѣтъ. Объ этомъ сообщили Гете, и опытъ былъ повторенъ въ его присутствіи. «Я объяснилъ это, — говоритъ онъ, — дѣйствіемъ полупрозрачнаго посредника. Можетъ быть, живописецъ, наложивъ черную краску, пожелалъ сдѣлать ее болѣе черной, и для этого покрылъ особеннымъ лакомъ, который при мытьѣ впитываетъ въ себя сырость, вслѣдствіе чего дѣлается полупрозрачнымъ, и такимъ образомъ находящійся подъ нимъ черный цвѣтъ превращается въ синій». Объясненіе это весьма остроумно. Авторъ статьи *Edinburgh Review*, Oct. 1840, p. 117, очевидно не понималъ этого объясненія, возражая на него такимъ образомъ: «Такъ какъ никакая смола, никакой лакъ не имѣетъ

способности давать синій или какой другой цвѣтъ вслѣдствіе принятія въ себя сырости, то одно изъ двухъ: или лакъ былъ уже стертъ съ портрета, или же этотъ портретъ никогда не былъ покрытъ лакомъ». Гете и не думалъ говорить, что смоченный лакъ даетъ синій цвѣтъ,—онъ говоритъ только, что смоченный лакъ есть такой посредникъ, сквозь который черный цвѣтъ кажется синимъ. Впрочемъ объясненіе, предлагаемое этимъ авторомъ, по всей вѣроятности правильно. Онъ предполагаетъ, что лаку на портретѣ не было, и объясняетъ фактъ слѣдующимъ образомъ: по общепринятой теоріи, частички, производящія черный цвѣтъ, мельче, чѣмъ тѣ частички, которыя производятъ синій или другой какой цвѣтъ,—при мытьѣ картины мелкія частички, принявъ въ себя сырость, увеличились въ объемъ и стали отражать вмѣсто черныхъ синіе лучи.

При такомъ краткомъ изложеніи, теорія много утрачиваетъ своей обольстительной вѣроятности; поэтому изложимъ также вкратцѣ теорію Ньютона, и сдѣлаемъ сравнительную оцѣнку обѣимъ теоріямъ. Ньютонъ говоритъ, что бѣлый свѣтъ есть составной, и доказываетъ это предположеніе разложеніемъ луча свѣта на его элементы. Эти элементы суть лучи, имѣющіе различныя степени преломленія и отдѣленные одинъ отъ другаго различными средами. Каждый лучъ производитъ свой особый цвѣтъ. Проходя чрезъ призму, лучъ бѣлаго свѣта не только разлагается на составные лучи или цвѣта, но эти лучи могутъ опять быть собраны всѣ вмѣстѣ съ помощью чечевицеобразнаго стекла, и тогда опять образуютъ бѣлый свѣтъ. Немного найдется въ наукѣ теорій, которыя представляли бы болѣе удовлетворительное согласіе логики съ опытомъ.

Нельзя отрицать, что теорія Гете также представляется весьма вѣроятной, и онъ подкрѣплялъ ее многочисленными превосходными наблюденіями и опытами, такъ что она и до сихъ поръ еще находитъ себѣ горячихъ приверженцевъ даже между учеными, хотя, впрочемъ, число таковыхъ весьма не велико. Ньютоніанцы, полагаясь на математическую точность Ньютоновой теоріи, съ презрѣніемъ отнеслись къ умозрительной теоріи Гете, но не опровергли ее окончательно. Упорство Гете было извинительно, онъ былъ убѣжденъ, что истина на его сторонѣ, вызывалъ на бой,

но никто не принялъ его вызова. Ньютоніанцы презрительно уклонились отъ боя, и Гете приписалъ это слѣпому предрассудку. Тщетно также пытался онъ побудить французскую академію сказать свое мнѣніе о его трудѣ. Ему отказали въ этой чести, и Кювье презрительно объявилъ, что академіи некогда заниматься подобными вещами. Делаборъ отвѣчалъ на всѣ домогательства слѣдующей фразой: *Des observations, des expériences, et surtout ne commençons pas par attaquer Newton!* Какъ будто *Farbenlehre* не была основана на наблюденіяхъ и опытахъ! Какъ будто и въ самомъ дѣлѣ Ньютонъ есть какая-то непогрѣшимость. Подобные отзывы не могли, конечно, не огорчить Гете. Если его теорія ошибочна, если его опыты недоказательны, почему же никто не хотѣлъ указать, въ чемъ именно ошибка?

Положимъ, что противорѣчіе Ньютону могло служить основаніемъ къ отрицанію новой теоріи, но послѣдователей Ньютона приглашали не къ объясненію противорѣчія между Ньютонѣмъ и Гете, которое было ясно и рѣзко, а къ объясненію противорѣчія между Гете и истиной, которое они только провозглашали съ презрѣніемъ, но не объясняли.

Такъ какъ я не могу имѣть никакого притязанія на компетентность въ этой отрасли знанія и нигдѣ не встрѣчалъ полного опроверженія Гете, на которое могъ бы сослаться, то ограничусь замѣчаніемъ, что хотя огромное большинство европейскихъ физиковъ относится къ *Farbenlehre* презрительно единственно изъ предубѣжденія, но тѣмъ неменѣе это предубѣжденіе столь сильно, что можетъ уступить только неотразимой очевидности. Разсматривая *Farbenlehre* съ полнымъ безпристрастіемъ, но нисколько не претендуя на компетентность, я позволю себѣ высказать мнѣніе, что Гете не только очевидно не понялъ Ньютона, но и создалъ такую теорію, въ основѣ которой лежитъ радикальное заблужденіе. Это заблужденіе состоитъ въ томъ, что онъ принялъ мракъ за нѣчто положительное, тогда какъ мракъ есть только отрицаніе свѣта. Онъ говоритъ, что цвѣта образуются чрезъ совмѣстное дѣйствіе свѣта и мрака. Будучи очищена отъ всѣхъ двусмысленныхъ выраженій, теорія эта говоритъ, что свѣтъ самъ по себѣ совершенно безцвѣтенъ, пока не смѣшанъ въ какой-либо степени съ ничто, или, другими словами, пока не подвергся уменьшенію

въ той или другой степени, и чѣмъ больше уменьшеніе свѣта, тѣмъ темнѣе цвѣтъ. Это можетъ показаться даже просто нелѣпымъ. И въ самомъ дѣлѣ, что такое мракъ, какъ не отрицаніе свѣта? Правда, Гете въ одномъ мѣстѣ говоритъ, что мракъ есть чистое отрицаніе, но тѣмъ неменѣе въ его теоріи онъ есть нѣчто положительное, и это необходимо для его теоріи, потому что если мы признаемъ, что мракъ есть только отрицаніе свѣта, то вся его теорія рухнетъ. Если свѣтъ безцвѣтенъ, то, очевидно, никакое уменьшеніе безцвѣтности не можетъ дать никакого цвѣта. Одно изъ двухъ: или мракъ есть нѣчто положительное, совместно дѣйствующее съ свѣтомъ, или же мы должны искать элементы цвѣта въ свѣтѣ, что и дѣлаетъ Ньютонова теорія.

Это уже весьма старая идея, что различные переходы тѣни, различно модифицируя свѣтъ, образуютъ различные цвѣта. Ньютонъ тщательно опровергъ эту идею (*Optics*, part II, book I), доказывая простыми опытами, что переходы тѣни не производятъ измѣненія въ цвѣтѣ, и что если лучи, имѣющіе различные степени преломленія, отдѣлить одинъ отъ другаго и разсматривать который либо изъ нихъ въ отдѣльности, то оказывается, что «цвѣтъ» свѣта, составляющаго этотъ лучъ, не можетъ быть измѣненъ никакимъ преломленіемъ или отраженіемъ, какъ это неизбѣжно было бы, еслибы цвѣтъ былъ ничто иное, какъ модификація свѣта посредствомъ преломленія, отраженія и тѣни».

Не можемъ мы не обратить особеннаго вниманія на то обстоятельство, что самые высокіе авторитеты науки признали точность фактовъ, которые Гете приводитъ въ оправданіе своей теоріи, и что эти факты весьма многочисленны и по большей части весьма важны. Это обстоятельство очевидно свидѣтельствуетъ, что его оптическія изслѣдованія имѣютъ значительное достоинство. Это былъ человѣкъ гениальный, который работалъ съ тѣмъ страстнымъ терпѣніемъ, къ какому способны только гениальные люди. Но какъ бы ни было велико наше уваженіе къ его гению, мы не можемъ однако согласиться съ его теоріей. Что болѣе всего раздражало ученыхъ и побуждало небрежно относиться къ его трудамъ, это—крайне рѣзкій полемическій тонъ, съ которымъ онъ провозглашалъ объ открытіи, которое они не могли признать истин-



нымъ. Его нападенія были рѣзки и вмѣстѣ съ тѣмъ слабы. Онъ громогласно провозглашалъ, что Ньютонъ заблуждался, а между тѣмъ свѣдущіе люди съ перваго же взгляда усматривали въ мнимомъ его открытіи капитальную ошибку. Отстраняя полемическій пылъ и относясь къ предмету спокойно, мы находимъ, что весь споръ въ сущности сводится къ слѣдующему вопросу: которая изъ двухъ теорій представляетъ наиболѣе полное и наиболѣе ясное объясненіе фактовъ?

Свѣтъ и цвѣта, подобно звуку и тонамъ, могутъ быть разсматриваемы какъ объективные феномены, зависящіе отъ извѣстныхъ внѣшнихъ условій, или какъ субъективные феномены, зависящіе отъ чувствъ. Прежде чѣмъ задаться вопросомъ: что такое свѣтъ или звукъ? мы должны рѣшить, что составляетъ предметъ нашего изслѣдованія: объективный ли фактъ или субъективное чувство. Всѣ согласны, что, независимо отъ ощущающаго организма, существуютъ объективные феномены свѣта и звука, не такіе, какъ тѣ, которые мы ощущаемъ; и такъ какъ мы не иначе можемъ познавать свѣтъ и звукъ, какъ чрезъ наши ощущенія, то представляется въ высшей степени разсудительнымъ начинать ихъ изученіе съ феноменовъ субъективныхъ, что и сдѣлалъ Гете. Онъ прежде всего разсматриваетъ законы фізіологическаго цвѣта, т. е. модификацій глазной сѣтчатой оболочки, и всѣ фізіологи единогласно признають его заслугу въ этомъ отношеніи. Но такъ какъ этотъ путь не можетъ привести насъ къ знанію внѣшнихъ условій феномена, то намъ необходимо для этого обратиться къ объективнымъ фактамъ. Предположеніе, что лучи имѣютъ различныя степени преломленія, можетъ современемъ оказаться ложнымъ, но такъ какъ теперь оно лучше, чѣмъ какое-либо другое, объясняетъ факты, то и должно быть принято. Если звукъ и свѣтъ суть продукты колебаній эластической среды, то акустическіе и оптическіе феномены могутъ быть сведены къ вычисленію. Правда, Гете замѣчаетъ на это, что въ такомъ случаѣ акустическіе и оптическіе феномены перестаютъ быть для ума конкретными объектами, а превращаются въ математическіе символы. Но мы въ свою очередь замѣтимъ, что именно въ этомъ и заключается истинная цѣль научныхъ изслѣдованій. Остановимся на этомъ, — разсмотримъ значеніе объективныхъ и субъективныхъ фактовъ.

Если привести въ сотрясеніе эластическій прутъ, ухо наше не слышитъ никакого звука, пока число колебаній не достигнетъ осьми въ секунду, — только при этомъ числѣ колебаній начинаемъ мы слышать самый низкій тонъ. По мѣрѣ увеличенія числа колебаній слышатся тоны все болѣе и болѣе высокіе, и наконецъ когда число колебаній достигаетъ 24,000 въ секунду, мы опять не слышимъ никакого звука. Подобнымъ же образомъ вычислено, что когда число колебаній доходитъ до 483 билліоновъ въ секунду, глазная ретина начинаетъ ощущать свѣтъ, или скорѣе красный лучъ; съ увеличеніемъ быстроты колебаній цвѣтъ луча переходитъ въ оранжевый, желтый, зеленый и фіолетовый, и наконецъ при 727 билліонахъ колебаній въ секунду опять не видно никакого *свѣта* и начинается химическое дѣйствіе. Таковы объективныя *условія*, которыя были добыты путемъ тщательныхъ опытовъ и привели къ самымъ важнымъ выводамъ.

По мнѣнію Гете, субъективные факты приводятъ насъ къ заключенію, что тоны суть продуктъ звука и тишины, какъ цвѣта суть продуктъ свѣта и мрака. Разнообразіе звука (тоны) происходитъ отъ разнообразнаго смѣшенія его съ тишиной. Нисхождение отъ самой высокой къ самой низкой нотѣ условливается постепеннымъ замедленіемъ колебаній, а это постепенное замедленіе производится постепеннымъ увеличеніемъ дѣйствія тишины, и когда наконецъ тишина беретъ верхъ, звука никакого не слышно. Допустимъ эту гипотезу, въ такомъ случаѣ возникаетъ самъ собой вопросъ: какія же *условія* тишины? Если эти условія суть замедленіе колебаній, то намъ нѣтъ никакой надобности въ гипотетической тишинѣ. Подобнымъ же разсужденіемъ мы придемъ къ заключенію, что совершенно излишенъ и гипотетическій мракъ.

Предположеніе, что различные цвѣта происходятъ вслѣдствіе различнаго преломленія лучей, не только подтверждается призматическимъ разложеніемъ и собираніемъ свѣта; но также находитъ себѣ подтвержденіе въ законѣ преломленія, открытіемъ котораго мы обязаны Снелліусу. Выводъ, что синусъ паденія, неизмѣнный для cadaго цвѣта, различенъ въ различныхъ цвѣтахъ, переноситъ весь вопросъ въ сферу математическихъ вычисленій. Такимъ образомъ феноменъ цвѣта перестаетъ быть только *качественнымъ* и становится *количественнымъ*, дѣлается измѣримъ и на самомъ

дѣлъ измѣряется. По теоріи же Гете феноменъ цвѣта неизмѣримъ. Достаточно взглянуть въ любое изъ новѣйшихъ сочиненій объ оптикѣ, чтобъ видѣть, что точность и объемъ, до которыхъ доведены оптическія вычисленія, уже сами по себѣ составляютъ достаточное основаніе для предпочтенія той теоріи, которая сдѣлала возможными подобныя вычисленія. Коперникъ весьма глубокомысленно сказалъ: «Нѣтъ никакой необходимости, чтобы гипотеза была истинна, или даже чтобъ казалась истинной; довольно и того, если она *согласуетъ вычисленіе съ наблюденіемъ*» <sup>1)</sup>.

Гете не зналъ математики, не зналъ методовъ положительныхъ наукъ,—это и было причиной, почему онъ не понималъ недостатка своей теоріи и очевиднаго превосходства той теоріи, на которую нападалъ. Онъ отвергалъ пользу математической разработки и Гегель восхвалялъ его за это.

«Я возстановилъ противъ себя всѣхъ математиковъ,—говоритъ Гете,—и публика изумлялась, что человѣкъ, не имѣющій никакого понятія о математикѣ, осмѣливается противорѣчить Ньютону. Никто и не подозрѣвалъ даже, что физика можетъ существовать независимо отъ математики».

Взглядъ Гете не нашелъ себѣ однако ни малѣйшей поддержки въ людяхъ, сколько-нибудь спеціально свѣдущихъ, хотя, быть можетъ, иногда и не излишне было бы возставать противъ слишкомъ исключительнаго господства математики. Ошибка, лежащая въ самой основѣ Гетевой теоріи, весьма понятна со стороны поэта, который никогда не изучалъ математики и не зналъ, какое значеніе имѣетъ математика, какъ великое орудіе для изслѣдованій. Въ статьѣ *Ueber Mathematik und deren Misbrauch* <sup>2)</sup>, онъ сравниваетъ философа, прибѣгающаго къ помощи математики, съ человѣкомъ, который изобрѣлъ бы машину вытаскивать пробку изъ бутылки, когда это весьма легко можно сдѣлать безъ всякой машины, съ помощью своихъ двухъ рукъ.

Чтобъ лучше объяснить его заблужденіе, представимъ себѣ человѣка съ умомъ проницательнымъ и энергическимъ, который задался бы мыслью, что наши химическія теоріи должны въ самомъ

---

<sup>1)</sup> COPERNICUS: *De revolutionibus orbium caelestium*, 1566.

<sup>2)</sup> Werke, XL, p. 468.

основаніи, что атомистическая теорія не только есть гипотеза, но и гипотеза, извращающая природу, что ни одно количественное отношеніе, предполагаемое этой теоріей, въ дѣйствительности не существуетъ. Представимъ себѣ, что даровитый человѣкъ, задавшись подобной мыслью, энергически примется за работу, начнетъ дѣлать многочисленныя опыты, начнетъ придумывать объясненія, не обращая никакого вниманія на данныя, добытыя вѣковыми трудами, и относясь съ презрѣніемъ, какъ къ вещи безполезной и даже вредной, къ тому орудію, благодаря которому только и возможна химія какъ наука, т. е. тому орудію, которое называется вѣсами. Очень вѣроятно, что такой изслѣдователь сдѣлаетъ многія любопытныя наблюденія и даже нѣкоторыя совершенно новыя, и даже быть можетъ возбудитъ по многимъ пунктамъ новыя изслѣдованія, но во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что всѣ его теоріи будутъ совершенно несостоятельны по несовершенству его данныхъ, неизбѣжному при такомъ способѣ изслѣдованія. Безъ вѣсовъ невозможенъ количественный опытъ, а безъ количественнаго знанія, строго говоря, и невозможна химія, какъ наука, а возможно только одно качественное, т. е. одно только приближительное знаніе. Никакая наблюдательность не можетъ сдѣлать наблюденіе точнымъ, пока не прибѣгнетъ къ измѣренію. Вѣсовъ не можетъ замѣнить никакая умственная сила. Хотя бы вы цѣлые вѣка наблюдали паденіе тѣлъ, но пока не прибѣгнете къ математикѣ, для васъ будетъ недоступенъ законъ тяготѣнія. Смѣшивайте кислоты и щелочи, сколько хотите, но если вы отвергаете вѣсы, никогда не будете знать условій ихъ соединенія.

Гете отвергъ вѣсы. Гегель ставитъ ему въ достоинство, что онъ испровергъ призму (*das Prisma heruntergebracht zu haben*),—превозноситъ непосредственное пониманіе природы (*reinen Natursinn*), противопоставленное будто бы поэтомъ варварской Ньютоновой рефлексіи (*Barbarei der Reflection*). Шеллингъ не колеблясь провозглашаетъ превосходство Гете надъ Ньютономъ, потому что «вмѣсто искусственныхъ опытовъ, обезображивающимъ природу, поэтъ представилъ намъ чистые ясные приговоры самой природы»,—и далѣе прибавляетъ: «нѣтъ ничего удивительнаго, что слѣпыя и рабскіе послѣдователи Ньютона возстали противъ изслѣдованій, доказавшихъ, что именно тотъ самый отдѣлъ физики, за которымъ они

признавали несомнѣнную, почти даже геометрическую очевидность, имѣеть ложное основаніе» <sup>1)</sup>).

Ближайшее разсмотрѣніе вопроса о методѣ выставляетъ въ ясномъ свѣтѣ характеръ способностей Гете къ естествознанію. И въ оптическихъ его изслѣдованіяхъ, также какъ въ поэзіи, ярко выступаетъ природное направленіе его ума къ конкретнымъ явленіямъ и отвращеніе его отъ абстракцій. Онъ стремился объяснить явленія цвѣта, а въ математикѣ эти явленія совершенно исчезаютъ и превращаются въ абстракціи: лучъ свѣта превращается въ линію, — игра цвѣтовъ въ геометрическое отношеніе. Такое обращеніе съ феноменами было совершенно противно его пониманію природы. Математическая разработка поляризаціи свѣта возбуждала въ немъ безграничное негодованіе. «Не знаешь <sup>2)</sup>», — говоритъ онъ, — что погребено, подъ этими формулами, тѣло ли какое, или мусоръ». При одномъ имени Био (Biot) онъ приходилъ въ раздраженіе, постоянно смѣялся надъ призмами и спектрами Ньютоніанцевъ, говорилъ, что Ньютоніанцы — педанты, предпочитающіе душную комнату свѣжему воздуху подъ открытымъ небомъ. Онъ всегда дѣлалъ свои наблюденія въ саду, или съ простой призмой на солнцѣ, и утверждалъ, что этотъ естественный, простой методъ несравненно достовѣрнѣе, чѣмъ искусственный методъ Науки. Ясно, что онъ имѣлъ совершенно ложное понятіе о методѣ. Онъ думалъ, что тайны природы сами собой раскрываются терпѣливому наблюдателю:

Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag,  
Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.

[Чего природа не раскрываетъ твоему уму, того не вынудишь у нея никакими рычагами и винтами].

Въ этомъ заблужденіи заключается тайна его неудачи и вмѣстѣ тайна его успѣха; мы не должны забывать, что какъ бы ни было сомнительно достоинство его *Farbenlehre* въ глазахъ оптика, но оно имѣеть несомнѣнно высокое достоинство въ глазахъ художника.

---

<sup>1)</sup> SCHELLING. *Zeitschrift für speculative Philos.*, II, p. 60.

<sup>2)</sup> *Werke*, XL, 473.

Живописцы неоднократно свидетельствовали, что *Farbenlehre* принесло имъ большую пользу. Я самъ слышалъ, какъ Ридель отзывался о трудѣ Гете съ безграничнымъ энтузіазмомъ и говорилъ, что изъ *Farbenlehre* онъ почерпнулъ болѣе, чѣмъ изъ всѣхъ другихъ источниковъ, какіе только ему извѣстны. Для художниковъ и фізіологовъ, — т. е. для людей, которымъ нужно болѣе качественное знаніе, чѣмъ количественное, трудъ Гете имѣетъ высокую цѣну; даже сами физики не могутъ не признать, что при всей ошибочности теоріи и при всемъ несовершенствѣ метода *Farbenlehre* есть трудъ, заслуживающій глубокаго уваженія по громадному скопленію и систематизаціи фактовъ и по остроумію своихъ объясненій. Баконъ весьма удачно выразился, что черепаха, ползущая по истинному пути, обгонитъ бѣгуна, который направился по ложному пути; но если Гете шелъ по ложному пути, то тѣмъ неменѣе справедливость требуетъ замѣтить, что и на ложномъ пути онъ выказалъ силы мощнаго бѣгуна.

Совершенно иное должны мы сказать о его изслѣдованіяхъ въ области органической природы. И природныя способности ума, и само воспитаніе дѣлали его болѣе способнымъ къ успѣху на этомъ поприщѣ. Біологія имѣетъ особую привлекательность для поэтическихъ умовъ, и соблазнила многихъ поэтовъ сдѣлаться фізіологами. Тутъ не требуется математика. Тутъ конкретныя наблюденія безъ помощи математики даютъ матеріалъ для смѣлыхъ и широкихъ комбинацій.

Велики заслуги Гете въ области органическихъ наукъ! Да убѣдится въ этомъ читатель. Это говоритъ ему не біографъ-почитатель великаго поэта, это говорятъ самые высокіе научные авторитеты Европы <sup>1)</sup>). Гете великъ въ этой сферѣ не потому, что онъ великъ какъ поэтъ, а скорѣе вопреки своей поэтической геніальности. Да убѣдится читатель, что въ этой сферѣ Гете — не поэтъ,

---

<sup>1)</sup> AUGUSTE ST. HILAIRE: *Morphologie végétale*, t. I, p. 15. OSCAR SCHMIDT: *Goethe's Verhältniss zu den organischen Wissenschaften*, p. 10. JOHANNES MUELLER: *Ueber phantastische Gesichterscheinungen*, p. 104. CUVIER: *Histoire des Sciences naturelles*, IV, p. 316. ISIDORE GEOFFROY ST. HILAIRE: *Essais de Zoologie générale* p. 139. OWEN: *Archetype and Homologies of the Skeleton*, p. 3. HELMOLTZ: *Allgemeine Monatschrift*, май 1853 г. VIRCHOW: *Goethe als Naturforscher*.

не любитель, не диллетантъ, а мыслитель, который, запасшись достаточнымъ знаніемъ, чтобы безопасно отправиться въ дальнѣйшій путь, далъ толчекъ умамъ современниковъ и потомковъ, толчекъ столь сильный, что его дѣйствіе продолжается еще и до сихъ поръ.

Гете былъ мыслитель въ наукѣ, творецъ научныхъ идей. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ драгоценныхъ кропотливыхъ работниковъ, которые съ микроскопомъ и скальпелемъ трудятся надъ собираніемъ матеріала науки, — онъ работалъ и на этомъ пути, но въ своихъ работахъ всегда задавался уже заранѣе готовой апріористической идеей. Не заключите изъ этого, что онъ былъ метафизикъ. Нѣтъ, онъ былъ положительный мыслитель, но его методъ былъ апріористическій, — методъ вредный, когда изслѣдователь довольствуется своими апріористическими выводами или довольствуется только частной несовершенною фактической проверкой этихъ выводовъ, что Баконъ называетъ *notiones temere à rebus abstractas*, но методъ вполне научный и высоко плодотворный, когда изслѣдователь только опережаетъ факты, предвосхищаетъ то, что потомъ ему говоритъ опытъ. Апріористическій методъ при такомъ употребленіи есть великое, драгоценное орудіе науки. Изслѣдователь, не умѣющій обращаться съ этимъ орудіемъ, только изрѣжетъ себѣ руки, но умѣющій употреблять его въ дѣло глубоко проникаетъ въ истину. Такъ было съ Кеплеромъ. Такъ было съ Гете. Они высоко парили надъ природой и, увидавъ или вообразивъ, что увидали что-нибудь въ равнинѣ, спускались въ равнину для проверки своего зрѣнія.

Разсмотримъ его труды на этомъ поприщѣ. Существованіе межчелюстной кости <sup>1)</sup> у человѣка издавна уже было спорнымъ вопросомъ. Везалиусъ, одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ и смѣлыхъ пионеровъ науки, возстававшихъ противъ Галена, подобно тому какъ философы возставали противъ Аристотеля, утверждалъ, и справедливо, что анатомія Галена основана на диссекціи животныхъ, а не человѣка, и въ подтвержденіе этого приводилъ тотъ фактъ, что Галенъ говоритъ объ особой кости, имѣющей связку съ че-

---

<sup>1)</sup> Это есть центральная кость верхней челюсти, — на ней находятся рѣзцы.

люстной костью, тогда какъ подобная кость существуетъ только у животныхъ, въ чемъ легко можетъ удостовѣриться каждый анатомъ. Галенисты возстали противъ Везалиуса. Опровергать его фактически они не могли, но это ихъ нисколько не затруднило: по отсутствію фактовъ они обратились къ гипотезамъ. Такъ, на примѣръ, Сильвіусъ смѣло утверждалъ, что у человѣка прежде была межчелюстная кость, что если у него теперь и нѣтъ этой кости, то тѣмъ неменѣе онъ долженъ ее имѣть и прежде дѣйствительно имѣлъ, но потомъ постепенно утратилъ вслѣдствіе своей изнѣженности, чувственности, дурной жизни <sup>1)</sup>). Споръ длился цѣлые вѣка, но не было сдѣлано никакой попытки анатомически доказать существованіе у человѣка этой кости, и Камперъ провозгласилъ, что отсутствіе этой кости составляетъ отличительный признакъ, отдѣляющій человѣка отъ обезьяны. Такой выводъ былъ вдвойнѣ неудаченъ, потому что, во первыхъ, эта кость, какъ оказалось, есть у человѣка, а во вторыхъ, если и допустить, что ея нѣтъ у человѣка, то равнымъ образомъ ея нѣтъ и у чимпанзе <sup>2)</sup>).

Это краткое историческое указаніе свидѣлствуетъ, что если бы даже открытіе межчелюстной кости и не имѣло особенной важности для науки, во всякомъ случаѣ оно было дѣломъ далеко не легкимъ. До какой степени оно выходило изъ колеи, по которой тогда шла наука, можно заключить изъ того, что даже такой замѣчательный ученый, какъ Blumenbachъ, въ первое время отнесся къ нему съ презрительнымъ недовѣріемъ, и что для общаго признанія его потребовалось не менѣе сорока лѣтъ, несмотря на то, что многіе ученые, какъ напр. Лодеръ, Спиксъ, Семмерингъ, сразу оцѣнили его. Камперъ, получивъ отъ Гете рукопись, въ которой излагалось это открытіе, нашелъ, что она *très-élegant, admirable*

---

<sup>1)</sup> Тотъ же самый Сильвіусъ возражалъ Везалиусу, что Галенъ былъ правъ, когда говорилъ, что у человѣка грудь состоитъ изъ семи костей (въ дѣйствительности ихъ только три): «потому что въ древнія времена у великихъ героевъ грудь могла состоять изъ большаго числа костей, чѣмъ мы можемъ похвастать въ наше время». — Мумія довольно древни, однако у нихъ не больше костей, чѣмъ у насъ.

<sup>2)</sup> Еще Blumenbachъ замѣтилъ, что у нѣкоторыхъ молодыхъ обезьянъ и мартышекъ не видно и слѣда этой кости.



*ment bien écrit; c'est à dire d'une main admirable*, но что латинскій стиль могъ бы быть получше. Понятно послѣ этого презрѣніе Гете къ педантизму записныхъ ученыхъ, которые продолжали отстаивать старую доктрину вопреки свидѣтельству пяти чувствъ. Онъ превосходно выразился объ нихъ: «привыкнуши не престанно повторять какую-нибудь фразу, они кончаютъ тѣмъ, что эта фраза дѣлается ихъ убѣжденіемъ и *костенитъ ихъ органы пониманія*». <sup>1)</sup>

Въ этомъ открытіи не столько замѣчательно само открытіе, сколько методъ, который привелъ къ нему. На межчелюстной кости у животныхъ находятся рѣзцы. У человѣка также есть рѣзцы. Будучи глубоко убѣжденъ въ единствѣ природы, Гете смѣло предположилъ, что если человѣкъ имѣетъ также рѣзцы, какъ и животные, то онъ долженъ имѣть и ту кость, на которой у животныхъ находятся рѣзцы. Анатомы, теряясь въ подробностяхъ и не имѣя никакой философской основы, не видѣли никакой необходимости подобнаго тождества въ строеніи человѣка и животныхъ; мало этого: очевидность, повидимому, имъ ясно свидѣтельствовала совершенно противное. Гете не только задаясь истинной философской идеей, но, приступая къ повѣркѣ этой идеи, инстинктивно взялся за истинный методъ: онъ сталъ сравнивать измѣненія межчелюстной кости у различныхъ животныхъ. Это—тотъ самый методъ, который сталъ теперь по преимуществу научнымъ методомъ. Такой приемъ изслѣдованія былъ для того времени совершенной новостью. Гете пришелъ этимъ путемъ къ тому выводу, что межчелюстная кость измѣняется по различію питанія животныхъ и по различію величины ихъ зубовъ. Кромѣ того онъ нашелъ,

---

<sup>1)</sup> Vircq d'Azur: Discours sur l'Anatomie (Oeuvres IV. 159), говоря объ открытіи мужчелюстной кости, присовокупляетъ: J'ai appris de M. Camper, dans son dernier voyage à Paris, que cet os lui est connu depuis très-longtemps. А между тѣмъ этотъ самый Камперъ, получивъ трактатъ, въ которомъ Гете возвыщалъ о своемъ открытіи, и не зная, кто авторъ этого трактата, сказалъ: «Je dois ré-examiner tout cela», — узнавъ потомъ, что авторъ трактата есть Гете, писалъ къ Мерку, что убѣдился въ несуществованіи этой кости (смотри Virchow: Goethe als Naturforscher, p. 79); но какъ только великій анатомъ сказалъ, что эта кость существуетъ, онъ поспѣшилъ объявить, что «зналъ это уже давно.»

что у некоторых животных эта кость не отделяется от челюсти и что у дѣтей замѣтно срастаніе этой кости съ челюстью. Онъ соглашался, что съ лицевой стороны не видно никакихъ слѣдовъ срастанія, но утверждалъ, что съ внутренней стороны слѣды эти различимы. Разсмотрѣніе зародышей черепа окончательно поставило вопросъ внѣ спора. Я самъ видѣлъ одинъ такой черепъ, гдѣ межчелюстная кость ясно отдѣлялась. У меня есть черепъ, въ которомъ темянные швы въ значительной степени окостенѣли, но съ внутренней стороны еще замѣтны слѣды межчелюстной кости <sup>1)</sup>).

Гете сдѣлалъ это открытіе въ 1784 г. и сообщилъ о немъ некоторымъ анатомамъ. Лодеръ упоминаетъ о немъ въ своемъ *Compendium* 1787 г.

Должны ли мы признать право на открытіе за тѣмъ, кто первый ясно высказалъ идею, хотя и не раскрылъ ее въ подробностяхъ, или же мы должны согласиться съ мнѣніемъ Овена <sup>2)</sup>), который говоритъ. «Право на открытіе принадлежитъ тому, кто дѣлаетъ истину несомнѣнной, а признакъ несомнѣнности есть общее признаніе. Потому, если кто возьмется за провѣрку какой-либо доктрины, которая оставлена въ небреженіи или отрицается какъ ложная, докажетъ ея истинность, раскроетъ и объяснитъ свойства заблужденій, приведшихъ къ ея отрицанію, тотъ спокойно можетъ ожидать признанія за собой права на открытіе?»

Если мы согласимся съ первымъ взглядомъ, то открытіе принадлежитъ Вика д'Азигу (*Vicq d'Azyr*), а если согласимся съ мнѣніемъ Овена, то оно принадлежитъ Гете. Въ своемъ *Traité d'Anatomie et de Physiologie*, которое было издано въ 1786 г., знаменитый французскій анатомъ ясно высказалъ новую въ то время идею, что строеніе органическихъ существъ представляетъ единство плана, что природа «semble opérer toujours d'après un

---

<sup>1)</sup> Это можетъ быть разсматриваемо какъ случай ненормальный. Но Веберъ указалъ способъ подвергать черепъ такому дѣйствію азотной кислоты, которое превосходно отдѣляетъ кости. *Frogier's Notizen*, 1828, 19, 282. *Viasnow*, p. 80.

<sup>2)</sup> *Owen*: *Homologies of Skeleton*, p. 76. Ср. также *Milne-Edwards*: *Opera posthuma*, 1897, p. 5.

modèle primitif et général, dont elle ne s'écarte qu'à regret et dont on rencontre partout des traces <sup>1)</sup>, и въ числѣ доказательствъ истинности этой идеи приводить также слѣдующее соображеніе: Peut-on s'y refuser enfin (т. е. признать единство плана), en comparant les os maxillaires antérieurs, que j'appelle *incisifs* dans les quadrupèdes, avec cette pièce osseuse qui soutient les dents incisives supérieurs dans l'homme, où elle est séparée de l'os maxillaire par une petite fêlure très remarquable dans les foetus, à peine visible dans les adultes, et dont personne n'avait connu l'usage. Во второмъ *Discours* онъ говоритъ: Toutes ces dents sont soutenues dans la mâchoire antérieure par un os que j'ai décrit sous le nom d'incisif ou labial, que quelques-uns appellent intermaxillaire, que l'on a découvert depuis peu dans les morses, et dont j'ai reconnu les traces dans les os maxillaires supérieurs du foetus humain <sup>2)</sup>.

Читатель обратитъ вниманіе, что Вискъ д'Азиръ не только указываетъ фактъ, но и приводитъ этотъ фактъ въ доказательство той же самой идеи, которую доказываетъ Гете. *Traité d'Anatomie*, какъ мы видѣли, было издано въ 1786 г., т. е. два года послѣ того, какъ Гете сдѣлалъ открытіе, и Земмерингъ въ письмѣ къ Мерку <sup>3)</sup> говоритъ: «Я высказалъ свое мнѣніе о сочиненіи Вискъ д'Азира въ *Götting. Gelehrten Anzeigen*. Это лучшее сочиненіе объ анатоміи, какое только мы имѣемъ. Но до сихъ поръ въ немъ не упоминается о Гете». Земмерингъ предполагалъ, какъ можно заключить изъ этихъ словъ, что Вискъ д'Азиръ были извѣстны труды Гете; но мы должны замѣтить противъ этого предположенія, что если Германія слѣдила за тѣмъ, что совершалось во Франціи, тѣмъ неменѣе открытія, сдѣланныя въ Германіи, переходили за Рейнъ весьма медленно, и въ подтвержденіе этой медленности можемъ указать на тотъ фактъ, что Жоффруа Сентъ-Илеръ, который нѣсколько лѣтъ позднѣе принялся за разработку анатоміи съ той самой точки зрѣнія, съ какой смотрѣлъ на нее Гете, нисколько не подозрѣвалъ, что у него есть предшественникъ, и, говоря о монографіи Фишера, выразился такъ: «*Goethes aurait le premier décou-*

---

<sup>1)</sup> VISCQ D'AZIR: Oeuvres, IV, p. 26.

<sup>2)</sup> Тоже, p. 159.

<sup>3)</sup> *Briefe an Merck*, p. 493.

vert l'interparietal dans quelques rongeurs, et se serait contenté d'en faire mention par une note manuscrite sur un exemplaire d'un traité d'anatomie comparée <sup>1)</sup>).

Вопросъ, кому принадлежитъ первенство открытія межчелюстной кости у человѣка, окончательно рѣшается слѣдующимъ фактомъ: хотя *Traité d'Anatomie* Вижъ д'Азира появилось не ранѣе, какъ въ 1786 г., но объ открытіи Вижъ д'Азира говорится въ запискахъ французской Академіи Наукъ еще въ 1779 г. <sup>2)</sup>, т. е. пять лѣтъ ранѣе, чѣмъ Гете сообщилъ Гердеру о своемъ открытіи. Очевидно что французскій анатомъ не могъ въ то время ничего знать о трудахъ нѣмецкаго поэта, и удивленіе Мерка, что «такъ, называемое открытіе Гете усвоено Вижъ д'Азиромъ», совершенно неосновательно. Но можемъ ли мы съ одинаковой увѣренностью сказать, что и Гете вовсе ничего не зналъ объ открытіи Вижъ д'Азира? По моему мнѣнію,—да. Неутомимое изслѣдованіе и тотъ энтузіазмъ, который охватилъ поэта, когда онъ совершилъ свое открытіе, очевидно свидѣлствуютъ, что если онъ до этого и слышалъ что-нибудь объ открытіи своего предшественника (что весьма сомнительно), то во всякомъ случаѣ совершенно забылъ о немъ. До какой степени открытіе Вижъ д'Азира оставалось мертвымъ для научнаго міра, можно заключить изъ того факта, что знаменитости того времени, Камперъ, Блуменбахъ, Земмерингъ, ничего о немъ не знали и съ недовѣріемъ встрѣтили открытіе Гете. Итакъ, оставляя первенство открытія за Вижъ д'Азиромъ, мы нисколько не уменьшаемъ заслуги Гете. Онъ дѣйствительно совершилъ открытіе, указалъ его мѣсто въ наукѣ, и честь открытія принадлежитъ ему по всей справедливости.

Это открытіе въ высшей степени важно, какъ установленіе новаго научнаго метода, какъ установленіе того принципа, что въ строеніи всѣхъ организмовъ существуетъ единство плана. Теперь мы уже до такой степени свыклись съ идеей, что всѣ разнообразія въ органическомъ строеніи суть только модификація одного типа, что намъ даже трудно себя представить, чтобы могло

---

<sup>1)</sup> Philosophie Anatomique, II, p. 55.

<sup>2)</sup> Vico d'Azir: Oeuvres, IV, 159.

быть иное пониманіе. Но эта идея была далеко не такъ очевидна и нелегко примѣнима, какъ это мы можемъ видѣть изъ двухъ блистательныхъ ея примѣненій,—я говорю о метаморфозѣ растеній и о позвоночной теоріи черепа.

Попробуйте сказать человѣку съ умомъ самымъ яснымъ и проницательнымъ, по который не знакомъ съ новѣйшими изслѣдованіями науки, — попробуйте ему сказать, что листь, чашечка, вѣнчикъ, почка, пестикъ, тычинка, при всемъ различіи между собой и по цвѣту и по формѣ, суть ни что иное, какъ видоизмѣненные листья; что цвѣтокъ и суть плодъ модификаціи одной и той же типической формы, именно листа. Можетъ быть онъ не станетъ вамъ возражать изъ довѣрія къ вашему знанію, но безъ сомнѣнія ваши слова покажутся ему непонятнымъ парадоксомъ. Покажите ему человѣческій скелетъ, обратите его вниманіе на разнообразіе формъ и потомъ скажите ему, что каждая кость есть или позвонокъ, или принадлежность позвонка, и что черепъ состоитъ изъ разнообразно видоизмѣненныхъ позвонковъ. Можетъ быть онъ вамъ и на это также ничего не возразитъ, но, какъ и въ первомъ случаѣ, безъ сомнѣнія приметъ ваши слова за такую трансцендентальную тонкость, съ которой могутъ имѣть дѣло только записные философы. А между тѣмъ то, что вы ему скажете, есть ни болѣе, ни менѣе, какъ два основные принципа морфологіи, и исторія науки свидѣтельствуетъ, что оба эти принципа указалъ Гете. Правда, труды ботаниковъ и анатомовъ послѣ того значительно измѣнили взгляды, которые высказалъ Гете, но тѣмъ не менѣе Гете первый далъ толчокъ на этомъ пути.

Въ то время какъ ботаники и анатомы занимались анализомъ, стремились къ различенію отдѣльныхъ частей и придумывали для нихъ различныя названія, поэтический и философскій умъ Гете стремился къ высшему синтезу, стремился возвести всѣ разнообразія къ высшему единству. Въ стихотвореніи, посвященномъ Христинѣ, онъ говоритъ: «Ты теряешься въ безконечномъ, богатомъ и, повидимому, беспорядочномъ разнообразіи формъ,—тебя утомляетъ безконечный рядъ варварскихъ названій. Всѣ формы схожи, хотя ни одна форма не одинакова съ другой, — и такимъ образомъ въ цѣломъ видно существованіе единого глубоко-сокровеннаго закона». Доказать это единство было дѣломъ не легкимъ.

Гете предполагалъ, что всѣ существующія растенія суть только различныя реализаціи одного идеальнаго типическаго растенія (Urbianze). Не могу не согласиться съ Шлейденомъ, что эта концепція выѣстъ и неудачна и ведетъ къ ложнымъ заключеніямъ. Удачнѣе та его концепція, что всѣ различные органы растенія суть модификаціи одного основнаго типа. Этотъ типъ онъ находитъ въ листѣ. Остережемся отъ заблужденія, будто метаморфоза растеній аналогична метаморфозѣ животныхъ (я впалъ въ это заблужденіе при первомъ изданіи этой книги, какъ мнѣ справедливо указалъ Фердинандъ Конъ). Съ растеніями вовсе не совершается такой метаморфозы, какъ съ животными. Гусеница превращается въ куколку, куколка превращается въ бабочку, но въ растеніяхъ нѣтъ такой метаморфозы: листья не превращаются въ пестики и лепестки. Растеніе есть рядъ повтореній первоначальнаго типа съ различными модификаціями, изъ которыхъ однѣ значительны, а другія незначительны. Типическихъ формъ растенія двѣ: стебель и листъ. Отъ сѣмени идутъ восходящая и нисходящая оси, состоящія изъ ряда стеблей: восходящая ось называется воздушнымъ стеблемъ, а нисходящая ось есть корень. Отъ этихъ двухъ стеблей идутъ боковые стебли или вѣтви; а отъ этихъ послѣднихъ идутъ другіе стебли. Листъ есть второй типъ: онъ образуетъ всѣ другіе органы, различно видоизмѣняясь. Какъ ни рѣзко различается пестикъ отъ лепестка и оба они отъ листа, тѣмъ не менѣе они тождественны по исторіи своего развитія.

Кто хотя поверхностно знакомъ съ біологіей, не можетъ не признать, что установленіе идеи о типѣ имѣло громадное значеніе для науки. Гельмгольцъ справедливо замѣчаетъ, что «ботаники и зоологи были не болѣе, какъ только собиратели матеріала, пока не научились располагать этотъ матеріалъ въ такой порядокъ, который бы указывалъ отношеніе различныхъ формъ къ общему типу. Великій умъ нашего поэта нашелъ здѣсь для себя обширное поле; и время ему благопріятствовало, такъ какъ и въ ботаникѣ и въ сравнительной анатоміи уже былъ собранъ достаточный матеріалъ для общихъ выводовъ. Въ этомъ матеріалѣ современники поэта бродили безъ компаса, или довольствовались сухимъ перечисленіемъ фактовъ, пока поэтъ не внесъ въ науку двѣ основныя идеи, безконечно плодотворныя».

Справедливо ли признается Гете основателемъ морфологiи растений? Относительно этого вопроса мы должны сдѣлать то же замѣчаніе, какое сдѣлали по поводу вопроса: кому должна принадлежать честь открытія межчелюстной кости. Никто не отрицаетъ, что доктрина, высказанная Гете, была до такой степени нова для его времени, что ботаники въ первое время отнесли къ ней презрительно и признали ее уже только въ послѣдствіи. Никто не отрицаетъ, что Гете создалъ эту доктрину, и что если у него есть предшественники, то эта идея оставалась у нихъ безъ примѣненія. Впрочемъ самъ Гете называетъ Линнея и Вольфа своими предвѣстниками. Интересно, въ какой степени оба эти предвѣстника могутъ имѣть притязаніе на честь открытія.

Знаменитый ботаникъ Фердинандъ Конъ говоритъ <sup>1)</sup>, что у великаго Линнея къ истинѣ примѣшано много фантастическихъ заблужденій, и что Гете первый очистилъ отъ нихъ истину. «Въ Пролеписѣ — говоритъ Д-ръ Гукеръ, — есть умозрительный матеріалъ (и самъ Линней сознавалъ его таковымъ), который долженъ быть отдѣляемъ отъ прочаго, и это, я полагаю, можетъ быть сдѣлано въ большей части отдѣловъ творенія Линнея. Линней начинаетъ съ того, что превосходно объясняетъ происхожденіе и положеніе почекъ, ихъ постоянное присутствіе, въ развитомъ или неразвитомъ состояніи, въ осяхъ листа, и потомъ въ подтвержденіе сказаннаго приводитъ много весьма остроумныхъ наблюденій и опытовъ. Онъ говоритъ, что листъ есть первое произведеніе растенія весной, и потомъ объясняетъ, что и прицвѣтникъ, и чашечка, и вѣнчикъ, и тычинка, и пестикъ суть ни что иное, какъ метаморфозы листа» <sup>2)</sup>. Далѣе д-ръ Гукеръ присовокупляетъ. «Все это нисколько не уменьшаетъ заслуги Гете. Едва ли можно сомнѣваться, что еслибъ Гете, или кто другой, не доказалъ истинности этой доктрины, то ботаники и до сихъ поръ считали бы эту мысль Линнея простою фантазіей».

У Линнея встрѣчается мимоходомъ высказанная мысль, аргети,

---

<sup>1)</sup> Götze und die Metamorphosen der Pflanzen, въ Deutsches Museum. Пгута, IV, Янв. 1862 г.

<sup>2)</sup> Уэвелль. Исторія индуктивныхъ наукъ, т. III.

искра, ожидавшая способнаго ума чтобъ разгорѣться въ пламя. Зная, какъ Гете любилъ Линнея, трудно предположить, чтобъ его умъ не останавливался неоднократно на этомъ арегси, какъ на проблескѣ истины. Относительно же Фридриха Каспара Вольфа мы далеко не можемъ сказать того же съ одинаковой очевидностью. Несомнѣнно, что Вольфъ въ своемъ безсмертномъ трудѣ высказалъ морфологическіе принципы съ такой ясностью, что для Гете оставалось немного прибавлять къ нимъ новаго; но весьма сомнительно, былъ ли Гете знакомъ съ трудомъ Вольфа прежде, чѣмъ написалъ «Метаморфозу Растенія». Нѣсколько лѣтъ послѣ изданія своего произведенія онъ съ гордостью говоритъ, что Вольфъ былъ его предвѣстникомъ, и прибавляетъ, что его вниманіе на трудъ Вольфа было привлечено одноименностью автора съ великимъ эмбриологомъ. Поэтому я не мало удивился, когда прочелъ у Дюнцера, какъ несомнѣнный фактъ, будто въ 1785 году Гердеръ подарилъ Гете экземпляръ *Theoria Generationis* Вольфа, какъ книгу, которая заключаетъ въ себѣ грубый очеркъ нѣкоторыхъ любимыхъ идей Гете. Если бы этотъ фактъ былъ вѣренъ, то далъ бы, весьма серьезное основаніе заподозрить правдивость Гете. Дюнцеръ основываетъ его на одномъ мѣстѣ въ письмѣ Гердера къ Кнебелю, но мы замѣтимъ на это, вопервыхъ, что Гердеръ говоритъ о сочиненіи Вольфа, но не говоритъ какого Вольфа и какое сочиненіе, а фамилія Вольфъ, какъ извѣстно, весьма часто встрѣчается въ Нѣмецкой литературѣ, — и вовторыхъ, онъ говоритъ о намѣреніи дать книгу Гете, когда ее достанетъ, но не говоритъ, чтобъ дѣйствительно исполнилъ это намѣреніе и просить Кнебеля не говорить Гете объ этой книгѣ. Вотъ на какомъ фундаментѣ созидаетъ Дюнцеръ свой «несомнѣнный фактъ», и съ немалымъ педантическимъ самоуслажденіемъ исправляетъ показаніе самого Гете, что *Theoria Generationis* обратила на себя въ первый разъ его вниманіе одноименностью автора съ Ф. А. Вольфомъ, — вотъ на какомъ фундаментѣ зиждется тотъ «несомнѣнный фактъ», который подвергаетъ Гете тяжкому укору въ намѣренномъ сокрытіи, что занимствовалъ свою морфологию у Вольфа, въ намѣренномъ лживомъ показаніи, будто познакомился съ трудами своего предшественника не прежде, какъ черезъ нѣсколько лѣтъ по изданіи «Метаморфозы Растеній». Противъ подобнаго обвиненія мы можемъ представить слѣ-



дующіе аргументы: во первыхъ, показаніе самого Гете, а правдивость Гете не легко заподозрить; во вторыхъ, если сочиненіе, о которомъ говоритъ Гердеръ въ своемъ письмѣ, дѣйствительно есть *Theoria Generationis* (что есть не болѣе, какъ только вѣроятность), и если дѣйствительно Гердеръ исполнилъ свое намѣреніе, далъ Гете это сочиненіе (что также есть не болѣе какъ вѣроятность). то во всякомъ случаѣ нѣтъ никакихъ данныхъ, которыя бы свидѣтельствовали, что Гете прочелъ его въ то время; наконецъ, третьихъ, — что составляетъ аргументъ, устраняющій всякую возможность сомнѣнія, — поманутое письмо Гердера писано въ 1795 г., т. е. десятью годами позднѣе, чѣмъ это предполагаетъ Дюнцеръ, и слѣдовательно пять лѣтъ послѣ изданія «*Метаморфозы Растеній*». <sup>1)</sup>

«*Метаморфоза*» издана въ 1790 г. Въ 1817 г. Гете просилъ своихъ друзей, какъ самъ рассказываетъ, отмѣчать у прежнихъ писателей мѣста, относящіеся къ предмету, о которомъ идетъ рѣчь въ *Метаморфозѣ*, такъ какъ былъ убѣжденъ, что въ его произведеніи нѣтъ ничего абсолютно новаго. Его другъ Ф. А. Вольфъ указалъ ему К. Фридриха Вольфа. Изъявляя по этому случаю удивленіе къ великому предшественнику, Гете съ гордостью сознаетъ, что многому научился отъ него въ продолженіе двадцати пяти лѣтъ. Но если мы, начиная съ 1817 г., отсчитаемъ назадъ двадцать пять лѣтъ, то получимъ 1792 г.; слѣдовательно Гете въ первый разъ познакомился съ произведеніемъ Вольфа черезъ два года по изданіи *Метаморфозы* и за три года до письма Гердера. Итакъ, если даже допустить, что сочиненіе, о которомъ идетъ рѣчь въ письмѣ Гердера, есть *Theoria Generationis*, то это нисколько не противорѣчитъ показанію Гете, что первымъ знакомствомъ съ этимъ произведеніемъ онъ былъ обязанъ не Гердеру, а Ф. А. Вольфу. Не тѣмъ тономъ говоритъ Гете о Каспарѣ Фридрихѣ Вольфѣ, какимъ могъ бы говорить человѣкъ, желающій скрыть, чѣмъ обязанъ своему предшественнику, — онъ радуется, что нашелъ себѣ предшественника, говоритъ о немъ съ высокимъ уваженіемъ, замѣчая при

---

<sup>1)</sup> См. Клевел: Nachlass, II, 268, на авторитетъ котораго ссылается Дюнцеръ. Неточность со стороны Дюнцера тѣмъ болѣе неизвинительна, что онъ самъ крайне придирчивъ и безпощаденъ къ малѣйшимъ неточностямъ другихъ.

этомъ, что теорія Вольфа и его собственная теорія суть два независимые одинъ отъ другаго взгляда на одинъ и тотъ же феноменъ: теорія Вольфа преимущественно фізіологическая, а его теорія преимущественно морфологическая.

Итакъ, мы можемъ сказать, что Линней и Вольфъ высказали мысль, предвосхитили морфологию растеній, но Гете принадлежитъ честь ея окончательнаго установленія. Мы не уменьшаемъ заслуги Колумба, говоря, что еще за пять вѣковъ до него скандинавскіе мореплаватели приставали къ берегамъ Новаго Свѣта; точно также не уменьшимъ мы и заслуги Гете, если скажемъ, что еще до него Вольфъ прозрѣвалъ единство въ разнообразныхъ органахъ растенія. Скандинавскіе мореплаватели не имѣли цѣли открыть Новый Свѣтъ и не сдѣлали свое открытіе достояніемъ человѣчества. Такъ и Вольфъ не имѣлъ цѣли создать новую теорію въ ботаникѣ; изслѣдуя законъ эпигенезиса, онъ открылъ морфологическій процессъ и воспользовался этимъ открытіемъ только какъ однимъ изъ пояснительныхъ примѣровъ того, что составляло его цѣль. Колумбъ отправился съ ясно сознанной цѣлью, и сдѣлалъ свое открытіе достояніемъ всѣхъ временъ. Такъ и Гете отправился въ путь также съ ясно сознанной цѣлью, и ботаники справедливо признаютъ за нимъ честь открытія метаморфозы растенія.

Произведеніе Гете написано превосходно и можетъ читаться безъ всякой предварительной спеціальной подготовки. Морфологическая часть этого труда весьма хороша. Въ ней только та ошибка, какъ замѣчаетъ Конъ, что Гете даетъ исключительное преобладаніе листу, упускаетъ изъ виду не менѣе важное значеніе стебля. Нельзя также не пожалѣть, что онъ самъ себя запутываетъ слѣдующей фізіологической гипотезой: каждый отпрыскъ, непосредственно происходя отъ предшествующаго и получая питаніе чрезъ предшествующіе ему отпрыски, долженъ быть совершеннѣе и долженъ доставлять своимъ листьямъ и почкамъ болѣе обработанный сокъ. Такимъ образомъ происходитъ отверженіе болѣе грубаго сока и привлеченіе сока, болѣе обработаннаго, и такимъ образомъ растеніе, по мѣрѣ роста, все болѣе и болѣе совершенствуется, пока не достигаетъ крайней завершающей точки, указанной ему природой.

Эта гипотеза, что позднѣйшіе отпрыски получаютъ болѣе об-

работанный сокъ, прямо противорѣчитъ гипотезѣ Вольфа, которая также говоритъ, что цвѣтокъ есть модификація листа, но видитъ причину этой модификаціи не въ совершенствованіи листа, а наоборотъ въ его несовершенствѣ <sup>1)</sup>,—она говоритъ, что эта модификація происходитъ вслѣдствіе остановки развитія, что листъ дѣлается мельче, имѣетъ меньше сока, что сокъ утрачиваетъ свой хлорофилъ и такимъ образомъ окрашеніе цвѣтка есть признакъ несовершенства. Я не могу здѣсь останавливаться на остроумныхъ аргументахъ, которыми Вольфъ старается доказать, что цвѣтеніе и плодотвореніе суть результаты прекращенія развитія, — я долженъ ограничиться только указаніемъ различія между его теоріей и теоріей Гете. По теоріи Вольфа модификація листа есть результатъ недостатка сока, а по теоріи Гете она есть результатъ совершенствованія сока.

Гете сходится съ Вольфомъ въ томъ, что переходъ листа въ цвѣтокъ находится въ зависимости отъ ускоренія или замедленія соковъ. Еще Линней замѣтилъ, что очень изобильное питаніе замедляетъ цвѣтеніе, ускоряетъ ростъ листьевъ, между тѣмъ какъ умеренное питаніе и даже скудное, даже близко подходящее къ голоду, ускоряетъ цвѣтеніе и уменьшаетъ число листьевъ. Вольфъ объясняетъ это тѣмъ, что при обильной пищѣ бываетъ сильный ростъ, нѣтъ задержки въ развитіи и потому не образуется несовершенныхъ листьевъ, т. е. цвѣтовъ, — при скудной же пищѣ происходитъ задержка въ развитіи. Но противъ этого объясненія и вообще противъ мнѣнія, что цвѣты суть несовершенные листья, образующіеся вслѣдствіе скуднаго питанія, говоритъ тотъ фактъ, что есть растенія, которыя цвѣтутъ прежде, нежели имѣютъ листья. Объясненіе Гете лучше. Онъ говоритъ, что пока органы растенія заняты работой надъ болѣе грубыми соками, цвѣтеніе невозможно; но съ уменьшеніемъ питанія уменьшается трудъ обработки сока и вслѣдствіе этого ускоряется цвѣтеніе.

Это приводитъ насъ къ великому закону антагонизма между Ростомъ и Развѣтвеніемъ, который тѣсно связанъ съ закономъ Воспроизведенія. Но это предметъ столь обширный, что мы не мо-

---

<sup>1)</sup> Theorie von der Generation, § 80 и слѣд.

жемъ сдѣлать здѣсь даже и краткаго обзора. Замѣтимъ только, что хотя Гете и ставитъ въ опасность свою теорію введеніемъ въ нее произвольной гипотезы объ обработкѣ сока, тѣмъ неменѣе онъ ясно видитъ, чего другіе не видѣли, что воспроизведеніе есть ни что иное, какъ только другая форма роста. Онъ говоритъ: «Жизненные силы растенія проявляются двоякимъ путемъ: чрезъ ростъ, производящій стебель и листья, и чрезъ воспроизведеніе, производящее цвѣтъ и плодъ. Ближе разсматривая ростъ, мы видимъ, что растеніе, переходя отъ колѣна къ колѣну, отъ листа къ листу, и отпуская почки, совершаетъ также воспроизведеніе, которое отличается отъ собственно такъ-называемаго воспроизведенія чрезъ цвѣтъ и плодъ, только своей постепенностью, т. е. тѣмъ, что совершается не разомъ, а черезъ рядъ отдѣльныхъ послѣдовательныхъ развитій. Сила, производящая почки, имѣетъ самую близкую аналогію съ той силой, которою условливается высшій актъ располженія. Мы можемъ заставить растеніе продолжать производить почки, и можемъ также ускорять эпоху цвѣтенія; первое достигается чрезъ обильное питаніе, а второе чрезъ питаніе, менѣе обильное. Говоря, что ростъ есть постепенное располженіе, а цвѣтеніе и плодотвореніе суть одновременное располженіе, мы этимъ самымъ обозначаемъ и способы ихъ совершенія. И ростъ, и цвѣтеніе, и плодотвореніе, все совершается одними и тѣми же органами, которые дѣйствуютъ различно при различныхъ условіяхъ. Тотъ же самый органъ, который развертывается въ листъ на стеблѣ и представляетъ такіа разнообразныя формы, сжимается потомъ, чтобъ образовать чашечку, потомъ опять развертывается въ лепестокъ, опять сжимается, чтобъ образовать половые органы, и наконецъ развертывается въ плодъ.»

Какой бы окончательный приговоръ ни произнесла современъ наука надъ *Метаморфозой Растеній*, этотъ трудъ останется навсегда великой славой поэта, который создалъ новую отрасль науки и создалъ ее путемъ строго научнымъ. Теперь морфологія имѣетъ уже массу работниковъ и уже насчитываетъ въ ихъ средѣ знаменитыя имена. Существованіемъ этой науки мы обязаны автору *Фауста*. Мало этого, автору *Фауста* мы обязаны кромѣ того нѣкоторыми свѣтлыми, плодотворными идеями, которыя руководятъ въ наше время наукой естествознанія. Карусъ

въ историческомъ очеркѣ, который предпослалъ своей *Сравнительной Анатоміи*, указавъ на различныя попытки раскрыть посредствомъ описательной анатоміи и случайныхъ сравненій дѣйствительныя отношенія между собой различныхъ частей тѣлъ, говорить <sup>1)</sup>: «Первая идея о метаморфозѣ костяныхъ формъ, — т. е. что всѣ разнообразныя формы суть только болѣе или менѣе распознаваемые модификаціи одного и того же типа, — эта идея принадлежитъ Гете». Далѣе Карусъ дѣлаетъ выписку изъ Гете и потомъ замѣчаетъ: «Трудно выразить въ болѣе ясныхъ терминахъ идею о Единствѣ, которое управляетъ многочисленностью формъ скелета. Первымъ великимъ примѣромъ этой идеи была позвоночная теорія черепа».

Впрочемъ чтобы эти высокія похвалы не ввели читателя въ заблужденіе, считаю долгомъ повторить, что Гете оказалъ великія услуги наукѣ не какъ трудолюбивый изслѣдователь или собиратель матеріала, а какъ мыслитель. Цѣль его стремленій создать методъ, установить научныя принципы. Его превосходный небольшой трактатъ: *Опытъ, какъ посредникъ между объектомъ и субъектомъ*, написанный въ 1793 г., показываетъ намъ, какія ясныя мысли онъ имѣлъ о методѣ. Онъ говоритъ: «Человѣкъ разсматриваетъ предметы прежде всего по отношенію ихъ къ самому себѣ, и поступаетъ хорошо, потому что вся его судьба зависитъ оттого, доставятъ ли они ему страданіе или наслажденіе, оттолкнуть его отъ себя или привлечь его къ себѣ, причинять ему пользу или вредъ.» Такова первоначальная ступень мышленія. Ея методъ есть оцѣнка предметовъ по внутреннимъ субъективнымъ понятіямъ. Ея крайняя точка есть основная аксіома Декарта и Спинозы: всѣ ясныя мысли истинны. Господство этого метода есть господство метафизики, и пока это господство продолжается, наука невозможна. Потомъ этотъ субъективный методъ смѣняется объективнымъ. Гете замѣчаетъ при этомъ, что несравненно труднѣе различать предметы по объективному методу, т. е. не по отношенію къ намъ, а по отношенію одного къ другому, т. е. когда субъективное мѣрило устраняется и мы дѣлаемся зрителями, стремимся познать то, что есть, а

---

<sup>1)</sup> *Anatomie Comparée*, vol. III, p. 3.

не только то, что касается насъ. Такъ напр. истиннаго ботаника интересуютъ не столько красота, польза цвѣтовъ, сколько законы ихъ роста или ихъ отношенія одного къ другому, и онъ беретъ данныя для сужденія не изъ самого себя, а изъ наблюденія. Гете совершенно устраняетъ изслѣдованіе конечныхъ причинъ, которымъ Баконъ такъ мѣтко далъ названіе: «безплодныя дѣвы»,—и стремится познать то, что есть.

Надо замѣтить, что Развитіе стало предметомъ изученія только въ новое время. Прежде, люди изучали только окончательно сложившихся животныхъ, только образованныя общества, а на фразы развитія, на законы роста не обращали вниманія, или же только касались ихъ весьма поверхностно. Теперь въ духѣ изслѣдованія произошелъ переворотъ. «Исторія развитія—говоритъ фонъ-Бэръ—есть великій свѣточъ во всякомъ изслѣдованіи органическихъ тѣлъ». Теперь и въ геологій, и въ фізіологій, и въ исторіи, и въ искусствѣ мы стремимся прослѣдить фазы развитія,—чтобы понять совершившееся, стремимся понять самое совершеніе, ростъ.

Гете не только имѣетъ высокое значеніе въ наукѣ какъ мыслитель, но заслуживаетъ уваженія и какъ работникъ. Чтобы показать, какъ далеко былъ онъ впереди своего вѣка, стоитъ только привести одно мѣсто, гдѣ онъ своимъ афористическимъ плодовитымъ слогомъ ясно предвозвѣщаетъ біологическіе законы, которыхъ раскрытіе составило потомъ одну изъ велихъ заслугъ Жюффруа Сентъ-Илера, фонъ-Бэра, Мильнъ Эдвардса, Кювье, Ламарка.

«Каждое живое бытіе есть не единство, а множество. Даже и въ своей индивидуальности оно все-таки остается соединеніемъ живыхъ, самостоятельныхъ существъ, которыя идентичны между собой по идеѣ, по происхожденію, но въ своемъ проявленіи могутъ быть одинаковы или подобны, или же неодинаковы или неподобны.

Чѣмъ несовершеннѣе существо, тѣмъ большее сходство или большее подобіе имѣютъ между собой его части и тѣмъ болѣе походятъ на цѣлое. И напротивъ, чѣмъ совершеннѣе существо, тѣмъ больше несходство между собой его частей.

Въ первомъ случаѣ части суть болѣе или менѣе повторенія цѣлаго; а во второмъ случаѣ онѣ совершенно не подобны цѣлому.

«Чѣмъ болѣе походятъ части одна на другую, тѣмъ менѣе подчиняются онѣ одна другой. Чѣмъ подчиненнѣе части, тѣмъ совершеннѣе существо» <sup>1)</sup>).

Приведемъ для объясненія нѣсколько самыхъ простыхъ примѣровъ. Разрѣжьте полипа на нѣсколько кусковъ; каждый кусокъ будетъ жить и проявлять всѣ тѣ же феномены питанія и чувствительности, какіе проявлялъ цѣлый полипъ. Выверните его какъ перчатку, внутренняя сторона сдѣлается кожей, внѣшняя — желудкомъ. Причина этому въ томъ, что въ строеніи полипа всѣ части одинаковы между собой и одинаковы съ цѣлымъ. У него нѣтъ никакого индивидуальнаго органа, или аппарата органовъ, который бы имѣлъ только одну определенную функцію, напр. питаніе, и не отправлялъ бы уже кромѣ того никакой другой функціи. Каждая его часть совершаетъ всѣ отправленія, подобно тому какъ въ обществѣ дикихъ каждый человѣкъ самъ для себя и портной, и оружейникъ, и поваръ, и полицейскій. Но возьмите для примѣра животное высшаго разряда, и вы увидите, что строеніе его состоитъ изъ несходныхъ частей, и каждая часть имѣетъ особую отъ другихъ функцію. Такого животного нельзя такъ изрубить на куски, чтобъ каждый кусокъ продолжалъ жить по-прежнему. У него кожа не можетъ вдругъ превратиться въ желудокъ. Такое животное въ гражданской жизни не можетъ быть для себя вѣстѣ и портнымъ и оружейникомъ: раздѣленіе труда, составляющее необходимый признакъ принадлежности существа къ высшему разряду, лишаетъ его универсальной способности.

Законъ, на который указываетъ Гете въ приведенной выпискѣ, вы встрѣтите теперь въ каждомъ зоологическомъ сочиненіи. Фонъ-Бэръ облекъ его въ слѣдующую формулу: Развитіе идетъ отъ сходства къ несходству, отъ общаго къ частному, отъ однороднаго къ разнородному. Я слишкомъ глубоко уважаю фонъ-Бэра, чтобы имѣть желаніе уменьшать его заслуги, но не могу не замѣтить, что писатели, приписывающіе ему открытіе этого

---

<sup>1)</sup> Zur Morphologie, 1807 (писано въ 1795), Werke, XXXVI, p. 7.

закона, прямо противорѣчатъ ему самому, такъ какъ самъ фонъ-Бэръ вовсе не представляетъ подобнаго притязанія и, высказавъ свою формулу, присовокупляетъ: «этотъ законъ развитія никогда не терялся изъ вида». <sup>1)</sup> Его заслуга заключается въ превосходномъ примѣненіи и доказательствѣ этого закона, но не онъ первый его указалъ.

Законъ «раздѣленія труда въ животномъ организмѣ» признается открытіемъ знаменитаго французскаго зоолога Мильнъ-Эдвардса, но мы видимъ изъ приведенной выписки, какъ ясно высказалъ Гете этотъ законъ. Еще яснѣе высказанъ у него принципъ классификаціи, т. е. подчиненности частей, установленіе котораго составляетъ великую заслугу Кювье. Не буду распространяться объ этомъ. Я вовсе не имѣю желанія уменьшать славу этихъ великихъ людей и возвеличивать Гете на ихъ счетъ. Изучавшій исторію знаетъ, что открытія дѣлаются, собственно говоря, не индивидуумами, а вѣкомъ, что всѣ открытія имѣли своихъ предвозвѣстниковъ и міръ справедливо признаетъ честь открытія не за тѣмъ, кто только прозрѣлъ, что возможно, а за тѣмъ, кто примѣнилъ открытіе, кто сдѣлалъ его полезнымъ. Я пишу не исторію науки, а біографію Гете; моя цѣль только показать, что Гете достигалъ въ наукѣ такой высоты, какая только была возможна для его вѣка, и какъ мыслитель продумалъ великія мысли, которыя потомъ были популяризированы великими людьми.

Замѣтимъ кромѣ того, что предвосхищенія Гете не принадлежатъ къ числу поверхностныхъ, мнимыхъ предвосхищеній, заключающихся только въ какой-нибудь неопредѣленной или случайной фразѣ. Опъ не только прозрѣвалъ истину, — онъ ясно видѣлъ ее, ясно усматривалъ законы, и это усмотрѣніе было у него плодомъ цѣлаго ряда концепцій. Такъ въ своемъ *Введеніи къ*

---

<sup>1)</sup> «Dieses Gesetz der Ausbildung ist wohl nie verkannt worden». *Zur Entwicklungsgeschichte*. Erster Theil, p. 153. Кромѣ того Вольтъ ясно высказалъ это въ своей *Theorie von der Generation*, § 28, p. 163. См. также МЕСКЕЛ: *Traité d'Anatomie Comparée*. Француз. переводъ, I, 297. Бюффонъ также говоритъ: «Un corps organisé dont toutes les parties seraient semblables à lui même est la plus simple, car ce n'est que la répétition de la même forme». *Hist. Nat.*, 1749, II, 47.



*сравнительной Анатомии*, которое было написано въ 1795 г., онъ стремится установить новые методы, указываетъ бесплодность сравнительныхъ наблюдений, какъ они дѣлались въ то время, и говоритъ, что вмѣсто того, чтобы принимать человека за мѣрило. слѣдуетъ начать съ низшихъ организмовъ и постепенно восходить къ высшимъ организмамъ. Годъ спустя Жоффруа С. Илеръ, не зная ничего о томъ, что происходило въ кабинетѣ Веймарскаго ученаго и въ Іенскомъ Музеумѣ, издалъ свое *Dissertation sur les Makis*, и началъ свое обновленіе науки. Онъ также, какъ и Гете, стремился создать типъ, по которому можно было бы объяснить всѣ органическія строенія. Эта идея о типѣ (*allgemeines Bild*) есть чисто научная идея и принесла богатый плодъ. Это—не идея Платона, не метафизическая сущность, а только научный приѣмъ. Гете ясно предостерегаетъ, что хотя этотъ типъ есть всеобъемлющее выраженіе того, что дѣйствительно существуетъ, но ошибочно было бы думать, что онъ существуетъ, какъ объективная реальность. Многіе однако не обратили достаточнаго вниманія на это предостереженіе и идея о типѣ породила не мало сумасбродствъ.

Одно изъ самыхъ любопытныхъ примѣненій этой идеи есть теорія позвоночнаго строенія черепа. Каждый образованный читатель знаетъ, что теперь анатомія признаетъ черепъ за модификацію трехъ или болѣе позвонковъ, но немногіе изъ читателей имѣютъ ясное понятіе, какія части черепа разложимы на позвонки или какаа степенъ сходства видима теперь между позвонками и модификаціей ихъ въ черепъ. И трудно, чтобы читатель имѣлъ объ этомъ ясное понятіе, такъ какъ и до сихъ поръ еще самостоятельные изслѣдователи не вполне согласны между собой по этому предмету. Принципы морфологіи до сихъ поръ еще не всегда достаточно принимаются во вниманіе. Мысль, что черепъ образуется чрезъ модификацію позвоночнаго столба, также подлежитъ устраненію, какъ и мысль, что пестикъ или тычинка образуются чрезъ модификацію листа. Для выраженія морфологическаго тождества, т. е. единства въ строеніи, мы можемъ разсматривать каждый органъ растений, какъ модификацію типическаго листа, и каждую кость въ скелетѣ, какъ модификацію типическаго позвонка (или части позвонка); но назвать черепъ позвоночнымъ столбомъ было бы вы-

раженіемъ, столь же не неточнымъ и вводящимъ въ заблужденія, какъ еслибы мы назвали головной мозгъ спинной струной. Головной и спинной мозгъ имѣютъ тождественную основу, —оба они суть массы узловато вещества, имѣютъ тождественныя свойства и хотя не одинаковыя, однако схожія функціи <sup>1)</sup>; но кромѣ сходствъ они имѣютъ между собой очевидныя и важныя различія. Не обращать вниманія на различія и останавливать свое вниманіе исключительно на сходствахъ значило бы поступать въ высшей степени не научно. Мы имѣемъ основаніе сказать только, что черепъ устроенъ по тому же общему плану, какъ и остальная часть спинной оси, точно также какъ говоримъ, что строеніе рыбы обнаруживаетъ тотъ же общій планъ, какъ и строеніе четвероногаго. Другими словами, мы можемъ сказать не болѣе, какъ только что каждый позвонокъ есть индивидуальная форма общаго типа. Черепъ не есть, какъ утверждаетъ Окенъ, модифицированный спинной столбъ <sup>2)</sup>. Утверждать это, значитъ признать, что спинной позвонокъ есть типическая форма, изъ которой развился черепной позвонокъ, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности оба они суть измѣненія одной типической формы. Одинаково не можемъ мы согласиться и съ мнѣніемъ Кильмейера, что спинной столбъ есть черепъ, какъ не можемъ согласиться съ мнѣніемъ Окена, что черепъ есть спинной столбъ; но замѣтимъ, что во всякомъ случаѣ мнѣніе Кильмейера имѣетъ на своей сторонѣ больше основательности, такъ какъ, по свидѣтельству эмбриологіи, черепные позвонки суть первые по времени образованія: у рыбъ только одинъ черепъ представляетъ полное костяное развитіе типической кости и если будемъ нисходить къ низшимъ разрядамъ, то увидимъ, что напр. у головоногихъ (Cephalopoda) есть головной мозгъ въ несовершенномъ состояніи, отчасти схожій съ низшими формами мозга у рыбъ, и есть черепъ также въ неразвитомъ состояніи, но вовсе нѣтъ спинной струны или спиннаго столба. Следовательно

<sup>1)</sup> Этотъ вопросъ мною рассмотрѣнъ въ Reports of British Association for the Advancement of Science, 1859, и въ Physiology of Common Life, vol. II.

<sup>2)</sup> Такъ какъ головной мозгъ есть сильно развитая спинная струна, то и мозговой ящикъ есть только болѣе развитый спинной столбъ. См. Owen: Homologies, p. 74.

мы имѣемъ полное основаніе сказать, что черепъ не можетъ быть модификаціей спиннаго столба.

Овенъ и Спиксъ видятъ въ головѣ повтореніе туловища: они говорятъ, что головной мозгъ есть повтореніе спинной струны, ротъ — повтореніе кишекъ и брюшной полости, нозъ — повтореніе легкихъ и грудной полости, челюсти — повтореніе членовъ. Къ несчастію для этой замысловатой теоріи, существуютъ позвоночныя животныя, у которыхъ есть голова, но нѣтъ членовъ, и поэтому было бы правильнѣе признать, что члены суть модификація челюстей, а не челюсти — модификація членовъ. Послѣ этого неудивительно встрѣтить такое возраженіе противъ позвоночной теоріи, что она въ сущности есть ни что иное, какъ признаніе, что позвонокъ есть кость.

Овенъ опредѣляетъ типическій позвонокъ слѣдующимъ образомъ: «это есть одинъ изъ тѣхъ сегментовъ, которые образуютъ ось тѣла и охранительные каналы нервныхъ и сосудистыхъ трубочекъ» <sup>1)</sup>. Поэтому вполне развитой позвонокъ долженъ состоять по крайней мѣрѣ изъ двухъ дугъ, изъ которыхъ одна должна составлять охранительныя стѣнки нервного центра, а другая — охранительныя стѣнки большихъ кровеносныхъ сосудовъ. Разсматривая разрѣзъ черепа, мы находимъ, что эта костяная коробка «состоитъ изъ твердой центральной массы, откуда идутъ верхняя и нижняя дуги. Верхняя дуга образуется стѣнками полости, содержащей головной мозгъ, и находится въ такомъ же отношеніи къ головному мозгу, въ какомъ нервная дуга позвонка находится къ спинной струнѣ, съ которой соединенъ головной мозгъ. Нижняя дуга облегаетъ другія головныя внутренности, подобно тому, какъ ребра облегаютъ внутренности грудной полости. Тутъ не только очевидна общая аналогія, но молодой черепъ легко раздѣлить на части, въ каждой изъ которыхъ, безъ особеннаго усилія воображенія, замѣчается родъ фамильнаго сходства съ такимъ развитымъ позвонкомъ, какъ атлантъ <sup>2)</sup>.

Итакъ, свѣтозарный руководитель въ анатомическихъ изслѣдованіяхъ, которому Жоффруа С.-Илеръ далъ имя: «*principe des*

<sup>1)</sup> OWEN: Homologies, p. 81.

<sup>2)</sup> HUXLEY: Croonian Lecture. 1858.

connexions», приводить насъ къ заключенію, что нервныя дуги мозгового ящика гомологичны нервнымъ дугамъ спинной оси, и мы можемъ сказать вмѣстѣ съ Гексли: «Что можетъ быть естественнѣе, какъ принять относительно черепа такой взглядъ, что черепъ есть часть позвоночнаго столба, подвергшаяся еще большому измѣненію, чѣмъ крестецъ или хвостецъ, позвонки которыхъ модифицируются соотвѣтственно развитію передней оконечности нервнаго центра и неразвитію головной оконечности тѣла?» Въ этомъ именно заключалась мысль, озарившая умъ поэта. Она находится въ столь тѣсной связи съ морфологическими доктринами, къ которымъ его привело изученіе растенія, что я совершенно далекъ оттого, чтобъ видѣть въ ней открытіе, дѣлающее особую честь его проницательности. Я говорю такъ не потому, что эта мысль представляется теперь очевидной, будучи окончательно разъяснена, — я очень хорошо знаю, что не трудно поставить яйцо послѣ того, какъ поставилъ его Колумбъ, — но я говорю такъ потому, что попытки Гете оправдать эту мысль подробной анатомической разработкой были неудачны, какъ это всѣмъ признано. Прибавлю, что тщательное изученіе этого предмета привело меня къ тому заключенію, что ни Гете, ни Окенъ не были свободны отъ нѣкоторой неясности въ мысли, не уяснили себѣ достаточно элементы проблемы. Основная ихъ ошибка, какъ я уже это указалъ выше, состояла въ предполагаемомъ отношеніи черепа къ спинной оси. Едвали анатомы рѣшались утверждать, что головной мозгъ имѣетъ такое же отношеніе къ шейному расширенію спинной струны, какое имѣетъ шейное расширеніе къ поясничному расширенію, но они прямо говорятъ или подразумеваютъ, что мозговой ящикъ имѣетъ такое же отношеніе къ шейнымъ позвонкамъ, какое эти послѣдніе имѣютъ къ поясничнымъ. Анатомія весьма ясно учитъ, что хотя между головнымъ мозгомъ и спинной струной существуютъ нѣкоторыя основныя сходства, но эти сходства немногимъ значительнѣе сходствъ между симпатическими узлами и головнымъ мозгомъ, и что помимо этихъ сходствъ между головнымъ мозгомъ и спинной струной существуютъ также явныя и важныя различія, которыя обнаруживаются еще на первыхъ степеняхъ эмбриологическаго развитія и ведутъ къ образованію соотвѣтствующихъ различій въ охранныхъ костяхъ. Исслѣдованія эмбриологовъ, изложенныя въ за-

мѣтательно произведеніи Гексли (*Croonian Lecture*, Huxley) не оставляютъ, по моему мнѣнію, никакихъ сомнѣній въ этомъ отношеніи. Приведу здѣсь заключеніе, къ которому приходитъ Гексли. «Въ позвоночной теоріи черепа мы находимъ такую же ошибку, какая, до появленія трудовъ фонъ-Бэра, существовала въ нашихъ понятіяхъ объ отношеніи между рыбами и млекопитающими. Полагали, что млекопитающее есть модификація рыбы, но это оказалось ошибочнымъ: рыбы и млекопитающія имѣютъ въ своемъ развитіи общую исходную точку, но потомъ каждый изъ этихъ разрядовъ развивается своимъ особымъ путемъ. Точно также понимаю я и образованіе черепа: спинной столбъ и черепъ имѣютъ общій исходный пунктъ, но потомъ развиваются совершенно различно. Спинной столбъ постоянно сегментируется на свои соматомы и въ большей части случаевъ развивается въ центры и промежуточные центры, которыми болѣе или менѣе облекается спинная струна. Черепъ же никогда не сегментируется на соматомы и никогда не развивается въ центры и промежуточные центры. Большая часть основы черепы находится внѣ спинной струны. Въ процессѣ окостенѣнія есть нѣкоторая аналогія между спиннымъ столбомъ и черепомъ, но аналогія эта дѣлается слабѣе по мѣрѣ того, какъ мы приближаемся къ передней конечности черепа.»

Можетъ быть Гексли придастъ слишкомъ большое значеніе различіямъ, стараясь доказать неосновательность мнѣнія, придающаго слишкомъ большое значеніе сходствамъ, но во всякомъ случаѣ его заключенія противъ позвоночной теоріи, какъ ее обыкновенно понимаютъ, кажутся намъ неоспоримыми. Разсматривать головной мозгъ, какъ «повтореніе» нѣкоторыхъ сегментовъ спинной струны, не значитъ ли это дѣлать изъ принциповъ сравнительной анатоміи уже чрезчуръ смѣлое примѣненіе? Головной мозгъ и спинная струна различаются между собой не только по величинѣ и формѣ: въ спинной струнѣ сѣрое вещество находится съ внутренней стороны, а въ головномъ мозгѣ съ наружной. Чувствительные и двигательные нервы, идущіе отъ спинной струны, распределяются по кожѣ и мускуламъ симметрическими парами, — первы же, идущіе отъ головного мозга, распределяются совершенно иначе, začínаются узлами и въ продолговатомъ мозгу (*medula oblongata*), и притомъ нервы зрительный, обонятельный и слуховой не имѣ-

ютъ соотвѣтственныхъ двигательныхъ нервовъ, а въ двухъ самыхъ большихъ и важныхъ частяхъ головного мозга (въ большомъ мозгу и мозжечкѣ, cerebrum и cerebellum) вовсе нѣтъ нервовъ. Одни уже эти различія, не говоря о другихъ, ясно показываютъ, какъ неосновательно мнѣніе Окена, что головной мозгъ есть въ большихъ размѣрахъ развитая спинная струна и что, слѣдовательно, черепъ есть повтореніе спиннаго столба.

Послѣ этого краткаго изложенія, имѣвшаго цѣлью дать общее понятіе о знаменитой позвоночной теоріи черепа, остановимся на вопросѣ, который касается болѣе личнаго характера Гете, чѣмъ его значенія въ наукѣ, и который подалъ поводъ къ раздражительнымъ спорамъ: Окенъ извелъ на Гете обвиненіе въ тщеславной лжи, а Овенъ <sup>1)</sup>, — грустно сказать — поддержалъ это обвиненіе.

Пятнадцать лѣтъ послѣ того какъ Гете уже сошелъ въ могилу и слѣдовательно когда уже былъ невозможенъ прямой отвѣтъ, Окенъ обнародовалъ свое обвиненіе въ *Isis* (1847, Heft VII). Признаюсь, статья Окена меня крайне смутила. Обстоятельства, которыя, по словамъ поэта, привели его къ открытію позвоночной теоріи черепа, поразительно схожи съ обстоятельствами, приведшими Окена къ тому же открытію. Гете рассказываетъ, что, гуляя однажды по Еврейскому кладбищу близъ Венеціи, онъ поднялъ черепъ овцы, который былъ сломанъ въ продольномъ разрѣзѣ, и, рассматривая этотъ черепъ, попалъ на мысль, что личныя кости состоятъ изъ трехъ позвонковъ, — «переходъ отъ передней крыловидной кости къ рѣшетчатой мнѣ сталъ очевиденъ съ перваго же взгляда». Теперь сравнимъ рассказъ Окена. Онъ говоритъ, что еще въ 1802 г., въ трактатѣ о чувствахъ, указалъ, что органы пяти чувствъ суть повторенія низшихъ органовъ, но хотя тутъ уже было не далеко до открытія, что черепъ есть повтореніе спиннаго столба, однако въ то время ему еще это не приходило на мысль: въ 1803 г. онъ объяснилъ, что челюсти насѣкомыхъ суть головные члены, и наконецъ въ 1806 г., бродя по горамъ Гарца, случайно поднялъ черепъ оленя и, рассматривая его, восклик-

---

<sup>1)</sup> См. Encyclopaedia Britannica, 8-е изд., статья подъ заглавіемъ: Окенъ.

нулъ: это позвоночный столбъ. Вирховъ признаетъ, что тутъ дѣйствительно весьма странное совпаденіе обстоятельствъ, но прибавляетъ, что открытіе одинаково вѣроятно какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, и что это совпаденіе свидѣлствуетъ только, что какъ Гете, такъ и Окенъ, были въ то время одинаково на пути къ этому открытію. Продолжительныя занятія фізіономикой и остеологіей подготовили Гете къ открытію и онъ естественно перешелъ отъ метаморфозы растеній къ метаморфозѣ насѣкомыхъ; и если Окенъ также самостоятельно пришелъ къ этому открытію, переходя отъ насѣкомыхъ къ млекопитающимъ, то во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что онъ сдѣлалъ открытіе многими годами позднѣе, чѣмъ Гете. При этомъ не слѣдуетъ упускать изъ виду, что теорія о позвоночномъ строеніи черепа есть только одно изъ примѣненій тѣхъ морфологическихъ доктринъ, которыя Гете развилъ и примѣнилъ къ растеніямъ,—и хотя весьма *возможно*, что онъ могъ и не сдѣлать спеціальнаго примѣненія морфологическихъ доктринъ къ черепу, но мы имѣемъ несомнѣнный фактъ, что онъ ясно сознавалъ необходимость примѣненія морфологическихъ законовъ къ животнымъ, какъ это ясно выражено въ его письмѣ къ Гердеру <sup>1)</sup>, въ которомъ онъ извѣщаетъ его объ открытіи этихъ законовъ. Кромѣ того, вскорѣ потомъ онъ писалъ: «Я покажу вамъ въ естественной исторіи то, чего вы никакъ не ожидаете. Я полагаю, что мнѣ не далеко до открытія закона организациі». На что могутъ замѣтить, что эти слова еще ничего не доказываютъ, что они только свидѣлствуютъ о примѣненіи морфологическихъ доктринъ къ животной организациі, но не свидѣлствуютъ о спеціальному примѣненіи ихъ къ черепу. Но и это сомнѣніе окончательно устраняется недавно изданной перепиской Гете, гдѣ мы находимъ его письмо къ женѣ Гердера, писанное изъ Венеціи 4-го мая 1790 г. «Странный счастливый случай далъ мнѣ возможность сдѣлать еще шагъ въ объясненіи строенія животныхъ (Thierbildung). Мой слуга принесъ съ Еврейскаго кладбища отломокъ отъ черепа животнаго, увѣряя, что это черепъ еврея». Это письмо окончательно устраняетъ всякую возможность усомниться въ истинности показанія старика Гете, что мысль о

---

<sup>1)</sup> Italienische Reise II p. 5.

позвоночномъ строеніи черепа зародилась у него именно въ 1790 году, на еврейскомъ кладбищѣ въ Венеціи.

Окенъ говоритъ, что сдѣлалъ открытіе въ 1806 г., а въ 1807 г. написалъ свою академическую программу. «Я былъ въ то время приватъ-доцентомъ въ Геттингенѣ, и слѣдовательно Гете въ то время, безъ сомнѣнія, и не зналъ о моемъ существованіи». Онъ послалъ свою диссертацию въ Іену, куда былъ только-что назначенъ профессоромъ. Гете былъ попечителемъ Іенскаго университета, слѣдовательно не могъ не знать о притязаніи Окена на открытіе. На этотъ фактъ Окенъ указываетъ какъ на очевидное доказательство, что еслибы его притязанія на открытіе были неправильны, то Гете не преминулъ бы тогда же ихъ опровергнуть. Но этотъ фактъ вовсе не имѣетъ той доказательности, какую въ немъ видитъ Окенъ. Гете молчалъ о его притязаніи на открытіе потому, что имѣлъ причины молчать. «Конечно я послалъ Гете экземпляръ моей программы. Это открытіе такъ ему понравилось, что онъ пригласилъ меня, на пасху въ 1808 г., провести съ нимъ недѣлю въ Веймарѣ, что я и сдѣлалъ. Пока ученые относились презрительно къ этому открытію, Гете молчалъ, но какъ скоро оно начало входить въ славу, благодаря трудамъ Меккеля, Спикса и другихъ, тогда поднялся споръ между рабскими поклонниками Гете, что идея эта принадлежитъ ему. Около этого времени пріѣхалъ въ Веймаръ Боянусъ; услышавъ тамъ, что это открытіе принадлежитъ Гете, онъ наполовину повѣрилъ и сообщилъ мнѣ, а я напечаталъ объ этомъ въ *Isis* (1818, р. 509), объясняя, что это открытіе сдѣлано мной осенью 1806 г.». Это двусмысленно: Окенъ не отрицаетъ прямо, что Гете принадлежитъ первенство въ этомъ открытіи, а утверждаетъ только, что самъ сдѣлалъ это открытіе самостоятельно. Далѣе онъ говоритъ: «такъ какъ благодаря Боянусу объ этомъ зашла рѣчь, то тщеславіе Гете было задѣто, и тринадцать лѣтъ послѣ того, какъ я сдѣлалъ это открытіе, онъ сталъ утверждать, что сдѣлалъ его уже назадъ тому тридцать лѣтъ».

Почему же молчалъ Гете, когда Окенъ въ первый разъ объявилъ о своемъ открытіи? почему Окенъ не обвинялъ Гете, когда еще тотъ былъ живъ? На первый вопросъ мы находимъ отвѣтъ у самого Гете. Въ небольшой замѣткѣ, озаглавленной *Das Schä-*



*delgerüst aus sechs Wirbelknochen aufgebaut*, онъ говоритъ, что сначала полагалъ въ черепѣ три позвонка, потомъ шесть,—толковалъ объ этомъ съ друзьями, и тѣ съ своей стороны также принялись за разработку этой темы. Далѣе онъ продолжаетъ: «Въ 1807 г. эта теорія шумно появилась въ публикѣ и естественно возбудила сильные диспуты и нѣкоторое одобреніе. Исторія покажетъ, до какой степени повредило этой теоріи незрѣлое ея изложенье». Это замѣчаніе понятно каждому, кто только читалъ Окена и знаетъ, какъ не расположенъ былъ Гете къ метафизикѣ. При всемъ своемъ предрасположеніи въ пользу идеи о типѣ, не могъ онъ одобрительно отнестись къ теоріи, «шумно» провозглашавшей, что «весь человѣкъ есть только позвонокъ», и оставилъ безъ вниманія это метафизическое разглагольствованіе. Въ своихъ *Tag-und Jahres-Hefte* онъ рассказываетъ, что однажды его друзья, Рамеръ и Фогтъ, съ которыми онъ вѣстѣ занимался разработкой позвоночнаго строенія черепа, съ удивленіемъ принесли ему новость о появленіи академической программы Окена. «Рамеръ и Фогтъ еще живы,—прибавляетъ онъ,—и могутъ сами засвидѣтельствовать этотъ фактъ». Почему же, спрашивается, Гете тогда же не предъявилъ своихъ правъ на первенство въ открытіи? Вотъ что онъ говоритъ далѣе. «Я просилъ своихъ друзей, чтобъ они оставались спокойны, потому что идея не разработана въ программѣ Окена, какъ слѣдуетъ, и каждому, понимающему дѣло, ясно, что это не самостоятельный трудъ. Много было попытокъ побудить меня высказаться по этому предмету, но я твердо рѣшился молчать».

Когда я въ первый разъ разсматривалъ вопросъ, кому принадлежитъ первенство въ открытіи позвоночнаго строенія черепа, я не зналъ о существованіи приведеннаго выше письма Гете къ женѣ Гердера, такъ какъ оно въ то время еще не появлялось въ печати, и высказалъ тогда мнѣніе, что познанія Гете, заключающіяся въ остеологической замѣткѣ и въ его *Hefte*, составляютъ сами по себѣ полное и вполне убѣдительное доказательство. Я указывалъ тогда, что эти произведенія Гете появились въ печати много лѣтъ прежде чѣмъ Окенъ выступилъ съ своимъ обвиненіемъ,—что въ этихъ произведеніяхъ Гете ясно и прямо говорилъ, что Окенъ поспѣшно, въ незрѣлой формѣ, обнародовалъ идею, которую Гете въ

то время разработывалъ вмѣстѣ съ двумя друзьями, — и что наконецъ въ подтвержденіе своего показанія Гете ссылался на двухъ свидѣтелей, и Окенъ молчалъ, пока свидѣтели были живы, и заговорилъ уже только тогда, когда никого изъ нихъ небыло въ живыхъ.

Окенъ объяснялъ свое молчаніе тѣмъ, что Гете «не называлъ его по имени и ему не хотѣлось поднимать такой непріятной исторіи». Но это объясненіе можетъ относиться только къ первой изъ двухъ приведенныхъ нами выписокъ, т. е. къ остеологической замѣткѣ: тамъ Окенъ дѣйствительно не названъ по имени. Во второй же приведенной нами выпискѣ, т. е. въ *Hefte*, не только Окенъ названъ по имени, но тамъ прямо сказано, что Фогтъ и Ромеръ удивились, что Окенъ успѣшилъ обнародовать идею, которая принадлежала Гете. Тѣхъ, кого не удовлетворить эта аргументация, я отсылаю къ письму Гете къ женѣ Гердера: это письмо окончательно устраняетъ всякую возможность сомнѣнія.

Оправдавъ Гете отъ взведеннаго на него нареканія и показавъ, что, біографически, мы имѣемъ полное основаніе признать за нимъ первенство въ открытіи позвоночнаго строенія черепа, намъ остается прибавить, что, исторически, право на первенство принадлежитъ Окену. Въ біографическомъ отношеніи для насъ весьма важенъ тотъ фактъ, что поэтъ самъ, самостоятельно, сдѣлалъ это открытіе, а не заимствовалъ его у Окена. Но въ исторіи науки первенство должно быть признано за Океномъ: этого требуютъ правила исторической оцѣнки, — исторія признаетъ первенство въ открытіи за тѣмъ, кто первый возвѣстилъ его, потому что въ противномъ случаѣ каждое открытіе могло бы возбудить цѣлую массу притязаній на первенство даже со стороны людей, не имѣющихъ на то ни малѣйшаго основанія. Кромѣ того, въ пользу Окена говоритъ еще другое обстоятельство: ему безспорно принадлежитъ заслуга, что онъ первый ввелъ въ ученый міръ идею о позвоночномъ строеніи черепа, оставивъ эту идею достаточно разработанными подробностями, чтобъ дать ей мѣсто въ наукѣ и побудить ученыхъ къ ея провѣркѣ. Поэтому я считаю безспорнымъ, что въ исторіи науки позвоночная теорія должна быть признана открытіемъ Окена, а не Гете; хотя не менѣе безспорно, что Гете предупредилъ это открытіе шестнадцатью годами и имѣлъ бы пра-

во на признаніе за нимъ этого открытія, еслибъ сдѣлалъ его извѣстнымъ, а не ограничился бы только разсужденіемъ о немъ съ своими друзьями. Вирховъ думаетъ иначе: онъ признаетъ первенство за Гете; но, я полагаю, онъ не станетъ оспаривать общепризнанныя правила, что для рѣшенія между двумя претендентами, кому принадлежитъ первенство въ открытіи, исторія не имѣетъ на что опереться, какъ только на первенство въ возвѣщеніи открытія.

Въ-заключеніе этой нѣсколько длинной главы замѣчу, что я не держался строго хронологіи, не останавливался на различныхъ ученыхъ трактатахъ Гете, которые читатель можетъ всѣ найти въ полномъ собраніи его сочиненій,—такъ какъ главная моя цѣль состояла только въ томъ, чтобъ выяснитъ общій характеръ научной дѣятельности Гете, его научныя заслуги и недостатки, показать какое значеніе имѣла наука въ его жизни и какъ ошибочно мнѣніе, будто онъ былъ въ наукѣ не болѣе какъ диллетантъ-художникъ. Къ нему съ полной справедливостью могутъ быть примѣнены слова Бюффона о Плиніѣ, что онъ имѣлъ *cette facilité de penser en grand, qui multiplie la science*; только какъ за мыслителемъ я и признаю за нимъ высокое, почетное мѣсто въ наукѣ.

## ГЛАВА X.

### Французская кампанія.

Возвратимся къ разсказу.

Въ 1790 г. Гете принялъ на себя управленіе всѣми учрежденіями по части наукъ и искусствъ и трудился надъ устройствомъ музея и ботаническаго сада въ Іенѣ. Въ мартѣ того же года онъ вторично отправился въ Италію, чтобы встрѣтить герцогиню Амалию и Гердера въ Венеціи. Тамъ въ наукѣ искалъ онъ успокоенія отъ тревожившихъ его мыслей. При второмъ посѣщеніи Италія показалась ему совершенно иною, чѣмъ въ первый разъ. Онъ сталъ подозрѣвать, что впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ Италіи въ первую поѣздку, имѣли въ себѣ значительную при-

мѣсь иллюзій. При сравненіи *Венеціанскихъ эпиграммъ* съ *Римскими элегіями* ясно видно, что теперь онъ находился въ совершенно иномъ настроеніи духа. Въ эпиграммахъ вы не встрѣтите пламенныхъ сожалѣній объ Италіи, тамъ нѣтъ ни той новизны впечатлѣнія, ни той полноты наслажденія, которыми дышетъ каждая строка элегій; на мѣсто всего этого вы встрѣчаете сарказмы и горечь разочарованія. Правда, многія изъ этихъ эпиграммъ написаны уже позднѣе, какъ это свидѣлствуетъ самое ихъ содержаніе, но большая ихъ часть есть плодъ его пребыванія въ Венеціи. Выказавшееся въ этихъ эпиграммахъ недовольство слѣдуетъ отчасти приписать его тогдашнему положенію. Онъ былъ въ то время не въ ладу съ міромъ. Общее тревожное состояніе того времени и тревожное состояніе его собственныхъ семейныхъ дѣлъ усиливали опасность, угрожавшую его стремленіямъ къ самообразованію, и увеличивали для него трудность найти себѣ твердый путь въ наукѣ и въ искусствѣ.

Въ іюнѣ онъ возвратился въ Веймаръ. Въ іюлѣ герцогъ прислалъ ему приглашеніе пріѣхать къ нему въ прусскій лагерь, въ Силезію, «гдѣ вмѣсто камней и цвѣтовъ онъ увидитъ поля, усѣяныя солдатами». Онъ отправился туда неохотно, но вознаградила себя за это усерднымъ изученіемъ каменьевъ и цвѣтовъ, представляя герцогу и другимъ развлекаться солдатами. Онъ жилъ въ лагерьѣ отшельникомъ, началъ писать трактатъ о развитіи животныхъ и комическую оперу.

Въ августѣ вернулся онъ съ герцогомъ изъ Силезіи. Герцогиня Амалия и Гердеръ, недовольные, что онъ тратитъ время надъ старыми костями, настаивали, чтобъ онъ бросилъ свою остеологию и принялся бы за окончаніе *Вильгельма Мейстера*. Однако *Вильгельмъ Мейстеръ* мало подвигался впередъ. Творческій пылъ прошелъ и мысль опровергнуть Ньютона была теперь у него на первомъ планѣ. 1791 годъ былъ для него годомъ спокойныхъ занятій и домашнего счастья. Въ этомъ году устроенъ былъ въ Веймарѣ придворный театръ и онъ съ удовольствіемъ принялъ на себя его управленіе. Усиліямъ его создать національный театръ мы посвятимъ особую главу для избѣжанія повтореній. Въ іюлѣ начались у герцогини Амалии пріемные вечера по пятницамъ. Между пятью и восьмью часами собирались въ ея дворцѣ герцогъ, гер-

погinya Луиза, Гете и его кружокъ и еще нѣсколько приближенныхъ придворныхъ, и одинъ изъ гостей занималъ общество чтеніемъ своего произведенія. На этихъ вечерахъ не соблюдалось никакого этикета, гости разсаживались гдѣ кому удобнѣе и только для чтеца было особенное мѣсто. На одномъ изъ такихъ вечеровъ Гете читалъ о семействѣ Калиостро, на другомъ о цвѣтахъ, Гердеръ читалъ о безсмертіи, Бертухъ о китайскихъ цвѣтахъ и англійскихъ садахъ, Беттигеръ о древнихъ вазахъ, Гуфеландъ о долговѣчности, что было его любимой темой, Боде—отрывки изъ своего перевода Монтаня. Когда кончалось чтеніе, общество переходило къ большому столу посреди комнаты, на которомъ лежали эстампы или интересныя новости, и тутъ завязывалась дружеская бесѣда. Отсутствіе всякаго этикета придавало этимъ собраніямъ особую прелесть.

Такъ какъ мы упомянули имя Калиостро, то упомянемъ кстати о комедіи *Der Gross-Kophia*, въ которой Гете драматизировалъ знаменитую исторію ожерелья. Первоначально Гете намѣревался сдѣлать изъ этого оперу, и Рейхардъ долженъ былъ написать для нея музыку. Если читатель отважится прочесть эту скучную комедію, то, безъ сомнѣнія, пожалѣетъ, что поэтъ не исполнилъ первоначальнаго своего намѣренія, не сдѣлавъ изъ этого оперы или чего-нибудь другаго, лишь бы только не писалъ подобной комедіи. Просто даже прискорбно встрѣтить подобное произведеніе въ числѣ твореній великаго поэта. Восхвалять его, какъ это дѣлаютъ слѣпые поклонники Гете, просто даже оскорбительно для здраваго смысла. Впрочемъ никакія похвалы не могли спасти его отъ заслуженнаго небреженія. Входить въ подробное разсмотрѣніе этого произведенія я считаю излишнимъ.

Наступило время, когда поэту пришлось промѣнить спокойныя свои занятія на беспокойную военно-походную жизнь. Прусскій король и герцогъ Брауншвейгскій, во главѣ многочисленной арміи, вступили во Францію, чтобы возвратить тронъ Людовику XVI и спасти законность отъ святотатственнаго санкюлотизма. Франція, думали союзники, стонетъ подъ игомъ партій и готова принять ихъ съ восторгомъ, какъ избавителей. Такъ утверждали эмигранты, и убѣжденные ими нѣмецкіе правители спѣшили вооружиться на защиту законности. Царь Августъ, у котораго наклонность звы-

маться солдатами дошла мало-по-малу до страсти, принялъ начальство надъ прусскимъ кирасирскимъ полкомъ, и Гете отправился въ походъ вмѣстѣ съ нимъ, не изъ сочувствія къ дѣлу, за которое предстояло сражаться, а единственно изъ привязанности къ другу. Легитимизмъ не внушалъ поэту особенно сильной любви, а республиканизмъ еще менѣе. Ни та, ни другая сторона не возбуждала въ немъ къ себѣ особенно сильныхъ влеченій. Онъ не принималъ живаго участія въ политическихъ событіяхъ дня, будучи глубоко проникнутъ убѣжденіемъ, что все благое можетъ быть достигнуто только чрезъ распространеніе образованія, — былъ нерасположенъ ко всякаго рода насильственнымъ переворотамъ, потому что считалъ ихъ вредными для развитія. Однимъ словомъ, это былъ въ полномъ смыслѣ «дитя мира». Онъ не любилъ ни революціи, ни реформаціи:

Franzthum drängt in diesen verworrenen Tagen, wie ehemals  
Lutherthum es gethan, ruhihe Bildung zurück.

[Въ наши смутныя времена французская революція, какъ нѣкогда лютеранство, отодвигаетъ назадъ спокойное развитіе.]

Если философы и патриоты гремѣли противъ подобной доктрины, опровергали ея аргументы, указывали ея опасность, все это весьма разсудительно, но въ высшей степени было неразсудительно съ ихъ стороны гремѣть противъ Гете, потому что таковы были его убѣжденія, и онъ писалъ и дѣйствовалъ въ духѣ этихъ убѣжденій. Мы не нуждались въ этомъ примѣрѣ, чтобы знать, какъ способны люди переносить свою ненависть къ мнѣніямъ на тѣхъ, кто исповѣдуетъ ненавистныя имъ мнѣнія; поэтому насъ нисколько не удивляютъ безразсудныя возгласы, раздававшіеся впоследствии противъ величайшаго человѣка Германіи, потому что этотъ человѣкъ не имѣлъ мнѣній, которыхъ и сами его немилосердые порицатели по всей вѣроятности никогда не имѣли бы, еслибы послѣдующія событія не оправдали того, что прежде казалось безуміемъ.

Не такой натуры былъ Гете, чтобы увлекаться событіями дня и глубоко интересоваться преходящими волненіями внѣшней жизни. Не въ преходящихъ феноменахъ, а въ вѣчныхъ законахъ природы находилъ созерцательный его умъ стимулъ и пищу. Бо-

нечно поэтъ и философъ должны интересоваться великими вопросами поэзіи и философій; но ставить ему въ упрекъ, что онъ не принимаетъ участія въ политикѣ, столь же нераціонально, какъ нераціонально ставить въ упрекъ государственному человѣку, что онъ не занимается греческимъ искусствомъ или физиологіей. Говорили, и говорили весьма неразумительно, будто Гете уклонился отъ политики и посвятилъ себя искусству и наукѣ именно по той причинѣ, что политика нарушала его спокойствіе и что онъ былъ слишкомъ эгоистиченъ, чтобъ интересоваться дѣлами другихъ. Но подобное обвиненіе можетъ быть по всей справедливости приравнено къ той довольно грязной клеветѣ, которая утверждала, что свободомысліе есть только личина разврата, какъ будто сомнѣніе есть результатъ нравственной распущенности. Чѣмъ ближе люди знали Гете, тѣмъ болѣе убѣждались въ его не-эгоистичности, чего мы не можемъ сказать о многихъ записныхъ патріотахъ. Патріотизмъ можетъ быть столь же эгоистиченъ, какъ и наука или искусство, даже когда бываетъ вполне искрененъ, а тѣмъ болѣе когда онъ, какъ это часто случается, есть только голосъ недовольнаго пауперизма. Мы знаемъ, какъ Гете любилъ людей, какъ искренно желалъ блага человѣчеству, какъ работалъ ради этого блага съ такимъ рвеніемъ, какое встрѣчается у весьма немногихъ. Неужели этого недостаточно, чтобъ убѣдиться, что если его дѣятельность приняла иное, а не политическое направленіе, то этому причина не эгоизмъ. Вѣрны ли были его мнѣнія и каковъ былъ характеръ его дѣятельности, это два различные вопроса. Жанъ-Поль говоритъ: «Онъ былъ гораздо дальновиднѣе другихъ: съ самаго начала французской революціи онъ относился къ патріотамъ съ такимъ же презрѣніемъ, какъ и впоследствии». Я не знаю данныхъ, на основаніи которыхъ можно было бы заключить, чтобъ Гете когда-нибудь питалъ чувство презрѣнія къ патріотамъ, но несомнѣнно, что его мнѣніе о французской революціи постоянно оставалось почти неизмѣннымъ, между тѣмъ какъ Клоштокъ и другіе сначала приходили въ фанатическій энтузіазмъ отъ революціи, а потомъ превратились въ неменѣе фанатичныхъ ея хулителей. Едва ли можно указать эпоху, къ которой можно было бы примѣнить съ болѣе поразительной вѣрностью, чѣмъ къ французской революціи, это превосходное изрѣченіе: «Toute periode histo-

rique a deux faces: l'une assez pauvre, assez ridicule, ou assez malheureuse, qui est tournée vers le calendrier du temps; l'autre grande, efficace, et sérieuse, qui regarde celui de l'éternité». Гете видѣлъ только временную сторону революціи, онъ не видѣлъ ея другой, исторической стороны.

Французская революція провозгласила три принципа, которые всѣ въ глазахъ Гете были очевидной нелѣпостью. Она провозгласила равенство, не только предъ закономъ (чего Гете никогда и не отрицалъ), но равенство абсолютное, между тѣмъ какъ изученіе людей и вмѣстѣ изученіе природы привели его къ убѣжденію, что «каждый индивидуумъ совершенствуется въ своей индивидуальности, и стремится уподобиться высшему идеалу, но ни одинъ индивидуумъ не можетъ быть совершенно равенъ другому».

Gleich sei Keiner dem Andern; doch gleich sei Jeder dem Höchsten  
Wie das zu machen? es sei jeder vollendet in sich.

Другой принципъ революціи, что народъ долженъ самъ управлять собой, также не находилъ вѣры въ его глазахъ. «Если вы убьете короля, — говорилъ онъ, — то не съумѣете управлять вмѣсто него».

Sie gönnten Cäsar'n das Reich nicht  
Und wussten's nicht zu regieren.

[Они отняли царство у Цезаря, но сами не умѣли управлять.]

Онъ указывалъ на судьбу Франціи какъ на урокъ правительствамъ и управляемымъ, и особенно послѣднимъ.

Frankreich's traurig Geschick, die Grossen mögen's bedenken;  
Aber bedenken fürwahr sollen es Kleine noch mehr.  
Grossen gingen zu Grunde: doch wer beschützte die Menge  
Gegen die Menge? Da war Menge der Menge Tyrann.

[Правителямъ надлежитъ поразмыслить о печальныхъ судьбахъ Франціи, а еще болѣе надлежитъ поразмыслить объ этомъ управляемымъ. Правительство низвергли, и кто же смогъ тогда защитить толпу отъ толпы? И толпа сдѣлалась своимъ собственнымъ тираномъ.]

Нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ чувствовалъ антипатію къ «апостоламъ свободы», разъ приди къ убѣжденію, что ихъ стремленіе къ свободѣ въ сущности есть ни что иное, какъ стремленіе къ своеволію.



Alle Freiheits-Apostel, sie waren mir immer zuwider,  
Willkür suchte doch nur jeder am Ende für sich.

[Всѣ апостолы свободы всегда были мнѣ антипатичны, потому что въ сущности каждый изъ нихъ стремился только къ свободѣ личнаго произвола.]

Третій принципъ революціи состоитъ въ томъ, что для человѣка необходима политическая свобода. Но противъ этого принципа Гете высказался еще въ первые дни своего авторства. Впослѣдствіи та же мысль выражена имъ въ *Эгмонтъ*, и мы находимъ, что въ теченіе всей жизни онъ постоянно сохранялъ убѣжденіе, что человѣкъ не можетъ быть свободенъ, что человѣку необходима только свобода въ частномъ его быту, свобода устранивать свой домашній бытъ, воспитывать своихъ дѣтей, безпрепятственно дѣйствовать въ своей частной сферѣ. При этомъ, повидимому, ему даже и не приходило на мысль, что и подобная свобода невозможна безъ политической свободы <sup>1)</sup>.

Но какъ ни противны были его убѣжденіямъ принципы революціи, какъ ни сильно было въ немъ нерасположеніе къ господству массъ, онъ не имѣлъ ни малѣйшаго сочувствія къ роялистамъ, не одобрялъ ни ихъ политическихъ цѣлей, ни ихъ поступковъ,—безумство террористовъ не оправдывало въ его глазахъ ихъ двуличности.

Sage, thun wir nicht recht? Wir müssen den Pöbel betrügen.  
Sieh nur, wie ungeschickt, sieh'nur, wie wild er sich zeigt;  
Ungeschickt und wild sind alle rohen Betrogen;  
Seid nur *redlich*, und so führt ihn zum Menschlichen an.

[Скажи, развѣ мы дурно поступаемъ? Мы должны обманывать толпу. Посмотри, какъ она глупа и дика. — Толпа всегда глупа и дика, если ее обманываютъ. Поступайте только съ ней честно, и вы очеловѣчите ее].

---

<sup>1)</sup> Вотъ какого мнѣнія былъ объ этомъ предметѣ Джонсонъ: «Серъ, я бы не далъ и гинен за то, чтобъ жить подъ той или другой формой правленія. Форма правленія не имѣетъ никакого значенія для счастья индивидуума. Серъ, опасности отъ злоупотребленій властью не касаются частнаго лица. Что мѣшаетъ французу проводить свою жизнь, какъ хочетъ?» *Возвелл*, chap. XXVI. Но никто не видитъ въ этомъ доказательства, что Джонсонъ былъ безсердечный эгоистъ.

Даже героямъ крайнихъ революціонныхъ клубовъ онъ отдавалъ предпочтеніе передъ роялистами.

Mir auch scheinen sie toll; doch redet ein Toller  
Weise Sprüche, wenn, ach! Weisheit im Sklaven verstummt.

(И въ моихъ глазахъ они также безумцы; но при свободѣ и безумцы говорятъ умныя рѣчи, а при рабствѣ и мудрость молчать].

Онъ сказалъ Эккерману: «Революція всегда бываетъ по винѣ правительства, а не народа».

Я могъ бы распространиться объ этомъ предметѣ, могъ бы указать, что политическіе принципы Гете были естественнымъ плодомъ его воспитанія, могъ бы объяснить, почему онъ былъ не способенъ сдѣлаться апостоломъ свободы, почему политическіе перевороты не могли глубоко интересовать его, особенно въ тотъ періодъ его жизни, когда онъ уже совершенно освободился отъ пылкихъ неопредѣленныхъ стремленій юности и совершенно установился въ своихъ цѣляхъ. Но сказанное нами достаточно объясняетъ характеръ поэта, а если читатель предубѣжденъ противъ него, не относится къ нему съ поднимъ безпристрастіемъ, то противъ такого предубѣжденія будутъ безсильны всякія объясненія. Американецъ, презирающій Негра, потому что онъ черенъ, не будетъ презирать его менѣе, когда узнаетъ, что чернота есть ни что иное, какъ модификація пигмента кожи.

Гете велъ свой дневникъ во время французской кампаніи. Я бы совѣтовалъ читателю его прочесть. Впрочемъ, мало надѣясь, чтобы читатель исполнилъ мой совѣтъ, я извлекъ изъ этого дневника нѣкоторыя интересныя подробности и введу ихъ въ общую нить разсказа.

Союзники вступили во Францію въ надеждѣ, что имъ предстоитъ не болѣе, какъ только военная прогулка. Они были увѣрены, что Лонгви немедленно сдастся при ихъ приближеніи и народъ приметъ ихъ съ распростертыми объятіями. Лонгви дѣйствительно сдался, но народъ не только не встрѣчалъ ихъ съ открытыми объятіями, а напротивъ повсюду выказывалъ самое упорное сопротивленіе. Слѣдующая выписка объяснитъ намъ, какъ смотрѣлъ Гете на эти событія: «Итакъ Пруссаки, Австрійцы и часть Французовъ вступили во Францію и принялись тамъ за свое военное

ремесло. Во имя какого права, отъ имени какой власти сдѣлали они это? Они могли бы это сдѣлать и прямо отъ своего имени, такъ какъ война была отчасти объявлена имъ и союзъ ихъ не былъ тайной; но они нашли нужнымъ изобрѣсть особый предлогъ и вступили во Францію отъ имени Людовика XVI. Насильно даромъ они ничего не брали, но насильно брали въ заемъ. Напечатаны были *bons*, которые подписывались военачальникомъ и потомъ въ нихъ по усмотрѣнію прописывалась сумма, которую обязанъ уплатить Людовикъ XVI. Можетъ быть, послѣ манифеста союзниковъ, ничто такъ не раздражило народъ противъ монархіи, какъ подобная мѣра. Я самъ былъ свидѣтелемъ одной сцены, самой трагической, какую мнѣ когда-либо случалось видѣть. Однажды патруль пригналъ въ лагерь большое стадо овецъ. За стадомъ шло нѣсколько пастуховъ. Пастухи, какъ надо предполагать, согнали нѣсколько стадъ вмѣстѣ, намѣреваясь укрыться съ ними въ лѣсахъ или гдѣ-нибудь въ отдаленномъ мѣстѣ. Въ лагерь ихъ приняли очень ласково и радушно, спросили, кому принадлежать овцы, потомъ начали раздѣлять овецъ на отдѣльныя стада и пересчитывать. Безпокойство, страхъ и нѣкоторая надежда ясно отпечатлѣвались на лицахъ пастуховъ. Но когда наконецъ приступили къ распредѣленію овецъ по полкамъ и ротамъ, а бѣднымъ пастухамъ очень вѣжливо передали клочки бумаги, по которымъ они должны были получить плату за овецъ отъ Людовика XVI, и когда нетерпѣливые голодные солдаты принялись за избіеніе овецъ, тутъ, признаюсь, разыгралась такая жестокая, такая глубоко-потрясающая сцена, какой я не видывалъ ни на яву, ни въ воображеніи. Только развѣ въ греческихъ трагедіяхъ можно найти нѣчто подобное».

Его интересуютъ люди, наука, природа, а вовсе не война. Увидавъ солдатъ, удящихъ рыбу, онъ подсаживается къ нимъ и приходитъ въ восторгъ отъ игры цвѣтовъ въ прозрачной водѣ. При бомбардировкѣ Вердюна всходитъ онъ на батарею, которая сильно дѣйствовала, и сейчасъ же удаляется,—громъ орудій ему невыносимъ. «Тутъ я встрѣтился съ принцемъ Рейскимъ. Мы стали съ нимъ ходить взадъ и впередъ за оградой виноградинокъ, которая защищала насъ отъ ядеръ. Сначала рѣчь между нами шла о разныхъ политическихъ дѣлахъ, и мы по обыкновенію запутались

въ цѣлый лабиринтъ надеждъ и опасеній. Потомъ принцъ спросилъ меня, чѣмъ теперь я занимаюсь, и чрезвычайно удивился, когда я, вмѣсто того чтобъ заговорить о трагедіяхъ и романахъ, началъ объяснять ему съ одушевленіемъ теорію свѣта». Гете упрекали за такую «индифферентность», упрекали люди, восторгавшіеся въ то же время Архимедомъ, которому осада Сиракузъ не помѣшала продолжать своихъ занятій. Углубиться въ совершаніе какого-нибудь явленія природы, когда кругомъ гремятъ орудія, было для Гете столь же естественно, какъ для солдата пѣть веселую пѣсню, идя на смерть. Военная жизнь служила для него до нѣкоторой степени школой, гдѣ онъ изучалъ людей. Вотъ какъ онъ говоритъ о пагубномъ вліяніи войны на характеры людей.

«То отважны, то смиренны, то разрушаютъ, то созидаютъ; привыкаютъ къ фразамъ, рассчитаннымъ на то, чтобъ возбуждать надежду въ самомъ безнадежномъ положеніи. Вслѣдствіе этого образуется особаго рода лицемѣріе, имѣющее свой особый характеръ, совершенно различный отъ лицемѣрія поповскаго, придворнаго и всякаго другаго.» Говоря о непріятностяхъ военно-походной жизни, онъ прибавляетъ: «Счастливы тоть, кого одушевляетъ высокая страсть. Видѣнная мной сегодня игра цвѣтовъ въ водѣ не давала мнѣ покоя ни на минуту, и я не переставалъ думать о томъ, какъ бы подвергнуть этотъ фактъ изслѣдованію. Тутъ продиктовалъ я Фогелю краткій очеркъ моей теоріи и нарисовалъ фигуры. Эта рукопись до сихъ поръ цѣла и сохранила на себѣ слѣды дождя». Весьма хорошо характеризуетъ его любознательность слѣдующее мѣсто: «Слыша часто рассказы, что дымъ пороха приводитъ человека въ какое-то особое лихорадочное состояніе, я захотѣлъ испытать это на себѣ. Подъ вліяніемъ скуки и того состоянія духа, когда ко всякой опасности относишься съ отвагой и даже съ безразсудствомъ, направился я къ передовому укрѣпленію la Lune. Это укрѣпленіе было опять занято нашими и представляло самую дикую картину. Крыши домовъ разметаны ядрами; по землѣ разбросаны связки соломы, на которыхъ тамъ и сямъ лежали раненые; по временамъ слышался шумъ шального ядра, добывавшаго остатки черепичныхъ крышъ. Блуждая одинъ по произволу, я направился влѣво на высоты, и оттуда ясно разсмотрѣлъ выгодную

позицію Французовъ. Они стояли амфитеатромъ, спокойно и безопасно,—къ лѣвому крылу Келлермана подступъ былъ всего легче. Кругомъ меня свистѣли ядра. Шумъ отъ нихъ довольно странный; это какая-то смѣсь жужжанія волчка, журчанія воды и пѣнья птицы. Опасность отъ нихъ была не такъ велика, потому что земля была очень сыра; ударясь о землю, они вязли въ ней, и я такимъ образомъ былъ по крайней мѣрѣ внѣ опасности отъ рикошетовъ. Скоро сталъ я замѣчать, что во мнѣ происходитъ нѣчто необыкновенное, и старался отдать себѣ въ этомъ ясный отчетъ. Выразить это ощущение можно развѣ только сравненіями: я какъ будто находился въ очень жаркомъ мѣстѣ и самъ былъ весь прохваченъ жаромъ, чувствовалъ въ самомъ себѣ стихію, которою былъ окруженъ извнѣ. Видѣлъ я по-прежнему хорошо, ясно, но все было окрашено какимъ-то темно-краснымъ цвѣтомъ. Особого волненія въ крови я не замѣтилъ, но и кровь какъ будто горѣла. Ясно, въ какомъ смыслѣ это состояніе называютъ лихорадочнымъ. Замѣчательно, что это ощущение ужаса порождается единственно чрезъ слухъ, чрезъ вой, свистъ, трескъ ядеръ. Какъ скоро я удалился и почувствовалъ себя въ безопасности, ощущение исчезло и во мнѣ не осталось ни малѣйшихъ слѣдовъ лихорадочнаго состоянія. Это ощущение принадлежитъ къ числу наименѣе привлекательныхъ, и я едва ли могу указать хотя одного изъ военныхъ соотварщиковъ, который бы обнаруживалъ пылкое желаніе его испытывать. Такъ прошелъ день; Французы стояли неподвижно, только Келлерманъ занялъ болѣе удобную позицію; наши войска были выведены изъ-подъ огня, и все, повидимому, пришло въ прежнее состояніе, какъ будто ничего и не произошло. Но армія союзниковъ сильно упала духомъ. Еще по-утру только и слышались рѣчи о томъ, какъ разобьютъ Французовъ въ пухъ и прахъ, съѣдятъ ихъ живьемъ. Я самъ возлагалъ безграничное упованіе на союзную армію и на герцога брауншвейгскаго, но теперь каждый избѣгалъ разговора и если по временамъ молчаніе прерывалось, то раздавались только проклятія и сѣтованія. Какъ только наступила ночь, мы собрались въ кружокъ, но, противъ обыкновенія, намъ не было дозволено развести огня; почти всѣ сидѣли молча, только немногіе отваживались говорить, и, дѣйствительно, всѣ какъ будто растерялись, потеряли способность разсуждать. Такъ какъ я

имѣлъ обыкновеніе оживлять и развеселять общество, то наконецъ кто-то обратился ко мнѣ съ вопросомъ, что я думаю о настоящемъ положеніи; я отвѣтилъ: съ этого дня начинается новая эпоха во всемірной исторіи, и вы можете сказать, что присутствовали при ея рожденіи».

Ночью поднялся вѣтеръ, пошелъ дождь. Общество расположилось за высотой, чтобъ укрыться отъ рѣзкаго вѣтра, но положеніе тѣмъ неменѣе было весьма непріятное. Наконецъ одинъ изъ собесѣдниковъ предложилъ завернуться въ плащи и зарыться въ землю. Предложеніе было принято, сейчасъ же принялись копать ямы, и даже самъ Карлъ Августъ не отказался обречь себя на «преждевременное погребеніе». Гете завернулся въ плащъ и заснулъ крѣпче Улисса. Тщетно одинъ полковникъ старался убѣдить общество, что на противоположномъ холму стоитъ французская батарея, которая легко можетъ упокоить ихъ всѣхъ вѣчнымъ сномъ, но потребность заснуть и согрѣться взяла верхъ надъ всѣми внушеніями благоразумія.

Хотя перевѣсъ Французовъ надъ Вальми и былъ самъ по себѣ незначителенъ, но онъ имѣлъ то важное послѣдствіе, что сильно поднялъ ихъ духъ, а Пруссакъ въвергъ въ крайнее уныніе. Пруссакъ были изумлены дружнымъ натискомъ республиканцевъ, ихъ дружнымъ крикомъ: *vive la nation!* Видя передъ собой народъ, готовый къ ожесточенной борьбѣ, и не имѣя ни магазиновъ, ни запасовъ, никакихъ приготовленій, необходимыхъ для упорной войны въ чужой странѣ, они увидѣли теперь, что сдѣлали великую ошибку и начали отступать. Конечно, мысль, что скоро настанетъ конецъ походной жизни, должна была пріятно улыбаться Гете. Онъ не имѣлъ никакого сочувствія къ дѣлу союзниковъ и не вынесъ высокаго мнѣнія о ихъ руководителяхъ изъ болѣе близкаго съ ними знакомства.

«Хотя въ числѣ лицъ дипломатическаго корпуса у меня были друзья, которыхъ я высоко цѣнилъ, но тѣмъ неменѣе всякій разъ, какъ мнѣ случалось ихъ видѣть за многотрудными ихъ хлопотами, мнѣ приходило на мысль саркастическое сравненіе: они казались мнѣ какъ-бы театральными распорядителями, которые выбираютъ пьесы, распредѣляютъ роли, но сами остаются невидимы,

между тѣмъ какъ актеры работаютъ въ потѣ лица, и весь результатъ ихъ работы—забава и удовольствіе публики».

Въ это время случайно попались ему въ руки нѣкоторые изъ инструкцій, которыми были снабжены нотабли 1787 г. отъ своихъ довѣрителей. «Умѣренность желаній народа, скромность, съ какой они были выражены, все это представляло поразительный контрастъ съ насиліемъ, съ крайностями теперешняго порядка вещей. Чтеніе этихъ документовъ произвело на меня сильное впечатлѣніе, и я снялъ копіи съ нѣкоторыхъ изъ нихъ».

Отступленіе совершалось медленно. Между тѣмъ французское оружіе повсюду было побѣдоносно. Вердюнъ и Лонгви были снова заняты республиканцами. Триръ и Майнцъ сдались Кюстину на капитуляцію.

«Въ самомъ разгарѣ неудачъ и неурядицы получилъ я запоздалое письмо отъ матери, которое перенесло меня къ свѣтлымъ днямъ юности, чуднымъ образомъ воскресило предо мной семью, родной городъ. Мой дядя, альдерманъ Тексторъ, умеръ. Пока онъ былъ живъ, мнѣ была недоступна почетная и дѣловая должность франкфуртскаго совѣтника, но теперь, согласно изстари установившемуся и весьма похвальному обычаю, я былъ въ глазахъ франкфуртцевъ кандидатомъ на эту должность, и моей матери поручено было спросить, согласенъ ли я буду ее принять, если выборъ падетъ на меня. Это предложеніе застигло меня именно въ такую минуту, при такихъ обстоятельствахъ, когда всего сильнѣе могло на меня подѣйствовать. Оно глубоко потрясло меня, заставило крѣпко призадуматься. Минувшее воскресало предо мной въ тысячѣ образовъ и мѣшало мнѣ совладать съ мыслями. Подобно тому какъ большій или узникъ ищетъ разсѣянія въ сказочныхъ разсказахъ, такъ и я теперь отрѣшался отъ настоящаго и стремился въ иные сферы, въ иные годы. Я видѣлъ себя въ саду дѣда, персиковыя деревья соблазняли лакомаго внука своимъ роскошнымъ плодомъ, и только страхъ быть изгнаннымъ изъ рая и надежда на щедроты добраго дѣда сдерживали внука отъ посягательства на запрещенный плодъ. Мнѣ видѣлось, какъ почтенный старикъ хлопочетъ около своихъ розъ, тщательно оберегая руки отъ колючекъ старинными перчатками. Потомъ онъ представлялся мнѣ въ своемъ парадномъ одѣяніи, съ золотой цѣпью,

на креслахъ подъ портретомъ императора, потомъ на постели, больной, въ полусознательномъ состояніи, какъ онъ провелъ нѣсколько послѣднихъ лѣтъ, потомъ—въ гробу. Когда я былъ въ послѣдній разъ во Франкфуртѣ, домъ, дворъ, садъ были уже въ обладаніи дяди, который, какъ сынъ достойный отца, также достигъ высокихъ степеней въ управленіи вольнаго города. Здѣсь, въ тѣсномъ семейномъ кружкѣ, среди старой неизмѣнно сохранившейся обстановки, все напоминало мнѣ годы моего дѣтства. Теперь эти воспоминанія о дѣтствѣ ожили во мнѣ съ новой силой, и къ нимъ присоединились еще другія воспоминанія, о которыхъ я не могу умолчать. Какой гражданинъ вольнаго города не мечталъ, не стремился сдѣлаться рано или поздно совѣтникомъ, альдерманомъ или бургомистромъ, или занять какое другое менѣе важное мѣсто въ управленіи, смотря по своимъ способностямъ. Мысль принять современемъ дѣятельное участіе въ управленіи рано пробуждается въ груди республиканца и становится любимой, гордой мечтой его юности. Впрочемъ окружавшая меня печальная дѣйствительность скоро разогнала эти сладостныя воспоминанія о грезахъ юности и судьба роднаго города предстала предо мной въ самыхъ темныхъ краскахъ. Майнцъ въ рукахъ Французовъ, Франкфурту угрожаетъ опасность, можетъ быть онъ уже взятъ непріателемъ, сообщенія съ нимъ прерваны, можетъ быть теперь въ его стѣнахъ происходятъ тѣ же ужасы, какіе я видѣлъ въ Лонгви, въ Вердюнѣ. Кто рѣшился бы при такихъ обстоятельствахъ броситься, очертя голову, на дорогу, на которую меня призывало теперь предложеніе франкфуртцевъ? Даже и въ счастливѣйшіе дни Франкфурта мнѣ было бы невозможно принять это предложеніе. Причины этому легко объяснить. Въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ я имѣлъ счастье пользоваться довѣріемъ и расположеніемъ Карла Августа. Этотъ высоко одаренный отъ природы и высоко образованный принцъ цѣнилъ мои слабыя заслуги и далъ мнѣ возможность образовать себя, чего я никогда не могъ бы достигнуть въ родномъ моемъ городѣ даже при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ. Я питалъ къ герцогу безпредѣльное чувство благодарности, былъ искренно привязанъ къ его матери, женѣ, ко всей семьѣ его, и наконецъ къ самой странѣ, для которой я уже успѣлъ быть не совѣтъ безполезенъ. Не могъ я также при этомъ не вспомнить о дружескомъ



кружкѣ и о многомъ другомъ, что составляло удобство, пріятность жизни и было неразрывно связано съ моимъ теперешнимъ упроченнымъ положеніемъ».

Теперь его ожидалъ въ Веймарѣ пріятный сюрпризъ: въ его отсутствіе для него былъ выстроенъ, по распоряженію герцога, новый домъ въ Граупенплац. Этотъ домъ былъ для того времени въ полномъ смыслѣ дворецъ и составлялъ блистательный подарокъ. Впрочемъ, когда Гете вернулся, постройка дома еще не была со-всѣмъ кончена, такъ что Гете могъ самъ, по своему вкусу, распорядиться окончательной отдѣлкой. По его указанію въ домѣ сдѣлана была великолѣпная лѣстница, которая хотъ и была не пропорціональна величинѣ дома, но составляла для поэта пріятное воспоминаніе объ Италіи.

Проходя мимо дома, вы видите въ окнѣ бюсты олимпійскихъ боговъ, которыя тамъ стоятъ, какъ символы покоя. При входѣ въ сѣни ваши взоры останавливаютъ два прекрасные гипсовые бюста въ нишахъ, планъ Рима на стѣнѣ, а на потолкѣ Аврора работы Мейера. Подлѣ двери стоитъ группа Ильдефонсо. На порогѣ васъ привѣтствуетъ римское *salve*. Потомъ вы входите въ комнату Юноны, такъ названную потому, что въ ней стоитъ колоссальный бюстъ этой богини; тутъ на стѣнахъ красуются Loggie Рафаэля. Налѣво входъ въ пріемную комнату; тутъ стоятъ клавикорды, на нихъ нѣкогда играли Гуммель, юный Мендельсонъ, подъ ихъ аккомпанименты пѣвали Каталани, Зонтагъ. Надъ дверьми мнѳологическія картины Мейера; на стѣнахъ копія свадьбы Альдобранди, эскизы великихъ художниковъ, гравюры. Тутъ также стоитъ большой шкафъ съ эстампами, антиками; на стѣнной полкѣ уставлены бронзовыя статуэтки, лампы, вазы. Изъ юниной комнаты направо, какъ разъ напротивъ двери въ пріемную, находится другая дверь, ведущая въ три небольшія комнаты. Въ первой висятъ эскизы итальянскихъ мастеровъ и картина Анжелики Кауфманъ; во второй и третьей стоятъ различные глиняные сосуды и аппаратъ для объясненія *Farbenlehre*. Кромѣ того къ юниной комнатѣ примыкаетъ еще небольшая комната, гдѣ стоятъ бюсты Шиллера, Геддера, Якоби, Фосса, Стерна, Байрона и др. Отсюда по лѣстницѣ въ нѣсколько ступеней вы сходите въ другую небольшую комнату, гдѣ онъ любилъ обѣдать въ кругу дру-

зей, а изъ этой обѣденной комнаты небольшая лѣстница, обнесенная рѣшеткой, ведетъ въ садъ. Садъ былъ также со вкусомъ расположенъ. Въ бесѣдкахъ находились различныя коллекціи по естествознанію.

Войдемъ теперь въ святилище дома, кабинетъ, библіотеку, спальню. Комнаты, описанныя выше, говорятъ намъ о Гете-министрѣ, о Гете-художникѣ,—для того времени онѣ были чрезвычайно великолѣпны; но комнаты, гдѣ онъ собственно жилъ, кабинетъ, библіотека, спальня, даже и для Веймара того времени отличались болѣе чѣмъ буржуазной простотой. Пройдя черезъ переднюю, гдѣ стоятъ шкафы съ минералогическими коллекціями, вы входите въ кабинетъ. Это—низенькая, узкая комната, нѣсколько темная, потому что освѣщена только двумя крошечными окнами, вообще она представляетъ поразительную простоту <sup>1)</sup>. Посреди ея стоитъ большой овальный столъ изъ неполированного дуба. Нѣтъ ни кресла, ни дивана, ничего, что говорило бы объ удобствѣ; только одинъ стулъ безъ подушки, и подлѣ корзины, куда онъ имѣлъ обыкновеніе класть свой носовой платокъ. Направо у стѣны длинный столъ грушеваго дерева и полки, уставленные лексиконами и разными справочными книгами. Тутъ же висятъ булавочная подушка съ визитными карточками и другими бездѣлушками, медальонъ Наполеона съ надписью: «*Scilicet immenso superest ex nomine multum*». У этой же стѣны стоитъ шкафъ съ произведеніями поэтовъ. У стѣны налѣво длинная конторка, на которой онъ всегда писалъ. Вы видите на ней рукописи *Генца* и *Римскихъ элегій*; бюстъ Наполеона изъ стекла молочнаго цвѣта, который, расцвѣчиваясь при свѣтѣ въ голубой и огненный цвѣта, служить какъ-бы объясненіемъ *Farbenlehre*. У двери прибитъ листъ, исписанный замѣтками о современной исторіи, а за дверью—писанныя ноты и геологическіе рисунки. Эта дверь ведетъ въ спальню, если можно только такъ назвать комнату, которую въ Англіи едва ли бы согласилась признать своей спальней даже любая служанка; собственно говоря, это не комната, а скорѣе чуланъ съ окномъ. Тутъ стоитъ простая кровать; подлѣ кровати стулъ съ руч-

---

<sup>1)</sup> Она сохраняется въ неизмѣнномъ видѣ, какъ была въ день его смерти.

нами, маленький умывательный столикъ; на немъ рукомойникъ, губка,—вотъ и все убранство комнаты. При видѣ этой комнаты намъ живо предсталъ образъ великаго и добраго человѣка: здѣсь онъ спалъ, здѣсь провелъ послѣднюю свою ночь,—и слезы невольно навернулись на глаза.

Другая дверь ведетъ изъ кабинета въ библіотеку, которую скорѣе можно назвать кладовой для книгъ, чѣмъ библіотекой. На грубыхъ сосновыхъ полкахъ разставлены книги съ наклеенными ярлычками: «философія, исторія, поэзія» и пр. Весьма интересно взглянуть на эту коллекцію. Англійскій читатель пойметъ, какія чувства пробудились во мнѣ, когда я развернулъ книгу Тайлора: *Historic Survey of German Poetry*; я нашелъ въ ней вмѣсто закладки лоскутъ отъ письма Карлейля.

Таковъ былъ домъ, гдѣ жилъ Гете. Конечно, въ то время, о которомъ теперь идетъ рѣчь, этотъ домъ имѣлъ нѣсколько иной видъ, чѣмъ нами описанный. Кабинетныя занятія, мирная жизнь въ семейномъ кружкѣ, состоявшемъ изъ Христины и маленькаго сына, хлопоты по устройству своего новаго жилища,—все это представляло теперь для него пріятный контрастъ съ тревогами военнополоходной жизни. Въ это время вернулся изъ Италіи Мейеръ. Гете высоко цѣнилъ его дружбу и его обширныя познанія по исторіи искусства.

Въ этотъ годъ (т. е. 1793). Гете много работалъ, но мало произвелъ. Онъ написалъ комедію *Bürgergeneral*, началъ писать комедію *Aufgeregt*, начертилъ планъ *die Unterhaltungen der Ausgewanderten*. Къ этому же времени принадлежит *Reinecke Fuchs*. Всѣ эти произведенія суть продуктъ французской революціи. *Bürgergeneral* дѣйствительно весьма забавная пьеса, въ ней хорошо выставлена вся нелѣпость крикливаго патріотизма; но она сильно раздражила всѣхъ недовольныхъ на Гете за то, что онъ не принялъ сторону революціи. Правда, въ революціи много пустаго, нелѣпаго, дурнаго; но, несмотря на все это, она есть великое событіе, къ которому нельзя относиться только съ насмѣшливымъ тономъ. Такъ говорятъ порицатели Гете и я совершенно съ этимъ согласенъ. Но при всемъ этомъ мнѣ представляется весьма естественнымъ, что для человѣка, который по своимъ убѣжденіямъ не симпатизировалъ ни революціи, ни роялистамъ,

и слѣдовательно не могъ писать диэпирамбовъ свободѣ и въ то же время не раздражался противъ нея негодованіемъ, который не оцѣнивалъ вполне исторической важности великаго событія, а видѣлъ только его временную личную сторону, мнѣ представляется весьма естественнымъ, что для такого человѣка это событіе могло послужить темой для комедіи и только для комедіи. Онъ не писалъ пасквилей, не писалъ сатиръ на революцію, онъ видѣлъ ея комическую сторону и смѣялся, потомъ сталъ относиться къ ней серьезно, по мѣрѣ того какъ ходъ событій рѣзче отбѣнялъ картину. Жаль, что *Aufgeregeten* остались не кончены, въ нихъ должны были вполне выразиться его политическіе взгляды. Въ *Reineske Fuchs* онъ видѣлъ «нечестивую всемірную библію», въ которой, въ противоположность кровавому зрѣлищу французскаго террора, съ удивительнымъ юморомъ выставлялась во всей ея наготѣ, безъ всякихъ прикрасъ, животная сторона человѣчества.

Въ маѣ 1794 г. онъ опять присоединился къ арміи, которая въ то время осаждала Майнцъ. Разсказъ его объ этомъ походѣ не представляетъ ничего особеннаго. 24-го іюля городъ сдался на капитуляцію, и 28-го августа, въ день своего сорокапятилѣтія, Гете снова вернулся въ Веймаръ, снова принялся за свои научныя изслѣдованія и сталъ оканчивать *Reineske Fuchs*. «Я возвращаюсь домой,—писалъ онъ къ Якоби,—тамъ соберу я около себя кружокъ, который будетъ исключительно состоять только изъ любви, дружбы, науки и искусства. Я не ропщу на прошедшее, потому что я много узналъ драгоцѣннаго. Опытъ есть единственный учитель въ жизни». Жанъ-Поль справедливо замѣчаетъ, что плата за ученіе нѣсколько тяжела, но Гете всегда охотно платилъ, лишь бы только могъ чему нибудь научиться.

---

КНИГА ШЕСТАЯ.

---

1795 — 1805.

---

Für mich war es ein neuer Frühling, in welchem Alles froh neben  
einander keimte und aus aufgeschlossenen Samen und Zweigen hervorging!

[Для меня это было какъ-бы новой весной, гдѣ все радостно росло,  
распускалось.]

Denn Er war unser! Mag das stolze Wort  
Den lauten Schmerz gewaltig übertönen.  
Er mochte sich bei uns, in sichern Port  
Nach wildem Sturm zum Dauernden gewöhnen.  
Indessen schritt sein Geist gewaltig fort  
Ins Ewige des Wahren, Guten, Schönen,  
Und hinter ihm, im wesenlosen Scheine  
Lag, was uns Alle bändigt, das Gemeine!

[Онъ былъ нашъ! Предъ этимъ гордымъ словомъ стихаетъ наша  
скорбь. Межъ насъ, какъ въ тихой гавани послѣ бури, онъ обрѣталъ  
успокоеніе. Могучій духъ его виталъ въ вѣчныхъ сферахъ Истины,  
Добра, Красоты, и все обыденное, въ чемъ мы пресмыкаемся, для него  
какъ-бы не существовало.]

Гете, о Шиллерѣ.

## ГЛАВА I.

---

### Гете и Шиллеръ.

Дружба двухъ великихъ людей всегда представляетъ одно изъ самыхъ привлекательныхъ зрѣлищъ, но дружба между Гете и Шиллеромъ не имѣетъ себѣ ничего подобнаго во всей исторіи литературы. Между Монтанемъ и Этьеномъ де-ла Боези, быть можетъ, была дружба болѣе страстная, болѣе полная, но это былъ союзъ двухъ родственныхъ натуръ, которыя съ первой же минуты почувствовали свое родство, это не былъ союзъ двухъ соперниковъ; у нихъ не было приверженцевъ, которые бы постоянно ихъ противопоставляли одного другому; они никогда не знали чувства нерасположенія другъ къ другу и сошлись съ первой же минуты. Иначе было съ Гете и Шиллеромъ. Они были соперники другъ другу и оставались соперниками; ихъ натуры во многихъ отношеніяхъ были прямо противоположны; это были предводители двухъ противоположныхъ лагерей, и только возвышеннѣйшія свойства ихъ натуръ, возвышеннѣйшія ихъ цѣли свели ихъ въ братскій союзъ.

Достаточно взглянуть на этихъ двухъ великихъ соперниковъ, чтобъ видѣть все глубокое между ними различіе. Прекрасная голова Гете представляетъ спокойное, торжественное величіе греческаго идеала; красота же Шиллера принадлежитъ къ христіанскому

типу, говорить о стремленіяхъ къ будущему. Массивный лобъ и большіе глаза, какъ у младенца Христа въ несравненной Рафаелевской Мадоннѣ di San Sisto,—рѣзкія и пропорціональныя черты лица, на которыхъ остались слѣды думъ и страданія, но эти слѣды говорятъ о силѣ, говорятъ только, что этотъ человѣкъ мыслилъ и страдалъ, но не изнемогъ,—здоровое и смуглое лице, на которомъ сіяло что-то невыразимое: таковъ былъ Гете. Физиономія Шиллера представляла рѣзкій этому контрастъ. Быстрые глаза, узкій лобъ, неправильныя черты, носившія слѣды думъ, страданій, болѣзни, таковъ былъ Шиллеръ. Одинъ *смотритъ*, другой *выглядываетъ*. Оба величественны; но у одного величіе покоя, у другаго величіе борьбы. Фигура у Гете массивная, импонирующая, онъ кажется гораздо выше, чѣмъ есть на самомъ дѣлѣ. Шиллеръ же сложенъ не пропорціонально и кажется ниже, чѣмъ есть. Гете держитъ себя натянуто, прямо, а длинношеей Шиллеръ «ходитъ какъ верблюдъ» <sup>1)</sup>. Грудь Гете точно торсъ Тезеевъ, у Шиллера же грудь впалая съ больнымъ легкимъ.

Подобное же различіе находимъ мы и въ подробностяхъ: «Воздухъ, благотворный для Шиллера, былъ для меня чистымъ ядомъ,—говорилъ Гете Эккерману. — Однажды я зашелъ къ нему и, не заставъ дома, усѣлся писать за его письменнымъ столомъ. Едва просидѣлъ я нѣсколько минутъ, какъ началъ чувствовать себя дурно, — дурнота постепенно увеличивалась и я наконецъ едва не упалъ въ обморокъ. Въ первую минуту я не могъ отдать себѣ отчета, отчего бы это могло со мной произойти, такъ какъ прежде ничего подобнаго со мной никогда не бывало, наконецъ оказалось, что причиной этому страшный запахъ изъ ящика. Я поспѣшилъ открыть ящикъ и къ удивленію увидѣлъ тамъ кучу гнилыхъ яблокъ. Дурнота у меня сейчасъ же прошла, какъ только я подошелъ къ открытому окну и подышалъ свѣжимъ воздухомъ.

---

<sup>1)</sup> Это живописное сравненіе принадлежитъ скульптору Тикку,—я слышалъ его отъ Рауха. Нелишнимъ считаю замѣтить, что мое описаніе Шиллера не согласно съ бюстомъ Даннекера. У Шиллера дѣйствительно былъ узкій лобъ, а не широкій какъ въ бюстѣ. Я сравнивалъ черепъ Шиллера съ этимъ бюстомъ и пришелъ къ заключенію, что скульпторъ значительно уклонился отъ дѣйствительности, увлекаясь желаніемъ идеализировать оригиналъ. Артисты обыкновенно думаютъ, что они лучше знаютъ, чѣмъ природа.



Въ это время вошла въ комнату жена Шиллера и сказала мнѣ, что этотъ ящикъ всегда наполняется гнилыми яблоками, потому что запахъ отъ нихъ благотворно дѣйствуетъ на Шиллера и безъ него онъ не можетъ ни жить, ни работать.»

Весьма характеристично также между ними то различіе, что Гете писалъ всегда рано по утрамъ, свободный отъ всякихъ внѣшнихъ стимуловъ, Шиллеръ же лихорадочно работалъ по ночамъ, возбуждая себя кофеемъ и шампанскимъ.

Сравнивая одного съ греческимъ идеаломъ, а другого съ христіанскимъ, мы чрезъ это самое выражаемъ, что одинъ былъ представителемъ реализма, а другой—идеализма. Гете самъ указываетъ это капитальное различіе между собой и Шиллеромъ, говоря, что Шиллера одушевляла идея свободы, а его—идея природы. Это различіе выразилось въ ихъ произведеніяхъ: Шиллеръ постоянно стремится къ чему-то высшему, чѣмъ природа, хочетъ, чтобъ люди были полубогами,—стремленіе же Гете состоитъ въ свободномъ развитіи природы, въ воспроизведеніи высшихъ формъ человечества. Въ глазахъ Шиллера паденіе человѣка было счастливѣйшимъ событіемъ, такъ какъ чрезъ паденіе человѣкъ вышелъ изъ инстинктивнаго состоянія и вступилъ въ состояніе сознательной свободы, безъ которой невозможна нравственность: но по понятіямъ Гете это значило покупать нравственность слишкомъ дорогою цѣной: онъ предпочиталъ такое идеальное состояніе, въ которомъ нравственность была бы излишня,—какъ ни высоко цѣнилъ онъ хорошую полицію, но еще выше цѣнилъ такое общественное состояніе, которое бы вовсе не нуждалось ни въ какой полиціи.

Говоря, что Гете былъ реалистъ, а Шиллеръ—идеалистъ, что первый былъ объективенъ, а второй субъективенъ, мы употребляемъ эти термины только для охарактеризованія ихъ различія другъ отъ друга, но вовсе не думаемъ этимъ сказать, чтобъ Гете самъ по себѣ былъ истый реалистъ, а Шиллеръ—истый идеалистъ. Гервинусъ поразительно вѣрно замѣчаетъ, что Гете кажется идеалистомъ по сравненію съ Николаи или съ Лихтенбергомъ, а Шиллеръ кажется реалистомъ по сравненію съ Кантомъ и его послѣдователями. Всѣ подобныя классификаціи неизбежно несовершенны и могутъ быть полезны только какъ средство выразить въ нѣ-

сколькихъ словахъ тѣ или другія преобладающія характеристическія черты. Конечно, Гете и Шиллеръ были двѣ совершенно различныя натуры; но еслибъ между ними дѣйствительно была такая радикальная противоположность, какъ это обыкновенно утверждаютъ, то никогда не могло бы между ними быть тѣсной дружбы. При всемъ ихъ между собой различіи между ними было и общее, — ихъ различіе и сходство можно сравнить съ различіемъ и сходствомъ между Марсомъ греческимъ и римскимъ. Въ греческой мифологіи богъ войны не занималъ такого виднаго мѣста, какъ въ римской; греческіе скульпторы изображали его возвращающимся съ побѣды на покой, въ рукѣ у него масличная вѣтвь, у его ногъ сидитъ Эросъ, — въ скульптурныхъ же произведеніяхъ Рима Марсъ изображается въ самомъ пылу побѣды. Гете можно сравнить съ греческимъ Марсомъ, Шиллера — съ римскимъ: это были два родственные ума, сходящіеся въ одной общей цѣли.

Указавъ на различіе ихъ между собой, мы скажемъ теперь нѣсколько словъ о ихъ сходствѣ, послужившемъ основой тѣсной между ними дружбы. Намъ нѣтъ необходимости останавливаться на ярко выдающихся чертахъ, общихъ обоимъ поэтамъ; для нашей цѣли достаточно указать только нѣкоторые, менѣе яркія, общія имъ черты. Оба они были глубоко убѣждены, что искусство не есть только роскошь, не есть только забава праздности или отдыхъ отъ труда; они видѣли въ немъ могучее оружіе къ достиженію великихъ цѣлей, къ выполненію великихъ мировыхъ задачъ, — и это не было для нихъ только громкой фразой, это было ихъ глубокимъ, искреннимъ убѣжденіемъ. Они вѣрили, что цивилизація ведетъ человѣчество къ полному развитію его силъ, и какъ артисты видѣли въ искусствѣ самое могущественное орудіе цивилизаціи. Эту вѣру въ значеніе искусства, во всей вѣроятности, имѣлъ въ виду Карлъ Грюнъ, когда говорилъ, что «Гете—идеальнѣйшій изъ всѣхъ идеалистовъ, когда-либо существовавшихъ, идеалистъ эстетическій.» Отсюда получило начало то общераспространенное заблужденіе, что Гете смотрѣлъ на жизнь только какъ артистъ, т. е. интересовался человѣческой природой лишь въ той мѣрѣ, насколько она доставляла ему матеріалъ для художественнаго творчества. Впослѣдствіи мы рассмотримъ этотъ вопросъ подробнѣе (книга

VI, гл. 4<sup>1</sup>). Оба поэта прошли чрезъ одни и тѣ же фазисы развитія и нашли свой устой на одномъ и томъ же пунктѣ. Оба одинаково начали съ протеста противъ существующаго; переходъ отъ юности къ зрѣлому возрасту одинаково у обоихъ ознаменовался титанической необузданностью. Итальянскіе памятники древняго искусства довершили метаморфозу Гете; Шиллеръ же выработался, не покидая угрюмага сѣвера и находясь постоянно подъ гнетомъ тяжкихъ заботъ, — и хотя онъ также тосковалъ по Италіи, думалъ, что климатъ Греціи сдѣластъ его поэтомъ, но его умъ не находилъ себѣ въ пластическомъ искусствѣ ни стимула, ни наслажденія: великіе люди и великія дѣла — вотъ пища, насыщавшая его великую душу. «Его поэтическіе идеалы истекали изъ нравственныхъ идеаловъ, а у Гете, напротивъ, нравственный идеалъ истекалъ изъ артистическаго» <sup>1)</sup>. Плутархъ былъ его библіей. Изученіе поэтическихъ произведеній древности незамѣтно привело его къ тому же пункту, на которомъ остановился Гете. Онъ читалъ греческихъ трагиковъ въ дурныхъ французскихъ переводахъ и ревностно трудился надъ переводомъ *Ифигеніи* Эврипида. Гомеръ, въ вѣрномъ переводѣ Фосса, сдѣлался для него тѣмъ же, чѣмъ уже давно былъ для Гете. Какъ глубоко погрузился онъ тогда въ древній міръ, можно судить по его стихотворенію: *Боги Греціи*. И у него такъ же, какъ у Гете, религіозныя мнѣнія постепенно все болѣе и болѣе расходились съ общепринятымъ вѣроисповѣданіемъ; подобно Гете, онъ также создалъ для себя свою особую систему съ помощью Спинозы, Канта и греческихъ мудрецовъ.

Въ то самое время, какъ повидимому эти два человека были наиболѣе противоположны и наиболѣе антипатичны одинъ другому, въ ихъ развитіи постепенно совершалось сближеніе къ одному общему пункту и такимъ образомъ постепенно подготавливалась прочная основа для дружбы. Гете имѣлъ теперь сорокъ пять лѣтъ, а Шиллеру было тридцать пять. У Гете было много такого, что онъ могъ сообщить Шиллеру; но если послѣдній въ свою очередь не могъ повліять на умъ своего друга, не могъ обогатить его запасъ знанія и опытности, то въ замѣнъ этого имѣлъ на него иного рода вліяніе, даже еще болѣе цѣнное, — служилъ для него стимуломъ, про-

<sup>1)</sup> GERVINUS, V, p. 152.

буждалъ его симпатіи. Онъ возбуждалъ Гете къ творчеству, отвлекалъ отъ исключительныхъ занятій наукой, возвратилъ его опять къ поэзіи, побуждалъ его къ окончанію уже начатыхъ произведеній. Они оба ревностно работали для одной и той же цѣли. Ихъ союзъ составляетъ самый блестящій эпизодъ въ жизни ихъ обоихъ и навсегда останется высокимъ примѣромъ дружбы.

Изъ всѣхъ даней, возданныхъ величію Шиллера, дань отъ Гете едва ли не есть самая трогательная и самая авторитетная. Весьма замѣчателенъ фактъ, что Шекспиръ во всю жизнь не написалъ ни одной строки въ похвалу какого-нибудь современнаго ему поэта. Въ тѣ времена было въ обычаѣ, чтобъ поэты восхваляли друзей въ своихъ стихахъ, и восхваленія, возданныя Шекспиру его друзьями, могутъ удовлетворить даже самыхъ восторженныхъ теперешнихъ его поклонниковъ; но самъ Шекспиръ не написалъ никому ни одной хвалебной строчки <sup>1)</sup>. Еслибы литературная зависть вздумала обвинять Шекспира въ холодности, въ эгоистичности, самопоклоненіи, то, безъ сомнѣнія, не преминула бы указать на этотъ фактъ, какъ на доказательство. Въ этомъ отношеніи Гете представляетъ совершенную противоположность Шекспиру, и я не могу умолчать объ этомъ различіи между двумя поэтами, такъ какъ уже неоднократно на этихъ страницахъ сравнивалъ ихъ между собой. Изъ всѣхъ недостатковъ, обыкновенно приписываемыхъ писателямъ, зависть была наименѣе свойственна характеру Гете, — изъ всѣхъ достоинствъ, приличествующихъ геніальности, великодушіе было именно то достоинство, которымъ онъ обладалъ въ наивысшей степени. Исторія литературы не можетъ привести ни одного факта, который бы указывалъ на сходство въ этомъ отношеніи между нимъ и Шекспиромъ, — не можетъ не засвидѣтельствовать, съ какимъ энтузіазмомъ относился онъ къ своимъ соперникамъ, къ Шиллеру, Фоссу, Гердеру,

---

<sup>1)</sup> Въ «*Passionate Pilgrim*» есть куплетъ, въ которомъ восхваляется Спенсеръ, но въ высшей степени сомнительно, дѣйствительно ли это произведение принадлежитъ Шекспиру, — есть основаніе предполагать, что издатель выпустилъ его подъ именемъ Шекспира, чтобъ доставить ему успѣхъ въ публикѣ. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что сонетъ, въ которомъ упоминается Спенсеръ, написанъ не Шекспиромъ, такъ какъ былъ изданъ еще ранѣе нѣкимъ Ричардомъ Варнольдомъ.

какъ рано онъ прозрѣлъ геній Скотта, Байрона, Беранже, Манцони.

Послѣ этой краткой характеристики двухъ соперниковъ, посмотримъ теперь, какъ дѣйствовали они сообща въ томъ, что считали своимъ общимъ дѣломъ.

Между тѣмъ какъ большой свѣтъ былъ глубоко взволнованъ быстрымъ ходомъ Революціи, маленькій Веймарскій міръ спокойно продолжалъ жить по прежнему, какъ будто бы и не совершалось ничего важнаго для судебъ человѣчества. Гете не увлекся идеями того времени, не принялъ дѣятельнаго участія въ тогдашнихъ событіяхъ, — и его соотечественники, преимущественно на него обращавшіе всѣ взоры, такъ какъ онъ былъ ихъ величайшей знаменитостью, не нашли этому лучшаго объясненія, какъ сказать, что онъ былъ эгоистъ; но еслибъ они обратили также вниманіе на его товарищей и соперниковъ, то и въ нихъ нашли бы такое же равнодушіе и ихъ такъ же должны были бы обвинить въ эгоизмѣ. Виландъ, заклятый врагъ всякаго деспотизма, пришелъ въ такой ужасъ отъ французскаго террора, что желалъ для Франціи диктатуры. Даже самъ Шиллеръ, этотъ поэтъ свободы творецъ маркиза Позы, относился къ французамъ не болѣе сочувственно, чѣмъ Гете, хотя и удостоился отъ республики такого же почета, какъ Вашингтонъ, Франклинъ, Томъ Пайнъ, Песталоцци, Кампе, Анахарсисъ Клотцъ, — получилъ дипломъ на французское гражданство. Этотъ дипломъ хранится теперь въ Веймарской библіотекѣ и поражаетъ посѣтителей необыкновеннымъ умѣніемъ Французовъ коверкать иностранныя имена, — Шиллеръ превратился у нихъ въ *Monsieur Gille, publiciste allemand*. Дипломъ подписанъ Дантономъ и Роланомъ, и помѣченъ 6-го сентября 1792 г. Этой почестью Шиллеръ былъ обязанъ своимъ *Robbers*, которые превратились у Французовъ въ *Robert, chef des Brigands*. Онъ смотрѣлъ неблагопріятно на Революцію съ самаго ея начала, а процессъ Людовика XVI произвелъ на него такое впечатлѣніе, что онъ принялся писать посланіе къ національному конвенту въ защиту короля, но быстрый ходъ событий не дозволилъ ему привести въ исполненіе это намѣреніе. Подобно Виланду, онъ также видѣлъ спасеніе Франціи только въ диктатурѣ.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что при такомъ настроеніи на-

болѣе вліятельныхъ умовъ Веймарскій міръ продолжалъ свое существованіе по прежнему, какъ будто нигдѣ не происходило ничего особеннаго. Веймаръ не могъ играть никакой роли въ Европейской политикѣ, и Веймарцы исключительно посвятили себя литературѣ, которая была въ ихъ глазахъ единственнымъ средствомъ къ возрожденію. Бросимъ бѣглый взглядъ на тогдашнее состояніе нѣмецкой литературы — это объяснить намъ, какія высокія задачи въ то время представляло для патріотизма литературное поприще.

Лейпцигская ярмарка была наводнена романами о рыцаряхъ, разбойникахъ, чудовищахъ, сантиментальными твореніями Августа Лафонтена и произведеніями во вкусъ періода *Sturm und Drang*. На сценѣ царствовала Коцебу. *Незнакомецъ* привлекалъ толпу въ театръ и приводилъ ее въ умиленіе до слезъ. Клопштокъ все болѣе и болѣе вдавался въ пророческій тонъ и становился все менѣе и менѣе поэтиченъ. Жанъ Поль обнаруживалъ признаки силы и оригинальности, но за исключеніемъ Гете и Шиллера, казалось, только одинъ Фоссъ, авторъ *Луизы* и переводчикъ Гомера, способенъ создать литературную школу, которою могла бы гордиться Германія.

Таково было положеніе литературы, когда Шиллеръ вознамѣрился предпринять періодическое изданіе *Die Horen*, играющее во многихъ отношеніяхъ столь достопримѣчательную роль въ исторіи германской литературы. Гете, Гердеръ, Кантъ, Фихте, Гумбольдты, Клопштокъ, Якоби, Энгель, Мейеръ, Гарве, Маттисонъ, и другіе, образовали изъ себя фалангу, которая съ неодолимой силой должна была захватить господство на литературномъ поприщѣ. Въ объявленіи объ этомъ изданіи Шиллеръ говоритъ: «Чѣмъ сильнѣе господство узкихъ интересовъ дня, чѣмъ болѣе эти интересы суживаютъ умы и подчиняютъ ихъ своему игу, тѣмъ настоятельнѣе потребность освободить умы отъ этого ига чрезъ возбужденіе въ нихъ высшаго, общаго интереса къ чисточеловѣческому, къ тому, что находится внѣ этихъ узкихъ интересовъ, и такимъ образомъ воссоединить политически-раздробленный міръ подъ знамя Истины и Красоты».

Таково было предпріятіе, завязавшее первый узелъ дружбы между Гете и Шиллеромъ. Въ какомъ отношеніи находились они другъ къ другу, мы говорили объ этомъ въ седьмой главѣ предъидущей

книги. Однажды, въ маѣ 1794 года, случайно столкнулись они при выходѣ съ одного чтенія въ Іенскомъ обществѣ естествоиспытателей и между ними завязался разговоръ. Гете былъ пріятно изумленъ критическими замѣчаніями Шиллера относительно отрывочнаго изученія природы, потомъ самъ сталъ съ жаромъ излагать своему собесѣднику теорію метаморфозы растенія. Такъ незамѣтно дошли они до дому, гдѣ жилъ Шиллеръ, и Гете вошелъ къ нему въ домъ. Разговоръ продолжался. Гете взялъ перо и наскоро начертилъ на бумагѣ фигуру типическаго растенія. Шиллеръ слушалъ съ большимъ вниманіемъ, но наконецъ покачалъ головою и сказалъ: «Это—не наблюденіе, а только идея». Рассказывая объ этомъ, Гете присовокупляетъ: «эти слова меня непріятно изумили, — въ нихъ рѣзко выразилось различіе между нами. При этомъ пришли мнѣ на память мнѣнія, изложенныя имъ въ статьѣ *Anmuth und Würde*, и во мнѣ готова была пробудиться старая непріязнь. Но я одолѣлъ это чувство и отвѣчалъ: «мнѣ весьма пріятно знать, что имѣю такія идеи, которыя могу даже созерцать глазами». Конечно, Шиллеръ былъ правъ высказывая это замѣчаніе, но оба они, какъ видно, придавали этому замѣчанію исключительно субъективное значеніе. Гете очень хорошо зналъ, что въ природѣ не существуетъ типическаго растенія, но думалъ, что оно раскрывается въ разнообразіи формъ растительнаго міра <sup>1)</sup>. Такъ какъ онъ пришелъ къ понятію о типѣ непосредственно путемъ наблюденій и сравненій, а не чрезъ апіористическіе выводы, то и утверждалъ, что этотъ типъ есть воспріятіе (*Anschauung*), а не идея. Вниманіе Шиллера, по всей вѣроятности, остановилось преимущественно на метафизической сторонѣ этого понятія, а не на фактической доказательности, на которую оно опиралась. Въ самомъ дѣлѣ, различіе между ними было широко и глубоко, и Гете справедливо замѣтилъ: «этимъ едвали разрѣшимымъ столкновеніемъ субъективнаго и объективнаго запечатлѣли мы нашъ союзъ, который потомъ продолжался непрерывно

---

<sup>1)</sup> Говоря о своихъ трудахъ въ другомъ отдѣлѣ науки, Гете выразился такъ: «Я старался найти первоначальное животное (*Urthier*), иначе сказать понятіе, идею животнаго». *Werke*, XXXVI, 14.

и былъ полезенъ не только для насъ, но и для другихъ». Такъ началась ихъ дружба. Жена Шиллера, къ которой Гете питалъ большое уваженіе, содѣйствовала ихъ сближенію, и, благодаря новому журналу *Die Horen*, въ ихъ стремленіяхъ и въ ихъ дѣятельности стало устанавливаться дружеское общеніе. Дружба ихъ росла быстро и была благотворна для обоихъ. Шиллеръ прогостилъ въ Веймарѣ двѣ недѣли; Гете часто ѣздилъ въ Іену. Вскорѣ они убѣдились, что не только ихъ интересуютъ одни и тѣ же предметы, но что они сходятся между собой и во взглядахъ. «Не мало потребуется времени чтобъ вполне совладѣть со всѣми идеями, которыя вы возбудили во мнѣ, — писалъ Шиллеръ къ Гете, — но я надѣюсь, что ни одна изъ нихъ не пропадетъ даромъ».

Гете весьма сожалѣлъ, что обѣщалъ уже *Вильгельма Мейстера* одному издателю и потому не могъ помѣстить въ *Horen*; не смотря на это онъ послалъ Шиллеру для просмотра рукопись этого романа, начиная съ третьей книги, и съ благодарностію воспользовался критическими указаніями своего друга. Для помѣщенія же въ *Horen* онъ далъ два *Посланія, die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, Римскія Элегии* и *Очеркъ литературнаго самкюлотизма*.

Вильгельмъ Мейстеръ переноситъ насъ нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, къ тому времени, когда дѣятельное участіе въ управленіи Веймарскимъ театромъ вновь воскресило въ Гете интересъ къ своему роману, который уже столько лѣтъ лежалъ неконченнымъ. Теперь онъ кончилъ его, но кончилъ въ иномъ совершенно духѣ, нежели началъ, и я вовсе не нахожу, чтобы критическія замѣчанія Шиллера дѣйствительно послужили ему въ пользу. Впрочемъ объ этомъ я скажу въ другомъ мѣстѣ.

Въ концѣ іюля отправился Гете въ Дессау, а оттуда въ Дрезденъ, гдѣ въ обществѣ съ Мейеромъ старался забыть тревоги того времени въ созерцаніи драгоцѣнностей искусства. «Вся Германія—писалъ онъ къ Фридриху фонъ-Штейнъ, — раздѣляется теперь на злорадствующихъ испуганныхъ и равнодушныхъ. Что же касается до меня, то я нахожу самымъ благоразумнымъ слѣдовать примѣру Діогена и катить свою бочку». По возвращеніи онъ все болѣе и болѣе сближался съ Шиллеромъ, и между ними зачалась



дружеская переписка. Эта переписка издана въ шести томахъ и хорошо знакома каждому, интересующемуся литературой. Съ этого времени, т. е. съ 1795 г., въ письмахъ Гете къ другимъ друзьямъ замѣтно внутреннее довольство, и самъ Гете признавалъ, что обязанъ этимъ вліянію Шиллера. «Это было для меня какъ бы новою весною, гдѣ все росло, распускалось». Въ пылкой страстной натурѣ Шиллера онъ нашелъ для себя стимулъ, въ которомъ уже давно нуждался. Недостатокъ средствъ къ существованію, стремленіе къ славѣ, — эти два обыкновенные стимула авторской дѣятельности для него не существовали: въ деньгахъ онъ не имѣлъ недостатка, славы у него было довольно, и въ то же время онъ не видѣлъ передъ собой народа, къ которому бы могъ обратиться съ словомъ. Но неутомимая дѣятельность Шиллера возбуждала въ немъ соревнованіе и производила на него магическое дѣйствіе. Годы ихъ дружбы были для нихъ обоимъ самыми плодотворными годами. Въ неизданномъ письмѣ г-жи фонъ-Штейнъ къ Шарлоттѣ фонъ-Ленгефельдъ, 1795 г., мы читаемъ слѣдующую фразу: «Я также чувствую, что Гете все болѣе сближается съ Шиллеромъ, такъ какъ теперь, повидимому, начинаетъ нѣсколько болѣе обращать вниманіе на мое существованіе. Онъ походить въ моихъ глазахъ не человѣка, котораго кораблекрушеніе выбросило на какой-нибудь островъ Южнаго Океана и который теперь начинаетъ думать о возвращеніи на родину». Слово «кораблекрушеніе» очевидно относится къ Христинѣ Вульпіусъ, а подъ родиной разумѣется салонъ г-жи фонъ-Штейнъ. Замѣтимъ, что едва ли не вѣрнѣе было бы сдѣлать это сравненіе въ обратномъ порядкѣ.

1-го ноября у Гете родился второй сынъ. Въ письмѣ къ Шиллеру онъ по этому случаю высказываетъ желаніе, чтобъ судьба подарила его друга дочерью и чтобъ такимъ образомъ семьи двухъ поэтовъ могли впоследствии породниться черезъ бракъ и размножиться. Но второй сынъ Гете жилъ только нѣсколько дней. 20-го ноября Шиллеръ писалъ къ нему: «Мы очень огорчены понесенной вами утратой. Вамъ остается только утѣшать себя той мыслью, что эта утрата, воспослѣдовавъ такъ скоро, нанесла ударъ болѣе вашимъ надеждамъ, чѣмъ вашему сердцу». Гете отвѣчалъ на это: «Въ подобныхъ случаяхъ не знаешь, что

лучше, — отдаться ли вполне горю, или стараться развлекать себя разными средствами, какія представляет образованіе. Если я рѣшаюсь на послѣднее, какъ я это всегда дѣлаю, то получаешь только минутное облегченіе, и я замѣтилъ что въ концѣ концовъ природа всегда въ этихъ случаяхъ найдетъ пути, чтобъ взять свое».

Впрочемъ, горе на этотъ разъ не сопровождалось никакимъ особымъ кризисомъ, и мы находимъ поэта непрерывно дѣятельнымъ. Какъ разъ въ это время Гёттлингъ сдѣлалъ въ Іенѣ открытіе, что фосфоръ горитъ въ азотѣ; это открытіе обратило мысли Гете къ химіи, и химическіе опыты стали на нѣкоторое время его любимымъ занятіемъ. Анатомія никогда не теряла для него привлекательности: въ морозное утро, не обращая вниманія на снѣгъ, пробирался онъ на лекціи Лодера и вообще обнаруживалъ такое рвеніе, которому могла бы позавидовать учащаяся молодежь. Гумбольдты, въ особенности Александръ, съ которымъ онъ велъ дѣятельную переписку, поддерживали въ немъ рвеніе къ научнымъ занятіямъ, и только ихъ энергическому настоянію обязаны мы существованіемъ его трактата о Сравнительной Анатоміи. Онъ постоянно бесѣдовалъ съ ними объ этомъ предметѣ, краснорѣчиво излагая свои идеи, но по всей вѣроятности никогда не передалъ бы этихъ идей на бумагѣ, если бы Гумбольдты его къ тому не подстрекали. Впрочемъ его анатомическій трактатъ остался не конченнымъ и въ такомъ видѣ въ первый разъ былъ напечатанъ въ 1820 году <sup>1)</sup>. Бесѣды съ Гумбольдтами обнимали обширное поле, «Не будетъ, позагаю, излишне притязательнымъ, — какъ впоследствии писалъ Гете, — если я скажу, что изъ этихъ бесѣдъ вышло многое, что потомъ стало общимъ достояніемъ науки и приноситъ теперь плоды, которымъ мы радуемся, а между тѣмъ никто не знаетъ, въ какомъ саду были выращены плодотворныя сѣмена».

Въ это время поэтическіе планы Гете были весьма многочисленны и нѣкоторые изъ нихъ были приведены въ исполненіе. Онъ

---

<sup>1)</sup> Когда анатомическій трактатъ Гете въ первый разъ появился въ печати, главные идеи, въ немъ заключающіяся, были уже общезвѣстны; но въ то время, когда трактатъ писался, эти идеи были еще необыкновенной новостью.

началъ писать трагедію: *Освобожденный Прометей*, которая впрочемъ осталась неконченною, — перевелъ гимнъ Апполону, написалъ *Alexis und Dora, die Vier Jahreszeiten* и нѣсколько другихъ мелкихъ стихотвореній. Всѣ эти произведенія были помѣщены въ *Horen* или въ Шюдлеровомъ *Musen Almanach*. Кромѣ того онъ переводилъ нѣкоторыя сочиненія г-жи Сталь и *Автобіографію* Бенвенуто Челлини. Но изъ всѣхъ его произведеній того времени наибольшее впечатлѣніе произвели *Xenien*.

Я уже выше замѣтилъ, что состояніе нѣмецкой литературы было въ то время далеко не блистательно и вкусъ публики былъ крайне извращенъ. Новый журналъ *die Horen* долженъ былъ соединить въ себѣ «всѣ таланты» и поставилъ себѣ цѣлю — очистить вкусъ публики. Но полученный имъ успѣхъ не соответствовалъ ожиданіямъ. Посредственность яростно взялась за оружіе въ своихъ многочисленныхъ органахъ, а публика, противъ тупоумія которой, какъ выразился Шиллеръ, сами боги безсильны, оставалась равнодушнымъ зрителемъ борьбы. *Die Horen* потерпѣли полную неудачу, не окупили издержекъ изданія и не возбудили большого сочувствія даже въ немногочисленныхъ своихъ читателяхъ. Статьи самыхъ ничтожныхъ писателей приписывались самымъ знаменитымъ, и даже Фридрихъ Шлегель принялъ разсказъ Каролины фонъ Вольцогенъ за произведеніе Гете. Новый журналъ своимъ притязаніемъ нѣсколько смутилъ публику, и даже нѣсколько укололъ ее. Соединеніе «всѣхъ талантовъ» никогда не порождаетъ удачнаго періодическаго изданія, и есть нѣкоторыя основанія предполагать, что подобная участь должна постигать всѣ подобныя изданія. *Horen* постигла та же участь, какъ и *The Liberal*, сотрудниками котораго были Байронъ, Шелли, Лейгъ Гунтъ, Муръ, Газлитъ, Пикокъ. Но два великіе поэта, возлагавшіе на *Horen* большія надежды, не могли спокойно помириться съ постигшей ихъ неудачей. Они рѣшились на литературную месть, и результатомъ этого были *Xenien*.

Произведенія, вызванныя этими эпиграммами, были столь многочисленны, что изъ нихъ можно составить небольшую бібліотеку. Однихъ эти эпиграммы приводили въ крайнее негодованіе, не знавшее мѣры, какъ это свидѣлствуютъ самыя заглавія отвѣтовъ на нихъ, напр. *die Ochsiade*, или *an die Sudelkoeche in Weimar*.

Другіе же приходили отъ нихъ въ восторгъ и Боасъ восторженно говорилъ о нихъ: «31-го октября 1517 г. началась въ Германіи церковная реформація, а въ октябрь 1796 началась реформація литературная. Какъ Лютеръ началъ церковную реформацію своими тезисами, такъ Гете и Шиллеръ начали литературную реформацію своими *Xenien*. Никогда еще ни кто не бичевалъ лицемерія и тупоумія съ такимъ мужествомъ и съ такой безпощадностью». Что подобное бичеваніе было до нѣкоторой степени нужно для того времени, это свидѣлствуютъ громкіе вопли, поднявшіеся противъ *Xenien* со всѣхъ сторонъ; но позволительно усомниться, произвели ли *Xenien* въ дѣйствительности важную реформу въ литературѣ.

Первая мысль писать *Xenien* принадлежитъ Гете. Эта мысль ему пришла при чтеніи *Ксеній* римскаго поэта Марціала и, написавъ дюжину эпиграммъ, онъ послалъ ихъ Шиллеру для помѣщенія въ *Musen Almanach*. Шиллеръ пришелъ отъ нихъ въ восторгъ, но нашелъ, что дюжины мало, а надо изготовить разомъ цѣлую сотню, и преимущественно направить противъ журналовъ, нападавшихъ на *Horen*. Вскорѣ оказалось мало даже и сотни, и друзья рѣшили довести ихъ число до тысячи. Эти эпиграммы писались друзьями сообща,—случалось, что одинъ давалъ мысль, а другой облакалъ ее въ форму, одинъ писалъ первый стихъ, а другой писалъ второй. Невозможно опредѣлить съ точностію, которыя изъ этихъ эпиграммъ принадлежатъ Шиллеру и которыя принадлежатъ Гете, хотя многіе критики и дѣлали къ этому попытки; впрочемъ въ недавнее время Мальцанъ исполнилъ это довольно удовлетворительнымъ образомъ, взявъ въ руководство оригинальную рукопись.

*Xenien* произвели своимъ появленіемъ чрезвычайно сильное впечатлѣніе. Всѣ плохіе писатели, а ихъ была цѣлая армія, почувствовали себя лично оскорбленными. Піетисты и сантименталисты были язвительно подняты на смѣхъ, педанты и филистеры подверглись безпощадному бичеванію. Этими эпиграммами было задѣто такое множество лицъ, принадлежавшихъ къ разнообразнымъ партіямъ, что нѣтъ ничего удивительнаго, если при ихъ появленіи поднялся со всѣхъ сторонъ оглушительный крикъ. Вскорѣ начали появляться многочисленные отвѣты и *Xenien-Sturm* навсегда оста-

нется курьезнымъ эпизодомъ войны «толпы глупыхъ противъ двухъ мудрыхъ». — «Забавно видѣть, — писалъ Гете Шиллеру, — что именно раздражаетъ этихъ господъ, чѣмъ думаютъ они насъ уязвить, какъ пусты и глупы ихъ понятія, какъ тупы ихъ стрѣлы и какъ мало имѣютъ они понятія о неприступной крѣпости, въ которой пребываютъ люди серьезные, — серьезно смотрящіе на дѣло». Впечатлѣніе, произведенное Дунсиадою и сатирой English Bards and Scotch Reviewers, было слабо въ сравненіи съ тѣмъ, какое произвели *Xenien*, хотя послѣднія по остроумію и сарказму уступаютъ первымъ.

Разсматривая *Xenien* единственно со стороны ихъ остроумія и упуская изъ виду то, что въ нихъ было лично злаго и язвительнаго, они представляются намъ произведеніемъ весьма слабымъ и намъ даже становится непонятно, какъ могли они въ свое время произвести столь сильное впечатлѣніе. Но подобное же разочарованіе постигаетъ современнаго читателя и при чтеніи *Анти-Якобинца*, а между тѣмъ мы знаемъ, что страницы этого журнала были ужасомъ для враговъ и приводили въ восторгъ друзей, — знаемъ, что онъ былъ сокровищницей англійскаго остроумія и Англичане вспоминаютъ о «временахъ *Анти-Якобинца*», какъ Нѣмцы о «временахъ *Ксеній*». Теперь эти сатирическія произведенія утратили то, что въ нихъ было лично язвительнаго, и читая ихъ мы готовы даже удивиться, какъ могли они когда нибудь имѣть столь большое вліяніе. Въ *Ксеніяхъ* встрѣчаются только весьма немногія эпиграммы которыя, и въ нашихъ глазахъ не лишены нѣкоторой соли остроумія. Многія же изъ нихъ не имѣютъ вовсе никакого притязанія на остроуміе, но за то заключаютъ въ себѣ превосходно высказанныя критическія правила и философскія идеи. Если и нельзя создать изящный вкусъ одними только нападками на дурной вкусъ, то во всякомъ случаѣ авторы *Ксеній* могли не безъ основанія до нѣкоторой степени надѣяться, что подобное бичеваніе расчиститъ почву, и *Ксеніи* въ этомъ отношеніи оказали значительную услугу.

Къ этому времени относится первое изданіе *Вильгельма Мейстера*, и мы теперь постараемся оцѣнить его, какъ художественное произведеніе.

---

## ГЛАВА II.

### Вильгельмъ Мейстеръ.

Разсказываютъ, будто однажды Французу, Англичанину и Нѣмцу было предложено повѣдать міру, что такое верблюды. Французъ, отправившись въ *Jardin des Plantes*, провелъ тамъ часъ въ наблюденіи надъ животнымъ и, возвратясь домой, живо написалъ *feuilleton*, гдѣ не было ни одной фразы, къ которой могла бы придаться Академія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не было также ни одной фразы, которая бы что-нибудь добавляла къ общему знанію. Однако Французъ былъ совершенно доволенъ своимъ произведеніемъ и восклицалъ: *Le voilà, le chameau*. Англичанинъ, упаковавъ погребець и разныя принадлежности своего комфорта, отправился на дальній востокъ, раскинулъ тамъ шатеръ и, проводя такимъ образомъ цѣлые два года въ изученіи верблюда, возвратился домой съ богатымъ запасомъ фактовъ. Эти факты были имъ изложены безъ всякаго порядка, безъ всякихъ философскихъ разсужденій, но для послѣдующихъ изслѣдователей послужили драгоценнымъ матеріаломъ. Нѣмецъ же, одинаково презирая и легкомысленную болтовню француза и нефилософскую фактичность Англичанина, заперся въ своемъ кабинетѣ и принялся создавать идею о Верблюдѣ изъ глубины своего нравственнаго сознанія. Разсказъ говоритъ, что Нѣмецъ и до сихъ поръ еще сидитъ за этой работой.

Этотъ мнѣніеіскій разсказъ ярко раскрываетъ передъ читателемъ весь характеръ той критики, которая, именуясь философской критикой, процвѣтала въ Германіи и также имѣла поклонниковъ въ нѣкоторыхъ англійскихъ кружкахъ. Эта критика упражнялась надъ *Вильгельмомъ Мейстеромъ* почти съ такой же беспощадностью, какъ и надъ *Фаустомъ*.

Я надѣюсь, что читатель не обобщитъ этого замѣчанія, не отнесетъ его ко всемъ германскимъ критикамъ безъ различія; подобное обобщеніе было бы и по отношенію къ Германіи не менѣе

несправедливо, какъ по отношенію къ Англіи. Въ Германіи есть превосходные критики и превосходные судьи, вовсе не имѣющіе притязанія быть критиками, и было бы крайне несправедливо относить къ нимъ то, что собственно имѣетъ въ виду только педантовъ и заносчивыхъ критикановъ. Не можемъ мы не признать однако,—и этого не станетъ отрицать никто, сколько-нибудь знакомый съ Германіей и съ германской литературой,—что въ Германіи ложное примѣненіе философіи къ искусству имѣло широкое и вредное вліяніе, создало родъ тиранніи на сторонѣ истинныхъ мыслителей, а со стороны ихъ безтолковыхъ послѣдователей породило произведенія, нелѣпыя до безобразія, угасило художественный огонь въ Германіи, сгубило не мало молодыхъ талантовъ, подававшихъ блестящія надежды. Коренное заблужденіе этой критики состояло въ томъ, что она вдвигала искусство въ философскія формулы и эти формулы окрещивала именемъ философіи искусства. Вооружившись этими формулами, критикъ не довольствуется тѣмъ, что ему представляетъ само разсматриваемое имъ произведеніе,—онъ старается проникнуть далѣе, подкопаться подъ него, проникнуть въ глубь души, его создавшей, не довольствуется тѣмъ, что ему даетъ художникъ, а хочетъ разгадать, что имѣлъ художникъ въ мысляхъ, и чѣмъ большее разстояніе отдѣляетъ эту яко-бы разгаданную критикомъ мысль отъ того, что прямо выражено художникомъ, тѣмъ болѣе это льститъ проницательности критика; довольный своей разгадкой, критикъ упорно отвергаетъ всякое иное, простое, естественное объясненіе произведенія, и такимъ образомъ художественно-философскія грезы совершенно заволакиваютъ художественное произведеніе. Хотя идея, которую критикъ яко-бы разгадалъ въ произведеніи, никому до той поры не приходила и въ голову при чтеніи этого произведенія, не приходила въ голову даже и самому художнику во весь процессъ творчества, но это нисколько не смущаетъ проницательнаго критика; тѣмъ болѣе для него славы, что онъ проникъ такъ глубоко, какъ никто. Для нѣмцевъ самый ужаснѣйшій изъ всѣхъ ужасовъ есть поверхностность,—они боятся ея пуще холодной воды.

*Вильгельмъ Мейстеръ* породилъ множество подобнаго рода критикъ, углублявшихся въ самую глубь нравственнаго сознанія и раскрывавшихъ въ этомъ романѣ глубокія, прибавимъ противорѣчивыя идеи, которыя должны были сильно изумить автора, такъ какъ самъ ав-

торъ вовсе и не подозрѣвалъ ихъ присутствія въ своемъ произведеніи. Последняя часть романа очевидно имѣетъ символическое значеніе и я столь же мало сомнѣваюсь, что эта примѣсь символизма была уступкой со стороны поэта германскимъ тенденціямъ, какъ не сомнѣваюсь, что чрезъ это поэтъ нанесъ вредъ художественности своего произведенія. Очевидное отсутствіе единства въ этомъ романѣ дало полный просторъ глубокомысленному воображенію критиковъ, и Гилльбрандтъ смѣло утверждалъ, что «идея *Вильгельма Мейстера* и состоитъ именно въ отсутствіи всякой идеи», — что для насъ не совсѣмъ понятно.

Мы не будемъ доискиваться идей; остановимся на исторической критикѣ, посмотримъ, какой свѣтъ бросаетъ на произведеніе исторія его происхожденія и его созиданія, которое продолжалось не менѣе двадцати лѣтъ. Первые шесть книгъ, составляющія безъ сомнѣнія лучшую и самую важную часть романа, были написаны до первой поѣздки въ Италію, въ тотъ періодъ, когда авторъ дѣлательно занимался театромъ, былъ вмѣстѣ и распорядителемъ, и драматургомъ, и актеромъ. Содержаніе этихъ книгъ ясно указываетъ, что авторъ имѣлъ намѣреніе изобразить характеръ, цѣли, искусство актеровъ; въ письмѣ къ Мерку онъ самъ прямо говоритъ, что намѣренъ изобразить жизнь актера. Видѣлъ ли онъ въ жизни актера символическое значеніе, этого нельзя рѣшительно ни утверждать, ни отрицать; но во всякомъ случаѣ это могло быть для него только второстепенной цѣлью, главная же его цѣль очевидна. Замѣтимъ при этомъ, что въ тѣ времена онъ былъ совершенно чуждъ всякаго символизма въ своемъ художественномъ творчествѣ, — онъ пѣлъ какъ поютъ птицы, вдохновлялся прямымъ созерцаніемъ объективныхъ фактовъ, не облакался въ мантию египетскаго жреца, не умѣлъ выражаться іероглифами. Сценическое искусство серьезно интересовало его, жизнь актера представлялась ему хорошей рамкой для художественнаго творчества, и онъ сдѣлалъ ее предметомъ романа. Безспорно, что впоследствии онъ сталъ символизировать свои образы и въ этомъ духѣ закончилъ свой романъ.

Гервинусъ рѣшительно высказывается противъ мнѣнія, будто бы Гете, съ самаго перваго приступа къ своему роману, имѣлъ намѣреніе представить Вильгельма человѣкомъ неспособнымъ къ



сценическому искусству, и я полагаю, что читатель, внимательно прочитав романъ даже въ его теперешнемъ, законченномъ видѣ, согласится съ Гервинусомъ. Несмотря на позднѣйшія прибавки, сдѣланныя подъ внушеніемъ мысли, которой авторъ первоначально не имѣлъ въ виду, Вильгельмъ вовсе не является передъ нами человѣкомъ, попавшимъ на ложный путь, стремящимся развить въ себѣ талантъ, котораго въ дѣйствительности не имѣетъ (какъ это случилось съ самимъ Гете относительно пластическаго искусства); напротивъ, мы видимъ въ немъ врожденный талантъ къ сценическому искусству, который совершенствуется по мѣрѣ упражненія и въ роли Гамлета достигаетъ своего апогея. Этимъ заканчивается первоначальный планъ романа. Дописавъ романъ до этого пункта, Гете отправился въ Италію. Мы видѣли, какія перемены произвело въ немъ пребываніе въ Италіи. По прошествіи десяти лѣтъ онъ снова принялся за романъ. Извѣдавъ въ это время собственнымъ опытомъ, что такое значить попасть на ложный путь, познавъ изъ опыта всю тщету усилій при отсутствіи таланта, онъ измѣнилъ первоначальный планъ романа и задался мыслью выразить въ немъ символически ошибочныя стремленія юности, придумавъ для этого, довольно неуклюжо, скучный рассказъ о таинственныхъ лицахъ, которые наблюдаютъ каждый шагъ Вильгельма и ободряютъ его на ложномъ пути съ цѣлью вывести его такимъ образомъ на истинный путь. Вотъ что въ старческомъ возрастѣ, въ своихъ *Tages und Jahres Heften* и въ письмахъ къ Шиллеру, онъ объявлялъ за основную мысль романа. «*Вильгельмъ Мейстеръ*—писалъ онъ—есть порожденіе темнаго предчувствія той великой истины, что человѣкъ бываетъ способенъ направлять всѣ свои усилія именно къ тому, въ чемъ природа ему рѣшительно отказала и достиженіе чего для него совершенно невозможно. Сюда можно отнести всякаго рода фальшивыя наклонности, дилетантизмъ и т. п. Но вмѣстѣ съ тѣмъ ложные пути могутъ вести и къ неоцѣнимымъ благамъ, и *Вильгельмъ Мейстеръ* представляетъ развитіе, объясненіе, подтвержденіе этой мысли». Эпкерману онъ говорилъ: «*Вильгельмъ Мейстеръ* принадлежитъ къ числу произведеній, такъ сказать самыхъ неизбѣжныхъ, и едвали я самъ могу сказать, что имѣю явочъ къ нему. Хотятъ найти въ немъ нѣ-

что такое, что составляло бы его средоточіе, а это весьма трудно и даже невозможно. Я думалъ, что богатая разнообразіемъ жизнь, проходя предъ нашими глазами, говоритъ достаточно сама за себя, не нуждаясь ни въ какой ясно выраженной тенденціи; притомъ тенденція говоритъ только разсудку». Эти слова весьма мѣткі. Но нѣмецкій умъ требовалъ символизма для своей пищи. «Если уже непремѣнно хотятъ найти въ этомъ романѣ какую-нибудь тенденцію,—продолжалъ Гете,—то пусть останавливаютъ вниманіе на словахъ, съ которыми Фридрихъ обращается въ концѣ къ герою романа: Ты походишь въ моихъ глазахъ на Саула, сына Кисова, который пошелъ искать отцовскихъ ослицъ и вмѣсто ослицъ обрелъ царство. И дѣйствительно, весь романъ, повидимому, ничего больше и не говоритъ, какъ только, что человѣкъ, будучи руководимъ въ жизни высшей десницей, при всѣхъ своихъ глупостяхъ и заблужденіяхъ достигаетъ въ концѣ концовъ счастливаго результата».

Шиллеръ, имѣя въ виду только вторичный планъ романа, справедливо замѣтилъ, что актеры занимаютъ въ романѣ несоразмѣрно много мѣста. «Мѣстами кажется,—писалъ онъ Гете,—какъ будто вы пишете для актеровъ, между тѣмъ какъ ваше намѣреніе было писать объ актерахъ. Вы съ такимъ тщаніемъ разсматриваете разныя мелкія подробности, обращаете такъ много вниманія на разныя мелкія принадлежности сценическаго искусства, хотя и важныя для актера и для театральнаго распорядителя, но вовсе не интересныя для публики,—что это придаетъ вашему произведенію ложный видъ, какъ будто разсмотрѣніе сценическаго искусства составляетъ его главную цѣль, и тотъ читатель, который не впадетъ въ эту ошибку, не припишетъ вамъ этой цѣли, можетъ поставить вамъ въ вину, что вы слишкомъ увлеклись пристрастіемъ къ этому предмету». Если разсматривать романъ, принявъ въ основаніе вторичный планъ, то нельзя не признать, что построеніе романа весьма неискусно: пять книгъ составляютъ введеніе, одна книга содержитъ отдѣльный эпизодъ, и все развитіе романа заключается собственно только въ двухъ книгахъ. Тутъ очевидна несоразимѣрность частей. Фридрихъ Шлегель имѣлъ полное основаніе сказать, что все произведеніе заключается собствен-

но въ двухъ послѣднихъ книгахъ, а прочія книги суть только подготовительныя <sup>1)</sup>).

Цѣль, или, правильнѣе сказать цѣли *Вильгельма Мейстера* состоятъ въ прославленіи сценическаго искусства и въ установленіи теоріи воспитанія. Въ послѣднихъ двухъ книгахъ почти только и рѣчи, что о воспитаніи,—въ нихъ развиваются замѣчательно глубокія мысли, которыми выкупаются недостатки романа; но во всемъ остальномъ онъ далеко уступаетъ первымъ шести книгамъ и по стилю, и по характеру, и по интересу. Говоря вообще, *Вильгельмъ Мейстеръ* есть дѣйствительно «произведеніе неизмѣримое». Послѣ перваго чтенія я остался къ нему довольно холоденъ, но потомъ чѣмъ больше я въ него вчитывался, тѣмъ больше проникался удивленіемъ къ его красотамъ, и въ то же время тѣмъ ярче обозначались передо мной его недостатки.

Романъ начинается съ большой драматической живостью. Маріана и старая Варвара очерчены по-шекспировски, съ удивительной ясностью и вѣрностью въ подробностяхъ. Весь эпизодъ чрезвычайно хорошъ, если только исключить длинный разговоръ Вильгельма о маріонеткахъ, который вѣроятно также усыплялъ многихъ читателей, какъ усыпилъ Маріану. Контрастъ между Вильгельмомъ и прозаическимъ Вернеромъ очерченъ весьма удачно; но удачнѣе всего очерчена нерѣшительность Вильгельма, его неспособность довести до конца разъ начатое дѣло, что собственно и составляетъ его отличительный характеръ. И дѣйствительно, во всемъ романѣ Вильгельмъ вовсе не является героемъ; онъ есть чисто созданіе обстоятельствъ, настоящій флюгеръ, и это изображено поэтомъ мастерски. Другое дѣло—Эгмонтъ и Гецъ. Это—герои; они живутъ въ бурныя времена и не подчиняются окружающимъ ихъ обстоятельствамъ; въ нихъ поэтъ изображаетъ высокіе, сильные характеры, стоящіе выше обстоятельствъ. Въ Вильгельмѣ же онъ изображаетъ характеръ измѣнчивый, легко подчиняющійся вѣшнимъ вліяніямъ. Метаморфозы, совершающіяся съ Вильгельмомъ, невозможны для человѣка съ такимъ характеромъ, какъ Эгмонтъ. Это столь очевидно, что удивляешься, какъ могли найтись критики,

---

<sup>1)</sup> Charakteristiken und Kritiken, p. 168. Критику Плегеля стоитъ прочесть. Она можетъ служить образцомъ талантливой критики.

которые въ колеблющемся характерѣ Вильгельма видѣли слабую сторону романа, указывали на это, какъ на ошибку противъ требованій художественности. Не все ли это равно, какъ еслибы мы стали указывать на колебанія Гамлета, какъ на прегрѣшеніе противъ художественности? Вильгельмъ не только весьма легко переходитъ отъ одного предмета къ другому, но также весьма легко мѣняетъ и свой взглядъ на предметы; онъ несостоятеленъ даже и въ своихъ чувствахъ: страстная любовь къ Маріанѣ быстро смѣняется у него влеченіемъ къ кокетливой Филинѣ; отъ Филины онъ переходитъ къ графинѣ, которую также скоро забываетъ для другой, — хочетъ жениться на Терезѣ, но какъ только получаетъ согласіе, оставляетъ ее и предлагаетъ свое сердце Натальѣ.

Въ романѣ много юмору. Очевидно, авторъ могъ бы сдѣлаться юмористическимъ писателемъ, еслибы эта способность не была у него отодвинута на задній планъ другими его способностями. Педантизмъ Вильгельма Мейстера, его стремленіе перенести въ дѣйствительную жизнь обстановку театральной сцены, эксцентрическій графъ, приключенія съ актерами въ замкѣ, театральный костюмъ Вильгельма, характеръ Филины и характеръ Фридриха, — все это несомнѣнно свидѣтельствуетъ о большомъ юмористическомъ талантѣ.

Разсказывать содержаніе романа было бы большой несправедливостію по отношенію къ автору: поэтому позволяю себѣ предположить, что мои читатели уже съ нимъ знакомы, и слѣдовательно могу прямо остановиться на мастерскомъ изображеніи характеровъ. Авторъ ни разу не останавливается на ихъ описаніи, а между тѣмъ они ясно рисуются передъ нами, такъ ясно, какъ будто мы ихъ видимъ насквозь. Такъ напр. Филина, это въ высшей степени очаровательное и оригинальное созданіе, нигдѣ не описывается авторомъ, — мы узнаемъ ее не изъ непосредственнаго ея описанія самимъ авторомъ, а только изъ впечатлѣній, какія она производитъ на другихъ дѣйствующихъ лицъ романа, и между тѣмъ знакомимся съ ней такъ близко, какъ будто она съ нами самими вѣтреничала и кокетничала. Она представляетъ въ себѣ странную смѣсь беззаботности, великодушія, капризности, своенравія, нѣжности, веселости, это живая дѣвушка, которая не обращаетъ ни малѣйшаго вниманія на требованія приличія и въ тоже

время умѣетъ держать себя съ истинной благопристойностью, всѣхъ ставить ни во что, не любить никакихъ условныхъ правилъ, видитъ въ нихъ только педантизмъ, совершенно чужда всякихъ идеальныхъ стремленій и въ тоже время чужда всякаго рода притворства, кокетничаетъ со всѣми мужчинами, не любима всѣми женщинами, водить всѣхъ за носъ и въ тоже время готова каждого обязать, каждому услужить, даже тому, кто оскорбилъ ее. Ничего этого авторъ намъ не говоритъ, но все это мы видимъ, и Филина передъ нами какъ живая. Она такъ естественна, такъ очаровательна, что мы готовы извинить ей всѣ ея недостатки. Говоря вообще, это самый оригинальный и самый трудный характеръ въ романѣ. Нарисовать Миньону, это чудное поэтическое созданіе, едвали было не легче. Прочіе женскіе характеры романа представляютъ контрастъ по отношенію къ Филинѣ; эта послѣдняя ихъ отбѣняетъ и сама отбѣняется ими. У болѣзненно-сентиментальной Аврелии, у мечтательной Мелины есть серьезность, которой Филина совершенно чужда, но при этомъ онѣ имѣютъ и соотвѣтственные недостатки, отъ которыхъ Филина свободна. Всякая серьезность ей недоступна, она живетъ, какъ птичка, весело щебечетъ въ дождь и въ ясный день. И въ голову не приходитъ обратиться къ ней съ требованіями нравственности,—да и къ чему это? Она даже и понятія не имѣетъ, что такое нравственность! А между тѣмъ нельзя сказать, чтобъ она была безнравственна. Сопоставляя ее съ Миньоной, мы видимъ въ ней противоположность невинности, серьезности, самоотверженія, идеальныхъ стремленій. Она никогда не была невинна,—она жива и смышлена какъ котенокъ; серьезность для нея невозможна: если она не смѣется, то должна зѣвать или плакать; у нея нѣжное сердце, но къ самоотверженію она неспособна. Ей чужды всякія стремленія въ даль,—она такъ хорошо умѣетъ повсюду свить себѣ гнѣздышко. Вы можете произнести строгій приговоръ надъ Филиной, но она, какъ милый ребенокъ, своей прелестію обезоружитъ вашу строгость.

Не буду останавливаться на Миньонѣ и ея пѣсняхъ. Тщетно художники пытались воспроизвести на полотнѣ это чудное созданіе, околдовывающее сердце и воображеніе каждого читателя, но кисть оказалась бессильна для выполненія подобной задачи. Старикъ арфистъ—странная, мрачная фигура, окруженная таинственностію,

которая разъясняется только въ концѣ романа. Онъ не только увеличиваетъ разнообразіе характеровъ въ романѣ; но безъ него весь романъ вращался бы исключительно въ обиходной сферѣ, а онъ своими чудными пѣснями придаетъ ему глубину страсти и страданія. Эти двѣ поэтическія личности, Миньона и арфистъ, отбѣнясь на прозаическомъ фонѣ, говорятъ о мирѣ красоты; онѣ производятъ такой же эффектъ, какъ радуга на Лондонскихъ улицахъ. Серло, Лаертъ, самолюбивый Мелина и его sentimentalная жена, всѣ эти характеры менѣе развиты, но тѣмъ не менѣе мастерски очерченны.

Разставшись съ этими лицами, т. е., окончивъ ту часть романа, которая была написана до поѣздки въ Италію и слѣдовательно до измѣненія первоначальнаго плана, мы встрѣчаемъ новые лица, каковы Лотаріо, Аббатъ, Докторъ, Тереза, Наталья. Тутъ уже другой стиль, — жизнь смѣняется абстракціями, вмѣсто свѣжаго воздуха чувствуешь кабинетный воздухъ философа. Не только интересъ романа слабѣетъ, но и самый способъ изображенія характеровъ совершенно иной: лица не живутъ передъ нами, а только описываются. Событія, мало вѣроятныя и мало интересныя, тѣсняются одно на другое. Даже слогъ становится слабъ, а мѣстами даже положительно дуренъ. Дѣйствующія лица безстрастны, вслѣдствіе чего и слогъ безцвѣтенъ, безжизненъ. О первой книгѣ Шмаллеръ говоритъ: «Смѣлые поэтическіе порывы, прерывающіе спокойное теченіе, производятъ чудное впечатлѣніе, наполняютъ и возвышаютъ душу.» Но за исключеніемъ превосходнаго разсказа объ арфистѣ, послѣднія двѣ книги такъ написаны, что въ Англіи обыкновенно находятъ романъ скучнымъ, несмотря на удивительную истинность и разнообразіе характеровъ и на красоту многихъ мѣстъ. Въ этихъ послѣднихъ книгахъ разсказъ валъ, разсказываемыя событія тривиальны и неправдоподобны. Таинственная башня есть чисто нелѣпая мистификація, не представляетъ и того интереса, какой г-жа Радклифъ умѣетъ придавать подобнымъ сюжетамъ. Что же касается слога, то вы на каждой страницѣ встрѣчаете такіа фразы, что не можете не удивиться, какъ могли онѣ выйти изъ-подъ пера Гете. Повтореніе однихъ и тѣхъ же оборотовъ и отвлеченность въ выраженіяхъ рѣзко бросаются въ глаза. Тутъ встрѣчаются напримѣръ подобныя фразы: «sie können aber hieraus die unglaubli-

che Toleranz jener Männer sehen, dass sie eben auch mich auf meinem *Weg* gerade *deswegen*, weil es mein *Weg* ist, keineswegs stören».

*Вильгельм Мейстер* имѣетъ замѣчательную особенность, которая вѣроятно и подала поводъ Новалису сказать, что это произведение проникнуто артистическимъ атеизмомъ <sup>1)</sup>. Эта фраза такъ легко проносится, такъ хорошо звучитъ, доступна множеству толкованій, и потому неудивительно, что нашлось не мало охотниковъ ее повторять. Я говорю о той особенноти *Вильгельма Мейстера*, что мы находимъ въ немъ совершенное отсутствіе всякихъ нравственныхъ сужденій со стороны автора. Передъ нами выступаютъ лица на сцену, совершаются событія, высказываются мысли, чувства, но самъ авторъ не пророняетъ ни одного слова о нравственномъ достоинствѣ этихъ лицъ, событій, чувствъ, мыслей. Доброе дѣйствуетъ благотворно, но ему не воздается никакихъ похвалъ; злое производитъ дурныя послѣдствія, но его не осыпаютъ проклятіями. Передъ нами міръ, въ которомъ мы не видимъ даже и помы проповѣдническаго стихаря. Для многихъ читателей это составляетъ такой же недостатокъ, какъ еслибъ имъ подали обѣдъ безъ соли; они чувствуютъ къ столу простому, объективному изображенію нѣчто въ родѣ такого же отвращенія, какое набожныя люди питаютъ къ разсказамъ миссъ Эджвортъ. Робертъ Галль говоритъ, что послѣ чтенія разсказовъ миссъ Эджвортъ онъ въ теченіи цѣлой недѣли не въ состояніи былъ исполнять обязанностей своего духовнаго сана: онъ былъ совершенно смущенъ картинами, представлявшими ему людей, ведущихъ счастливую дѣятельную жизнь, въ которой религія не принимаетъ ни малѣйшаго участія, гдѣ нѣтъ ни увѣщаній, ни проповѣдей, гдѣ никто не боится за спасеніе своей души.

---

<sup>1)</sup> «Das Buch handelt bloss von gewöhnlichen Dingen, die Natur und der Mysticismus sind ganz vergessen. Es ist eine poetisirte bürgerliche und häusliche Geschichte; das Wunderbare darin wird ausdrücklich als Poesie und Schwärmerie behandelt. Künstlerischer Atheismus ist der Geist des Buchs». (Тутъ идетъ рѣчь только о вещахъ обыденныхъ, природа и мистицизмъ совершенно забыты. Это есть поэтизированная мѣщанская и семейная жизнь; все, выходящее изъ этой сферы, изображается какъ поэзія, какъ мечта. Все произведеніе проникнуто артистическимъ атеизмомъ) Novalis Schriften, II, p. 367.

Много было говорено о безнравственности Вильгельма Мейстера. Я не нахожу надобности приводить здѣсь эти сужденія и ограничусь мѣткимъ замѣчаніемъ Шиллера въ письмѣ къ Гете: «Меня нисколько не удивляетъ критика Якоби: такой человѣкъ, какъ онъ, не можетъ не оскорбляться безпощадною истинностію вашихъ картинъ, а человѣкъ, какъ вы, не можетъ не подать ему повода быть оскорбленнымъ. Якоби принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которые въ поэтическихъ произведеніяхъ ищутъ только свои собственныя идеи и цѣнятъ болѣе то, что по ихъ мнѣнію, должно быть, чѣмъ то, что есть; разнорѣчіе между нимъ и вами заключается въ самыхъ принципахъ, и вамъ невозможно съ нимъ сговориться. Какъ скоро человѣкъ говоритъ, что онъ отъ поэтическихъ произведеній требуетъ прежде всего не внутренней необходимости и истинности, а чего-нибудь другаго, то я сейчасъ же прекращаю съ нимъ всякую рѣчь. Еслибъ онъ доказалъ вамъ, что безнравственность вашихъ картинъ не истекаетъ изъ натуры изображаемаго объекта, что вы изображаете этотъ объектъ субъективно, въ такомъ случаѣ конечно съ вашей стороны было бы прегрѣшеніе, но все-таки не противъ законовъ нравственности, а противъ законовъ эстетики».

*Вильгельмъ Мейстеръ* не есть нравственный романъ, т. е. не есть такое произведеніе, которое было бы написано съ цѣлію оправдать какое-нибудь правило нравственности. Но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ его можно было назвать безнравственнымъ романомъ. Подобный приговоръ есть чистая нелѣпость. Правда, этотъ романъ не имѣетъ никакой нравственной цѣли, но онъ также не имѣетъ никакой цѣли безнравственной; онъ написанъ не для назиданія людей въ добродѣтели, но также и не написанъ для размноженія пороковъ, и если авторъ не выступаетъ въ немъ проповѣдникомъ добродѣтели, то тѣмъ неменѣе ни одинъ самый строгій критикъ не можетъ сказать, чтобъ авторъ выступалъ въ немъ проповѣдникомъ порока. Критикъ можетъ только сказать, что художникъ удовольствовался изображеніемъ жизни, не дѣлая къ ней никакихъ комментарій, что многія изъ изображаемыхъ имъ сценъ принадлежатъ къ обширному разряду предметовъ, которые, за исключеніемъ развѣ только дѣтей, всѣмъ близко извѣстны, но о которыхъ не принято много распространяться въ обществѣ. Что же



касается до читателя, котораго подобныя сцены въ романѣ болѣе оскорбляютъ, чѣмъ когда онъ ихъ читаетъ въ газетахъ, то мы можемъ только подивиться его нравственной чувствительности, пожалѣть о его чрезмѣрной шепетливости и утѣшить себя надеждой, что въ мірѣ не много найдется такихъ шепетивныхъ людей, — натуры же здравыя чужды подобной шепетливости.

Сказавъ, что *Вильгельмъ Мейстеръ* не есть нравственный романъ, считаю нужнымъ присовокупить, что тѣмъ не менѣе весь онъ проникнутъ глубокой, здоровой моралью. О немъ можно сказать тоже, что Вудсвортъ говоритъ о Тамъ О'Шантрѣ: «жалѣю того, кто не видитъ, что все это въ высшей степени нравственно, хотя и не имѣетъ нравственной цѣли». Степень его нравственной назидательности условливается проникательностію, опытностію самого читателя. Иногда чтобы понять эту мораль, требуется обнять длинный ходъ разсказа; напр. какой превосходный урокъ нравственности заключается въ изображеніи, какъ жизнь образуетъ, модифицируетъ характеръ Вильгельма, какъ отъ слѣпago повпновенія влеченіямъ онъ переходитъ къ подчиненію себя разсудку, отъ мечтательнаго самоснисхожденія къ сознанію долга, отъ самопоклоненія къ дѣятельной любви къ ближнему, но этотъ урокъ преподается читателю не проповѣдникомъ, а художникомъ, и можетъ остаться незамѣченъ тѣми, которые умѣютъ видѣть мораль только тамъ, гдѣ имъ на нее указываютъ пальцемъ.

«Исповѣдь прекрасной души», занимающая всю шестую книгу, въ глазахъ нѣкоторыхъ искупаетъ минимую безнравственность прочихъ частей романа. Стольбергъ сжегъ весь романъ за исключеніемъ шестой книги, а эту книгу хранилъ, какъ сокровище. Эта «Исповѣдь» заключаетъ въ себѣ дѣйствительно замѣчательное изображеніе личности, соединяющей съ мистическою мечтательностію характеръ оригинальный и твердый; тутъ весьма тонко очерчено вліяніе на жизнь религиозныхъ убѣжденій, мастерски изображено, какъ умъ, повидающему во всѣхъ отношеніяхъ прямо созданный для мірской жизни, постепенно вовлекается и наконецъ окончательно погружается въ мистицизмъ. Но тѣмъ не менѣе, отдавая должную справедливость художественности этого эпизода, нельзя не пожалѣть, что авторъ не сдѣлалъ изъ него особаго произведенія, а вложилъ его неисккуснымъ образомъ въ романъ, гдѣ онъ нарушаетъ художественную

цѣлостность произведенія, такъ какъ въ сущности съ остальными частями романа не имѣетъ ничего общаго.

Критика Шекспировскаго *Гамлета*, вложенная въ уста Вильгельма, остается до сихъ поръ лучшею критикою этого произведенія. *Гамлетъ* вплетенъ въ романъ весьма искусно, и Розенкранцъ восхваляетъ эту искусную вставку не только потому, что чрезъ это ясно выставляется родство между Гамлетомъ и Вильгельмомъ, но и потому также, что далѣе эта трагедія дѣлается для Вильгельма прочнымъ камнемъ, на которомъ онъ окончательно испытуетъ свои способности и который такимъ образомъ опредѣляетъ его дальнѣйшую судьбу.

Еслибы позволяло мѣсто, то я готовъ бы былъ привести здѣсь всю критику Шиллера на этотъ романъ, заключающуюся въ его восторженныхъ письмахъ къ Гете; но я вынужденъ ограничиться однимъ отрывкомъ, который нельзя читать безъ высокаго наслажденія: «Считаю счастливѣйшимъ событiемъ моей жизни, что дожилъ до окончанiя этого произведенiя и что это окончанiе застаетъ меня еще въ силахъ, такъ что я могу черпать изъ этого чистаго источника; связь, существующая между нами, производитъ во мнѣ то, что я чувствую какъ будто религiозную потребность усвоить себѣ ваше творенiе,—въ чистомъ зеркалѣ духа, облекшагося въ это творенiе, провѣрить все, что есть во мнѣ, и такимъ образомъ заслужить называться вашимъ другомъ въ высшемъ смыслѣ этого слова. Какъ живо почувствовалъ я, читая ваше произведенiе, что прекрасное есть сила, что на эгоистическiя натуры оно можетъ дѣйствовать какъ сила, и что дѣйствiе этой силы оставляетъ человѣку только свободу любить. Не могу описать вамъ, какое сильное впечатлѣнiе произвело на меня ваше произведенiе своей истинностiю, жизненностiю, простотою, полнотою. Это впечатлѣнiе теперь не такъ спокойно, какъ оно будетъ, когда я полнѣе овладѣю вашимъ творенiемъ, и тогда оно составитъ важную эпоху въ моей жизни. Теперь оно есть исключительно дѣйствiе прекраснаго, и только прекраснаго, а соединяющееся съ нимъ неспокойство духа истекаетъ единственно изъ того, что мой разумъ и мои чувства еще не пришли въ гармонiю. Теперь я вполнѣ понимаю ваши слова, что только прекрасное, истинное можетъ васъ трогать даже до слезъ. Ваше творенiе спокойно

и глубоко, свѣтло и въ то же время непонятно, какъ сама природа; въ немъ все, даже послѣднія мелочи, все говоритъ о ясности, невозмутимости духа, который его создалъ».

### ГЛАВА III.

#### Романтическая школа.

«Послѣ такого отважнаго подвига—писалъ Гете къ Шиллеру, по выходѣ *Xenien*—мы должны посвятить себя исключительно высокимъ художественнымъ произведеніямъ и къ пристыженію всѣхъ нашихъ противниковъ проявить нашу поэтическую натуру въ прекрасныхъ и благородныхъ созданіяхъ». Этотъ призывъ нашелъ Шиллера готовымъ. Оба поэта горячо принялись за работу и произвели ни съ чѣмъ несравнимыя свои творенія: *Германъ и Доротея* и *Валленштейнъ*. Ихъ вліяніе другъ на друга было совершенно своеобразно; они дѣйствовали одинъ на друга прямо въ противоположность ихъ врожденнымъ наклонностямъ: Гете подъ вліяніемъ Шиллера дѣлался умозрительнымъ, теоретичнымъ, а Шиллеръ подъ вліяніемъ Гете становился реалистомъ. Еслибы вліяніе Шиллера не послужило для Гете возбужденіемъ къ творчеству, то мы могли бы сказать, что это было вредное вліяніе; но подобный приговоръ невозможенъ, имѣя въ виду великія произведенія, которыми мы ему обязаны. «Вы создали для меня вторую юность, — пишетъ Гете, — вы снова сдѣлали меня поэтомъ, тогда какъ я уже почти совершенно пересталъ имъ быть». Ихъ обоихъ въ то время сильно занимала философія: Шиллеръ занимался Кантомъ и Спинозой, а Гете—Кантомъ и естествознаніемъ. Кромѣ того оба они въ то время все болѣе и болѣе проникались духомъ древняго искусства и обнаруживали стремленіе къ возрожденію его началъ. Но это были люди гениальные и поэтому эти два ложныя направленія, умозрительное и подражательное, были менѣе вредны для ихъ произведеній, чѣмъ для ихъ народа. Ихъ спасъ ихъ гений вопреки ихъ заблужденіямъ, но ихъ заблужденія увлекли

Германию на ложный путь. Гервинусъ говоритъ: «Въ 1781 возродилась философія и глубоко повліяла на всю Германию. Попробуйте составить статистическую таблицу нашихъ литературныхъ произведеній, и вы увидите упадокъ поэзіи въ послѣднія пятьдесятъ лѣтъ, въ которыя господствовала философія». Философія извратила поэзію, извратила всю нѣмецкую литературу и совмѣстно съ подражательнымъ направленіемъ породила блистательное заблужденіе, извѣстное подъ названіемъ Романтической Школы.

Нѣсколько словъ объ этой школѣ здѣсь не будутъ нестати. Подобно своему дѣтищу, французской *Ecole Romantique*, она съ полезными критическими стремленіями соединяла стремленія вспять, которыя были вредны. Обѣ школы, и нѣмецкая и французская, возставали противъ узкой критики, провозгласили превосходство средневѣковаго искусства, находили въ католицизмѣ и въ народныхъ легендахъ больше глубины, чѣмъ въ произведеніяхъ современной литературы. Стремленіе глубже проникнуть въ жизнь привело къ презрѣнію дѣйствительнаго, настоящаго. Средніе вѣка и востокъ стали идеаломъ, представляя то достоинство, что не были настоящее и въ тоже время не были классицизмъ, который былъ уже испробованъ и противъ котораго юная романтическая школа повсюду возставала. Но при этомъ сходствѣ нѣмецкая и французская школы имѣли также между собой и рѣзкое различіе. Шлегели, Тикъ, Новалисъ, Вернеръ, не имѣли противъ себя врагомъ твердо установившагося національнаго вкуса, какъ это выпало на долю Виктора Гюго, Дюма, Альфреда де-Виньи. Напротивъ, они нашли въ своемъ народѣ большую поддержку, такъ какъ ихъ воззрѣнія были только дальнѣйшимъ развитіемъ уже господствовавшихъ стремленій. Такъ напр. ихъ критическія воззрѣнія были ни что иное, какъ ликованіе о побѣдахъ, уже одержанныхъ Лессингомъ, Гердеромъ, Гете, Шиллеромъ. Шлегели не сражались,—они стояли на полѣ сраженія, которое было уже кончено, и пѣли гимнъ побѣды надъ тѣлами убитыхъ. Фридрихъ Шлегель, безспорно самый сильный критическій талантъ этой школы, началъ свое литературное поприще съ антологіи изъ произведеній Лессинга: *Lessing's Geist: eine Blumenlese seiner Ansichten*, и кончилъ поклоненіемъ Филиппу Второму и жестокому Альбъ и провозглашеніемъ Кальдерона болѣе великимъ поэтомъ, чѣмъ Шек-

спирь,—онъ представляетъ собой все развитіе нѣмецкой романтической школы отъ самаго ея начала до конца.

Фихте, Шеллингъ, Шлейермахеръ, Зольгеръ были философами этой школы. Первые два были творцами знаменитаго въ свое время и теперь почти уже совершенно забытаго принципа «ироніи», который, какъ доказалъ Гегель <sup>1)</sup>, не только не есть принципъ, но не былъ никогда примѣняемъ даже и самими романтиками. Нельзя не признать, что Тикъ и А. В. Шлегель оказали переводомъ Шекспира большую услугу Германіи; хотя этотъ переводъ вовсе не такъ точенъ, какъ обыкновенно думаютъ, мѣстами даже весьма слабъ и грубо извращаетъ оригиналъ, тѣмъ неменѣе онъ ни въ какой литературѣ не имѣетъ себѣ равнаго и оказалъ ту услугу, что, благодаря ему, Шекспиръ сталъ въ Германіи столь же общезвѣстенъ, какъ и въ самой Англіи.

Борьба противъ французскаго вліянія, поклоненіе Шекспиру, усердіе, съ какимъ они поддерживали усилія Гердера создать литературу балладъ и возстановить вкусъ къ готической архитектурѣ,—во всемъ этомъ романтики какъ нельзя болѣе сходились съ общимъ теченіемъ. Также совершенно совпадалъ съ національными стремленіями провозглашенный ими принципъ, что мифологія, символическія легенды и поэзія суть одно, нераздѣльное <sup>2)</sup>, а изъ этого принципа ясно вытекала необходимость новой религіи или, по крайней мѣрѣ, новой мифологіи, такъ какъ «самый главный недостатокъ и порокъ всей новѣйшей поэзіи состоитъ именно въ томъ, что она не имѣетъ никакой мифологіи» <sup>3)</sup>.

Между тѣмъ, какъ Фихте, Шеллингъ и Шлейермахеръ томились желаніемъ создать новую философію и новую религію, романтикамъ наконецъ стало ясно, что мифологія не есть такая вещь, которую бы можно было создать по востребованію, но въ то же время, считая мифологію неизбѣжною необходимостію, они не нашли другаго выхода, какъ обратиться къ католицизму, къ его святымъ легендамъ и святымъ героямъ. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ напр. Тикъ и А. В. Шлегель, обратились къ католицизму

---

<sup>1)</sup> Aesthetik, I, p. 84 — 90.

<sup>2)</sup> F. SCHLEGEL, *Gespräche über Poesie* p. 263.

<sup>3)</sup> Ibid. p. 247.

только изъ поэтическаго энтузіазма и дилетантизма, но другіе, какъ напр. Ф. Шлегель и Вернеръ, съ полнымъ убѣжденіемъ, и приняли католицизмъ со всѣми его послѣдствіями.

Зольгеръ называлъ иронію «дочерью мистицизма», а какъ высоко цѣнили романтики мистицизмъ, это хорошо извѣстно всякому, кто читалъ Новалиса. Быть мистикомъ значило быть поэтичнымъ и глубокимъ, и критики романтической школы превозносили средне-вѣковыя уродливости ради ихъ глубокаго спиритуализма, противопоставляя ихъ языческому матеріализму Гете и Шиллера. Разъ выступивъ на этотъ путь, романтическое направленіе должно было быстро дойти до крайнихъ предѣловъ нелѣпости. Искусство сдѣлалось слугою религіи. Признано было несомнѣнною истиною, что искусство всегда процвѣтало, когда служило религіи, и можетъ процвѣтать только при этомъ условіи,—и потомъ изъ этой истины выводились странныя заключенія. Искусство сдѣлалось орудіемъ пропаганды. Фра-Анжело и Кальдеронъ стали высшими идеалами. Вернеръ былъ провозглашенъ колоссальнымъ художникомъ. Такъ прославлялъ его Вакендорфъ, написавшій при сотрудничествѣ Тика *Herzensergiessungen eines Kunstliebenden Klosterbruders*, чтобы доказать, какъ говоритъ Гете, что такъ какъ нѣкоторые монахи сдѣлались художниками, то слѣдовательно всѣ художники должны поступить въ монахи. Вѣра должна была произвести чудеса въ искусствѣ. Въ набожномъ чтеніи Библіи видѣли вѣрнѣйшее средство уподобиться Фра Анжелико и Ванъ Эйку; въ власяницѣ думали найти высшее вдохновеніе. Римская церковь своею миеологіей привлекала къ себѣ живописцевъ толпами. Борнелиусъ и Овербекъ посвятили свои, несомнѣнно высокія, дарованія усиліямъ воскресить умершія формы первоначальнаго христіанскаго искусства, подобно тому какъ Гете и Шиллеръ направили свои усилія къ воскрешенію умершихъ формъ греческаго искусства. Овербекъ, занимавшійся живописью въ монастырѣ, до такой степени проникся аскетическимъ духомъ, что отказывался рисовать съ живыхъ моделей изъ боязни, чтобы его произведенія не вышли слишкомъ *натуральны*, такъ какъ вѣрность природѣ считалась прегрѣшеніемъ противъ высшихъ требованій спиритуализма. Нѣкоторые имѣли достаточно художческаго инстинкта, чтобы не впасть въ подобныя крайности, но другіе, менѣе одаренные и болѣе бого-

боязненные, доводили свои принципы до самых крайних нецѣностей. Эти реформаторы въ значительномъ числѣ поселились въ Римѣ, и даже самихъ католиковъ наумляли не менѣе, чѣмъ протестантовъ. Цезарь Мазини, въ своемъ сочиненіи *Dei Puristi in Pittura*, описываетъ ихъ слѣдующимъ образомъ. «Въ 1809 г., нѣсколько молодыхъ людей изъ сѣверной Германіи поселились въ Римѣ. Они отреклись отъ протестантизма, облеклись въ средневѣковое одѣяніе и принялись проповѣдывать, что будто живопись умерла съ Джіотто и что для воскрешенія ея необходимо возвратиться къ старому стилю. Маской благочестія они прикрывали свое собственное ничтожество. Работѣнные поклонники самой варварской эпохи искусства, они провозглашали пигмеевъ гигантами, хотѣли воротить насъ къ варварскому стилю Буффальмакко, Каландрино, Паоло Уччелло, когда мы имѣемъ Рафаэля, Тиціана, Корреджіо».

Нельзя не признать однако, что романтики, при всей ложности ихъ доктрины, произвели рѣшительный переворотъ не только въ литературѣ, но и въ живописи, — что если теперь произведенія Фра Анжело, Гирландайо и Массачіо доставляютъ намъ высокое наслажденіе, и мы стали способны, отрѣшаясь отъ мелкихъ предубѣждений, глубоко интересоваться произведеніями Джіотто, Готцолми или Гвидо д'Ареццо, чувствовать въ нихъ присутствіе высокой художественности, еще не нашедшей себѣ соответственнаго художественнаго выраженія, то этимъ обязаны романтикамъ. Въ поэзіи романтики потерпѣли полную неудачу, но въ живописи они имѣли замѣчательный успѣхъ. Какого бы мы ни были мнѣнія о нѣмецкой романтической школѣ, не можемъ мы не признать, что Овербекъ, Корнелиусъ, Шадовъ, Гессъ, Лессингъ, Гюбнеръ, Зонъ и Каульбахъ были высоко талантливые художники и что до нихъ Германія вовсе не имѣла никакихъ живописцевъ.

Возвратимся къ Гете. Шиллеръ вовлекъ его въ безконечное теоризированіе. Друзья философствовали о разграниченіи эпической и драматической поэзіи, изучали Аристотеля, и результатомъ этого былъ трактатъ Гете *Ueber epische und dramatische Poesie*. Какъ видно изъ ихъ переписки, каждый свой шагъ они подвергали теоретической оцѣнкѣ. Гете съ энтузіазмомъ читалъ Вольфовы *Prolegomena* къ Гомеру и въ первое время совершенно согласился съ

Вольфомъ, но потомъ вернулся къ своему прежнему мнѣнію. Размышленія о происхожденіи эпической поэзіи навели его на размышленія о происхожденіи поэзіи еврейской, а произведеніе Эйхгорна: *Введение къ Ветхому завету* побудило его сдѣлать попытку къ новому объясненію странствованій Израильтянъ. Это объясненіе онъ впоследствии помѣстилъ въ примѣчаніяхъ къ *Westöstliche Divan*.

Онъ не ограничился теоретическимъ изученіемъ эпоса, но и самъ пробовалъ свои силы въ этомъ родѣ. Въ это время написалъ онъ лучшую изъ своихъ поэмъ, *Hermann und Dorothea*, составилъ планъ *Ахиллеиды* и отчасти выполнилъ его; также составилъ планъ поэмы *Die Jagd*, который остался невыполненнымъ и потомъ превратился въ рассказъ прозой подъ заглавіемъ *die Novelle*. Этотъ 1797 годъ, кромѣ того, замѣчательнъ какъ «годъ балладъ»; оба поэта, дружески соревнуя другъ другу, ознаменовали этотъ годъ лучшими своими произведеніями въ этомъ родѣ; достаточно сказать, что въ этомъ году Гете написалъ: *die Braut von Korinth, der Gott und die Bajadere, der Schatzgräber, der Zauberlehrling*. Онъ писалъ къ Кернеру (это письмо не издано): «Вы уже конечно знаете отъ Шиллера, что мы пробуемъ наши силы въ балладахъ. Опыты Шиллера, какъ вы знаете, весьма удачны; я бы желалъ только, чтобъ мои баллады въ какомъ-либо отношеніи были достойны стоять наряду съ его произведеніями въ этомъ родѣ. Онъ гораздо компетентнѣе, чѣмъ я, въ этомъ родѣ поэзіи».

Въ этомъ же 1797 г. онъ снова принялся за *Фауста* и написалъ *die Zueignung, der Prolog im Himmel* и интермедію *Oberon's und Titania's goldene Hochzeit*. Посѣщеніе археолога Гирта прервало его работу надъ *Фаустомъ*; начались горячія бесѣды объ искусствѣ и сѣверные фантомы уступили мѣсто воспоминаніямъ объ Италіи. Поэтъ отложилъ въ сторону *Фауста* и принялся писать статью о Лаокоонѣ. Въ это время въ немъ снова пробудились пылкія стремленія въ Италію. Жажда къ знанію была въ немъ неутолима; ему все казалось, что онъ недостаточно богатъ матеріаломъ. Шиллеръ, у котораго матеріальный запасъ былъ значительно бѣднѣе, чѣмъ у Гете, но который былъ болѣе наклоненъ къ творчеству, находилъ, что новая поѣздка въ Италію



только затруднить Гете новымъ излишнимъ матеріаломъ, и убѣждалъ Мейера отговорить Гете отъ этой поѣздки. Гете не поѣхалъ, и Шиллеръ, по моему мнѣнію, былъ въ этомъ случаѣ совершенно правъ: Гете достигъ въ то время такого пунта, что ему прежде всего надо было дать форму тому матеріалу, который уже имѣлъ.

Въ этомъ же году, въ іюлѣ мѣсяцѣ, совершилъ онъ свою третью поѣздку въ Швейцарію. Во Франкфуртѣ онъ представилъ Христину и сына своей матери, которая приняла ихъ чрезвычайно радушно, и такимъ образомъ они провели во Франкфуртѣ нѣсколько весьма пріятныхъ дней. Мы не видимъ надобности слѣдовать за нимъ въ этомъ путешествіи, такъ какъ оно не имѣетъ никакого другаго біографическаго интереса, кромѣ того только, что онъ въ это время задумалъ писать поэму, которой героемъ долженъ былъ быть Вильгельмъ Тель, и даже началъ съ этою цѣлью изучать мѣстность и народъ. Но потомъ онъ оставилъ это намѣреніе, и весь собранный съ этой цѣлью матеріалъ передалъ Шиллеру, который воспользовался имъ съ такимъ искусствомъ, что даже изумилъ своего друга. При такомъ же братскомъ сотрудничествѣ писался *Валленштейнъ*. Но не справедливо мнѣніе, бывшее одно время въ Германіи въ большомъ ходу, будто Гете написалъ нѣкоторыя части этого произведенія. Онъ самъ засвидѣтельствовалъ, что написалъ только двѣ, и то весьма неважныя, строки и помогалъ Шиллеру только своими совѣтами. Тѣмъ неменѣе, когда Валленштейнъ въ первый разъ появился на сценѣ, это было для Гете какъ-бы личнымъ торжествомъ.

Весною 1798 года теорія цвѣта и Шеллингова натурфилософія едва совсѣмъ не отвлекли его отъ поэзіи, но Шиллеръ удержалъ его. Онъ снова принялся за Фауста и написалъ послѣднія трагическія сцены первой части. Лѣтомъ онъ часто посѣщалъ Шиллера въ Іенѣ и, слѣдовательно, много занимался поэзіей. Въ это время поэтъ колебался, какъ замѣчаетъ Шеферъ, между Ахиллесомъ и Телемъ, между древнимъ и новымъ міромъ, не зная, которому отдать преимущество, но окончательно не склонился ни на ту, ни на другую сторону, такъ какъ еще не успѣлъ совершенно установиться въ своей эпической теоріи. Чтеніе *Илиады* «снова перенесло его въ сферу восторговъ, надеждъ и отчаянія».

Едва оставилъ онъ Іену, какъ, по собственному признанію, былъ принятъ другимъ магнитомъ. Этотъ магнитъ былъ журналъ, посвященный искусству, — *Протилей*. Онъ былъ также занятъ передѣлкою театра. На сценѣ этого театра 12 октября 1798 г. въ первый разъ были представлены *Лагерь Валленштейна* и *Прологъ*. 30 января 1799 г., въ день рожденія герцогини Луизы, былъ въ первый разъ представленъ *Пикколомини*, а 20 апрѣля — *Смерть Валленштейна*.

Въ этомъ же году, т. е. 1799, молодой адвокатъ <sup>1)</sup> въ Эдинбургѣ издалъ свой переводъ *Гетца фонъ-Бермизингенъ* и вступилъ такимъ образомъ на литературное поприще, гдѣ ему суждено было стяжать славу, не менѣе громкую, чѣмъ слава Гете. Въ декабрѣ этого года, великодушіе Карла Августа дало Шиллеру возможность переселиться изъ Іены въ Веймаръ, и друзья, находясь теперь въ непрерывномъ между собой общеніи, дружно предались достиженію дорогихъ для нихъ цѣлей, и особенно созданію національной сцены. Я воспользуюсь этой переменною въ ихъ положеніи, чтобы вставить главу о поэмѣ: *Herman und Dorothea*, которая въ первый разъ появилась въ печати въ 1796—97 гг., а потомъ представлю читателю въ одной общей картинѣ разбросанныя свѣдѣнія о Веймарской сценѣ.

---

## ГЛАВА IV.

### Германъ и Доротея.

Удовольствіе, какое доставляетъ всѣмъ намъ знакомство съ оригинальными рассказами, изъ которыхъ Шекспиръ создалъ свои дивныя драмы, заключается въ наслажденіи видѣть, какъ можетъ воспользоваться геній малѣйшимъ намекомъ, какъ его творческая сила способна вдохнуть безсмертную жизнь въ самый безжизнен-

---

<sup>1)</sup> Вальтеръ-Скотъ.

ный матеріалъ. При этомъ мы приходимъ къ убѣжденію, что истинный художникъ никогда не можетъ имѣть недостатка въ сюжетахъ, если только у него есть глаза, чтобъ ихъ видѣть,—что великіе поэты не имѣютъ обыкновенія затруднять себя исцаніемъ богатыхъ сюжетовъ; малѣйшій намекъ, одна отрывочная фраза могутъ стать для нихъ зерномъ великаго произведенія.

Есть большое сходство между матеріаломъ, который былъ найденъ Шекспиромъ у Банделло, и между тѣмъ стариннымъ рассказомъ <sup>1)</sup>, изъ котораго Гете создалъ одну изъ самыхъ безукоризненныхъ новѣйшихъ поэмъ. Вотъ вкратцѣ содержаніе этого сказа: одинъ богатый и важный гражданинъ Альтмуля напрасно старается склонить своего сына къ женитьбѣ. Эмигранты изъ Зальцбурга проходятъ черезъ городъ и между ними его сынъ видитъ дѣвушку, которая ему очень нравится; онъ справляется о ея семьѣ, о ея поведеніи, и, будучи доволенъ собранными свѣдѣніями, спѣшитъ къ отцу и объявляетъ, что если ему не позволяютъ жениться на этой дѣвушкѣ, то онъ на всю жизнь останется холостякомъ. Отецъ, поддерживаемый пасторомъ, старается отклонить его отъ этого намѣренія; но такъ какъ ихъ усилія оказываются тщетными, то пасторъ совѣтуетъ отцу дать согласіе на бракъ и отецъ соглашается. Сынъ отправляется къ дѣвушкѣ и проситъ ее вступить въ услуженіе къ его отцу. Она соглашается, и онъ представляетъ ее отцу. Но отецъ, не подозрѣвая продѣлки сына и полагая, что они между собой уже о всемъ переговорили, спрашиваетъ, любитъ ли она его сына. Дѣвушка сначала думаетъ, что надъ ней смѣются, но, узнавъ, что серьезно желаютъ принять ее въ семью, охотно принимаетъ предложеніе и вынимаетъ изъ-за пазухи кошелекъ съ двумястами дукатами, которые вручаетъ жениху, какъ свое приданое.

Таковъ рассказъ, послужившій темою для поэмы *Германъ и Доротея*. Рассказъ, какъ видите, читатель, весьма обыкновенный, но посмотрите, что сдѣлалъ изъ него Гете!

<sup>1)</sup> Das Liebthätige Gera gegen die Salzburgerischen Emigranten. Das ist: kurze und wahrhaftige Erzählung wie dieselben in der gräflich. Reuss-Plauischen Residenz-Stadt angekommen, aufgenommen und versorget, auch was an und von vielen derselben Gutes gesehen und gehöret worden. Лейпцигъ. 1732.

Дѣйствіе перенесено во времена французской революціи. Эмигранты покидаютъ свое отечество вслѣдствіе политическихъ событій. Мѣсто дѣйствія на правомъ берегу Рейна. Въ знойный, пыльный лѣтній полдень на улицахъ мирной деревушки происходитъ необычайное движеніе; всѣ толпятся, чтобъ видѣть эмигрантовъ. Содержатель гостиницы Золотаго Льва, сидя на порогѣ своего дома, дивится любопытству своихъ согражданъ, и видя, что жена его посылаетъ сына Германа раздать несчастнымъ бѣлье, пищу, питье, одобряетъ ея поступокъ, такъ какъ «давать есть долгъ тѣхъ, кто имѣетъ».

Но вотъ возвращаются назадъ нѣкоторые изъ любопытныхъ. Посмотрите, какъ пыльны ихъ башмаки, какъ горятъ ихъ лица! Щеки у нихъ досыхаютъ; съ нихъ струится потъ. Старая чета довольна, что оставалась спокойно дома, довольствуясь тѣмъ, что ей расскажутъ. Приходитъ пасторъ и аптекаръ, усаживаются на деревянной скамьѣ, отряхиваютъ пыль съ своихъ башмаковъ, обмахиваютъ свои пылающіе лица носовыми платками и начинаютъ рассказывать, что видѣли. Слушая рассказъ, трактирщикъ вздыхаетъ и выражаетъ надежду, что сынъ его успѣетъ догнать эмигрантовъ и раздастъ имъ посланную помощь, потому онъ предлагаетъ своимъ собесѣдникамъ укрыться отъ жару въ комнату, гдѣ воздухъ свѣжѣе, гдѣ ихъ не будутъ беспокоить мухи, и прохладиться фляжкой рейнвейна. За стаканомъ вина трактирщикъ выражаетъ желаніе видѣть своего сына женатымъ. Вотъ все содержаніе первой пѣсни; но какъ ни скуденъ, повидимому, этотъ матеріалъ, поэтъ сумѣлъ ему придать удивительную жизнь и прелесть,—въ каждомъ стихѣ слышится свѣжесть деревенскаго воздуха.

Во второй пѣсни Германъ возвращается и застаетъ отца за бесѣдой съ своими друзьями. Проницательные глаза пастора замѣчаютъ въ немъ перемѣну. Германъ рассказываетъ, какимъ образомъ онъ исполнилъ свое порученіе. Догнавъ эмигрантовъ, онъ подошелъ къ телегѣ, запряженной волами; въ ней сидѣла бѣдная женщина съ ребенкомъ только-что родившимся. Волами управляла дѣвушка, которая обратилась къ нему съ довѣріемъ благородной души, прося его помочь бѣдной женщинѣ, которая только-что родила. Проникнутый состраданіемъ и чувствуя, что эта дѣвушка

можетъ безпристрастнѣе, чѣмъ кто-либо другой, раздать принесенную имъ провизію, онъ вручаетъ ей все, чѣмъ былъ снабженъ. Вслѣдъ затѣмъ они расстаются. Дѣвушка, исполненная чувства благодарности, продолжаетъ далѣе свой печальный путь, а Германъ, задумавшись, направляется къ дому. Любовь охватываетъ его сердце и по выраженію его лица пасторъ угадываетъ въ немъ перемѣну.

Выслушавъ разсказъ Германа, аптекаръ выражаетъ удовольствіе, что не имѣетъ ни жены, ни дѣтей, которыя бы обременяли его заботами въ эти трудныя времена; «холостому легче», говоритъ онъ. Но Германъ не раздѣляетъ его мнѣнія. «А развѣ легко — возражаетъ онъ — человѣку чувствовать себя одинокимъ среди радостей и печалей и не имѣть съ кѣмъ подѣлиться ими! И никогда такъ не желалъ жениться, какъ теперь; есть много хорошихъ дѣвушекъ, нуждающихся въ покровительствѣ мужа, и много мужчинъ, нуждающихся въ трудныя минуты жизни въ утѣшеніяхъ жены». На это отецъ его восклицаетъ, улыбаясь. «Твои слова радуютъ меня, ты рѣдко говоришь такъ разсудительно». И мать также одобряетъ сына, приводя въ примѣръ свое супружество. Она съ удовольствіемъ вспоминаетъ о днѣ своей помолвки: это произошло въ минуту большаго горя. — пожаръ уничтожилъ все ихъ имущество, — но въ этотъ горестный часъ она стала невѣстой. Отецъ вмѣшивается въ разговоръ, подтверждаетъ слова матери, но видимо желаетъ предостеречь сына, чтобы тотъ не вздумалъ подражать отцу. Безпокойство отца изображено съ удивительнымъ искусствомъ и юморомъ. Бывши самъ бѣднякомъ, онъ женился на дѣвушкѣ, ничего не имѣвшей, но теперь, составившись и разбогатѣвъ, приходитъ въ смущеніе при мысли, какъ можетъ человѣкъ жениться, не имѣя обезпеченныхъ средствъ. Онъ описываетъ затрудненія содержать домъ, выставляетъ преимущества состоянія и заключаетъ положительнымъ внушеніемъ сыну, что надѣется на него, что онъ введетъ къ нему въ домъ богатую невѣстку. Онъ указываетъ на дочерей богатаго сосѣда и высказываетъ желаніе, чтобы Германъ женился на одной изъ нихъ. Но Германъ чувствуетъ, что сердце его уже принадлежитъ другой, — кромѣ того онъ издавна уже питаетъ нерасположеніе къ этимъ богатымъ сосѣдкамъ, которыя трунятъ надъ его простоду-

шіемъ и разъ подняли его на смѣхъ, потому, что онъ не зналъ, что такое Памино и Тамино. Это раздражаетъ отца, онъ называетъ сына мужикомъ безъ всякаго образованія, объявляетъ съ сердцемъ, что его невѣстка будетъ не крестьянка, а дѣвушка, умѣющая играть на фортепьянахъ и которая окружить себя лучшимъ обществомъ. Германъ молча удаляется. Этимъ оканчивается вторая пѣсня.

Третья пѣсня начинается продолженіемъ послѣдней сцены второй пѣсни. Раздраженный трактирщикъ продолжаетъ ораторствовать. По его мнѣнію сынъ долженъ стоять выше на общественной лѣстницѣ, чѣмъ отецъ, потому что иначе что же станется съ семьей, съ народомъ, если не будетъ постоянного прогресса отъ отца къ сыну!.. «Ты всегда несправедливъ къ твоему сыну, — возражаетъ мать, — и желая невозможнаго самъ обманываешь себя. Мы не должны питать надежды сдѣлать изъ нашихъ дѣтей то, чего хотимъ. Такихъ, какими Богъ ихъ далъ намъ, мы должны ихъ лелѣять и любить, воспитать ихъ какъ только можемъ лучше, потомъ предоставить ихъ собственнымъ наклонностямъ. Одному даны однѣ способности, а другому иныя. Всякій счастливъ по своему. Я не могу пожаловаться на Германа, онъ хорошій человѣкъ. Но ежедневными выговорами и упреками ты его собьешь съ толку.» Сказавъ это, она уходитъ искать сына. «Женщины чрезвычайно странны, — говоритъ трактирщикъ, улыбаясь, по уходѣ жены, — онѣ настоящія дѣти, онѣ хотятъ все дѣлать по-своему и при этомъ требуютъ, чтобы ихъ хвалили и ласкали». Старый аптекаръ принимается развивать далѣе мнѣніе трактирщика о необходимости постоянного прогресса, описываетъ, какъ бы хотѣлось ему улучшить свое жилище и какъ его постоянно удерживаетъ отъ этого страхъ издержекъ, и его рѣчь, исполненная спокойнаго юмора, превосходно изображаетъ его характеръ. Вообще характеры въ этой пѣсни очерчены весьма тонко и рельефно; мать и отецъ, пасторъ и аптекаръ стоятъ передъ нами какъ живые, каждый съ своимъ самобытнымъ характеромъ.

Въ четвертой пѣсни мать ищетъ сына. Описаніе этихъ поисковъ представляетъ прекрасный образчикъ описательной поэзіи Гете; это рядъ картинъ, безъ всякихъ метафоръ, безъ всякихъ прикрасъ, къ которымъ прибѣгаетъ большинство поэтовъ; но тѣмъ неменѣе это въ высшей степени оживленные и живописныя кар-

тины. Я былъ бы не прочь привести ихъ здѣсь всѣ цѣликомъ; но читатель, знающій нѣмецкій языкъ, можетъ прочесть ихъ въ оригиналѣ, а цитировать ихъ въ переводѣ было бы несправедливостью по отношенію къ автору. Мать отправляется сначала въ конюшню, гдѣ стоитъ любимая лошадь ея сына, потомъ идетъ въ садъ (не забывая при этомъ приподнять упавшія тычинки и счищать гусеницъ съ капусты, какъ это подобаетъ заботливой хозяйкѣ), а оттуда въ виноградникъ, гдѣ и находитъ своего Германа въ слезахъ подъ грушевымъ деревомъ. Тутъ между ними происходитъ прелестная сцена. Германъ объявляетъ о своемъ намереніи отправиться на защиту отечества; онъ краснорѣчиво описываетъ обязанность гражданъ проливать кровь за свою страну. Но мать понимаетъ очень хорошо, что не политическій энтузіазмъ заставляетъ его покинуть родительскій кровъ; она отгадываетъ его любовь къ дѣвушкѣ, которую онъ встрѣтилъ между эмигрантами, допрашиваетъ его, и онъ открываетъ ей свою душу. Да, онъ хочетъ удалиться изъ родительскаго дома, потому что любитъ Доротею, а отецъ запрещаетъ ему жениться на бѣдной. Онъ ропщетъ, что отецъ всегда былъ несправедливъ къ нему. Мать становится посредницею между сыномъ и отцемъ; она убѣждаетъ Германа сдѣлать первый шагъ къ примиренію съ отцемъ, она увѣрена, что отцовскій гнѣвъ не болѣе, какъ вспышка, и что сердечное желаніе Германа не будетъ отвергнуто. Лаская его этой надеждой, она приводитъ его домой.

Въ пятой пѣснѣ друзья продолжаютъ распивать изъ зеленыхъ стакановъ прохладительное рейнское вино и толкуютъ все о томъ же предметѣ. Мать и сынъ присоединяются къ нимъ. Мать напоминаетъ отцу, какъ они часто мечтали о томъ днѣ, когда Германъ выберетъ себѣ невѣсту. Этотъ день наступилъ. Выборъ его палъ на эмигрантку. Трактирщикъ выслушиваетъ свою жену въ зловѣщемъ молчаніи. Пасторъ встаетъ и присоединяетъ свою горячую просьбу къ просьбѣ Германа. Онъ смотритъ на этотъ выборъ какъ на внушеніе свыше и достаточно знаетъ Германа, чтобы положиться на его выборъ. Отецъ все-еще продолжаетъ хранить молчаніе. Осторожный аптекаръ совѣтуетъ не спѣшить. Онъ не довѣряетъ безусловно внушеніямъ свыше и предлагаетъ справиться о характерѣ дѣвушки, и такъ какъ его не легко обмануть,

береть на себя доставить вѣрные свѣдѣнія. Едвали есть надобность указывать на превосходство разсказа въ поэмѣ передъ стариннымъ разсказомъ, гдѣ влюбленный сначала справляется о характерѣ дѣвушки и потомъ уже рѣшается жениться на ней. Германъ не нуждается въ справкахъ, но и не отказывается отъ нихъ. Онъ настоятельно проситъ аптекаря отправиться и взять съ собою пастора; такимъ двумъ опытнымъ людямъ будетъ легко открыть истину. Что же касается до него, то ему заранѣе извѣстенъ результатъ этой попытки. Трактирщикъ, видя, что жена и друзья, всѣ противъ него, соглашается назвать Доротею своею дочерью, если свѣдѣнія, собранныя аптекаремъ и пасторомъ, окажутся вполне удовлетворительными. Оба посланника садятся въ телегу, Германъ вспрыгиваетъ на козла и быстро доставляетъ ихъ въ деревню. Прибывъ туда, они отправляются на поискъ. Германъ описываетъ имъ Доротею, чтобъ они могли узнать ее, и остается у лошадей ожидать ихъ возвращенія. Чрезвычайно живописно описаніе деревни, гдѣ эмигранты толпятся въ сараяхъ и садахъ. Улицы заставлены телегами, мужчины шумно суетятся около мычащихъ воловъ и ржущихъ лошадей; женщины усердно моютъ и сушатъ бѣлье на первой попавшейся изгороди, между тѣмъ какъ дѣти дрябаются въ ручьѣ. Два друга пробираются сквозь толпу, присутствуютъ при ссорѣ, утишаемой старымъ судьей, который сообщаетъ имъ удовлетворительныя свѣдѣнія насчетъ Доротеи. Этотъ эпизодъ полонъ прекрасныхъ картинъ и поэтическихъ мыслей. Друзья съ радостными лицами возвращаются къ Герману и объявляютъ ему, что онъ можетъ жениться на Доротей. Но между тѣмъ какъ они собирали свѣдѣнія о ней, онъ мучился сомнѣніями, согласится ли Доротея принять его предложеніе. Она можетъ-быть любить другаго, можетъ быть не захочетъ вступить въ домъ совершенно ей незнакомый. Онъ проситъ пастора и аптекаря ѣхать домой безъ него, хочетъ одинъ говорить съ Доротеею; если она согласится, онъ возвратится съ нею пѣшкомъ. Пасторъ беретъ вожжи, но осторожный аптекаръ, готовый довѣрить пастору спасеніе своей души, не желаетъ довѣрять свою жизнь его искусству править лошадьми. Пасторъ убѣждаетъ его въ своемъ умѣнii править и они исчезаютъ въ облакъ пыли. Германъ задумчиво смотритъ имъ въ слѣдъ.



Слѣдующія двѣ пѣсни чрезвычайно поэтичны. Германъ стоитъ у ручья и видитъ, что Доротея приближается съ кувшинами въ рукахъ. Онъ подходитъ къ ней и она дружески ему улыбается. Онъ спрашиваетъ ее, зачѣмъ она такъ далеко отошла отъ деревни, чтобъ почерпнуть воды. Она отвѣчаетъ, что трудъ ея вознагражденъ вполне тѣмъ, что даетъ ей возможность видѣть и благодарить его за благодѣяніе, которое онъ оказалъ несчастнымъ эмигрантамъ, и потомъ объясняетъ, что непредусмотрительные хозяева пустили воловъ и лошадей прогуливаться по ручью, вслѣдствіе чего вся вода въ деревнѣ сдѣлалась мутной. Они подходятъ къ ручью и садятся на камни. Доротея наклоняется и погружаетъ кувшинъ въ воду; онъ беретъ другой кувшинъ и также погружаетъ его; они видятъ свое изображеніе въ отражаемой ручьемъ небесной синевѣ, привѣтствуютъ другъ друга и дружески улыбаются. «Позвольте мнѣ напиться,» говоритъ съ восторгомъ юноша. Она подаетъ ему кувшинъ. Опершись на кувшины, они ведутъ сладкую бесѣду.

Она спрашиваетъ, что привело его сюда. Онъ смотритъ ей въ глаза и чувствуетъ себя счастливымъ, но не смѣетъ рѣшиться на признаніе. Онъ старается дать понять о своемъ желаніи посредствомъ косвенныхъ намековъ о необходимости въ домѣ молодой и дѣятельной женщины, которая бы смотрѣла за хозяйствомъ и ухаживала за его родными. Она думаетъ, что онъ желаетъ, чтобы она поступила служанкою къ нему, и, будучи сиротою и совершенно независимою, съ радостью соглашается на это предложеніе. Замѣтивъ ея ошибку, онъ боится ей открыть ее и думаетъ, что лучше не объяснять ей теперь своего намѣренія и постараться прежде приобрести ея любовь. «Пойдемте—говоритъ она, — дѣвушка бранить, если онъ долго болтаютъ у колодца». Они встаютъ и еще разъ смотрятъ въ ручей, отражающій ихъ образы, и сладостное упоеніе охватываетъ ихъ.

Онъ сопровождаетъ ее до деревни и въ любви, которую ей всѣ выказываютъ, видитъ лучшее доказательство, что сердце его не ошиблось въ выборѣ. Она прощается со всѣми и удаляется съ Германомъ, напутствуемая благословеніями и пожеланіями эмигрантовъ. Молча идутъ они въ направленіи къ заходящему солнцу, озаряющему краснымъ свѣтомъ грозовыя облака, темнѣю-

ція на горизонтѣ. Она проситъ его описать ей характеры людей, съ которыми будетъ жить. Онъ обрисовываетъ ей характеръ отца и матери. «А какъ же должна я обходиться съ вами, съ единственнымъ сыномъ моего будущаго хозяина?» спрашиваетъ она. Въ это время они подходятъ къ грушевому дереву и луна освѣщаетъ ихъ. «Спросите о томъ ваше сердце и слѣдуйте его внушеніямъ». Но онъ не рѣшается объявить прямо о своей любви, боясь получить отказъ. Молча садятся они и смотрятъ на луну. Она видитъ окно,—вотъ окно Германа, который надѣется, что оно вскорѣ будетъ ея окномъ. Они встаютъ, чтобъ продолжать свой путь, ноги ея скользятъ, она падаетъ въ его объятія, грудь ея покоится на его груди, щека ея касается его щеки; въ такомъ положеніи они остаются съ минуту,—онъ не смѣетъ ее прижать къ себѣ, а только поддерживаетъ. Спустя нѣсколько минутъ они входятъ въ домъ.

Конечно очеркъ, представленный мною, не можетъ дать понятія ни о прелести этихъ пѣсенъ, ни о прелести вообще всей поэмы; изъ описанія фіалки нельзя оцѣнить ея запахъ. Но, несмотря на всѣ недостатки очерка, онъ все-таки даетъ читателю съ воображеніемъ возможность составить себѣ болѣе полное понятіе о poemѣ. чѣмъ какое онъ могъ бы составить себѣ изъ эстетическаго разбора, предлагаемаго философскою критикою. Сдѣлавъ эту оговорку, будемъ продолжать далѣе нашъ рассказъ. Мать беспокоится о долгомъ отсутствіи Германа; ей не сидится спокойно и, замѣчая приближеніе бури, она довольно рѣзко порицаетъ двухъ друзей за то, что они оставили Германа, не увѣрившись въ согласіи дѣвушки. Аптекарь рассказываетъ, какимъ образомъ въ молодости его учили терпѣнію; въ это время отворяется дверь, и юная чета предстаетъ предъ радостные взоры собесѣдниковъ. Германъ вводитъ Доротею и сообщаетъ на ухо пастору, что между ними еще не было сказано ни слова о супружествѣ, — она полагаетъ, что ее наняли въ служанки. Трактирщикъ, желая быть предупредительнымъ, прямо приступаетъ къ дѣлу, обходится съ нею какъ съ своею дочерью и поздравляетъ ее съ хорошимъ выборомъ. Она краснѣетъ, оскорбляется, говоритъ съ упрекомъ, что не ожидала подобной встрѣчи, со слезами на глазахъ описываетъ свое безпомощное положеніе и невольно высказываетъ свою тайну,

что, тронутая великодушіемъ и благородствомъ Германа, дѣйствитель но чувствуетъ къ нему любовь, которую теперь ее укоряють. Послѣ это го она конечно не можетъ болѣе оставаться у нихъ, — и она уже го това удалиться съ растерзаннымъ сердцемъ, какъ недоразумѣніе объ ясняется, отецъ и мать согласны на ея бракъ съ ихъ сыномъ, несмотря на то, что у нея нѣтъ приданого, и Германъ, прижимая ее къ своему сердцу, чувствуетъ себя полнымъ силами противъ всѣхъ невзгодъ жизни.

Таково содержаніе поэмы *Германъ и Доротея*, написанной Гомеровскими гекзаметрами съ Гомеровской простотой. По принятому обыкновенію я долженъ былъ бы теперь заняться разрѣше ніемъ вопроса, бывшаго предметомъ безконечныхъ разсужденій, есть ли эта поэма эпическая или идиллическая, или идилличко-эпи ческая. Критики обыкновенно весьма щедры на различія и клас сификаціи, начинаютъ съ объясненія, что такое истинный эпосъ, чѣмъ отличается онъ отъ романтическаго эпоса и отъ мѣщанскаго эпоса, и затѣмъ приступаютъ къ вопросу, что такое *Германъ и Доротея*. Если подобная критика можетъ доставить пищу для ума и можетъ служить цѣлямъ литературы, то предоставимъ ее тѣмъ, кто чувствуетъ себя къ ней способнымъ. Что же касается до меня, то я нахожу бесполезнымъ затруднять себя вопросомъ, эпическая ли поэма *Германъ и Доротея*, или нѣтъ, или къ какому роду эпическихъ поэмъ она должна быть причислена. Это есть поэма, и ничего болѣе нельзя сказать о ней. Если она не похожа на всѣ прочія поэмы, то въ этомъ нѣтъ ничего дурнаго; если же она походитъ на какія-либо другія поэмы, то это сходство не увели чиваетъ ея прелести; это — поэма, полная жизни и оригинальныхъ красотъ; содержаніе ея весьма просто, завязка ея весьма незатѣй лива; она очевидно написана въ подражаніе Гомеру, но несмотря на то проникнута отъ начала до конца самой свѣжей современ ностью. Это — самая идиллическая изъ всѣхъ идиллій. Изъ всѣхъ поэмъ, описывающихъ сельскій бытъ и сельскій людъ, это есть поэма наиболѣе вѣрная дѣйствительности, и, сравнивая ее съ Теокритомъ или Виргиліемъ, съ Гварини, или Тассомъ, съ Флоріаномъ или Деллилемъ, съ Гесснеромъ или Томсономъ, кри тикъ съ удивленіемъ находитъ въ ней полное отсутствіе всякихъ поэтическихъ прикрасть, всякой «идеализаціи». Ея поселяне не по хожи на куколъ изъ дрезденскаго фарфора или на фигуры, вы

шедшія изъ-подъ кисти Ланкрета и Ватто; они настолько вѣрны дѣйствительности, насколько это позволяетъ поэзія. Характеры превосходно очерчены нѣсколькими смѣлыми штрихами. Самъ Шекспиръ не болѣе драматиченъ въ изображеніи характеровъ. Трактирщикъ, его жена, пасторъ, старый разсудительный аптекаръ, стоятъ предъ нами какъ живые. Германъ, честный, откровенный, простодушный и застѣнчивый поселянинъ, — Доротея здоровая, любящая, сильная, простодушная сельская дѣвушка, суть идеальные характеры въ наилучшемъ значеніи этого слова, т. е. самые естественные. «Идеальные поселяне» съ греческими чертами лица и въ оѣль безукоризненной оѣлизны, столь любимые плохими живописцами и плохими поэтами, не похожи на личности, описываемыя Гете, который слишкомъ любилъ природу, чтобъ идеализировать ее.

Достойно замѣчанія, что Гете, подобно Вальтеръ-Скоту, находилъ большое удовольствіе въ бесѣдахъ съ простымъ народомъ, къ великому удивленію его невѣстки (отъ нея въ числѣ многихъ другихъ фактовъ я узналъ и этотъ), которая не могла понять, какое удовольствіе этотъ великій человѣкъ могъ находить въ разговорѣ со старухой, пекущей хлѣбъ, и со старымъ плотникомъ, стругающимъ сосновую доску. Онъ любилъ бесѣдовать съ своимъ кучеромъ, объяснялъ ему тайны сценическаго искусства и забавлялся его замѣчаніями. Почти всегда величественный и молчаливый въ кругу навязчивыхъ путешественниковъ или литераторовъ, исключительно вращающихся въ книжномъ мірѣ, онъ былъ разговорчивъ и любезенъ съ каждымъ встрѣчнымъ простолудинномъ; это происходило вслѣдствіе глубокаго уваженія, которое онъ питалъ ко всякой самостоятельной личности. Плотникъ, который былъ дѣйствительнымъ плотникомъ, интересовалъ его: но плотникъ въ праздничномъ платьѣ корчившій изъ себя мѣщанина, нашелъ бы его такимъ же молчаливымъ и величественнымъ, какимъ онъ былъ со всякимъ человѣкомъ не имѣющимъ ничего самобытнаго. Что Вальтеръ Скотъ почерпнулъ изъ сношеній съ народомъ, это ясно каждому кто умѣетъ цѣнить его произведенія; Гете такъ же много почерпнулъ изъ этого источника, какъ это свидѣтельствуетъ большая часть его произведеній. въ особенности же *Германъ и Доротея*, *Фаустъ* и *Вильгельмъ Мейстеръ*.

Та же объективная истинность проявляется у него и въ описаніи-

яхъ мѣстностей. Онъ не прибѣгаетъ ни къ риторическимъ фигурамъ, ни къ метафорамъ, а прямо рисуетъ мѣстность, не говорить, на что она похожа, а прямо говорить, что она есть. Вслѣдствіи чего эта поэма есть въ полномъ смыслѣ народная (при своемъ первомъ появленіи она произвела глубокое впечатлѣніе на простонародіе, была напечатана на самой дешевой бумагѣ и продавалась по самой низкой цѣнѣ, какъ это подобаетъ простонародной книгѣ) и была въ то же время любимѣйшею поэмою высокообразованныхъ читателей. Но между этими двумя классами существуетъ еще третій классъ, хотя образованный, но образованный не вполне, который не умѣетъ отличить поэтической простоты отъ пошлости. Подобные читатели нуждаются въ риторическомъ языкѣ и не умѣютъ цѣнить художественности, которая обходится безъ нихъ; имъ необходимы потрясающія событія и характеры, выступающіе на ходуляхъ.

Отклонивъ вопросъ о томъ, есть ли это эпическая поэма или нѣтъ, я могу оставить въ сторонѣ и всѣ вопросы относительно отсутствія уподобленій, эпизодовъ и сверхъестественнаго, — что по увѣренію критиковъ составляетъ необходимую принадлежность эпической поэмы, — а также и другіе второстепенные вопросы о единствѣ дѣйствія, времени и мѣста. Такимъ образомъ объемъ этой главы значительно уменьшится, но читатель отъ этого ничего не потеряетъ. Нахожу нужнымъ остановить вниманіе читателя только на двухъ пунктахъ, о которыхъ скажу нѣсколько словъ.

Вопервыхъ о сюжетѣ поэмы. Будучи взятъ изъ печальной современной дѣйствительности, имѣя сценой страну, опустошенную французской революціей, онъ подалъ поводъ отыскивать въ немъ политическое значеніе. Шиллеръ несомнѣнно воспользовался бы подобнымъ сюжетомъ, чтобъ сказать нѣсколько блестящихъ, краснорѣчивыхъ фразъ о свободѣ, которыя заставили бы трепетать сердца. Но это было не въ характерѣ Гете. Онъ говорилъ Мейеру, что хотѣлъ «въ формѣ эпической поэмы показать въ непосредственной чистотѣ жизнь маленькаго германскаго города и въ то же время представить въ миньятюрномъ зеркалѣ отраженіе великихъ міровыхъ событій» <sup>1)</sup>. Предоставляя другимъ разрѣшеніе политическихъ

<sup>1)</sup> Briefe an und von Gethe.

проблемъ, онъ сосредоточилъ по обыкновенію все свое вниманіе на индивидуумахъ. Въмѣсто декламаций о свободѣ, онъ старался научить людей быть свободными, и подъ словомъ свобода онъ понималъ полное, здоровое развитіе индивидуальности, а не перемѣну политическихъ учреждений. Въ одной изъ *Lezioni* онъ говоритъ.

Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche, vergebens.  
Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus.

[Тщетно надѣетесь вы, Германцы, образовать изъ себя народъ; для этого,—и вы это можете, — постарайтесь прежде образовать изъ себя свободныхъ людей.]

Въ этомъ смыслѣ *Германъ и Доротея* можетъ быть признана гимномъ семейной жизни, торжественнымъ оправданіемъ вѣчныхъ насущныхъ потребностей человѣка.

Касательно второго пункта, а именно слога, приведемъ здѣсь мнѣніе Шиллера, высказанное имъ въ письмѣ къ Мейеру. «Какъ вамъ извѣстно, это послѣднее время мы не оставались въ бездѣйствіи, а менѣе всѣхъ нашъ другъ, который въ эти послѣдніе годы дѣйствительно превзошелъ самъ себя. Вы навѣрно читали его эпическую поэму и согласитесь, что это самое высокое художественное произведеніе, не только въ ряду всѣхъ его собственныхъ произведеній, но и въ ряду всѣхъ созданій новѣйшей поэзіи. Оно писалось на моихъ глазахъ и я почти столько же восторгался самымъ творчествомъ, какъ и твореніемъ. Между тѣмъ какъ писатели, подобные намъ, принуждены съ большими усиліями собирать плодъ, сортировать, очищать его, чтобъ современемъ произвести что-нибудь посредственное, ему стоитъ только слегка тряхнуть дерево, чтобы къ нему посыпались самые прекрасные, спѣлые, крупные плоды. Невѣроятно, съ какой легкостью онъ пожинаетъ теперь плоды хорошо употребленной жизни и прочнаго образованія, какъ теперь осмысленны и вѣрны всѣ его шаги, какъ ясное пониманіе самого себя и окружающаго его міра предохраняетъ его отъ всякихъ бесплодныхъ стремленій и исканій. Но теперь онъ съ вами и вы можете лично убѣдиться въ этомъ. Вѣроятно вы согласитесь также со мной, что на той высотѣ, на какой онъ стоитъ теперь, ему слѣдуетъ позаботиться о томъ, чтобъ выразить

то, что имѣть, а не отправляться на поиски за новымъ матеріаломъ; однимъ словомъ ему слѣдуетъ теперь вполне посвятить себя поэтическому творчеству».

Гомерическая форма вполне соответствуетъ этого рода повѣствованію, и Фоссъ еще ранѣе популяризировалъ ее въ своей *Луизѣ*. Я попрошу читателя сравнить слогъ этой поэмы со слогомъ последней книги *Вильгельма Мейстера*, написанной около того же времени, — онъ тогда увидитъ, насколько выигралъ Гете, покинувъ прозу для поэзіи. Ни одинъ изъ недостатковъ его прозы не встрѣчается въ его поэзіи. Языкъ ея такъ же чистъ, какъ кристалъ, и также гладокъ; всѣ подробности безъ исключенія имѣютъ значеніе; нельзя урѣзать ни одного стиха, не нанеся ущерба смыслу.

Прежде чѣмъ окончательно разстаться съ этой поэмой, читателю, можетъ быть, будетъ интересно видѣть образчикъ той избрѣтательной критики, которая находитъ удовольствіе придавать самымъ простымъ фактамъ глубокое значеніе. Гегель въ своей *Aesthetick*, и впослѣдствіи Розенкранцъ въ своей прекрасной книгѣ: *Goethe und seine Werke*, обращаютъ вниманіе на тотъ фактъ, что Гете въ своей поэмѣ *Германъ и Доротея* стоитъ гораздо ближе къ дѣйствительности, чѣмъ Фоссъ въ своей *Луизѣ*. Я не читаю *Луизы* и потому не въ состояніи судить объ этомъ превосходствѣ Гете, но не могу не замѣтить, что примѣръ, приводимый этими критиками, безъ сомнѣнія весьма забавенъ. Фоссъ — говорятъ они намъ, — заставляетъ слишкомъ часто своихъ поселянъ пить кофе, а какъ ни распространено обыкновеніе пить кофе, мы должны помнить, что кофе и сахаръ, которымъ его подслащиваютъ, не Германскіе продукты, ихъ привозятъ изъ Аравіи и Остъ-Индіи; даже самыя чашки, изъ которыхъ пьютъ кофе, китайскаго происхожденія, не Германскаго. Это уноситъ насъ на тысячи верстъ отъ Германіи. Но какая разница Гете! Его трактирщикъ *Золотого Льва* угощаетъ своихъ гостей виномъ, и какимъ виномъ! рейнвейномъ, который есть германское вино *par excellence*, сдѣланъ изъ виноградника, растущаго на холмѣ позади трактира. И изъ какихъ стакановъ пьютъ они этотъ рейнвейнъ? Изъ зеленыхъ стакановъ, настоящихъ германскихъ стакановъ! И на чемъ стоятъ эти стаканы? На жестяномъ подносѣ; это тоже настоящій германскій подносъ.

Гораздо проще было бы сказать, что въ *Луизѣ* пасторъ пьетъ

кофе, потому что пасторы имѣютъ обыкновеніе пить кофе, между тѣмъ какъ въ *Германъ и Доротею* дѣйствующія лица пьютъ вино, потому что они находятся въ гостинницѣ *Золото Лѣва*, и пьютъ не другое вино, а именно рейнвейнъ, потому что живутъ въ Рейнскихъ провинціяхъ. Утонченности германской эстетики вынуждаютъ британскаго критика на это прозаическое объясненіе.

## ГЛАВА V.

### Гете какъ директоръ театра.

Мы выиграемъ мѣсто и дадимъ читателю болѣе точное понятіе о дѣятельности Гете по театральной части, если вмѣсто того, чтобъ разбросать въ хронологическомъ порядкѣ по всей біографіи разнообразныя факты, постараемся свести ихъ всѣ вмѣстѣ и представимъ ихъ читателю въ одной общей картинѣ.

Мы уже видѣли, съ какимъ увлеченіемъ Веймарскій дворъ предавался театральнымъ удовольствіямъ въ первое время по прибытіи Гете въ Веймаръ, и какое живое участіе самъ Гете принималъ въ этихъ удовольствіяхъ. Театръ въ то время былъ еще не отстроенъ послѣ пожара, происшедшаго за годъ передъ тѣмъ, и сцена устраивалась экспромптомъ въ Этерсбургскихъ лѣсахъ и въ долинѣ Тифурта. Актеры импровизировались изъ среды придворныхъ. Самыя піесы по большей части также импровизировались, но иногда и заранѣе готовились съ большою тщательностью. Обо всемъ этомъ было говорено въ четвертой книгѣ, а здѣсь намъ остается только обратить вниманіе читателя на рѣзкое различіе Веймарскаго театра отъ другихъ германскихъ театровъ, а главнымъ образомъ на совершенное отсутствіе въ немъ существенныхъ условій, присущихъ каждому театру, который существуетъ не ради только забавы кружка дилеттантовъ. Сценическія произведенія, по самому существу своему, необходимо должны имѣть національное происхожденіе. Въ Веймарѣ же они не были выраженіемъ націо-



нальных стремлений и не имѣли въ виду народъ, а были порождениемъ придворной праздности и имѣли въ виду только дилетантовъ. Актеры тамъ не набирались изъ среды отставныхъ писарей, честолюбивыхъ подмастерій, романтическихъ цирюльниковъ и праздноватающихся студентовъ; тамъ актерами были принцы, дворяне, поэты, музыканты. И эти актеры играли не передъ тѣмъ, что собственно называется публикой и что, при всей своей разнородности, есть, тѣмъ неменѣе, въ дѣлѣ драматическаго искусства необходимый присяжный судья, приговоръ котораго большею частью всегда справедливъ, — они играли передъ придворными, которыхъ сужденіе, даже еслибъ и было свободно, не могло имѣть большого значенія, а оно никогда не могло быть свободно. Послѣдствія этого не трудно предвидѣть: какъ придворная забава, театръ былъ пріятнымъ и небезполезнымъ препровожденіемъ времени; но что касается до его вліянія, то оно было вредно. Основная мысль его была фальшива. Драматическое искусство не можетъ процвѣтать при подобной обстановкѣ; ни Мольеръ, ни Шекспиръ при подобныхъ условіяхъ не могли бы написать своихъ художественныхъ произведеній. Народное содѣйствіе тутъ необходимо. Академіи могутъ составлять лексиконы, но не могутъ создать литературу; дворъ можетъ покровительствовать театру, но не можетъ создать драму. Причина этого заключается въ самой сущности вещей. Германія никогда не имѣла драмы, потому что никогда не имѣла театра, который могъ бы назваться національнымъ. Лессингъ сознавалъ, что было необходимо для этого, но не въ его власти было это осуществить. Шиллеръ же съ перваго шага вступилъ на ложный путь, и всѣ его благородныя усилія пропали даромъ.

Гете и Шиллеръ, глубоко убѣжденные въ великомъ вліяніи, какое можетъ имѣть театръ, стремились создать германскую драму, которая бы вытѣснила плохія произведенія, развращавшія въ то время вкусъ публики. Они стремились создать драму идеальную, которая бы облакалась въ высшія художественныя формы. Но они съ самаго начала вступили на ложный путь. Презирая грубыя современныя произведенія и не довѣря инстинктамъ публики, они дорожили только мнѣніемъ немногихъ избранныхъ. На первомъ планѣ у нихъ была культура, а не страсти, не юморъ, — литературныя достоинства, а не впечатлѣніе на публику. Такимъ образомъ

театръ долженъ былъ сдѣлаться чисто литературнымъ, но не народнымъ. Опытъ ихъ не вразумилъ и они не оставляли разъ избраннаго ими пути во все продолженіе своей дѣятельности по театальной части. Первоначально какая-то странствующая труппа съ случайнымъ, безпорядочнымъ репертуаромъ исполняла кое-какъ разныя оперы, драмы, фарсы, и въ дѣйствительности имѣла большій успѣхъ, чѣмъ какимъ могло похвастать высшее искусство. Даже когда появились на сценѣ великія произведенія Шиллера, настоятельная необходимость забавлять публику вынуждала директора удовлетворять вульгарный аппетитъ вульгарною пищей <sup>1)</sup>. Задача драматическаго искусства состоитъ въ согласованіи требованій публики, желающей чтобъ ее забавляли, съ требованіями искусства, имѣющаго болѣе высокія цѣли. Есть писатели, которые умѣютъ забавлять, но которыми недоступны высшія цѣли, и есть также писатели, способные достигать высшихъ цѣлей, но которые забавлять не умѣютъ. Первый классъ писателей ближе, чѣмъ второй, къ выполненію истинной задачи драматическаго искусства, но истинный драматическій писатель есть тотъ, который умѣетъ соединить въ себѣ и то и другое. Возьмемъ самый разительный примѣръ: Шекспиръ и Мольеръ столь же забавны, какъ и глубокомысленны, и если до сихъ поръ не сошли со сцены, то единственно потому, что и до сихъ поръ еще забавляютъ публику. *Отелло*, *Гамлетъ*, *Макбетъ*, *Тартюфъ*, *Школа жениховъ*, *Мнимый больной* составляютъ наслажденіе какъ для партера, такъ и для самаго образованнаго критика. Гете и Шиллеръ впади въ то самое заблужденіе, которое въ Англіи, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, кучка даровитыхъ писателей возвела въ догму, гордясь титуломъ «неигранныхъ драматурговъ», т. е. въ то заблужденіе, какъ будто можно воздвигнуть великолѣпный куполъ, не имѣя основанія, которое бы опиралось на землю, какъ будто драма, будучи произведеніемъ чисто литературнымъ, можетъ имѣть больше успѣха, чѣмъ когда она есть отраженіе народной жизни.

Въ 1790 г. Веймарскій театръ былъ окончательно перестроенъ и снова открытъ. Гете вступилъ въ управленіе имъ на правахъ болѣе

<sup>1)</sup> Гете самъ сознается въ этомъ. См. *Eckermann*. Vol. I.

широкихъ, чѣмъ какія когда-либо имѣлъ какой-нибудь театральный директоръ, такъ какъ относительно матеріальной части былъ поставленъ въ такое положеніе, что могъ не стѣсняться успѣхомъ или неуспѣхомъ своихъ дѣйствій. Дворъ взялъ театръ на свое иждивеніе, и сцена была предоставлена исполнѣ въ распоряженіе директора, чтобъ дѣлать на ней опыты. Но ни одинъ изъ опытовъ Гете не удался. Онъ тщательно слѣдилъ за репетиціями. Были поставлены драмы Шекспира: *Король Иоаннъ и Генрихъ IV*, и его собственные пьесы: *Gross-Korhla*, *Bürger-general*, *Clavigo*, *die Geschwister*, но не имѣли большого успѣха, потому что актеры были плохи, получали незначительное содержаніе, и не было публики, которая бы возбуждала въ нихъ соревнованіе своимъ одобреніемъ или порицаніемъ. Публика была стѣснена присутствіемъ двора, рѣдко осмѣливалась выражать свой восторгъ, который только одинъ и можетъ оживить, поощрить, вдохновить актера. Партеръ боялся двора, а дворъ боялся Гете, который не скрывалъ своего презрѣнія къ мнѣнію публики. «Дирекція—писалъ онъ своему помощнику по управленію театромъ,—дѣйствуетъ подобно съ своими собственными цѣлями, ни мало не заботясь о требованіяхъ публики. Одинъ разъ на всегда, помните, что публика должна быть руководима—will determinirt seyn.» Шиллеру, который исполнѣ раздѣлялъ его мнѣніе, онъ говорилъ: «Никто не въ состояніи служить двумъ господамъ, а изъ всѣхъ господъ послѣдній, которому бы я согласился подчиниться, это — публика германскихъ театровъ.» Весьма похвально со стороны поэта или философа пренебрегать преходящею модою дня и полагаться на приговоръ потомства; но драма подлежитъ суду современной публики, и если директоръ театра будетъ имѣть въ виду одно потомство, то театръ останется пустъ. *Wer machte denn der Mitwelt Spass?* Кто же долженъ теперь забавлять публику? спрашиваетъ веселая особа въ прологѣ къ *Фаусту*. Драматическій писатель, пишущій для потомства, походить на оратора, желающаго убѣдить не публику, которая его слушаетъ, а потомковъ этой публики.

Можно было деспотически обращаться съ Веймарскою публикою, но нельзя было заставить ее приходить въ восторгъ отъ вещей, которыя наводили на нее скуку. Она молча покорялась. Во Франціи и въ Англіи шумныя галлерей и своенравный партеръ

терпятъ только то, что забавляетъ ихъ, и при оцѣнкѣ представленія руководятся единственно удовольствіемъ, которое изъ него извлекаютъ. Присутствіе подобнаго элемента въ Веймарской публикѣ могло бы помочь Гете и Шиллеру въ ихъ предпріятія и могло бы спасти ихъ отъ многихъ ошибокъ. Іенскіе студенты могли бы доставить этотъ элементъ, еслибы были болѣе постоянными посѣтителями и были бы менѣе стѣсняемы. Духъ независимости свойственъ студенту по самой его природѣ и роду занятій, а у Іенскихъ студентовъ эта тенденція была даже возведена въ систему. Быть крикливымъ забіякой, глубоко презирать всѣхъ филистеровъ, имѣть способность выпивать громадное количество пива, конечно, всего этого еще недостаточно, чтобъ быть истиннымъ цѣнителемъ искусства; но отъ цѣнителя драматическаго произведенія прежде всего требуется быть молодымъ, полнымъ жизни и увлеченіи и, главное, быть независимымъ, а Іенскіе студенты вполне обладали этими качествами. «Безъ нихъ — говоритъ достойный Клебе въ своемъ описаніи Веймара, — театръ былъ бы часто пустъ. Они обыкновенно являлись изъ Іены послѣ полудня и по окончаніи спектакля отправлялись назадъ въ Іену.» Они оживляли театръ, но смущали спокойствіе мирныхъ Веймарцевъ. Покрытые пылью, въ самой разнообразной и эксцентричной одеждѣ, чтобъ какъ можно рѣзче отличаться отъ горожанъ, — въ шапкахъ, имѣющихъ форму башни, украшенныхъ кисточками, галунами и проч., изъ-подъ которыхъ развиваются лохматые кудри, не знающія прикосновенія гребня и смѣшивающіяся съ бородою и усами, — въ короткихъ курткахъ, обшитыхъ кусками разноцвѣтныхъ матерій, въ штанахъ, подбитыхъ изнутри кожей, — разсѣвая воздухъ знаменитыми длинными хлыстами, издавая неистовые крики, которые они величали пѣніемъ, и разнообразя до невозможности этотъ музыкальный дивертисментъ, — забавляясь поддразниваніемъ Веймарскихъ солдатъ, которыхъ они прозывали «древесными лягушками» по причинѣ ихъ зеленыхъ и желтыхъ мундировъ, — такъ вступали они черезъ мостъ въ мирный городъ, нарушая спокойствіе его мирныхъ жителей.

Эти студенты, наполняя театръ, вносили въ него нѣчто похожее на энтузіазмъ, но ихъ порывы сдерживались присутствіемъ личности, не питавшей большаго уваженія къ ихъ дикимъ манерамъ; эта личность была — тайный совѣтникъ Гете, который не-

только быть тайный совѣтникъ и директоръ, но вмѣстѣ съ тѣмъ былъ ихъ идоломъ <sup>1)</sup>. Эдуардъ Девріенъ говоритъ въ своемъ превосходномъ сочиненіи о германскомъ театрѣ: <sup>2)</sup> «Онъ садился по срединѣ партера; его могущественный взоръ властвовалъ надъ толпой и сдерживалъ недовольныхъ. Однажды, когда Іенскіе студенты, которыхъ произвольный приговоръ онъ считалъ неумѣстнымъ, слишкомъ шумно выразили свое мнѣніе, онъ всталъ и заставилъ ихъ замолчать, угрожая призвать полицію, чтобъ вывести нарушителей порядка. Подобная же сцена произошла въ 1802 г. при представленіи пьесы Ф. Шлегеля *Alarcos*. Публика нашла, что со стороны автора было слишкомъ самонадѣянно выступать на сцену съ подобной пьесой, и одобреніе, оказанное пьесѣ поклонниками автора, вызвало шумный смѣхъ въ знакъ протеста. Гете всталъ и закричалъ громовымъ голосомъ: «Не смѣяться!» Подъ-конецъ онъ дошелъ до того, что запретилъ одно время всякія заявленія со стороны публики какъ въ одобреніе, такъ и въ порицаніе представляемыхъ пьесъ. Онъ не допускалъ порицанія того, что находилъ хорошимъ. Даже самую критику онъ держалъ на привязи; узнавъ, что Бетикеръ написалъ статью о его управленіи театромъ, онъ объявилъ, что если эта статья появится въ печати, то онъ откажется отъ своей должности, и Бетикеръ не напечаталъ статьи.

Обращаясь столь деспотически съ публикой, онъ, естественно, долженъ былъ обращаться также деспотически и съ актерами. Какъ онъ, такъ и Шиллеръ, были того мнѣнія, что актерамъ необходимо «приказывать», а иначе съ ними ничего не подѣлаешь, — denn durch Vernunft und Gefälligkeit ist nichts auszurichten, говоритъ Шиллеръ. Гете, какъ директоръ, не терпѣлъ никакой оппозиціи, не допускалъ никакихъ личныхъ притязаній, которыя обыкновенно столь затрудняютъ театральныхъ директоровъ; онъ требовалъ, чтобы каждый дѣлалъ то, что ему приказано. Непослушаніе немедленно сопровождалось нака-

---

<sup>1)</sup> См. HEINRICH SCHMIDT: *Erinnerungen eines Weimarerischen Veteranen*, р. 46, гдѣ описывается, съ какою увлеченіемъ студенты читали поэмы Гете и писали въ честь его стихи.

<sup>2)</sup> *Geschichte der deutschen Schauspielkunst*.

заніємъ; актеровъ онъ отсылалъ на гауптвахту, а актрисъ подвергалъ домашнему аресту. Съ главными актерами онъ прибѣгалъ къ другимъ средствамъ. Однажды Бекеръ отказался исполнить одну небольшую роль въ Шиллеровскомъ *Wallenstein's Lager*, и Гете объявилъ, что если Бекеръ не возьметъ этой роли, то онъ, Гете, самъ исполнить ее. Эта угроза заставила Бекера немедленно принять роль, такъ какъ онъ зналъ, что угроза будетъ исполнена.

Но несмотря на такой деспотическій образъ дѣйствія, Гете тѣмъ менѣе былъ человѣкъ великодушный, любящій. Всѣ актеры, бывшіе подъ его управленіемъ, питали къ нему глубокое уваженіе. Канцлеръ Миллеръ говоритъ: «нигдѣ такъ сильно не чувствовалось обаяніе, производимое его личностью, какъ въ театрѣ; строгій и взыскательный въ своихъ требованіяхъ, непреклонный въ своихъ рѣшеніяхъ, всегда готовый отнестись съ сочувствіемъ къ малѣйшему проблеску таланта, одинаково внимательный какъ къ первому, такъ и къ послѣднему изъ актеровъ, онъ умѣлъ цѣнить и поощрять дарованіе, и въ своей ограниченной сферѣ, часто при самыхъ скудныхъ средствахъ, совершалъ неимовѣрное; одобрителный взглядъ съ его стороны, одно ласковое его слово было уже неопцѣнимой наградой. Каждый какъ-бы чувствовалъ себя выше и сильнѣе, когда занималъ мѣсто, указанное самимъ Гете, и одобреніе отъ Гете составляло своего рода «освященіе». Надо видѣть или слышать, съ какой благочестивой заботливостью сослуживцы Гете и Шиллера по управленію театромъ хранятъ малѣйшія воспоминанія о своихъ герояхъ, съ какимъ удовольствіемъ они сообщаютъ малѣйшія подробности, ихъ касающіяся, и какъ при одномъ упоминаніи ихъ именъ глаза ихъ оживляются юношескимъ восторгомъ,—надо это видѣть или слышать, чтобъ составить себѣ понятіе, какую искреннюю привязанность, какое восторженное почитаніе внушали къ себѣ эти великіе люди.»

Изъ разсказа Эдуарда Девріена видно, что актеры получали очень небольшую плату. Даже Каролина Ягеманъ, любовница герцога, примадона и въ то же время главная актриса, получала всего 600 талеровъ въ годъ, съ правомъ по удаленіи со сцены на пансіонъ въ 300 талеровъ. Притомъ актерамъ не давалось никакихъ отпусковъ, какъ на другихъ театрахъ, такъ что жалованье, которое они получали, составляло для нихъ единствен-

ное средство къ жизни \*). Повидимому, при такихъ условіяхъ Веймарская сцена могла быть привлекательна разве только для однихъ посредственностей, но на самомъ дѣлѣ мы видимъ, что магическія имена Гете и Шиллера привлекали туда и замѣчательные таланты:

Слѣдующій анекдотъ показываетъ, къ какимъ условіямъ дирекція должна была прибѣгать при ограниченномъ и плохомъ составѣ труппы. Давали оперу *«Волшебная флейта»*. Царица ночи оказалась въ такомъ періодѣ беременности, что ей невозможно было явиться на сцену, а другой пѣвицы, чтобы замѣнить ее, не нашлось. Гете, чтобы выйти изъ этого затруднительнаго положенія, заставилъ пѣвицу пѣть за кулисами, между тѣмъ какъ другая актриса на сценѣ выражала ея роль пантомимой.

Между тѣмъ какъ Шиллеръ и Гете тѣснѣе сближались между собой, театръ началъ принимать болѣе серьезный характеръ. По обычной своей склонности интересоваться всѣмъ, что глубоко интересовало его друзей, Гете сталъ раздѣлять энтузіазмъ Шиллера къ драматическому искусству и началъ смотрѣть на сцену, какъ на средство къ художественному воспитанію народа. *Донъ Карлосъ* былъ поставленъ на сцену. Не много позднѣе Шиллеръ передѣлалъ для сцены *Эмонта* (эта передѣлка написана мелодраматическимъ слогомъ и свидѣтельствуетъ о любви Шиллера къ вышнимъ эффектамъ), но самымъ величайшимъ триумфомъ была постановка *Валленштейна*. Успѣхъ былъ громаденъ, и Веймарскій театръ, казалось, дѣйствительно достигъ чего-то похожего на созданіе драматическаго искусства въ новомъ грандіозномъ стилѣ. Но это былъ успѣхъ эфемерный. Усилія двухъ поэтовъ были дурно направлены, что не замедлило подтвердить послѣдующія событія. Вѣкъ драматическаго искусства прошелъ и не могъ быть возстановленъ, по крайней мѣрѣ въ той формѣ, въ какой они хотѣли возстановить его.

«Веймарская школа», говоритъ Девріенъ <sup>1)</sup>, котораго мнѣніе, какъ спеціальнаго знатока, имѣетъ вѣсъ, — «не только требовала отъ артиста возможно вѣрнаго воспроизведенія природы <sup>2)</sup>, она

<sup>1)</sup> *Geschichte der deutschen Schauspielkunst*. p. 253,

<sup>2)</sup> GOETHE, *Vorrede zu den Propyläen*.

<sup>3)</sup> См. также PAVLQUE: *Goethe, Theaterleitung in Weimar*. 1.

выступила съ новымъ мѣриломъ благородства и красоты, которыхъ должно было измѣряться всякое явленіе въ сферѣ искусства. Господствовавшее до тѣхъ поръ направленіе далеко не пренебрегало прекраснымъ, но оно добивалось лишь воспроизведенія прекрасной дѣйствительности, а теперь требовалось воспроизведеніе прекрасной истины. До сихъ поръ живая природа служила образцомъ, а теперь руководителемъ долженъ былъ служить просвѣщенный вкусъ. Отъ актеровъ требовалось, чтобы они отрѣшились отъ прирожденныхъ имъ національныхъ нѣмецкихъ приемовъ и усвоили бы себѣ приемы болѣе свободные, болѣе универсальные; они должны были перешагнуть за узкую сферу спеціальнаго, индивидуальнаго, и возвыситься до общаго, идеальнаго.

«Эти требованія были слишкомъ новы и тяжелы для актера. До сихъ поръ здравый умъ и живая, разумная воспримчивость считались достаточными, чтобъ образовать дѣйствительный сценическій талантъ, такъ какъ задача актера не выходила изъ доступной ему сферы. Теперь же отъ актера преимущественно требовались высокая утонченность вкуса и высокое благородство чувствъ, т. е. такія качества, которыя до нѣкоторой степени предполагали научное образованіе и изученіе древности, такъ какъ теперь уже не въ природѣ, а въ древности видѣли образцы сценической рѣчи и сценическихъ приемовъ. Но обычное образованіе актеровъ далеко не соответствовало этимъ требованіямъ, и Веймарской школѣ ничего болѣе не оставалось, какъ удовольствоваться внѣшнею драпировкой и стараться замѣнить ею отсутствующія въ актерахъ качества, составляющія плодъ высшаго развитія и исключительную принадлежность высоко облагороженныхъ натуръ. Наша литература въ то время съ безпримѣрною силой стремилась къ той высотѣ, на которой она теперь можетъ смѣло мѣряться съ литературами всѣхъ другихъ народовъ, и въ своемъ стремленіи увлекала за собою и сценическое искусство. Сосредоточивать въ то время свои усилія на томъ, чтобы поднять образованіе актеровъ до высоты, какой достигала литература, значило пожертвовать моментомъ, въ который сцена могла оказать неизмѣримыя заслуги дѣлу народнаго образованія.

«Задача Гете и Шиллера преимущественно состояла въ томъ,



чтобъ возвысить поэзію и поднять умственную жизнь народа до высшихъ идеальныхъ сферъ; литература была для нихъ ближайшею цѣлью, и сцена стояла на второмъ планѣ, правильнѣе сказать, сцена была для нихъ не цѣлью, а только средствомъ къ достиженію цѣли. Вполнѣ посвятить себя драматическому искусству, работать единственно для него и посредствомъ его, какъ это дѣлали Мольеръ и Шекспиръ, никогда не приходило имъ и въ голову; они не были также расположены подражать Лессингу, который всецѣло предался искусству. Они стремились къ созданію литературной драмы. Такимъ образомъ тутъ снова воскресла старинная борьба между литературной и народной драмой, и поэтическая художественность снова ввѣла верхъ надъ драматическимъ искусствомъ. *Донъ Карлосъ*, *Валленштейнъ* были написаны собственно не для сцены и могли быть приспособлены къ ней лишь съ большимъ трудомъ и съ большимъ для нихъ ущербомъ. *Фаустъ*, *Телль* и *Natürliche Tochter* также писались вовсе не для сцены, и ихъ постановка на сцену была не болѣе какъ только опытъ. Такъ какъ оба поэта приспособляли свои произведенія къ сценѣ, которая была у нихъ подъ рукой, не останавливаясь при этомъ ни передъ какими препятствіями, то естественнымъ этого слѣдствіемъ было то, что такимъ же образомъ должны были они относиться и къ самой постановкѣ, къ самому выполненію и должны были довольствоваться внѣшнею, формальною стороною. Сценическое искусство не имѣло въ то время достаточной подготовки, чтобъ вполнѣ совладать съ ихъ произведеніями и вполнѣ воспроизвести ихъ. Очевидно, что эта новая школа, чтобы имѣть авторитетъ, должна была поступать до нѣкоторой степени деспотически и съ актерами и съ публикою, такъ какъ и актеры и публика были глубоко проникнуты натурализмомъ. Подобно несчастному Нейберу и Шредеру, Шиллеръ и Гете стали въ открытую оппозицію противъ вкуса большинства. Они заняли относительно публики гордое, аристократическое положеніе, отстаивали идеальный принципъ со всею силою своихъ гениальныхъ дарованій и не погнушались даже прибѣгнуть къ острому орудію сатиры. Ихъ переписка явно свидѣтельствуетъ, что у нихъ презрѣніе къ массамъ и къ защитникамъ народнаго вкуса доходило до крайней

рѣзкости, повидимому неразлучной съ энтузіазмомъ великихъ душъ къ болѣе идеальному человѣчеству. Они никогда не домогались одобренія толпы, никогда не подчинялись господствующему вкусу и не льстили ему. Деспотическая энергія, съ какою Гете отстаивалъ идеальный принципъ несмотря на всѣ къ тому препятствія, неизбежно отразилась на его управленіи театромъ. Онъ хотѣлъ двинуть впередъ драматическое искусство и заставить публику соблюдать по крайней мѣрѣ виѣшнія формы уваженія, къ нововведеніямъ своей школы. Эта двойная задача вынудила его превзойти даже Шредера строгостію и рѣзкостью своихъ мѣръ.»

Не малое затрудненіе для себя встрѣтила новая школа даже и въ самомъ произношеніи. Нѣмецкій языкъ, довольно грубый даже и при хорошемъ произношеніи, становится невыносимъ при томъ коверканіи, какому онъ подвергается въ различныхъ мѣстностяхъ. Швабы, Австрійцы и въ особенности Веймарцы страшно досаждали Гете недостатками своего произношенія. «Они не хотятъ вѣрить, что b, p, d, и t суть четыре различныя буквы,—говорилъ Гете Экерману,—они знаютъ только мягкое и твердое b, мягкое и твердое d, а p и t для нихъ повидимому совершенно не существуютъ. У нихъ *Rein* (мука) превращается въ *Bein* (нога), *Pass* (ударъ раширою) въ *Bass* (басъ), *Tickel* (нора) въ *Deckel* (крышка). Актеръ, умоляя, въ порывѣ страсти, свою возлюбленную прекратить упреки, восклицаетъ: *O Ente!* (о утка) вмѣсто того чтобы сказать: *O ende!* (о перестань).

Успѣхъ *Валленштейна* былъ вмѣстѣ и театралный и артистическій и, казалось, рѣшилъ битву въ пользу идеальной школы; но это только казалось, а въ дѣйствительности этого не было. Въ игрѣ актера искусственная сторона должна была отнынѣ занять первое мѣсто <sup>1)</sup>, и Гете зашелъ въ этомъ направленіи такъ далеко, что требовалъ отъ актеровъ, чтобъ они ни на минуту «не теряли публики изъ виду»; онъ постановилъ правиломъ, что актеры не должны, увлекаясь ложно понимаемой естественностію, забывать, что кромѣ ихъ тутъ присутствуетъ еще третье лице—зритель, ни подъ какимъ предлогомъ не должны становиться

<sup>1)</sup> См. «Правила для актеровъ», *Goethe's Werke*, XXXV, p. 435—459.

къ публикѣ въ профиль, или спиною, не должны ни въ какомъ случаѣ говорить изъ глубины сцены, должны изображать собою характеры, а не быть олицетвореніемъ характеровъ. Генрихъ Шмидтъ рассказываетъ, какъ Гете, преподавая эти наставленія, входилъ въ мельчайшія подробности. Въ известномъ монологѣ *Гамлета* «быть или не быть», онъ дозволилъ Шмидту подпереть подбородокъ правою рукою, а лѣвою подпереть локоть правой руки, но никакъ не хотѣлъ дозволить, чтобъ лѣвая рука была плотно сжата въ кулакъ, а настаивалъ, чтобъ два средніе пальца были вмѣстѣ, а большой и два другіе были раздѣльно <sup>1)</sup>. Такимъ образомъ въ примѣненіи къ сценѣ онъ перевернулъ на изнанку свое старое артистическое правило и требовалъ прежде всего красоту, а потомъ уже истину: *erst schön dann wahr*. Весьма естественно, что это стремленіе къ идеальному имѣло своимъ результатомъ возстановленіе той наиболѣе совершенной драматической формы, какую когда-либо производилъ идеализмъ, т. е. французской трагедіи, которую такъ беспощадно осмѣялъ Лессингъ. Самъ Гете перевелъ трагедію Вольтера *Магометъ*, которая была поставлена на сцену въ 1800 г., а впоследствии перевелъ *Танкреда*. *Adelphi* Теренція, переведенная Эйзиделемъ, *Иона* Шлегеля, *Федра* Расина, переведенная Шиллеромъ, и наконецъ собственная трагедія Шиллера *Braut von Messina* довольно ясно свидѣтельствуютъ, какъ далеко уклонилась Веймарская школа отъ всего, что могло походить на національную драму. Мало этого, Веймарская школа не пощадила даже и самого Шекспира. Шиллеръ перевелъ *Макбета*, но какъ перевелъ! Достаточно упомянуть, что вмѣсто вѣдьмъ у него оказались молодыя дѣвушки, прекрасно одѣтыя. Послѣ этого насъ нисколько не удивляетъ, что комедію Теренція актеры играли въ римскихъ маскахъ и такимъ образомъ сценическое искусство новыхъ временъ было попорчено въ самой своей основѣ. Одного не доставало: дать актерамъ ко-турны и заставить ихъ декламировать по-латыни и по-гречески. Одновременно съ этимъ возстановленіемъ античной сцены производились также разные эксперименты и съ Шекспиромъ, Кальдеро-

<sup>1)</sup> *Erinnerungen*, p. 110.

номъ Гоцци, причемъ изъ нихъ выпускались народныя сцены, — и Веймаръ былъ провозглашенъ великой школой искусства. Литературная публика увѣровала въ эту школу, но какъ отнеслась къ ней остальная публика? Послушаемъ, что самъ Гете говоритъ объ этомъ: «Въ Веймарѣ мнѣ сдѣлали честь поставить на сцену мою *Ифигенію* и моего *Тасса*», говорилъ онъ Экерману, будучи уже въ преклонныхъ лѣтахъ, — но какъ часто давали ихъ? Разъ въ два или три года. Публика находила ихъ скучными. .... Я прежде серьезно думалъ, что можно создать германскую драму; но изъ этого ничего не вышло и все осталось по старому». Создать германскую драму посредствомъ нѣсколькихъ поэтическихъ произведеній и чрезъ возстановленіе древней драмы было иллюзіей, возможной только для недраматурга. Я уже не однократно высказывалъ мнѣніе, что отрицаю въ Гете драматическій гоній. Это мнѣніе не только подтверждается его собственными драматическими произведеніями, но и безспорно оправдывается его критическимъ разборомъ Шекспира и тѣмъ, какъ онъ поступалъ съ пьесами Шекспира при постановкѣ ихъ на сцену. Онъ умѣлъ цѣнить въ Шекспирѣ поэта, но Шекспира какъ драматурга онъ, по моему мнѣнію, совершенно не понималъ. Онъ положительно утверждалъ, что Шекспиръ гораздо лучше бы сдѣлалъ, еслибы не выводилъ на сцену привидѣнія въ *Гамлетѣ* и вѣдьмъ въ *Макбетѣ*, а предоставилъ бы это воображенію, что при чтеніи привидѣнія и вѣдьмы еще сносны, но на сценѣ они только мѣшаютъ впечатлѣнію. Подобное заблужденіе не требуетъ комментарій. Читатель, которому это заблужденіе не ясно съ перваго взгляда, можетъ быть увѣренъ, что ему совершенно неизвѣстны тайны драматическаго искусства. Въ доказательство, до какой степени Гете не понималъ Шекспира, укажу на сдѣланную имъ передѣлку шекспировской драмы: *Ромео и Юлія*, которою онъ не мало гордился. Предметъ этотъ представляетъ достаточный литературный интересъ, чтобъ разсмотрѣть его подробнѣе. Гете передѣлалъ для сцены *Ромео и Юлія* въ 1811 г., но эта передѣлка была найдена только недавно <sup>1)</sup>. Если ужъ передѣлывать

<sup>1)</sup> *Nachträge zu Goethe's Werken.*

Шекспира, то едва ли можно сдѣлать выборъ болѣе разсудительный, такъ какъ *Ромео и Юлія* при всей живости характеровъ и при всемъ своемъ драматизмѣ принадлежитъ тѣмъ неменѣе къ слабѣйшимъ произведеніямъ Шекспира. Каждая сцена въ ней носитъ на себѣ явные признаки юности автора. Риторичность, неточность языка и отсутствіе той страстной и глубокой поэзіи, которую мы находимъ въ другихъ произведеніяхъ Шекспира, ясно свидѣлствуютъ, что эта драма есть произведеніе его юности. Во многихъ мѣстахъ мы встрѣчаемъ длинныя тирады риторическихъ *concelli* вмѣсто сильнаго, страстнаго языка, которымъ Шекспиръ такъ хорошо владѣлъ въ другихъ своихъ произведеніяхъ.

Изъ сказаннаго не слѣдуетъ однако заключать, чтобъ я былъ безчувственъ къ красотамъ этого произведенія, заслуженно пользующагося общею любовью. Это есть произведеніе юнаго Шекспира, но тѣмъ неменѣе оно безспорно шекспировское. Сюжетъ драмы обработанъ превосходно. Вся драма полна жизни, богата характерами. Всѣ характеры столько же истинны, какъ и драматичны. Старый Капулетти, Тибольтъ, кормилица, Петръ, Григорій, Сампсонъ, аптекаръ и даже всѣ вводныя лица, всѣ безъ исключенія, носятъ на себѣ рѣзкую печать индивидуальности, очерчены мастерскими штрихами. Естественно ожидать, что драматургъ, принимаясь за исправленіе этого произведенія, употребитъ свой трудъ на исправленіе слабѣйшихъ его частей, на очищеніе чуждаго плода драматической мысли отъ мякины и плевелъ, и не тронетъ того, что составляетъ жизнь драмы, что дѣлаетъ характеры живыми. Но Гете поступилъ какъ разъ наоборотъ: онъ сдѣлалъ первое и не сдѣлалъ второго <sup>1)</sup>). Произведеніе Шекспира начинается живой сценой, которая имѣетъ существенное значеніе для драмы и съ перваго же шага возбуждаетъ въ насъ интересъ къ драмѣ. Слуги Капулетти встрѣчаются на улицахъ Вероны съ слугами Монтеки и

---

<sup>1)</sup> Въ письмѣ къ г-жѣ фонъ-Вольцогенъ Гете говоритъ слѣдующее о только что оконченной передѣлкѣ *Ромео и Юліи*: «Мною руководила мысль соединить все, что есть въ ней интереснаго, и привести въ гармонію, такъ какъ Шекспиръ, чтобы угодить господствовавшему въ его время вкусу, вынужденъ былъ сопоставлять вещи вовсе между собой не гармонирующія». *Literarischer Nachlass des Grafen von Wolfzogen*, v. I, p. 437.

завязываютъ съ ними драку. Тибальтъ и Бенвоглю спѣшатъ вмѣшаться въ дѣло. Вслѣдъ затѣмъ являются оба старика, Капулетти и Монтеки. Предъ нами живо предстаетъ старинная вражда двухъ домовъ, составляющая узелъ драмы. Появленіе принца, угрожающаго смертію тому, кто впередъ нарушитъ спокойствіе Вероны, вводитъ въ драму второй трагическій мотивъ. Эти сцены суть истинные образцы драматическаго искусства. Но Гете такъ мало смыслилъ въ драматизмѣ, что выбросилъ всѣ эти превосходныя сцены. У него драма начинается точно какъ комическая опера. Слуги, развѣшивая фонари и гирлянды предъ домомъ Капулетти, распѣваютъ хоромъ:

Zündet die Lampen an,  
Windet auch Kränze dran;  
Hell sei das Haus! etc. etc.

[Зажигайте фонари; надѣвайте на нихъ гирлянды; да освѣтится домъ и пр. и пр.]

Маски входятъ въ домъ. Приходятъ Ромео и Бенвоглю и начинаютъ бесѣдовать. Изъ ихъ разговора мы узнаемъ о семейной враждѣ; у Шекспира же эту семейную вражду мы видимъ. Гетевскій Ромео говоритъ о Розалиндѣ безъ тѣхъ фантастическихъ, гиперболическихъ выраженій, въ которыхъ шекспировскій Ромео описываетъ свою любовь къ ней и которыя составляютъ у Шекспира намѣренную и вполне цѣлесообразную противоположность съ выраженіями любви Ромео къ Юліи. Бенвоглю и Ромео собираются идти въ домъ Капулетти и Бенвоглю обѣщаетъ, что Ромео увидитъ тамъ такую прелестную дѣвушку, которая не чета Розалиндѣ. Въ это время является Меркуціо. Тутъ Гете въ своей передѣлкѣ до такой степени обезображиваетъ поэтическое созданіе Шекспира, что просто приходишь въ изумленіе. Онъ не только выпускаетъ знаменитое мѣсто о царицѣ Мабъ, но у него Меркуціо объявляетъ, что не будетъ на балѣ; потому что его легко могутъ узнать по его прекрасной фигурѣ! Я приведу цѣликомъ это мѣсто, чтобъ читатель не заподозрилъ меня въ преувеличеніи: «Ромео: Идемъ съ нами! Надѣвай мантию и маску. — Меркуціо: Для меня это совсѣмъ лишнее. Все это мнѣ нисколько не помогаетъ. Меня знаетъ каждый ребенокъ; сей-

часъ же узнають, кто я, потому что я не то, что другіе: у меня есть характерность и въ фигурѣ, и въ голосѣ, и въ походкѣ, въ каждомъ движеніи.—*Бенволио*: Это правда! и особенно въ твоёмъ пузѣ весьма тонкая характерность.—*Меркуціо*: хорошо вамъ толковать, зубочистки вы эдакіе, жордочки! навѣшаете вы на себя разнаго тряпья, и какъ васъ тогда распознаешь? Но я какой плащъ себѣ ни надѣвай, какой удивительный носъ ни придѣлывай, куда ни явлюсь, сейчасъ слышу сзади шопотъ: а, вотъ Меркуціо, ей-ей Меркуціо! Вѣдь это очень прискорбно, еслибъ не было лестно. Такъ какъ я Меркуціо, то и есть Меркуціо и буду всегда Меркуціо. Прощайте. Устраивайте свои дѣлишки по добру, какъ можете, а я поищу приключеній на спальной подушкѣ. Веселое сновидѣніе укрѣпитъ меня, между тѣмъ какъ вы будете рыскать за веселыми видѣніями, и также ихъ не поймаете, какъ я своего не поймаю. Вся разница въ томъ, что когда взойдетъ заря, я буду бодръ, а вы отъ усталости или отъ любви будете зѣвать». Вотъ во что превратился у Гете Шекспировскій Меркуціо! Затѣмъ слѣдуетъ сцена бала. У Гете также есть кормилица, но лишенная всякой индивидуальности; всѣ ея характеристическія черты безпощадно ступеваны. Въ своемъ разборѣ Шекспира Гете даетъ ключъ къ объясненію этихъ измѣненій; онъ говоритъ, что «кормилица и Меркуціо совершенно уничтожаютъ трагизмъ событій; это шуточные вводныя лица, какихъ не допускаетъ новѣйшая сцена»<sup>1)</sup>). Другія измѣненія въ этой сценѣ не важны; главная изъ нихъ заключается въ появленіи принца, который является на балъ вмѣстѣ съ Меркуціо, имѣя цѣлю ознакомиться съ Капулетти и Монтеки и примирить враждующія семьи. Тутъ опять говорится о старинной враждѣ, какъ будто говореніе можетъ замѣнить дѣйствіе. Далѣе Гете довольно близко передаетъ оригиналъ; встрѣчаются только два измѣненія, заслуживающія вниманія: одно изъ нихъ есть улучшеніе, а другое—изумительная и необъяснимая ошибка. Начнемъ съ ошибки. Читатель знаетъ, какъ рѣзко различаются у Шекспира спокойный и степенный Парисъ, помогающійся руки Юліи у ея родителей, и пылкій Ромео, который прямо обращается

<sup>1)</sup> Werke, XXXV, 379.

къ самой Юліи; первый домогается согласія отца, не заботясь о согласіи дѣвушки, а второй домогается согласія дѣвушки и презираетъ непріязнь отца. Гете совершенно уничтожаетъ это различіе между Парисомъ и Ромео. Что сказать послѣ этого о его пониманіи драматическаго искусства. У него Парисъ ухаживаетъ за Юлією и долго молча обожаетъ ее, прежде чѣмъ рѣшается просить согласія ея отца. Другое измѣненіе улучшаетъ драму, какъ бы противъ него ни вопіяли фанатическіе поклонники Шекспира. У Гете драма оканчивается смертію Юліи и монахъ въ краткомъ монологѣ указываетъ мораль событія. Но что можетъ быть не драматичнѣе и утомительнѣе длиннаго перечисленія и безъ того уже хорошо извѣстныхъ зрителю фактовъ, которымъ драма оканчивается у Шекспира. *Ромео и Юлія* въ Гетевской передѣлкѣ не только была поставлена на Веймарской сценѣ, но и на Берлинской сценѣ держалась многіе годы. Берлинскіе критики сначала отнеслись къ этой передѣлкѣ далеко не благосклонно, имъ особенно не нравилось измѣненіе конца драмы, какъ свидѣлствуетъ Цельтеръ, — имъ было жаль скуки. Сказанное нами достаточно характеризуетъ усилія Гете и Шиллера создать германскую драму. Хотя эти усилія не могли увѣнчаться успѣхомъ, но нельзя не отнести къ нимъ съ сочувствіемъ, ради высокой ихъ цѣли; они были ошибочны, но это была ошибка великихъ умовъ, которые стояли выше требованій своего времени. Сцена имѣла въ ихъ глазахъ великое значеніе, должна была служить мірской каедрой для поученія публики, и не могли они допустить мысли, чтобъ она служила забавой для публики. Со смертію Шиллера у Гете сталъ ослабѣвать интересъ къ театру. Гофмаршалъ графъ фонъ-Эделингъ былъ назначенъ ему въ помощники по управленію театромъ, но власть попрежнему оставалась нераздѣльно въ его рукахъ. Это было въ концѣ 1813 г. Въ 1817 г. сынъ его Августъ фонъ-Гете былъ сдѣланъ членомъ дирекціи театра. Такимъ образомъ управленіе театромъ состояло изъ тайнаго совѣтника, облеченнаго неограниченною властію, но бездѣйствующаго, изъ гофмаршала и изъ юнаго камергера. За кулисами также было несовсѣмъ ладно. Давно уже велась интрига подъ руководствомъ Каролины Ягеманъ, чтобы заставить Гете отказаться отъ управленія театромъ. Между любовницей герцога и его другомъ никогда



не существовало вполне признанных отношений. Она естественно завидовала влиянию Гете. Находясь въ зависимости отъ него, какъ актриса, не могла она не тяготиться этой зависимостью и не имѣла недостатка въ причинахъ быть на него недоволенной. Еслибы дружба герцога къ поэту и желаніе удержать его при себѣ не были такъ сильны, то это соперничество не могло бы такъ долго длиться. Но наконецъ пришла пора развязки. У одного странствующаго актера, Карстена, былъ пудель, исполнявшій съ такимъ совершенствомъ свою роль въ извѣстной мелодрамѣ: *Собака Монтариса*, что привлекалъ публику повсюду, и въ Парижѣ, и въ Германіи. Не трудно себѣ вообразить, съ какимъ негодованіемъ долженъ былъ къ этому относиться Гете. Это было въ его глазахъ чистымъ святотатствомъ. Онъ и безъ того ненавидѣлъ собакъ, и велико было его негодованіе, что на Германскихъ сценахъ собака имѣетъ болѣе успѣхъ, чѣмъ лучшие актеры. Его враги не упустили воспользоваться этимъ случаемъ. Герцогъ имѣлъ страсть къ собакамъ и не могъ устоять противъ коварныхъ внушеній пригласить въ Веймаръ Карстена съ его знаменитымъ пуделемъ. Гете, услышавъ о желаніи герцога, чтобъ четвероногій талантъ былъ приглашенъ въ Веймаръ, наотрѣзъ объявилъ: «въ нашемъ театрѣ существуетъ правило, что собаки не допускаются на сцену», и оставилъ это безъ вниманія. Между тѣмъ герцогъ распорядился, чтобъ послано было приглашеніе Карстену и его собакѣ. Недоброжелатели Гете выставляли его сопротивленіе этому какъ систематическое самоуправство и коварно удивлялись, какъ можетъ герцогъ изъ такихъ пустяковъ отказывать себѣ въ удовольствіи. Кончилось тѣмъ, что знаменитый пудель явился въ Веймаръ. Послѣ первой же репетиціи Гете объявилъ, что ему ничего болѣе не остается дѣлать при театрѣ, гдѣ позволяютъ играть собакамъ, и сейчасъ же уѣхалъ въ Іену. Государи не любятъ, чтобъ имъ рѣзко прекословили, а герцогъ, при всѣхъ своихъ хорошихъ качествахъ, все-таки былъ герцогъ. Въ дурную минуту написалъ онъ Гете слѣдующую записку: «Изъ дошедшихъ до меня слуховъ я убѣдился, что тайный совѣтникъ Гете желаетъ быть уволеннымъ отъ должности директора театра, поэтому и увольняю его. Карлъ Августъ.» Трудно было придумать что-нибудь болѣе оскорбительное. Со стороны герцога это

было вспышкой раздражительнаго, грубаго самовластія, которое омрачило лучшія его качества. Гете былъ жестоко оскорбленъ. «Карлъ Августъ никогда не понималъ меня», воскликнулъ онъ съ глубокимъ вздохомъ. Тяжело ему было получить такую обиду отъ своего стараго друга, который въ продолженіе сорока двухъ лѣтъ былъ для него болѣе другъ, нежели государь, который въ изліяніяхъ дружбы самъ говорилъ ему, что одна могила приметъ ихъ тѣла, — и все это по случаю собаки, за которой скрывалась гнусная закулисная интрига. Гете серьезно сталъ думать о томъ, чтобы навсегда покинуть Веймаръ и принять великолѣпныя предложенія, сдѣланныя ему изъ Вѣны. Но мы должны замѣтить, какъ смягчающее обстоятельство въ пользу герцога, что герцогъ сейчасъ же почувствовалъ, что поступаетъ дурно, и написалъ къ Гете слѣдующее письмо: «Милый другъ! Вижу, что ты желалъ бы освободиться отъ докучливыхъ хлопотъ по управленію театромъ, но охотно готовъ помогать совѣтами и даже непосредственнымъ участіемъ, когда въ томъ представится надобность, а эта надобность, безъ сомнѣнія, будетъ представляться часто. Охотно уступаю твоему желанію; благодарю за все полезное, которое ты совершилъ въ этомъ хлопотливомъ и трудномъ дѣлѣ; прошу не оставлять вниманіемъ процвѣтаніе сцены, и надѣюсь, что свобода отъ докучливыхъ хлопотъ будетъ благотворна для твоего здоровья и умножить твои годы. Прилагаю при этомъ официальную записку касательно этого дѣла, и желаю тебѣ всего хорошаго.» Туча прошла мимо; но никакія просьбы не могли уже убѣдить Гете вступить опять въ управленіе театромъ. Онъ могъ извинить скорый и необдуманнѣйшій поступокъ своего друга, но у него было больше гордости, чѣмъ у герцога, и онъ твердо держался разъ принятаго имъ рѣшенія не имѣть болѣе ничего общаго съ театромъ, на которомъ играли собаки.

---

## ГЛАВА VI.

### Последніе годы Шиллера.

Предшествующая глава далеко завлекла насъ отъ того времени и тѣхъ событій, къ которымъ мы должны теперь вернуться. Отъ 1817 г. вернемся къ 1800 г. — Шиллеръ тогда толькочто поселился въ Веймарѣ, чтобы провести тамъ остатокъ своихъ дней. Конечно, читателю будетъ интересно знать, какъ Гете проводилъ свой день, тѣмъ болѣе, что онъ этого не найдетъ ни въ одномъ изъ напечатанныхъ сочиненій о Гете. — Поэтъ вставалъ въ 7 часовъ, иногда раньше; спалъ долго и крѣпко—подобно Торвальдсену, онъ имѣлъ способность спать, которая уступала только способности къ продолжительному труду. До одиннадцати часовъ онъ работалъ безъ отдыха. Въ это время ему приносили чашку шоколаду, и онъ снова принимался за работу и работалъ до часу. Въ два часа онъ обѣдалъ. Этотъ обѣдъ составлялъ главную пищу въ продолженіе всего дня. У него былъ громадный аппетитъ. Даже въ тѣ дни, когда онъ жаловался на недостатокъ аппетита, онъ ѣлъ гораздо болѣе, чѣмъ ѣсть большая часть людей. Отъ пудинговъ, сластей, пирожныхъ онъ никогда не отказывался. Имѣлъ обыкновеніе долго сидѣть за столомъ, попивая вино и весело болтая съ тѣмъ или съ другимъ изъ своихъ друзей (онъ никогда не обѣдалъ одинъ), или съ однимъ изъ актеровъ, которые часто приходили къ нему обѣдать, чтобы послѣ обѣда прочесть ему свою роль и спросить его совѣта. Онъ очень любилъ вино и выпивалъ ежедневно отъ двухъ до трехъ бутылокъ. Боясь, чтобы послѣднее замѣчаніе не было ложно истолковано, спѣшу напомнить читателю, какъ пивали наши отцы. Въ прежнія времена въ Англіи считали вещь очень обыкновенною выпивать три бутылки портеру или бургондскаго; а Гете, при-

\*

рейнскій уроженецъ, привыкшій съ дѣтства къ вину, пилъ такое вино, которое его англійскіе современники называли бы водою. Количество вина, которое онъ выпивалъ, только дѣлало его веселѣе; никогда не напивался онъ до такой степени, чтобъ не могъ заниматься, или не могъ оставаться въ обществѣ <sup>1)</sup>. За виномъ онъ просиживалъ по нѣсколько часовъ; въ обыкновенные дни никакого десерта не подавалось за его обѣдомъ; не подавалось даже простаго кофе послѣ обѣда. Его образъ жизни былъ чрезвычайно простъ. Между тѣмъ какъ люди даже съ самыми ограниченными средствами жгли восковыя свѣчи, двѣ несчастныя сальныя составляли все его освѣщеніе. Вечеромъ онъ часто бывалъ въ театрѣ, и туда ему приносили въ 6 часовъ стаканъ пуншу. Когда не былъ въ театрѣ, то принималъ друзей у себя дома. Между 8-ю и 9-ю часами подавали скромный ужинъ, но онъ никогда не ѣлъ ничего, кромѣ салада или варенья, и то въ маломъ количествѣ. Въ десять часовъ онъ уже былъ обыкновенно въ постелѣ. Его посѣщало много народу. Изъ писемъ Христины къ Мейеру мы должны заключить, что онъ оказывалъ гостепріимство въ большихъ размѣрахъ, такъ какъ ему почти каждый мѣсяцъ привозили изъ Бремена большое количество масла и ящики съ виномъ часто возобновлялись. Онъ былъ обязанъ своей славѣ тѣмъ удовольствіемъ и вмѣстѣ неудовольствіемъ, что всѣ пріѣзжавшіе въ Веймаръ искали случая его видѣть. Иногда эти посѣтители были лица, весьма интересныя; чаще же это были люди утомительно скучныя, или съ претензіями даже болѣе невыносимыми, чѣмъ скука. Съ тѣми, кто правился ему, онъ былъ необыкновенно любезенъ, а съ другими несообщителенъ и натянутъ. Вотъ почему одни отзываются о немъ съ восторгомъ, какой можетъ внушить толь-

---

<sup>1)</sup> «Въ послѣднее тысячелѣтіе житель рейнскихъ провинцій какъ-бы погрузился въ вино; онъ сталъ похожъ на хорошую старую винную бочку, пропитанную виннымъ спиртомъ. Вино дороже всего для жителя рейнскихъ провинцій. Подобно тому, какъ въ Англіи во времена Кромвеля роялисты славились паштетами, паписты изюмнымъ супомъ, атеисты ростбифомъ, такъ и житель рейнскихъ провинцій славится своимъ виномъ. Веселый собесѣдникъ выпиваетъ до семи бутылокъ каждый день и доживаетъ до лѣтъ Магусаана. Онъ рѣдко бываетъ пьянъ и наибольшее, что съ нимъ случается, это то, что онъ приобретаетъ знакъ Бардольфа, красный носъ». — Дивихъ: «Письма о немъ». Приложение.

ко одинъ геній; а у другихъ слышится чувство обманутаго ожиданія и даже чувство негодованія, вызваннаго его обхожденіемъ. Величественный министръ часто шокировалъ людей, ожидавшихъ видѣть пламеннаго поэта. Между такими посѣтителами часто встрѣчались писатели, которые потомъ мстили за свое оскорбленное самолюбіе критическими статьями и эпиграммами. Приведемъ одинъ примѣръ изъ тысячи: Бюргеръ, которому Гете помогъ деньгами, пріѣхалъ въ Веймаръ и рекомендовалъ себя слѣдующимъ нелѣпнымъ образомъ: «Вы Гете, — я Бюргеръ», очевидно желая этимъ поддержать свое собственное достоинство и поставить себя на равную ногу. Гете принялъ его съ самой дипломатической церемонностью; вмѣсто того чтобъ пуститься съ нимъ въ разсужденія о поэзіи, онъ все время проговаривалъ съ нимъ о положеніи Геттингенскаго университета и о числѣ тамошнихъ студентовъ. Бюргеръ ушелъ взбѣшенный и отомстилъ за этотъ пріемъ эпиграммою, рассказывалъ каждому встрѣчному, что онъ знаетъ по опыту, какъ гордъ, холоденъ, дипломатиченъ тайный совѣтникъ Гете. Нашлись многіе, которые подтвердили его слова, и публика, всегда падкая до скандаловъ, всегда охотно готовая видѣть въ великомъ человѣкѣ мелкаго человѣка, повторяла эти толки, преувеличивая ихъ. Гете дѣйствительно имѣлъ въ манерѣ держать себя нѣчто натянутое, даже высокомерное и даже оскорбительное. Какое впечатлѣніе производилъ иногда Гете на своихъ посѣтителей, мы можемъ судить по забавному разсказу Гейне, какъ юпитеровскій видъ Гете совершенно отшибъ у него память, такъ что онъ забылъ тщательно приготовленную рѣчь и могъ только пробормотать, что «по дорогѣ изъ Іены въ Веймаръ растутъ прекрасныя сливы.» Импозирующий видъ раздражительно дѣйствуетъ на мелкія натуры. Гете навѣрно заслужилъ бы общее расположеніе, еслибы, подобно Жанъ Полю, не носилъ галстука и распускалъ по плечамъ длинныя волосы. Вотъ какъ рассказывалъ Жанъ Поль о впечатлѣніи, какое произвелъ на него Гете. «Я съ робостью отправился къ нему. Всѣ описывали его равнодушнымъ ко всему на свѣтѣ. Г-жа фонъ-Кальбъ говорила, что онъ болѣе не удивляется ничему, ни даже самому себѣ: Каждое слово его — ледъ. Только одни особенныя рѣдкости въ состояніи привести въ движеніе фибры его сердца. Я просилъ Кнебеля сдѣлать изъ меня окаменѣлость, или обдѣлать меня въ какую-нибудь

минеральную руду, чтобы я могъ явиться къ нему въ видѣ статуи или ископаемаго.» Какъ слышенъ въ этихъ фразахъ отголосокъ мелкихъ сплетень маленькаго городка! Для невѣжественныхъ обитателей Веймара любовь Гете къ статуямъ и естественнымъ произведеніямъ казалась чудовищной. «Его домъ, — продолжаетъ Жанъ Поль, — или скорѣе его дворецъ понравился мнѣ; это единственный домъ въ Веймарѣ въ итальянскомъ стилѣ, съ великолѣпной лѣстницей. Это — пантеонъ, полный картинъ и статуй. У меня сдавило грудь отъ страха. Наконецъ богъ вышелъ, холодный, молчаливый. «Французы отступаютъ къ Парижу,» сказалъ Кнебель. «Гмъ», произнесъ богъ. У него массивное оживленное лицо; глаза какъ огненные шары. Наконецъ, когда разговоръ коснулся искусства, онъ оживился и выказался какъ онъ есть. Онъ говоритъ не такъ краснорѣчиво и плавно какъ Гердеръ, но у него болѣе тонкости, опредѣлительности и спокойствія. Подъ конецъ онъ прочелъ или скорѣе продекламировалъ неизданную поему, и пламень его сердца видимо пробивался сквозь наружную ледяную кору. На мой восторгъ отвѣчалъ пожатіемъ руки. Прощаясь, пожалъ снова мнѣ руку и просилъ меня еще посѣтить его. Клянусь небомъ, мы полюбимъ другъ друга! Онъ считаетъ свою поэтическую карьеру оконченной. Ничто не можетъ сравниться съ его чтеніемъ. Оно походитъ на глухіе раскаты грома, перемежающіеся съ шумомъ дождевыхъ капель.» Теперь послушаемъ, что Жанъ Поль говоритъ о Шиллерѣ: «Вчера я былъ у каменнаго Шиллера, отъ котораго всѣ незнакомые съ нимъ сторонятся, какъ отъ пропасти. Черты лица у него неправильныя, но чрезвычайно рѣзкія, точно высѣчены изъ камня, чрезвычайно выразительныя, но въ нихъ нѣтъ любви. Онъ говоритъ такъ же хорошо, какъ пишетъ.» Жанъ Поль не повторялъ своего визита къ Шиллеру, который несомнѣнно былъ вполне согласенъ съ тѣмъ, что писалъ ему Гете. «Я радъ, что вы видѣли Рихтера. Его любовь къ истинѣ и его желаніе самоусовершенствоваться расположили меня въ его пользу; но общественный человѣкъ всегда болѣе или менѣе теоретикъ, и я сомнѣваюсь, чтобы онъ практически когда-либо могъ съ нами сблизиться.» Гете, холодный и отталкивающій съ людьми притязательными и чуждыми ему, былъ любезенъ и привлекателенъ со всѣми, съ кѣмъ могъ симпатизировать. Онъ питалъ братскую любовь къ Шиллеру и Гер-

деру, умѣлъ распознавать и поощрять такихъ людей, какъ Гегель, который былъ тогда еще неизвѣстнымъ учителемъ, и какъ Фоссъ, сынъ переводчика Гомера <sup>1)</sup>. Онъ внушалъ страстную къ себѣ привязанность всѣмъ, кто находился съ нимъ въ близкихъ сношеніяхъ, и сильную ненависть многимъ изъ тѣхъ, которыхъ не принималъ въ свой дружескій кружокъ.

Начало нынѣшняго столѣтія застало Шиллера дѣятельнымъ и заботящимся поддержать дѣятельность въ своемъ другѣ. Но теорія опутывали геній Гете и разнородныя занятія развлекали его. Онъ не былъ, какъ Шиллеръ, поэтъ размышляющій, анализирующій, его поэтическое творчество было, такъ сказать, непосредственное, инстинктивное. Слѣдствіемъ этого было то, что размышленіе не только задерживало его поэтическое творчество, но привело его къ символизму, составляющему темный уголъ въ воздвигнутомъ имъ лучезарномъ храмѣ. Онъ теперь снова принялся за Фауста и написалъ классическую интермедію *Елена*, которая теперь занимаетъ мѣсто въ третьемъ актѣ второй части Фауста. Много также занимался онъ теперь театромъ, наукой. Въ концѣ года онъ опасно занемогъ и его болѣзнь сильно напугала герцога и веймарскій кружокъ. Объ этой его болѣзни идетъ рѣчь въ письмѣ г-жи фонъ-Штейнъ, которое мы привели на стр. 88. Черезъ нѣсколько недѣль онъ выздоровѣлъ и занялся переводомъ сочиненія Теофраста о *Цвѣтѣхъ и Фаустомъ*.

Между тѣмъ какъ эти два человѣка, стоявшіе во главѣ литературы, жили въ братской любви, благородно соревнуя другъ другу, работая вмѣстѣ, заботясь объ успѣхѣхъ одинъ другаго, общество дѣлилось на двѣ партіи, споря о томъ, который изъ нихъ—величайшій поэтъ, подобно тому какъ въ Римѣ артисты спорили, кто выше, Рафаэль или Микель-Анджело. Относительно послѣдняго спора Гете хорошо замѣтилъ: «Трудно оцѣнить великій талантъ, а еще труднѣе оцѣнить разомъ два, и мы обыкновенно облегчаемъ себѣ эту задачу пристрастіемъ». Гете и Шиллеръ имѣли своихъ ярыхъ приверженцевъ, которые вели между собой ожесточенный и нескончаемый споръ. Вмѣсто того чтобы послѣдовать совѣту Гете

<sup>1)</sup> Voss: «*Mittheilungen über Goethe und Schiller*».

и радоваться, что имѣеть двухъ такихъ великихъ поэтовъ, общество старалось возвысить одного насчетъ другаго. Самъ Шиллеръ, съ очаровательной скромностью, признавалъ превосходство надъ собой Гете; въ одномъ изъ писемъ къ Бернеру онъ говоритъ: «Въ сравненіи съ Гете, я не болѣе какъ жалкій стихоплетъ, *gegen Goethe bin und bleib'ich ein poetischer Lump.*» Но большинство ставило его выше его соперника, по крайней мѣрѣ болѣе любило его. Гerviнъ указалъ замѣчательную противоположность въ судьбѣ ихъ произведеній. Шиллеръ, писавшій для мужчинъ, сдѣлался любимцемъ женщинъ и юношей, а Гете, вѣчно остававшійся юношей, нравился только мужчинамъ. Тайна этого заключается въ томъ, что Шиллеръ обладалъ страстью и увлеченіемъ, которыхъ не доставало Гете. Гете говорилъ Эккерману, что его произведенія никогда не могутъ быть популярны, — и дѣйствительно, за исключеніемъ мелкихъ произведеній и Фауста, ни одно изъ его произведеній не имѣеть такой популярности, какую имѣють произведенія Шиллера.

Веймарское общество также двоилось на поклонниковъ Шиллера и поклонниковъ Гете. Коцебу вздумалъ обратить это раздвоеніе въ орудіе личной мести. Увѣнчанный лаврами въ Берлинѣ и собравъ богатую жатву слезъ по всей Германіи, онъ теперь вернулся на свою родину, въ Веймаръ, былъ принятъ при дворѣ, но не могъ получить доступа въ избранный кружокъ Гете и Шиллера; это тѣмъ болѣе оскорбляло его самолюбіе, что Гете по этому случаю съострилъ на его счетъ и ему передали эту остроту. Въ Японіи кромѣ свѣтскаго двора императора существуетъ еще духовный дворъ Далай-Ламы, который имѣеть даже большее значеніе, чѣмъ представитель свѣтской власти. Наменя на это, Гете сказалъ въ шутку: «Какая польза Коцебу, что его принимаютъ при свѣтскомъ дворѣ, когда онъ не имѣеть доступа къ духовному двору.» Коцебу вознамѣрился уничтожить этотъ духовный дворъ и создать новый, гдѣ Шиллеръ долженъ былъ быть Далай-Ламой.

Въ то время въ Веймарѣ существовалъ небольшой избранный кружокъ, состоявшій изъ Гете, Шиллера, Мейера и нѣсколькихъ избранныхъ дамъ, въ числѣ которыхъ были графиня Эйндель, дѣвица фонъ-Имгофъ, г-жа фонъ-Вольцогенъ. Присутствіе женщинъ придавало этому кружку романическій оттѣнокъ. Одна изъ фрейлинъ герцогини Амалии употребляла всѣ усилія, чтобъ



ввести Коцебу въ этотъ кружокъ; но Гете и Шиллеръ рѣшились не допускать его, опираясь на правило кружка, что «ни одинъ изъ членовъ кружка не можетъ ввести никого, ни природнаго веймарца, ни чужеземца, если на то не будетъ единодушнаго согласія всѣхъ прочихъ членовъ.» Вслѣдствіе этого произошло охлажденіе между нѣкоторыми изъ членовъ кружка; и наконецъ Гете, выведенный изъ терпѣнія докучливыми просьбами о принятіи Коцебу, сказалъ: «Законы, разъ установленные, должны быть исполняемы, а въ противномъ случаѣ лучше обществу совсѣмъ разойтись, и это, быть можетъ, будетъ даже благоразумнѣе, такъ какъ постоянство всегда тягостно и затруднительно для женщины.» Конечно, дамы не могли быть довольны подобными замѣчаніями, и Коцебу старался разжечь ихъ неудовольствіе. Какъ разъ въ это время Шиллеръ уѣхалъ въ Лейпцигъ, и Коцебу, пользуясь его отсутствіемъ, принялся устраивать въ честь его праздникъ въ Веймарской ратушѣ. Праздникъ долженъ былъ начаться представленіемъ сценъ изъ Донъ-Карлоса, Орлеанской дѣвы и Маріи Стюартъ. Любимица Гете и теперь его врагъ, графиня фонъ Эйндзидель должна была исполнять роль Іоанны д'Аркъ, а дѣвица фонъ-Имгофъ роль Шотландской королевы, Софія Моро должна была продекламировать Пѣснь о Колоколѣ, Коцебу взялъ на себя роль отца Тибо въ Орлеанской Дѣвѣ и роль мастера литейщика. Послѣдняя роль состояла главнымъ образомъ въ томъ, что литейщикъ ударомъ молота долженъ былъ разбить на двое колоколъ, сдѣланный изъ папки, и глазамъ зрителей долженъ былъ предстать бюстъ Шиллера; въ то же время дамы должны были вѣнчать самого поэта лавровымъ вѣнкомъ. Приготовленіе быстро подвигалось, весь Веймаръ былъ въ движеніи и все, повидимому, шло какъ нельзя лучше. Принцесса Каролина обѣщала присутствовать на празднествѣ. Но какъ ни настоятельно приглашали Шиллера, онъ за нѣсколько дней передъ праздникомъ сказалъ Гете: «я пошлю сказать, что боленъ». Гете на это ничего не отвѣтилъ и вообще не выражалъ никакихъ мнѣній насчетъ этого празднества. «Думали, — рассказываетъ Фалькъ, — что это поведетъ къ охлажденію между двумя друзьями, особенно если простосердечный, доврчивый Шиллеръ позволитъ уловить себя въ разставленные ему сѣти. Но такъ могли думать только люди, не понимавшіе великихъ поэтовъ. Впрочемъ, къ сча-

стью, весь планъ рушился. Директоръ библіотеки отказался дать буюсть Шиллера, а бургомистръ не далъ залы въ ратушѣ. Едва-ли когда веселому Веймарскому обществу случалось переживать болѣе сильное несчастье. Уже всё было готово, и вдругъ всѣ блестящія надежды разомъ рушились въ одно мгновеніе. Уже пристань была въ виду, и вдругъ, при самомъ входѣ въ пристань, потерпѣть полное кораблекрушеніе! Это было ужасно. Сколько пропало даромъ расходовъ на крепь, газъ, ленты, кружева, бусы, цвѣты, не говоря уже о картонѣ для колокола, о холстѣ, краскахъ для декорацій, о восковыхъ свѣчахъ для освѣщенія и пр. Сколько потраченного труда и времени на изученіе ролей! Каково положеніе величественной Орлеанской дѣвы, очаровательной королевы Шотландіи и прелестной Агнесы, которыя уже совсѣмъ готовы выступить во всемъ величіи, и вдругъ имъ объявляютъ, чтобъ онѣ слагали свои короны и скинеты. Никогда еще судьба не поступала такъ жестоко.»

Вскорѣ послѣ этого событія, — 13 іюля 1802 г., — была конfirmaція сына Гете. Обрядъ былъ совершенъ Гердеромъ. Это обстоятельство возстановило на время дружескія отношенія Гердера и Гете, которыя въ послѣднее время охладились вслѣдствіе нерасположенія Гердера къ Шиллеру. Какъ нѣкогда онъ ревновалъ Гете къ Мерку, такъ теперь еще болѣе ревновалъ его къ Шиллеру. Онъ ненавидѣлъ Канта и всѣхъ его послѣдователей такъ какъ, по его мнѣнію, кантовская философія гибельна для христіанской нравственности. Обычная его раздражительность увеличивалась съ годами. Шиллеръ былъ ему вполне антипатиченъ; успѣхъ *Валленштейна* до такой степени его огорчилъ, что онъ даже сдѣлался боленъ. Жестокими испытаніямъ подвергалъ онъ удивительную терпимость Гете, но тѣмъ не менѣе поэтъ всегда высоко цѣнилъ его хорошія качества. Гете говорилъ о немъ: «при встрѣчѣ съ нимъ приходишь въ восторгъ отъ его простоты, а разставаясь ропщешь на его желчность.» Одно время имя Гете въ семьѣ Гердера не произносилось почти иначе, какъ съ непріязнью; несмотря на то жена Гердера писала къ Кнебелю; «мы должны благодарить Бога за то, что Гете еще живъ. Веймаръ былъ бы невыносимъ безъ него.» Гете и Гердеръ прожили вмѣстѣ въ Іенѣ нѣсколько дней и потомъ разстались, чтобъ уже болѣе никогда не видѣться. Въ декабрѣ

1803 г. Гердеръ умеръ. Гете занимался физикою съ Риттеромъ, сравнительною анатоміей съ Лодеромъ, оптикой съ Гимли, дѣлалъ наблюденія надъ луной, и среди этихъ занятій составлялъ планъ великой поэмы «*De Natura Rerum*», который, подобно многимъ другимъ его планамъ, остался не осуществленъ. Бесѣды съ великимъ философомъ Вольфомъ возбудили въ немъ охоту къ изученію древности; у Фосса изучалъ онъ съ ревностью филолога правила просодіи. Довольно курьезно, что величайшій поэтъ своего времени, въ совершенствѣ обладавшій стихомъ во всѣхъ возможныхъ его формахъ, трудился надъ теоретическимъ изученіемъ просодіи. Нельзя не видѣть въ этомъ признака проявившейся въ немъ въ то время наклонности къ теоретическимъ занятіямъ поэзіей. Этой наклонности къ теоризированію должны мы, по всей вѣроятности, приписать отсутствіе жизни и силы въ его драмѣ: «*Natürliche Tochter*», которая была имъ окончена въ это время. Но хотя эта драма «гладка какъ мраморъ и холодна какъ мраморъ», про нее можно сказать, что это—мраморная урна, въ которую поэтъ вложилъ глубокія чувства. Абененъ говоритъ, что актриса, исполнявшая роль героини въ этой драмѣ, рассказывала ему, что однажды, когда она репетировала свою роль въ компаніи Гете, онъ былъ такъ взволнованъ, что со слезами на глазахъ просилъ ее перестать <sup>1)</sup>. Еще удивительнѣе можетъ показаться, что Шиллеръ восхищался этимъ произведеніемъ и писалъ Гумбольдту: «Все это произведение чуднымъ образомъ проникнуто высокимъ символизмомъ, такъ что въ немъ все становится частью идеальнаго цѣлага. Это есть въ высшей степени художественное произведение, проникающее своей истинностью въ самую сокровенную глубь природы.» Варнгагенъ рассказывалъ мнѣ, что былъ съ Фихте въ одной ложѣ, когда давали эту драму въ Берлинѣ,—Фихте былъ сильно взволнованъ и сказалъ, что это есть высшее произведение Гете. Розенкранцъ удивляется, какимъ образомъ это произведение могло подвергнуться почти всеобщему неодобрѣнію публики. «Какой паеосъ, сколько чувства, какой трагизмъ», восклицаетъ онъ. Другіе же повторяли эти восклицанія съ ироніей. Мнѣ кажется, что самая похвала Шил-

---

<sup>1)</sup> Abeken: *Goethe in den Jahren 1771—75*, p. 21.

лера и Фихте вполне оправдываетъ общій приговоръ публики. Драма, столь восхваляемая за ея высокій символизмъ, можетъ имѣть высокія достоинства только въ глазахъ философовъ и критиковъ. Конечно, драма, какъ и всякое другое поэтическое произведеніе, можетъ содержать въ себѣ матеріалъ, допускающій символическое толкованіе. Но поэтъ, дѣлающій символъ сущностью и цѣлью поэтического произведенія, грѣшитъ противъ своего призванія. Нѣкоторые новѣйшіе ученые приписывали символическое значеніе всѣмъ греческимъ драмамъ; но еслибъ греческіе драматурги писали съ тою цѣлью, какую имъ приписываютъ эти комментаторы, то они никогда бы не дожили до того, чтобъ задать этимъ комментаторамъ трудъ ихъ растолковывать. *Илліадъ* приписывали значеніе аллегорій; той же участи подверглась и *Божественная комедія* Данта. Ульрици нашелъ въ драмахъ Шекспира плоскія правоученія; въ *Wahlverwandtschaften* видѣли изображеніе «всемирной жизни». Символизмъ по самой природѣ своей открываетъ обширное поле произвольнымъ толкованіямъ; но несомнѣнно, что истинные поэты вовсе не имѣли тѣхъ цѣлей, какія имъ приписываются ихъ комментаторами, и одинаково несомнѣнно, что ни одинъ поэтъ, писавшій для комментаторовъ, не произвелъ ничего истинно поэтического.

Въ декабрѣ 1803 г. пріѣхала въ Веймаръ знаменитая гостя, г-жа Сталь. Изгнанная Наполеономъ изъ Франціи, она отправилась въ Германскія Аены, чтобъ лично видѣть людей, съ которыми имѣровалась познакомиться своихъ соотечественниковъ. Не трудно найти смѣшныя стороны въ г-жѣ Сталь; не трудно надавать ей разныхъ смѣшныхъ прозвищъ, какъ это дѣлаетъ Гейне, называя ее «вихремъ въ юбкѣ, султаншею ума» и т. п. Но нѣмцы должны быть благодарны ей за ея книгу *de l'Allemagne*, которая до сихъ поръ остается лучшимъ сочиненіемъ о Германіи, и любитель литературы не долженъ забывать, что ея геній составляетъ блистательный примѣръ литературныхъ способностей женскаго ума. Шиллеръ и Гете, которыхъ она осаждала своей болтовней, отзываются объ ея умѣ съ большимъ уваженіемъ. «Я не знаю женщины, которая бы болѣе болтала, болѣе спорила, болѣе жестикулировала, но и не знаю также женщины болѣе образованной и столь высоко одаренной», такъ говоритъ о ней Шиллеръ. Къ Гете онъ писалъ о ней: «она хочетъ все объяснить, все понять, все измѣ-

рить; не допускаетъ ничего необъяснимаго, неизмѣримаго; куда не проникаетъ свѣтъ разума, тамъ для нея ничего не существуетъ. Отсюда ея отвращеніе къ идеальной философіи, которая, по ея мнѣнію, ведетъ къ мистицизму и къ суевѣрію. О томъ, что мы называемъ поэзіей, она не имѣетъ никакого понятія; она только можетъ оцѣнить вещь страстную, риторическую; она не будетъ восхвалять ложь, но не всегда отличить то, что истинно.» — Герцогиня Амалия была отъ нея въ восхищеніи. Герцогъ просилъ Гете, который былъ тогда въ Іенѣ, дать ей случай видѣть его, но Гете положительно отказался. Онъ говорилъ, что если она очень желаетъ его видѣть и приѣдетъ въ Іену, то найдетъ радушный пріемъ, ей доставятъ удобное помѣщеніе и скромный обѣдъ, — и всѣмъ день онъ будетъ проводить нѣсколько часовъ вмѣстѣ съ ней по окончаніи своихъ занятій, но онъ не въ состояніи вернуться ко двору и посѣщать общество, такъ какъ недостаточно хорошо себя чувствуетъ. Въ началѣ 1804 г. однако онъ вернулся въ Веймаръ и тогда познакомился съ ней; сначала онъ принялъ ее у себя *tête-à-tête*, а потомъ выдался съ ней въ небольшомъ дружескомъ кружкѣ.

За исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда ей удавалось его развеселить своими парадоксами и остротами, онъ былъ съ ней холоденъ и перемоненъ, даже болѣе чѣмъ съ другими замѣчательными людьми. Онъ самъ объяснилъ намъ, что было тому причиной. Руссо былъ вовлеченъ въ переписку съ двумя женщинами, называвшими себя его почитательницами, которыя потомъ собрали и напечатали его письма<sup>1)</sup>. Въ этихъ письмахъ Руссо выказался далеко не въ свою пользу. Гете слышалъ объ этой перепискѣ или читалъ ее какъ разъ передъ тѣмъ, какъ г-жа Сталь откровенно объявила ему, что имѣетъ намѣреніе напечатать свои бесѣды съ нимъ. Этого было достаточно, чтобы онъ чувствовалъ себя стѣсненнымъ въ ея обществѣ, и хотя она говоритъ про него, что онъ былъ *«un homme d'un esprit prodigieux en conversation....*

---

<sup>1)</sup> Здѣсь безъ сомнѣнія идетъ рѣчь о перепискѣ Руссо съ г-жею De la Tour-Franqueville и ея другомъ, которой имя неизвѣстно; это едва ли не самая интересная изъ всѣхъ извѣстныхъ переписокъ женщинъ съ знаменитыми людьми.

quand on le sait faire parler il est admirable», но она видѣла только искусственнаго Гете, а не настоящаго. Съ помощью возбуждательныхъ средствъ, въ томъ числѣ и шампанскаго, ей удавалось заставлять говорить его блестящимъ образомъ; но она никогда не могла заставить его говорить съ нею серьезно. 29 февраля оставила она Веймаръ къ великому удовольствію и Гете и Шиллера <sup>1)</sup>). Остальная часть этого года не представляетъ ничего замѣчательнаго въ жизни Гете. Мы можемъ только упомянуть, что онъ занимался въ это время переводомъ неизданнаго произведенія Дидро: *Племянникъ Рамо* и началъ писать превосходное сочиненіе подъ заглавіемъ: *Винкельманъ и его стлз.* 1805 годъ встрѣтилъ онъ съ мрачнымъ предчувствіемъ, что для него или для Шиллера это будетъ послѣдній годъ жизни. Оба были опасно больны. Христина въ письмѣ къ своему другу Мейеру говоритъ, что въ послѣдніе три мѣсяца Гете едвали одинъ день пользовался хорошимъ здоровьемъ и что по временамъ кажется, какъ будто онъ совсѣмъ умираетъ. Произошла весьма трогательная сцена, когда Шиллеръ, немного оправившись отъ болѣзни, неожиданно вошелъ въ комнату своего больного друга. Они встрѣтились молча и выразили свою радость видѣть другъ друга долгимъ сердечнымъ поцѣлуемъ. Оба надѣялись, что съ возвращеніемъ весны къ нимъ вернутся здоровье и силы. Шиллеръ въ это время переводилъ *Федру* Расина; Гете переводилъ *Племянника Рамо* и писалъ исторію *Farbentehre*. Весна наступила, но взорамъ Шиллера не суждено было насладиться ея красотою. 30-го апрѣля друзья видѣлись въ послѣдній разъ. Шиллеръ отправился въ театръ. Гете, чувствуя себя недостаточно хорошо, чтобы сопровождать его, простился съ нимъ у дверей своего дома. Во время болѣзни Шиллера Гете былъ очень печаленъ. Фоссъ засталъ его однажды прогуливающимся въ саду въ слезахъ. Онъ подавилъ свое волненіе, когда Фоссъ сталъ говорить ему о здоровьѣ Шиллера, и только сказалъ: «Какъ безжалостна судьба, какъ ничтоженъ человекъ!». Дѣйствительно, казалось что двумъ друзьямъ суждено такъ же дружно сойти въ могилу, какъ они дружно шли въ жизни. Гете стало

<sup>1)</sup> Въ *Tag und Jahres-Hefte* 1804 (*Werke*, XXVII, p. 143) читатель найдетъ рассказъ Гете о г-жѣ Сталь и о ея отношеніяхъ къ нему.

хуже. Жизнь Шиллера быстро угасала. 8-го мая онъ былъ въ безнадѣжномъ положеніи, сонъ его въ эту ночь былъ безпокоенъ; онъ бредилъ и къ утру потерялъ всякое сознаніе, говорилъ безсвязно и большею частью по-латыни. Питье, которое онъ пилъ въ послѣдній разъ, было шампанское. Къ 3-мъ часамъ пополудни онъ совершенно ослабъ; дыханіе стало прерывисто. Около 4-хъ часовъ, онъ спросилъ нефти, но послѣдніе звуки замерли у него на губахъ; чувствуя, что не можетъ говорить, онъ сдѣлалъ знакъ, что хочетъ написать что-то; но его рука могла только начертить три буквы, въ которыхъ еще можно было признать его почеркъ. Жена стояла на колѣняхъ подлѣ него; онъ пожалъ ея руку. Невѣстка его и докторъ стояли въ ногахъ у постели, прикладывая теплыя подушки къ его холоднымъ ногамъ. Вдругъ лице его сильно передернуло; голова опрокинулась назадъ и лице приняло выраженіе самаго глубокаго спокойствія.... Онъ походилъ въ эту минуту на человѣка, погруженнаго въ сладкій сонъ.—Вѣсть о смерти Шиллера быстро разнеслась по Веймару. Театръ былъ закрытъ; веймарцы толпились на улицѣ. Каждому казалось, что онъ потерялъ дорогаго друга. Гете въ это время былъ крайне истощенъ долгою болѣзнію и никто, не имѣлъ духу сказать ему о смерти дорогаго ему соперника. Когда это извѣстіе сообщили Генриху Мейеру, бывшему въ одной комнатѣ съ Гете, то Мейеръ поспѣшно вышелъ, боясь, что не въ силахъ будетъ сдержать свою скорбь. Гете замѣтилъ, что члены его семьи какъ будто смущены чѣмъ-то и избѣгаютъ его. Онъ отчасти отгадалъ истину и наконецъ сказалъ: «Я вижу—Шиллеръ должно быть очень боленъ.» Ночью слышали, какъ этотъ человѣкъ, стоявшій повидимому выше всѣхъ человѣческихъ привязанностей, умѣвшій сохранить внѣшнее спокойствіе даже при смерти дорогаго ему сына,—слышали, какъ этотъ человѣкъ рыдалъ. Утромъ онъ сказалъ одному изъ друзей «вѣдь это не правда, что Шиллеръ былъ вчера очень боленъ?» Другъ зарыдалъ. «Онъ умеръ,» сказалъ Гете едва слышно. «Вы сказали,» былъ отвѣтъ. «Онъ умеръ,» повторилъ Гете, и закрылъ лице руками <sup>1)</sup>. «Я разстался съ половиною моего существа,» писалъ онъ къ Целтеру. Онъ хотѣлъ продолжать *Димитрія* въ томъ духѣ, въ какомъ

<sup>1)</sup> BULWER, *Life of Schiller*.

Шиллеръ задумалъ его, чтобъ такимъ образомъ духъ Шиллера продолжалъ жить и работать вмѣстѣ съ нимъ; но это оказалось для него невозможнымъ. «Бѣлыя страницы моего дневника за это время свидѣтельствуютъ о пробѣлѣ въ моемъ существованіи. Въ это время меня ничто не интересовало.»

## ГЛАВА VII.

### Фаустъ.

Хотя первая часть *Фауста* появилась въ печати не ранѣе 1806 г., но она была окончена еще до смерти Шиллера, и потому не будетъ неумѣстно на ней теперь остановиться. Болѣе тридцати лѣтъ поэтъ обдумывалъ свое произведеніе, и хотя нельзя опредѣлить съ хронологическою точностью минуту его зарожденія, но приблизительно это возможно и во всякомъ случаѣ не безъинтересно. Легенду о Фаустѣ Гете зналъ еще ребенкомъ. Въ Страсбургѣ, въ 1770—71, ему пришла мысль вложить въ форму старой легенды свою личную опытность; но онъ не принимался за эту работу до 1774—5. Въ этомъ году написалъ онъ первый монологъ и первую сцену, гдѣ является Вагнеръ. Въ періодъ своей любви къ Лили задумалъ онъ Гретхенъ, написалъ сцену на улицѣ, сцену въ спальнѣ Гретхенъ, также сцены между Фаустомъ и Мефистофелемъ во время прогулки и на улицѣ, и наконецъ сцену въ саду. Во время путешествія по Швейцаріи онъ набросалъ первую сцену съ Мефистофелемъ, а также сцену передъ городскими воротами, планъ Елены (впослѣдствіи очень измѣненный), сцену между ученикомъ и Мефистофелемъ и погребъ Ауэрбаха. Въ свое пребываніе въ Италіи онъ перечелъ старую рукопись и написалъ сцены въ кухнѣ вѣдьмъ и въ соборѣ, а также монологъ въ лѣсу. Въ 1797 все было снова передѣлано. Тогда были прибавлены два пролога, Вальпургіева ночь и посвященіе. Въ 1801 г. онъ окончилъ первую часть въ томъ видѣ, въ какомъ мы знаемъ ее теперь, и только можетъ быть кое-что исправилъ въ 1806, когда она была въ первый разъ издана. Разсмотримъ подробно это любимое дѣтище поэта, столь заботливо имъ возделѣянное.



Въ баснѣ Эзопъ цѣтукъ выкопалъ жемчужину и нашелъ, что она для него ничтожнѣе пшеничнаго зерна. Жемчужина есть жемчужина только для того, кто знаетъ ей цѣну. Тоже самое можно сказать о великихъ сюжетахъ: они велики только въ рукахъ великихъ художниковъ. Тамъ, гдѣ существуетъ талантъ, богатый сюжетъ есть находка, но при отсутствіи таланта онъ только ярче выказываетъ несостоятельность артиста. Посредственные поэты пробовали свои силы надъ Фаустомъ; поэты неоспоримо гениальные пытались совладать съ нимъ; Гете одинъ нашелъ въ немъ сюжетъ, вполне соответствующій своему гению, и создалъ изъ него величайшую поэму нашего времени. Хотя гений можетъ найти матеріалъ въ вещахъ повидимому ничтожныхъ, на которыя обыкновенный умъ и не обратилъ бы вниманія, но не велико число такихъ сюжетовъ, которые давали бы гению возможность вполне высказаться. Условія организма и воспитанія дѣлаютъ то, что для человека извѣстный предметъ облекается особою прелестью и особымъ значеніемъ, какого не имѣетъ въ его глазахъ никакой другой, и этотъ предметъ становится для него мраморомъ, изъ котораго онъ, высѣкаетъ чудный памятникъ. Такъ Веберъ создалъ Фрейшюца, Рафаэль—Мадонну, Гете—Фауста.

Не соответствуетъ ни цѣли, ни объему этой книги останавливаться на разнообразномъ историческомъ и эстетическомъ матеріалѣ, который въ такомъ богатствѣ представляетъ намъ относительно Фауста нѣмецкая литература. Нѣтъ ни одной самой мелочной подробности, касающейся Фауста, которая бы не послужила комментаторамъ темой для тщательныхъ изслѣдованій и глубокомысленныхъ толкованій. Но мы оставимъ въ сторонѣ весь этотъ ученый матеріалъ и постараемся только установить истинную точку зрѣнія на это чудное произведеніе, пользующееся такою безпримѣрною популярностью. Оно приковываетъ къ себѣ безъ различія всѣ умы, являясь предъ ними съ неодолимымъ обаяніемъ вѣчной проблемы и съ неодолимою прелестью безконечнаго разнообразія. Остроуміе, пафосъ, мудрость, фарсъ, мистерія, мелодія, вѣра, сомнѣніе, волшебство, иронія, — все въ немъ есть. Нѣтъ такой струны, которой бы оно не затронуло. Не только на людей, серьезно тревожимыхъ сомнѣніями, серьезно стремящихся къ разрѣшенію для себя высокихъ задачъ жизни, производитъ оно глубокое

впечатлѣніе, но даже самый простой людъ, даже, какъ выражается Гейне, — конечно не безъ преувеличенія, — даже самый послѣдній трактирный маркеръ надъ нимъ призадумывается. Мы видимъ въ Фаустѣ, какъ въ зеркалѣ, вѣчную проблему нашей умственной жизни и вмѣстѣ съ этимъ — разнообразныя черты нашей общественной жизни. Это вмѣстѣ и проблема и картина. Въ этомъ и заключается тайна его обаянія. Онъ обнимаетъ самыя высокія задачи жизни, и въ тоже время изображаетъ намъ мнѣнія, чувства различныхъ разрядовъ людей, движущихся предъ нами на сценѣ жизни. Тутъ проблема жизни выставляется предъ нами во всей ея наготѣ; картина жизни рисуется во всемъ ея разнообразіи.

Этотъ двойственный характеръ Фауста объясняетъ намъ его популярность и — что для насъ еще важнѣе — даетъ намъ ключъ къ разумѣнію самой тайны его созиданія. Ни одинъ изъ критиковъ, мнѣ извѣстныхъ, не остановилъ на этомъ должнаго вниманія. Конечно, всякое мнѣніе о предметѣ, столь избитомъ, предъявляющее притязаніе на новизну, неизбежно должно возбудить къ себѣ до нѣкоторой степени недовѣріе, но я надѣюсь, что эта глава убѣдитъ читателей въ его истинности. Въ первый разъ я былъ на него наведенъ размышленіемъ о причинахъ популярности Гамлета. Два эти произведенія, Фаустъ и Гамлетъ, имѣютъ между собой такъ много родственнаго, такъ тѣсно сплетаются между собой въ нашемъ умѣ, что критическое разсмотрѣніе одного изъ нихъ неизбежно бросаетъ свѣтъ и на другое.

Гамлетъ есть безспорно самое популярное произведеніе, какое только существуетъ на англійскомъ языкѣ. Факты рѣзко опровергаютъ мнѣніе, утверждающее, что еслибъ Гамлетъ появился въ первый разъ въ наше время, то потерпѣлъ бы *fiasco*. Онъ до сихъ поръ ежегодно забавляетъ и питаетъ милліоны умовъ. Въ мелкихъ театрахъ онъ даётся даже чаще, чѣмъ въ большихъ, и повсюду привлекаетъ публику. Даже самыя низшіе, самыя необразованные классы общества находятъ въ немъ для себя источникъ наслажденія. Причина этому двоякая: во-первыхъ, богатство мысли по самымъ глубокимъ вопросамъ; а даже самый темный умъ, хотя и не понимаетъ, но чувствуетъ великое, и съ благовѣйнымъ трепетомъ прислушивается къ изліяніямъ великаго ума, настойчиво вопрошающаго судьбу, —

и во вторыхъ, удивительное драматическое разнообразіе. Какой чудный рядъ потрясающихъ сценъ тутъ проходитъ предъ нами: привидѣніе, убійца, чудовищная королева; меланхолическій герой, осужденный на такую странную участь; несчастная Офелія, умирающая въ безуміи; вставная драма, застигающая въ распахъ совѣсть короля-убійцы; потрясающій смѣхъ могильщиковъ; похороны Офеліи, перерываемые ссорой на ея могилѣ между ея братомъ и ея любовникомъ, — и наконецъ кровавая развязка. И все это проникнуто глубокою страстью и глубокою поэзіей. Прибавьте ко всему этому чудную глубину мысли. *Гамлета* дѣйствительно можно назвать трагедіею мысли, такъ какъ въ немъ столько же разсужденій, сколько и дѣйствій; но самыя разсужденія въ немъ драматичны, и интересъ къ драмѣ не ослабляется въ зрителѣ ни на минуту. Поразительно въ этомъ произведеніи неразъединимое сліяніе самаго высокаго и самаго отвратительнаго, самой возвышенной поэзіи съ самыми грубыми театральными эффектами. Вся пьеса построена на ужасахъ, физическихъ и нравственныхъ: привидѣніе, кровосмѣшеніе, убійство, сумасшествіе, Полоній заколотый какъ мышшь, — могильщики, выбрасывающіе черепа на сцену и нарушающіе своей веселостью тишину кладбища. Эти ужасы и другіе имъ подобные составляютъ механизмъ, посредствомъ котораго движется эта самая возвышенная, самая величественная и самая философская изъ всѣхъ трагедій. Не трудно видѣть, почему произведеніе, столь разнообразное, сдѣлалось столь популярнымъ. *Фаустъ*, соперничающій съ нимъ въ популярности, соперничаетъ также и богатствомъ содержанія. Въ немъ затронуты почти всѣ важные вопросы жизни, и самая форма стиха чрезвычайно разнообразна.

Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen,  
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus.  
Wer Vieles bringt, wird manchem Etwas bringen,  
Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.

[На массу можно дѣйствовать только массой. Каждый хочетъ что-нибудь почерпнуть для себя, а гдѣ много, тамъ для каждаго найдется что-нибудь, и каждый пойдетъ домой довольный.]

Критики обыкновенно обращаютъ все свое вниманіе на объясненіе идеи *Фауста*, и мнѣ кажется, что въ многотрудныхъ по-

искалъ за дальнимъ объясненіемъ они не видятъ самаго очевиднаго и естественнаго объясненія, представляемаго самимъ произведеніемъ. Читатель знаетъ, какъ мало сочувствія питаю я къ философіи искусства и какъ мало я расположенъ докучать читателю разсужденіями объ идеѣ художественнаго произведенія. Опытъ говорить, что сами артисты имѣютъ совершенно иные цѣли въ виду, а вовсе не развитіе идеи, и что публика, привлекаемая артистомъ, заботится прежде всего никакъ не объ идеѣ, а предоставляетъ разсуждать о ней критикамъ. При изученіи произведенія искусства мы должны поступать такъ же, какъ поступаемъ при изученіи произведенія природы: насладившись дѣйствіемъ, мы должны стараться узнать, какими средствами производится это дѣйствіе, а не какая идея скрывается за этими средствами. Получивъ чрезъ анатомированіе животнаго ясное понятіе о механизмѣ, посредствомъ котораго совершаются извѣстныя отправленія, мы не приобретаемъ ни малѣйшей прибавки къ запасу нашего знанія изъ того, что намъ скажутъ, что эти отправленія суть конечныя причины механизма; если же, съ другой стороны, вмѣсто непосредственнаго изученія организма, мы зададимся какой-нибудь апіористической идеей, то очутимся среди болота метафизическихъ предположеній, не представляющихъ никакой устойчивой опоры.

*Фаустъ* начинается *театральнымъ прологомъ*. Труппа странствующихъ актеровъ собирается дать представленіе. Тутъ три лица: антрепренеръ, поэтъ и веселая особа; въ нихъ типично олицетворяется весь вопросъ о драматическомъ искусствѣ по отношенію къ поэтамъ и къ публикѣ. Антрепренеръ противопоставляетъ свой суровый практическій смыслъ неопредѣленнымъ желаніямъ и выпреннымъ стремленіямъ поэта; онъ думаетъ о денежномъ сборѣ, между тѣмъ какъ поэтъ думаетъ о славѣ. Но здѣсь, какъ всегда, суровый практическій смыслъ не оказывается лучшимъ судьей; оказывается необходимость въ посредникѣ, каковымъ и является веселая особа, которая указываетъ спорящимъ дѣйствительную цѣль—забаву публики. Когда поэтъ пускается въ разглагольствованія о потомствѣ, этотъ мудрый и веселый посредникъ лукаво замѣчаетъ ему: кто же въ такомъ случаѣ долженъ забавлять теперешнюю публику. Часто приходитъ намъ желаніе повторить этотъ вопросъ тѣмъ выпреннымъ писателямъ, которые

презираютъ успѣхъ въ настоящемъ, потому что его не добились, и возлагаютъ всѣ свои надежды на будущее, какъ будто будущее въ свою очередь не сдѣлается настоящимъ, у котораго будутъ также свои Іереміи.

Театральный прологъ, несмотря на свою краткость, исчерпываетъ весь вопросъ объ отношеніи между поэтами, антрепренерами и публикой. Мы находимъ тутъ самое разумное сужденіе, какое когда-либо было высказано объ этомъ предметѣ, столь свѣжее и столь примѣнимое, какъ будто только вчера написано. Ни одна изъ сторонъ вопроса, имѣющая важность, не оставлена безъ вниманія; не сказано ни одного слова лишняго. Все до послѣдней строки написано необыкновенно легко, со всею ясностью ума, вполне обладающаго своимъ предметомъ. Можно сказать безъ преувеличенія, что гениальный талантъ такъ же ярко виденъ и въ этой части, какъ въ другихъ главныхъ частяхъ *Фауста*; едвали даже сила генія не ярче выказывается въ подобныхъ мелочахъ. Второстепенные писатели рѣдко умѣютъ совладать съ подобнымъ предметомъ,—они впадаютъ или въ напыщенность или въ плоскость. Всѣ тѣла при извѣстной степени жара становятся свѣтлыми,—въ возбужденномъ состояніи даже и поверхностный умъ способенъ вдохновиться счастливою мыслью; но, при возвращеніи къ нормальной температурѣ, то, что прежде было свѣтло, становится темнымъ, и поверхностный умъ, не находясь болѣе въ возбужденіи, возвращается къ нормальному своему состоянію. Истиною оказывается этотъ кажущійся парадоксъ, что мастерство всего лучше выказывается въ бездѣлицахъ. Когда вѣтеръ сильно волнуется, поверхность водъ, мы не въ состояніи отличить мелкій ручей отъ глубокаго; но когда стоитъ тишь, мы ясно видимъ дно мелкаго ручья и ясно видимъ неизмѣримую глубину. Приведемъ нѣкоторые образчики практической мудрости, заключающейся въ этомъ прологѣ. Антрепренеръ заботится о томъ, какъ ему лучше привлечь публику:

Sie sitzen schon mit hohen Augenbraunen  
Gelassen da, und möchten gern erstaunen.  
Ich weiss, wie man den Geist des Volks versöhnt;  
Doch so verlegen bin ich nie gewesen;  
Zwar sind sie an das Beste nicht gewöhnt,  
Allein sie haben schrecklich viel gelesen.

[Вотъ они уже усѣлись, выпучили глаза и ждутъ чего-нибудь удивительнаго; я знаю, какъ потрафить публикѣ, но никогда еще я такъ не затруднялся, какъ теперь. Хотя они не выдввали никогда ничего лучшаго, но они страшно много читали.]

Поэтъ совершенно далежъ отъ всякихъ утилитарианистскихъ мыслей и отвѣчаетъ на это выпрпеннею тирадой о своемъ высокомъ искусствѣ. Веселая особа просить поэта показать свое искусство, позабавить публику.

Lasst Phantasie mit allen ihren Chören,  
Vernunft, Verstand, Empfindung, Leidenschaft,  
Doch merkt euch wohl! nicht ohne Narrheit hören.

[Пусть ваша фантазія и весь ея хоръ, разумъ, разсудокъ, чувства, страсти, предстанутъ предъ нами. Но при этомъ обратите вниманіе, чтобъ тутъ также была слышна и глупость.]

Антрепренеръ настаиваетъ, чтобъ въ пьесѣ прежде всего было достаточно приключеній, чтобъ пьеса была разнообразна. «Что пользы, если ваша пьеса — говоритъ онъ — и будетъ составлять одно цѣлое, публика все-таки ее разщиплетъ.»

Споръ кончается тѣмъ, что наконецъ антрепренеръ рѣшается дать большой и разнообразный спектакль, въ которомъ будетъ все, и небо, и земля, и адъ. Эти слова даютъ намъ ключъ къ построенію драмы. Въ нихъ обыкновенно видѣли руководящую нить только для психологической проблемы, но они имѣютъ такое же значеніе и относительно самаго строенія драмы и относительно заключающихся, драмъ картинъ изъ дѣйствительной жизни.

Далѣе слѣдуетъ *прологъ на небесахъ*. Этотъ прологъ подалъ поводъ къ страннымъ недоразумѣніямъ. Въ немъ видѣли пародію на книгу Іова и осуждали за это; утверждали, что онъ совершенно не нуженъ для драмы, не имѣетъ съ ней никакой связи, и клеймили его эпитетомъ «богохульный». Нѣкоторые переводчики выпускали его, какъ «неудобный для печатанія». Кольридж колебался, не будетъ ли съ его стороны прегрѣшеніемъ противъ нравственности переводить этотъ прологъ, въ которомъ столько вульгарности, распушенности, богохульства<sup>1)</sup>. Признаюсь, и

<sup>1)</sup> Table Talk, II, p. 118.

на меня онъ произвелъ сначала впечатлѣніе весьма неблагоприятное. Только путемъ органическаго анализа можно вѣрно уразумѣть значеніе органическихъ элементовъ; пока мы будемъ судить объ организмѣ ab extra, руководясь идеею или идеями, а не собственной природою самого организма, то никогда не поймемъ ни его строенія ни его функций. Тоже самое должны мы сказать о художественныхъ произведеніяхъ. Г-жа Сталь превосходно замѣтила о Фаустѣ: «Il serait véritablement trop naïf de supposer qu'un tel homme ne sache pas toutes les fautes de goût qu'on peut reprocher à sa pièce; mais il est curieux de connaître les motifs qui l'ont déterminé à les y laisser, ou plutôt à les y mettre.» Стараясь понять, какіе мотивы могли побудить написать этотъ прологъ, мы должны прежде всего отказаться отъ предположенія, будто поэтъ намѣренъ богохульствовать, также отъ предположенія, будто онъ даже при всѣхъ желаніи былъ бы неспособенъ говорить о такомъ предметѣ съ серьезностію и съ достоинствомъ Клопштока. Разсмотримъ прологъ подробнѣе. Заключеніе между Мефистофелемъ и божествомъ составляетъ часть легенды. Взявъ легенду въ основаніе своего произведенія, Гете не могъ откинуть эту часть и написалъ ее въ истинномъ средневѣковомъ стилѣ, чего не станеть отвергать никто сколько-нибудь знакомый съ средневѣковыми легендами и въ особенности съ такъ-называемыми мистеріями. Въ этихъ мистеріяхъ насъ поражаетъ сочетаніе самой строгой морали съ самымъ грубымъ буфонствомъ, которое теперь мы сочли бы за богохульство; въ нихъ грязное, площадное остроуміе взопріается надъ предметами самыми священными; лица, высоко чтимыя, являются предметомъ шутокъ и разсказовъ, которые заставили бы содрогнуться благочестиваго читателя нашего времени.

Несомненно, что въ подобныхъ сценахъ не было никакого преднамѣреннаго богоульства; это были наивныя выраженія того, во что наивно вѣровали невѣжественные умы. — Взявъ въ основаніе своего произведенія средневѣковую легенду, Гете сохранилъ за ней ея средневѣковой характеръ, насколько это было нужно для предположенной цѣли, но не воспроизвелъ этотъ характеръ вполне, такъ какъ полное его воспроизведеніе было бы оскорбленіемъ нравственнаго чувства. Идею пролога онъ заимствовалъ изъ старинной кукольной комедіи *Фаустъ*, которая дошла до насъ въ нѣсколькихъ видахъ <sup>1)</sup>. Второстепенный артистъ навѣрно бы сдѣлалъ этотъ прологъ грандіознымъ и метафизическимъ, насколько возможно. Но Гете преднамѣренно сдѣлалъ его наивнымъ. Мы не можемъ предполагать, чтобы онъ былъ не въ состояніи написать его иначе, еслибъ захотѣлъ; но онъ не захотѣлъ. Изученіе средневѣковой литературы дало ему мысль написать эту сцену, и по ея наивному стилю не трудно добраться до ея источника. Рассмотрите все содержаніе этой драмы, и вы увидите, какъ велика была бы дисгармонія, еслибъ прологъ представилъ Мефистофеля и Божество согласно съ требованіями нашего времени, тогда какъ вся остальная часть драмы написана въ духѣ легенды. Еслибъ прологъ былъ написанъ въ новомъ духѣ, то составилъ бы рѣзкое противорѣчіе съ подобными сценами, какъ напр. сцена съ пуделемъ, Вальпургіева ночь, кухня вѣдьмъ. По моему мнѣнію прологъ есть именно то, чѣмъ онъ долженъ быть: онъ поэтиченъ съ оттѣнкомъ средневѣковаго характера. Онъ прямо ударяетъ въ основную ноту, вводятъ васъ въ міръ чудесъ и сказочныхъ вѣрованій, среди которыхъ должна совершиться предъ вами великая и мистическая драма жизни, — онъ есть какъ-бы порогъ, на которомъ поэтъ приглашаетъ васъ скинуть ваше запыленное будничное платье и предлагаетъ въ замѣну другое чудное одѣяніе, чтобы войти въ новый міръ, гдѣ происходитъ драма, по формѣ похожая на сновидѣніе, по духу страшная своей дѣйствительностью. Рѣчь Мефистофеля,

---

<sup>1)</sup> Magnin: *Histoire des Marionnettes*, p. 325.



подавшая поводъ къ упреку въ богохульствѣ, какъ нельзя болѣе цѣлесообразна. «Духъ отрицанія» даже и въ присутствіи самого Создателя не ощущаетъ ни малѣйшаго благоговѣнія; душѣ его недоступны высокія чувства, и онъ не вѣритъ, чтобы другіе могли ихъ имѣть: «Извините,—говоритъ онъ,—я не умѣю произносить прекрасныхъ фразъ.» Для него все великое есть не болѣе какъ громкая фраза. Онъ не лицемеръ и не въ состояніи оказать добрѣтели даже и лицемернаго уваженія. Онъ скептикъ, прямой, откровенный. Въ присутствіи Бога онъ ведетъ себя почти совершенно такъ, какъ велъ бы себя въ присутствіи Гете «развязный» молодой человѣкъ, не имѣющій довольно здраваго смысла, чтобы сознать свое ничтожество. Онъ предлагаетъ закладъ, совершенно какъ поступилъ бы развязный юноша, чтобы «поддержать» свое мнѣніе; короткій монологъ, въ которомъ онъ выражаетъ свое мнѣніе о разговорѣ съ Богомъ, исполненъ легкомыслія и сарказма чисто дьявольскаго.

Какъ мы видѣли, *Фаустъ* имѣетъ два пролога: одинъ въ театрѣ, другой на небесахъ. Причина этого, по моему мнѣнію, заключается въ двойственномъ характерѣ драмы. Поэтъ имѣетъ въ виду разомъ двѣ цѣли: описать свѣтъ и его житейскія тревоженія, изобразить человѣческую душу и ея борьбу. Ради первой цѣли написалъ онъ театральный прологъ, такъ какъ «весь міръ есть сцена, и всѣ женщины и мужчины суть ни что иное какъ актеры»; а ради второй онъ написалъ прологъ на небесахъ, такъ какъ небеса есть центръ, цѣль всякой борьбы, сомнѣній, богобоязненныхъ стремленій, и самъ Фаустъ стремится къ небесамъ: «питье и снѣдь глупца—говоритъ о немъ Мефистофель—не изъ земли исходятъ, глупца влечетъ стремленіе въ даль.» Есть еще другая органическая необходимость въ этихъ двухъ прологахъ: въ первомъ мы видимъ, какъ антрепренеръ и поэтъ приводятъ въ движеніе марионетокъ на сценѣ, а во второмъ—какъ Богъ и Мефистофель приводятъ въ движеніе марионетокъ драмы въ самой драмѣ. Представленіемъ драмы мы обязаны странствующимъ актерамъ, а самымъ совершеніемъ драмы искушенія мы обязаны небесамъ. Оба пролога написаны въ одномъ и томъ же году и долго спустя послѣ того, какъ легенда Фауста уже облеклась въ умѣ Гете въ форму драмы. Они не входили въ первичный планъ, а были результатомъ уже послѣ-

думшаго размышленія, и насъ интересуетъ знать, съ какой цѣлью поэтъ написалъ ихъ. Я полагаю, что его первоначальною мыслью было развить только индивидуальный элементъ, т. е. изобразить душу человѣческую и ея борьбы, а изображеніе міра съ его тревоженіями было уже мыслью привходной. При этой перестройкѣ первичнаго плана привзошла, вѣроятно, и вторая часть *Фауста*; такимъ образомъ два пролога составляютъ введеніе ко всей драмѣ въ теперешнемъ ея видѣ.

Будемъ продолжать нашъ анализъ. Первая сцена—*Фаустъ у себя въ кабинетѣ*. Здѣсь начинается драма. Фаустъ сидитъ окруженный книгами и инструментами, бесполезными орудіями безплодныхъ изслѣдованій. Блѣдный, утомленный ночными занятіями, онъ сознаетъ, что весь трудъ его былъ напрасенъ, что наука бессильна, что человѣческая мудрость не въ состояніи дать ему отвѣтъ на его вопросы, и обращается къ магін:

Чтобы, чего не знаю самъ,  
Не проповѣдывать глупцамъ;  
Но чтобы силы естества  
И ихъ живыя начинанья  
Далися мнѣ, какъ истинное знанье,  
А не какъ мертвыя слова. \*)

Вспыхиваетъ красное пламя и среди пламени является духъ. Выходитъ мѣсяцъ. Видъ мѣсяца наводитъ его на мысль, что есть еще иная жизнь, которой онъ пренебрегалъ, погружаясь въ изученіе лѣтописей и старыхъ костей. Und fragst du noch, varum dein Herz и т. д., восклицаетъ онъ въ извѣстномъ монологѣ, раскрываетъ книгу Нострадама и призываетъ духа къ себѣ на помощь. Духъ является въ пламени.

*Духъ.* Кто звалъ меня?  
*Фаустъ.* О, видъ ужасный!  
*Духъ.* Меня ты страстно призывалъ.  
Моей стихіи причаститься  
Ты съ буйной жадностью алкалъ,  
И что же?

---

\*) Выписки изъ *Фауста* приведены въ переводѣ А. Н. Струговщикова.

*Фаустъ.* Нѣтъ силъ...

*Духъ.* Несчастный!

Не ты ли пылко такъ стремился  
Мой слышать голосъ, видѣть ликъ?  
Я внялъ тебѣ, на зовъ явился,  
А ты въ отчаяннѣхъ поникъ!  
Гдѣ смертный, за предѣлы ставшій,  
Что самъ въ себѣ свой міръ носилъ?  
Гдѣ Фаустъ, въ пылу мятельныхъ силъ,  
На равенство съ безсмертными державшій?  
И онъ, который умолялъ,  
Всей силой воли заклиналъ,  
Не онъ ли здѣсь трепещетъ въ страхъ,  
У ногъ моихъ, униженъ,  
Моимъ дыханіемъ сраженъ,  
Презрѣнный червь, свернувшійся во прахъ!

*Фаустъ.* Нѣтъ, чадо пламени, я Фаустъ, равный твой;  
Тебѣ подобный, онъ помѣрится съ тобой!

*Духъ.* Потоками жизни, въ разгарѣ дѣяній,  
Невидимый, видимо всюду присущій,  
Я радость и горе,  
Я смерть и рожденье.  
Житейскаго моря  
Живое волненье...  
На шумномъ станкѣ мірозданья,  
Отъ вѣка сную безъ конца,  
И въ твари, и въ нѣдрахъ созданья,  
Живую одежду Творца.

*Фаустъ.* Вселенную, какъ ты, я мысленно объемлю;  
Духъ-дѣятель, подобенъ я тебѣ!

*Духъ.* Подобенъ ты — тебѣ подобному, — не мнѣ!  
Собрата въ смертномъ не приѣмлю. (*Исчезаетъ*).

*Фаустъ.* (пораженный) Я—не тебѣ?  
Я, божіе подобіе,  
И даже не тебѣ!  
Кому же? (*Стучать въ двери*).  
Вотъ мученье!  
И надо же прійти ему,  
Бумажной мудрости сухому ползуну,  
Чтобъ разогнать мои видѣнья!

Какъ хорошъ тутъ перерывъ видѣній поэта прозаической дѣйствительностью. Услыша голоса, Вагнеръ вообразилъ себѣ, что Фаустъ декламируетъ изъ греческой драмы и пришелъ учиться у него декламации. Вагнеръ есть типъ филистера и педанта; онъ посвятилъ всю жизнь книгамъ, какъ Фаустъ — знанію. Онъ обожаетъ письменна. Пыль фоліантовъ его элементъ; лѣтописи — источникъ его вдохновенія. Предоставленный снова самому себѣ, Фаустъ продолжаетъ свой монологъ: Надо прочесть самый оригиналь, чтобъ вполнѣ оцѣнить мысли поэта и всю чудную гармоничность ихъ выраженія. Фаустъ рѣшается умереть и, хватая склянку, содержащую ядъ, говоритъ:

Я на тебя смотрю, — тревога умоляетъ,  
Души волненіе стихаетъ  
И стелется равниной свѣтлыхъ водъ...  
За мной, во мракъ, путь печальный;  
Открытый океанъ все далѣе зоветъ  
И я плыву равниною зеркальной...  
Съ поморя новый день встаетъ  
И улыбается въ туманѣ берегъ дальній!

Онъ подноситъ чашу къ губамъ, какъ вдругъ раздается звонъ колокола, сопровождаемый отдаленнымъ пѣніемъ хора. Это праздникъ Пасхи. Торжественные звуки воскрешаютъ въ немъ воспоминанія о ранней молодости, пробуждаютъ чувства прежней набожности. Жизнь удерживаетъ его на землѣ; воспоминаніе торжествуетъ надъ отчаяніемъ. Гете заимствовалъ мысль объ этой первой сценѣ изъ старинной кукольной комедіи, гдѣ Фаустъ является окруженный циркулами, глобусами и кабалистическими орудіями, колеблясь между божественной наукой — богословіемъ, между человеческой наукой — философіей и между адской наукой — магіей; но у Гете эта сцена обогащена новыми глубокими мыслями и его собственнымъ опытомъ.

*Сцена у городскихъ воротъ.* — Изъ мрачнаго кабинета, гдѣ мы видѣли жизнь индивидуума въ минуты тяжелой борьбы, поэтъ переноситъ насъ на свѣжій воздухъ, рисуетъ намъ обыденную жизнь съ ея обыденными радостями. Воскресный день. Студенты, школьники, служанки, горожане, граждане, солдаты, лавочники

стремятся въ различные подгородныя увеселительныя мѣста. Надъ толпой стоитъ облако пыли и табачнаго дыма. Громкій смѣхъ, любезничанье, веселыя пѣсни, оживленные споры, однимъ словомъ предъ нами полная картина обыденной жизни, съ удивительной вѣрностью изображающая германскіе нравы. Эта сцена имѣетъ въ драмѣ глубокое значеніе; она показываетъ намъ, какъ обыкновенный людъ смотритъ на жизнь. Какая тутъ рѣзкая противоположность съ предъидущей сценой, гдѣ мы видѣли, что такое жизнь для человѣка, стремящагося постигнуть ея тайны. Фаустъ всю жизнь проводитъ въ исканіяхъ, между тѣмъ какъ простой людъ расходуетъ ее въ суетныхъ стремленіяхъ и чувственныхъ наслажденіяхъ, — великая загадка міра не смущаетъ его ни на минуту, міръ для него не есть тайна, а есть нѣчто, близко ему знакомое. Шипящее пиво, хорошій табакъ, кто съ кѣмъ будетъ танцевать, каковы новыя власти, вотъ что его интересуетъ гораздо болѣе, чѣмъ всѣ тайны неба и земли. Среди этого люда появляются Фаустъ и Вагнеръ. Фаустъ глубоко взволнованъ; онъ чувствуетъ, что эти простые люди гораздо мудрѣе, чѣмъ онъ, — они наслаждаются.

Hier ist des Volkes wahrer Himmel,  
Zufrieden jauchzet Gross und Klein:  
Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein.

Да, здѣсь онъ чувствуетъ себя человѣкомъ, членомъ общей семьи, потому что здѣсь онъ жаждетъ тѣхъ удовольствій, которыми всѣ наслаждаются предъ его глазами. Но Вагнеръ, истый педантъ, не чувствуетъ ничего подобнаго; онъ здѣсь только потому, что желаетъ быть съ Фаустомъ. Онъ одинъ изъ тѣхъ, которые при видѣ Ніагары будутъ досаждаютъ вамъ вопросами о клинообразныхъ надписяхъ и среди суматохи сельскаго праздника будутъ разсуждать о происхожденіи Пеласговъ. Народъ толпится вокругъ Фауста, оказывая ему уваженіе, какое всегда оказываетъ безграмотный человѣкъ ученому. Вагнеръ смотритъ на это съ завистью, а Фаустъ видитъ въ этомъ насмѣшку. Оказывать уваженіе ему, который такъ глубоко чувствуетъ свое собственное ничтожество! Онъ садится на камень и, смотря на заходящее солнце, предается меланхолическимъ размышленіямъ о пустотѣ жизни и бесплодности

своихъ стремленій. Старый поселенинъ напоминаетъ ему сцену изъ его молодости, какъ онъ во время свирѣпствовавшей чумы ухаживалъ за больными и спасъ много людей, «благодаря своему знанію и благодаря помощи Бога.» Сидя на камнѣ, Фаустъ вспоминаетъ о дняхъ своей юности:

Помню, часто, одинокій  
Я ночи проводилъ на немъ,  
Богатъ надеждой, въ вѣрѣ твердый,  
Къ Творцу довѣренностью гордый,  
Я призывалъ его молитвой и постомъ;  
Слезами, вздохами, стenanьемъ,  
Дома я молилъ  
Его, царя небесныхъ силъ,  
Унять повальное страданье  
И бѣдствію конецъ послать...

. . . . .  
. . . . .

Мы зелье составляли  
И я больнымъ отраву подавалъ  
И пуще прежняго чумные умирали.  
Такъ въ лютую годину мы,  
Страшныя язвы и чумы,  
Цвѣтушій край опустошали  
И вотъ я дожидъ, что народъ  
Убійцу чествуя спасителемъ зоветъ!

Но Вагнеръ не понимаетъ сокрушеній Фауста. Появленіе пуделя прерываетъ ихъ бесѣду. Вагнеръ, съ свойственной ему недалекостью, видитъ въ пуделѣ не болѣе, какъ простаго пуделя, но Фаустъ проникательнѣе его. Они уходятъ, пудель слѣдуетъ за ними.

*Кабинетъ Фауста.* — Фаустъ удаляется въ кабинетъ; за нимъ слѣдуетъ пудель. Высокія, торжественныя мысли Фауста приводятъ пуделя въ безпокойство, и когда Фаустъ принимается переводить Библію, пудель начинаетъ метаться. Затѣмъ слѣдуетъ заклинаніе, и изъ пуделя выходитъ Мефистофель. Не останавливаясь на

подробностяхъ этой сцены, хотя онѣ въ высшей степени интересны, я перейду прямо къ сценѣ договора между Фаустомъ и Мефистофелемъ. Душевное сомнѣніе, побуждающее Фауста къ этому поступку, изображено мастерски. Фаустъ отчаявается въ достиженіи того, что до сихъ поръ составляло цѣль его жизни,—видитъ тщету своихъ стремленій, видитъ, что знаніе, для котораго онъ пожертвовалъ счастіемъ, есть не болѣе какъ блудящій огонекъ; онъ жаждетъ теперь счастья, но и въ него такъ же мало вѣритъ, какъ мало вѣритъ въ знаніе. Дойдя до крайняго скептицизма, онъ соглашается продать свою душу за мгновеніе счастья. Какая глубокая скорбь слышится въ его словахъ: «еслибъ только посѣтило меня хотя одно мгновеніе, которому я могъ бы сказать: остановись! ты прекрасно! послѣ того я согласенъ погибнуть на вѣки!» Договоръ съ чортомъ есть также и въ «старинной рукольной комедіи». Весьма интересно было бы прослѣдить, какъ и насколько воспользовался имъ Гете. Въ Аусбургскомъ экземплярѣ между условіями, поставленными Мефистофелемъ, стоитъ условіе, чтобъ Фаустъ навсегда отказался отъ богословской наедры. «Но что скажетъ на это публика?» спрашиваетъ Фаустъ. «Предоставь это мнѣ,—отвѣчаетъ Мефистофель,—я займу твое мѣсто и, повѣрь, еще выше подниму славу твоей библейской учености <sup>1)</sup>». Еслибъ Гете зналъ Аусбургскій экземпляръ, то по всей вѣроятности не упустилъ бы воспользоваться этимъ саркастическимъ намекомъ.

Пропущу неподражаемую сцену между Мефистофелемъ и юнымъ ученикомъ. Тутъ что ни строчка, то ѣдкій сарказмъ или глубокая мудрость. Сцена эта имѣетъ глубокое значеніе для всей драмы. Она есть ни что иное, какъ ѣдкая сатира на всѣ отрасли человѣческаго знанія и вставлена въ драму какъ нельзя болѣе кстати,—происходитъ предъ вами въ тотъ именно моментъ, когда герой драмы отказывается отъ знанія, навсегда закрываетъ книги и готовъ ринуться въ потокъ наслажденій. «Теорія, любезный мой, скучна, а жизни дерево цвѣтисто и прекрасно!» — говоритъ Мефистофель. Жажда знанія уступаетъ мѣсто жадѣ наслажденій и предъ вами рисуется сходна разгульной молодежи въ винномъ погребѣ.

<sup>1)</sup> Das Kloster, vol. V, p. 326.

*Погребъ Ауэрбаха.* Эта сцена полна Аристофановскаго комизма. Въ погребѣ мрачно отъ винныхъ паровъ и табачнаго дыма; его почернѣвшіе своды оглашаются криками буйнаго веселья и громкими пѣснями. Разгулъ пошлыхъ буршей высказывается во всей своей пошлости. Таковъ одинъ изъ образчиковъ, какъ наслаждаются люди. Подобныя сцены, къ сожалѣнію, можно видѣть въ любомъ европейскомъ городѣ. Съ изумленіемъ и отвращеніемъ смотритъ Фаустъ на этотъ пошлый разгулъ и спѣшитъ уйти.

Затѣмъ слѣдуетъ сцена столь же шумная и отвратительная, — *кухня въдымъ*. Фаустъ выпиваетъ напитокъ, приготовленный въдымою, и въ немъ пробуждаются желанія, которыхъ никогда прежде не зналъ, — онъ помолодѣлъ и страсти влекутъ его въ потокъ наслажденій. Теперь каждая женщина — говоритъ Мефистофель — покажется ему Еленой.

*Встрѣча съ Маргаритой.* Фаустъ подходитъ къ сельской дѣвушкѣ, возвращающейся изъ церкви; та отвѣчаетъ ему довольно рѣзко. Такъ зачинается очаровательный любовный эпизодъ, который придастъ драмѣ неотразимую прелесть. Маргарита представляетъ въ себѣ чудное соединеніе страсти, простодушія и прелести. Даже у Шекспира вы не найдете ничего подобнаго. Ни на минуту не дозволяетъ вамъ поэтъ забыть, что это — дѣвушка бѣдная, принадлежащая къ низшему классу общества, но любовь возвышаетъ ее надъ ея общественнымъ положеніемъ, страсть одушевляетъ ее высокими чувствами. Мастерски и весьма завлекательно проведенъ контрастъ между этой простодушной дѣвушкой и ея сосѣдкой Мартой, которая кокетничаетъ съ Мефистофелемъ. Этотъ контрастъ превосходно выставленъ въ извѣстной сценѣ въ саду. Какая прелестная сцена! Не нахожу словъ выразить производимое ею впечатлѣніе. Это одна изъ тѣхъ картинъ, которыя навсегда неизгладимо напечатлѣваются въ памяти. Нѣкоторые стихи глубоко западаютъ въ душу:

Denkt Ihr an mich ein Augenblickchen nur,  
Ich werde Zeit genug an Euch zu denken haben.

[Подумайте обо мнѣ хоть минуточку. а у меня много найдется времени о васъ думать].

Какъ чудно высказывается въ этихъ словахъ Маргариты еди-



нокая жизнь дѣвушки, у которой въ свободные отъ работы часы всѣ мысли сосредоточиваются на одномъ пунктѣ. Какъ хорошо то мѣсто, когда Маргарита обрываетъ цвѣтокъ, говоря: «любить, — не любить», какъ очаровательно разсуждаетъ она по уходѣ Фауста:

Du lieber Gott! was so ein Mann.  
Nicht alles, alles denken kann!  
Beschämt nur steh'ich vor ihm da,  
Und sag'zu allen Sachen ja.  
Bin doch ein arm unwissend Kind,  
Begreif'nicht, was er an mir find't.

[Боже мой! чего не знаетъ этотъ человѣкъ! Я вся стараю отъ стыда предъ нимъ, — умѣю только отвѣчать ему: да. Что я передъ нимъ? Бѣдное, ничего не знающее дитя. Не понимаю, что находитъ онъ во мнѣ.]

*Льсь и пещера.* Мнѣ непонятно, какую связь имѣетъ эта сцена со всей драмой. Фаустъ, одинъ, среди пустынной природы, изливаетъ свои восторги и свое отчаяніе:

— Познаю, что совершенства  
Для человѣка нѣтъ. Съ блаженствомъ, возносящимъ  
Меня до божества, ты спутника даешь:  
Холодный, дерзкій, онъ меня  
Передъ самимъ собой уничижаетъ,  
Насмѣшкой благодать язвить,  
Отравой рѣчей твои дары позорить,  
И онъ-то, онъ, мнѣ сталъ необходимъ...  
Всечасно, образъ тотъ прекрасный вызывая,  
Онъ распаляетъ огонь, снѣдающій меня,  
И я, въ желаніяхъ, алкаю наслажденій,  
И въ наслажденіяхъ желаній алчу я.

Входитъ Мефистофель и между ними завязывается ссора. Въ сценѣ много превосходныхъ вещей, но значеніе ея въ драмѣ для меня не ясно. Затѣмъ слѣдуетъ сцена въ комнатѣ Маргариты. Маргарита сидитъ за прялкой и поетъ «улетѣлъ мой покой — на сердцѣ тяжело» и т. д. Дальше слѣдуетъ вторая сцена въ саду. Маргарита спрашиваетъ Фауста, вѣрить ли онъ въ Бога. Вотъ знаменитый отвѣтъ Фауста:

Льонскъ. Жизнь Гете. Ч. II.

Не осуждай меня, прекрасное созданье!  
Кто может великое имя назвать,  
Кто может, спросая у разсудка, сказать:  
Вонистину вѣрю въ него!?

Кто может заслужить святое упованье  
И, сердцу отказавъ и голосу призванья,  
Сказать: я не вѣрю въ него!?

Единый, Предвѣчный,  
Въ вѣкахъ безконечный,  
Хранитель тебя и меня,  
Не онъ ли, въ созданьи, хранитъ и Себя?

Кто сводъ сей воздвигнулъ небесный,  
На комъ оперлася земля,  
Откуда свѣтъ солнца чудесный,  
Кѣмъ блещетъ ночная звѣзда?

И если старая огнемъ вождѣлѣнья,  
Я въ очи твои погруженъ,  
Въ нихъ блещетъ заря наслажденья,  
Блаженный мнѣ видится сонъ.

Невидимо-видимо, сила святая,  
Тебя очаруетъ, и въ ней утоная,  
Твоя переполнится грудь, —  
Для великаго все позабуди!

Тогда, блаженный сознаньемъ,  
Его какъ хочешь назови,  
Словами: Бога, счастья, любви.....  
Всесильному не вѣдаю названья!  
Название, имя — только звукъ,  
Во вѣки сущее — невыразимо, другъ!

Маргарита замѣчаетъ на это: «то же почти говорить и мой духовникъ, только иными нѣсколькими словами.» Въ ея заботливости о вѣрѣ возлюбленнаго есть нѣчто невыразимо трогательное. Въ этомъ высказывается одна сторона ея натуры, между тѣмъ какъ другая сторона ярко выступаетъ въ ея отношеніяхъ къ Мефистофелю: на его лбу какъ будто для нея написано, что «онъ никогда не любилъ ни одной человеческой души, — въ его присутствіи она чувствуетъ, что въ ней почти исчезаетъ даже и любовь къ Фаусту, при немъ она не можетъ молиться. Ея невинныя, простодушныя рѣчи готовятъ насъ къ той наивной готовности, съ какой она соглашается принять возлюбленнаго у

себя въ комнатѣ, въ ночное время, и дать своей матери усыпительнаго напитка. Затѣмъ слѣдуетъ сцена у колодезя, коротенькая, но страшная по своему значенію въ связи съ предыдущей. Лиза, другъ Маргариты, рассказываетъ ей съ женскимъ злорадствомъ о паденіи одной изъ ихъ подругъ. Женщины, вообще столь сострадательныя, бываютъ обыкновенно безпощадны другъ къ другу именно въ тѣхъ обстоятельствахъ, когда ихъ состраданіе было бы наибольше оцѣнено и могло бы принести наибольше пользы. Лиза не пророняетъ ни одного слова осужденія соблазнителью, весь ея гнѣвъ устремленъ на несчастную жертву соблазна. Маргарита, предрасположенная въ этомъ случаѣ къ состраданію своимъ собственнымъ положеніемъ, не можетъ относиться къ несчастью своей подруги съ такимъ злорадствомъ, не можетъ уже торжествовать, какъ бы торжествовала въ прежнее время, теперь она сама дѣлаетъ то, что порицала прежде въ другихъ, теперь она сама грѣшница. Послѣднія слова ея монолога дышатъ неперевожимой простотой и силой:

Doch—alles, was dazu mich trieb,  
Gott! war so gut! ach, war so lieb!

[Но что вовлекло меня въ грѣхъ, о Боже! было такъ хорошо, такъ очаровательно.]

Въ слѣдующей сценѣ Маргарита молится передъ образомъ Маріи Многострадалной. Далѣе слѣдуетъ монологъ ея брата, Валентина, который сильно огорченъ позоромъ сестры. Валентинъ прерываетъ серенаду Фауста, нападаетъ на него, но самъ падаетъ, сраженный Мефистофелемъ, и умираетъ, жестоко укоряя Маргариту. За этой кровавой, ужасной сценой слѣдуетъ сцена въ соборѣ. Маргарита молится среди толпы, а сзади ея—злой духъ. Изображеніе мучающейся грѣшницы производитъ торжественное и вмѣстѣ подавляющее впечатлѣніе. Хоръ поетъ:

Dies irae, dies illa,  
Solvat saeculum in favilla!

Кругомъ нея толпа спокойно молится, а для нея эти слова полны ужаса. Далѣе хоръ поетъ:

\*

Judex ergo cum sedebit,  
Quidquid latet apparebit,  
Nil inultam remanebit.

Злой дух нашептываетъ ей страшное значеніе этихъ словъ, и бѣдная грѣшница, измученная терзаніями совѣсти, падаетъ безъ чувствъ.

*Ватуріева ночь.* Помѣщеніе тутъ этой сцены было бы большою ошибкой, еслибъ *Фаустъ* дѣйствительно былъ ни что иное, какъ драма. Страданія Маргариты вовсе не готовятъ насъ къ этой сценѣ и умъ неохотно отрывается отъ зрѣлища человѣческихъ страстей, чтобы погрузиться въ поэтическія видѣнія. Но *Фаустъ* не есть драма; главная его цѣль не состоитъ въ томъ, чтобъ раскрыть предъ нами различные фазисы какого-либо эпизода изъ жизни. *Фаустъ* есть міровая легенда; его цѣль — раскрыть предъ нами всѣ фазисы жизни. Сцена въ Гарцовыхъ горахъ составляетъ принадлежность старинной легенды и мы находимъ ее во многихъ экземплярахъ старинной кукольной комедіи. Забудьте, что Гете помѣщаетъ эту сцену непосредственно за сценой въ соборѣ: онъ тутъ противопоставляетъ элементъ колдовства религіозному элементу, подобно тому какъ предъ этимъ противопоставилъ кухню вѣдьмъ оргіи въ погребѣ Ауэрбаха. Мы не остановимся на этой сценѣ, а низойдемъ на землю, гдѣ трагедія быстро идетъ къ развязкѣ. Обольщеніе привело къ дѣтоубійству, и Маргарита осуждена за дѣтоубійство на смертную казнь. Фаустъ узнаетъ объ этомъ. На немъ лежитъ теперь тройное убійство. Онъ убилъ Валентина, Маргариту и ея дитя. Въ отчаяніи онъ упрекаетъ Мефистофеля, что тотъ ублаживаетъ его ничтожными, 'пошлыми развлеченіями, скрываетъ отъ него о бѣдствіи Маргариты и оставляетъ ее безпомощной на краю гибели. «Не она первая» — хладнокровно отвѣчаетъ Мефистофель. «Не она первая! — восклицаетъ Фаустъ, — о горе, горе необъятное для души человѣческой! Не она первая впадала въ такую гибель! Первая падшая не искупила всѣхъ остальныхъ предъ очами Всепрощающаго!» Это есть единственная сцена во всей драмѣ, написанная прозой. Страстный языкъ этой сцены прямо просится въ формы стиха. Что побудило Гете написать ее прозой, — это остается открытымъ вопросомъ для критиковъ.

Слѣдующая сцена состоитъ всего изъ шести строкъ, — но ка-

кая мастерская нить въ этихъ строкахъ! Ночь, открытое поле, Фаустъ и Мефистофель мчатся на вороныхъ коняхъ. Они видятъ, слышатъ приготовленія къ казни Маргариты.

Далѣе слѣдуетъ заключительная сцена первой части. Фаустъ входитъ въ темницу, гдѣ Маргарита лежитъ свернувшись на солому и поетъ старинныя пѣсни. Разсудокъ ее покинулъ. Последній часъ ея близокъ. Невозможно читать безъ слезъ эту раздражающую сцену. Въ самый патетическій моментъ, когда страсти доходятъ до апогея, появляется безстрастное лицо Мефистофеля. Эта сцена непереводима.

Представленный обзоръ объясняетъ, надѣюсь, популярность *Фауста* и даже самый процессъ его созданія. Разнообразіе быстро смѣняющихся сценъ придаетъ ему видъ отрывочности, пока мы не овладѣемъ принципомъ органическаго единства, который связуетъ эти сцены въ одно цѣлое. При первомъ чтеніи читатель обыкновенно чувствуетъ недовольство: отсутствіе видимой связи дѣлаетъ *Фауста* съ перваго взгляда похожимъ болѣе на бредъ, чѣмъ на художественное произведеніе, что вводило въ заблужденіе даже первостепенныхъ критиковъ. Такъ напр. Кольриджъ, съ такимъ талантомъ ратовавшій за художественность Шекспира, не понималъ художественной цѣлостности *Фауста*. «Это произведеніе не есть ничто цѣлое,—говоритъ онъ,—а состоитъ изъ ряда сценъ, которыя смѣняются предъ вами какъ китайскія тѣни, и большая часть изъ нихъ, по моему мнѣнію, весьма слаба.» Возставая противъ французскихъ критиковъ, Кольриджъ утверждалъ (нѣсколько измѣняя выраженіе Шлегеля), что единство художественнаго произведенія есть «органическое, а не механическое», доказывалъ присутствіе въ драмахъ Шекспира художественнаго единства, подчиняющаго себѣ разнообразіе подробностей, но когда зашла рѣчь о Гете, котораго онъ не любилъ и о которомъ онъ отзывался недостойнымъ образомъ, онъ не понималъ органическаго единства въ механическомъ разнообразіи и утверждалъ, что *Фаустъ* есть не болѣе какъ рядъ китайскихъ тѣней. *Фаустъ* столько же походитъ на китайскія тѣни, какъ и *Гамлетъ*. Мы надѣемся, что представленный нами обзоръ дѣлаетъ яснымъ для читателя и общій планъ произведенія и внутреннюю связь составляющихъ его сценъ. Отрывочность, поражающая при первомъ чтеніи, исчезаетъ по мѣрѣ

ознакомленія съ произведеніемъ, и чѣмъ болѣе въ него вчитываешься, тѣмъ болѣе цѣнишь его высокія достоинства.

Немного, конечно, найдется людей, которые бы при первомъ чтеніи *Фауста* не были разочарованы въ своихъ ожиданіяхъ. Есть произведенія, которыя съ перваго знакомства восхищаютъ насъ. Мы находимъ въ нихъ новыя идеи, новыя формы, мастерское исполненіе, и въ пылу восторга спѣшимъ провозгласить ихъ образцовыми художественными созданіями, изучаемъ ихъ, заучиваемъ наизусть, наскучаемъ знакомымъ изъясненіями нашего восторга. Но едва успѣетъ пройти нѣсколько лѣтъ, а иногда даже и нѣсколько мѣсяцевъ, какъ великое произведеніе оказывается даже не стоящимъ, чтобъ его перечестъ, и мы сами не можемъ достаточно удивиться нашимъ прежнимъ восторгамъ, — высказанныя въ немъ идеи, нѣкогда восхищавшія насъ своей новизной, становятся въ нашихъ глазахъ избитыми трюизмами или даже софизмами, и самое исполненіе, казавшееся намъ столь мастерскимъ, не восхищаетъ насъ болѣе, потому что мы поняли его фокусъ. Такимъ образомъ въ подобныхъ случаяхъ, при ближайшемъ знакомствѣ съ произведеніемъ, восторгъ постепенно смѣняется презрѣніемъ. Говорятъ, что презрѣніе есть обыкновенный результатъ близкаго знакомства, и это справедливо, но справедливо только относительно презрѣнныхъ умовъ или относительно такихъ предметовъ, которые дѣйствительно заслуживаютъ презрѣнія. Истинно высокое художественное произведеніе не обхватываетъ васъ внезапнымъ энтузіазмомъ. Чтобы понять его, надо прежде его изучить, надо подняться до него, потому что оно не подходитъ подъ обиходный уровень. Оно не дѣйствуетъ внезапно, сразу, но производимое имъ дѣйствіе прочно, и чѣмъ ближе мы знакомимся съ нимъ, тѣмъ болѣе проникаемся къ нему восторгомъ. Ближайшее знакомство не сопровождается тутъ для насъ никакими разочарованіями, а напротивъ усиливаетъ въ насъ восторгъ, не раскрываетъ намъ никакихъ фокусовъ, потому что тутъ фокусовъ никакихъ и нѣтъ. Гомеръ, Шекспиръ, Рафаэль, Бетховенъ, Моцартъ не сразу овладѣваютъ вашимъ сердцемъ, но разъ овладѣвъ, остаются въ немъ навѣки, и значеніе ихъ для васъ не слабѣетъ отъ времени, а растетъ и крѣпнѣетъ. Когда я въ первый разъ видѣлъ скульптурныя произведенія въ Парѳенонѣ, то остался къ нимъ до такой степе-

ни равнодушенъ, что мнѣ даже было стыдно моего равнодушія, а потомъ, смотря на нихъ, я плакалъ отъ восторга. Помню также, какъ внезапно возгорался я восторгомъ при первомъ знакомствѣ съ произведеніями, которыя впослѣдствіи оказывались совершенно нестоящими никакого вниманія. Эти внезапные восторги можно сравнить съ восторгомъ ребенка при видѣ незрѣлыхъ яблоковъ. Я остался недоволенъ *Фаустомъ*, когда прочиталъ его въ первый разъ. Не понявъ истиннаго его значенія и не находя въ немъ удовлетворенія своимъ личнымъ требованіямъ, я заключилъ, что это есть произведеніе неудавшееся. Требовать отъ художника, чтобы его произведеніе совпадало съ нашими собственными мыслями, тогда какъ художникъ о насъ и не помышлялъ вовсе, такова уже притязательность, свойственная критикѣ. Когда впослѣдствіи я сталъ читать *Фауста* въ оригиналѣ, онъ постепенно предсталъ предо мной во всемъ своемъ величіи, и теперь онъ производитъ на меня такое обаяніе, которое ни съ чѣмъ инымъ сравнить нельзя, какъ развѣ съ той безграничной и неизсякаемой любовью, какую мы питаемъ къ тому, что уже издавна намъ дорого, въ чемъ все дышетъ для насъ особенной таинственной прелестью.

Подобнымъ твореніямъ, какъ *Фаустъ*, неизбѣжно суждено приводить въ разочарованіе тѣхъ, кто впервые непосредственно знакомится съ ними. Когда Рейнольдъ попалъ въ первый разъ въ Ватиканъ, то не могъ скрыть огорченія, что красоты Рафаэля ему непонятны, но утѣшился, узнавъ, что и на другихъ Рафаэль въ первые минуты производитъ такое же впечатлѣніе. «Дѣло въ томъ, — говоритъ онъ, — что еслибъ произведенія Рафаэля были именно таковы, какъ я ожидалъ, то они имѣли бы только красоты поверхностныя, ослѣпляющія, бросающіяся въ глаза, а вовсе не тѣ, которыми онъ справедливо заслужилъ столь великую славу.» Послѣ этого неудивительно, что даже высокообразованные люди высказываютъ иногда о *Фаустѣ* неодобрительное мнѣніе. Такъ напр. Чарльзъ Лэмбъ говоритъ, что Гетевскій *Фаустъ* есть не болѣе, какъ вульгарная мелодрама по сравненію съ *Фаустомъ* Марлоу, — чего конечно онъ никогда не могъ бы сказать, еслибъ читалъ Гетеваго *Фауста* въ оригиналѣ. Онъ читалъ его только въ переводѣ, а едвали какое другое произведеніе болѣе теряетъ въ переводѣ, чѣмъ *Фаустъ*. Мы говоримъ съ полнымъ убѣжденіемъ, безъ всякаго пре-

увеличенія и пристрастія, что никакой переводъ не можетъ передать Гетевского *Фауста*, и знать его только по переводамъ значить вовсе его не знать.

Истинная поэзія неперевода. Самый совершенный переводъ поэтическаго произведенія есть во всякомъ случаѣ не болѣе, какъ только приблизительная его передача. Какъ бы переводъ ни былъ хорошъ, какъ переводъ, но онъ не можетъ быть полнымъ воспроизведеніемъ поэтическаго оригинала. Онъ можетъ самъ по себѣ имѣть высокія поэтическія достоинства, можетъ быть превосходнымъ подражаніемъ, можетъ быть даже лучше, чѣмъ оригиналъ, но не можетъ быть тождественъ оригиналу и не можетъ производить на умъ тождественное впечатлѣніе. Причина этому глубоко лежитъ въ самой природѣ поэзіи. «Мелодія—говоритъ Бетговенъ—даетъ поэзіи чувственное существованіе, такъ какъ самый смыслъ поэзіи не облекается ли въ мелодію?» Мысли, заключающіяся въ поэтическомъ произведеніи, смыслъ отдѣльныхъ словъ,—это воспроизвести можно, но это еще не будетъ воспроизведеніемъ оригинала. Въ поэтическомъ произведеніи мысль и форма такъ же неразрывно связаны, какъ душа и тѣло, а форму воспроизвести невозможно. Въ поэзіи мысль сочетается съ гармоніей звуковъ. Измѣнить слова, вы измѣните гармонію, а вмѣстѣ съ этимъ неизбежно измѣните и производимое впечатлѣніе. Въ поэзіи слова не суть только, какъ въ прозѣ, представители объектовъ и идей, они составляютъ часть органическаго цѣлаго, суть тоны, образующіе гармонію, и какъ скоро вы ихъ замѣните другими тонами или полутонами, у васъ вмѣсто гармоніи получится чудовищность, дисгармонія. Слова имѣютъ свою музыкальность и столь тонкіе оттѣнки въ своемъ значеніи, что ни въ какой другой формѣ не могутъ быть съ точностью воспроизведены; значеніе одного слова не можетъ быть вполне тождественно значенію другаго слова. Между тѣмъ переводъ необходимо требуетъ замѣны однихъ словъ другими, поэтому онъ можетъ передать только смыслъ произведенія, но не можетъ передать той музыкальности и тѣхъ тонкихъ оттѣнковъ мысли, которые составляютъ поэтическую прелесть и красоту оригинала. Слова не суть только обозначенія объектовъ; это суть центры, около которыхъ сосредоточиваются цѣлыя группы представленій. Возбужденіе въ умѣ этихъ группъ отчасти обуславливается тѣми



звуками, изъ которыхъ образуются слова. Очевидно, что переводъ не можетъ воспроизвести музыкальность поэтического произведенія. Слова одного языка не могутъ быть совершенно тождественны словамъ другого языка и слѣдовательно не могутъ возбуждать совершенно тождественныхъ представлений. Я не отрицаю, что переводчикъ можетъ создать превосходное поэтическое произведеніе въ подражаніе оригиналу, но я рѣшительно отрицаю, чтобы какой бы то ни было переводъ поэтического произведенія могъ вполнѣ замѣнить оригиналъ. *Фаустъ* при своихъ поэтическихъ качествахъ и при своемъ разнообразіи стили и метра рѣшительно непереводаимъ, и никакой переводъ не можетъ дать о немъ истиннаго понятія. Послѣ этого понятно, какимъ образомъ люди, знающіе Гетевского *Фауста* только по переводамъ, могли такъ легко относиться о немъ, и какимъ образомъ Чарльзъ Лэмбъ могъ ему предпочесть *Фауста* Марлоу.

Надъ драматической обработкой легенды о *Фаустѣ* издавна пробовали свои силы многіе драматурги. Для истиннаго сужденія о Гетевскомъ *Фаустѣ* не бесполезнымъ считаю сказать нѣсколько словъ о произведеніи Шекспировскаго современника Марлоу: *Doctor Faustus* и о произведеніи Кальдерона: *El Magico Prodigioso* (Чудодѣйственный магъ).

Конечно, въ произведеніи такого писателя, какъ Марлоу, не можетъ не найтись много превосходныхъ мѣстъ, но говоря вообще *Doctor Faustus* есть произведеніе скучное, вульгарное, плохо задуманное. Большая часть сценъ переполнена плоскимъ шутовствомъ, лишеннымъ всякаго остроумія, а въ серьезныхъ сценахъ нѣтъ драматическаго движенія. Правда, меланхолическая фигура Мефистофеля не лишена нѣкотораго величія, но это не искуситель, стремящійся къ своимъ цѣлямъ съ змѣиной хитростью, какимъ его представляетъ легенда, и не холодный, ироническій духъ отрицанія; онъ скорѣе походитъ на Байроновскаго сатану съ его порывами благочестія и раскаянія. Рѣчи Мефистофеля къ *Фаусту* способны скорѣе испугать, чѣмъ соблазнить.

Ожидать отъ произведенія Марлоу философской обработки философскаго предмета значило бы не имѣть ни малѣйшаго понятія ни о характерѣ этого писателя, ни о характерѣ той эпохи, въ которую онъ жилъ. Его *Фаустусъ* не болѣе философиченъ, чѣмъ

*Мальтійскій Еорей* или *Тамерланъ великій*. Это есть ни что иное, какъ театральная обработка народной легенды, превосходно характеризующей духъ того времени, когда люди вѣрили въ дьявола и охотно жертвовали благами будущей жизни ради удовлетворенія земныхъ своихъ желаній. Этотъ сюжетъ несомнѣнно заключаетъ въ себѣ философскую проблему, которая близко знакома мыслящимъ умамъ даже и нашего времени, — да, даже и нашего времени, потому что природа человѣческая неизмѣнна: измѣняются только формы, но духъ неизмѣненъ, ничто не гибнетъ, а мѣняются только способы проявленія. Правда, люди не вѣрятъ болѣе въ дьявола или по крайней мѣрѣ не вѣрятъ въ силу заклинаній, не вызываютъ чорта и не вступаютъ съ нимъ въ сдѣлки, а въ противномъ случаѣ мы насчитали бы сотнями подобныя исторіи, какъ исторія Фауста. Но духъ, породившій эту легенду и подъ вліяніемъ котораго вся Европа увѣровала въ ея истинность, остался неизмѣненъ. Жертва будущимъ ради настоящаго, достиженіе преходящихъ наслажденій въ настоящемъ при полномъ сознаніи, что эти наслажденія покупаются цѣной неизбежныхъ страшныхъ послѣдствій, вотъ духъ, побудившій Фауста продать свою душу. Этотъ духъ остался неизмѣненъ и люди ежедневно продаютъ свои души. Мы не вступаемъ въ договоры съ чортомъ, но тѣмъ не менѣе безразсудно тратимъ нашу жизнь; не стоимъ лицомъ къ лицу съ нами искушитель, который бы цѣной будущей жизни продавалъ намъ полную чашу земныхъ наслажденій, но насъ искушаютъ наши собственныя желанія, полновластныя, вкрадчивыя, — имъ продаемъ мы нашу жизнь и за моментъ наслажденія платимъ годами скорби.

Легенда о Фаустѣ можетъ быть разработана съ различныхъ философскихъ точекъ зрѣнія, но у Марлоу мы вовсе не находимъ никакого философскаго взгляда: онъ остановился на вульгарномъ пониманіи легенды и придалъ ей герою вульгарные мотивы. Я не критикую, не рѣшаюсь утверждать, что Марлоу дурно сдѣлалъ, поступивъ такимъ образомъ, я только указываю фактъ.

Логика ничему болѣе не научаетъ, какъ только искусству спорить; медицина не знаетъ, какъ воскресить мертваго; юриспруденція имѣетъ дѣло только съ «внѣшними пустяками»; богословіе учитъ, что смерть есть наказаніе за грѣхъ, а люди всѣ грѣшники; — однимъ

словомъ, ни одна отрасль человѣческаго знанія не удовлетворяетъ Фауста, и онъ обращается къ некромантіи, въ ней находитъ удовлетвореніе.

*«Фаустъ. Эта мысль меня совершенно поглощаетъ: совершатъ ли духи то, чего я желаю? разрѣшатъ ли всѣ мои сомнѣнія? исполнятъ ли отважныя мои мечты? Я хочу, чтобъ они принесли мнѣ золота изъ Индіи, достали мнѣ перлы востока со дна океана, обшарили всѣ закоулки новаго свѣта и принесли бы мнѣ лучшіе плоды, лучшія лакомства; я хочу, чтобъ они научили меня новой мудрости, открыли мнѣ всѣ тайны королей, окружили бы всю Германію желѣзной стѣной, обвели бы тихій Рейнъ кругомъ прекраснаго Виттенберга; я хочу, чтобъ они одарили всѣ публичныя школы талантами и чтобъ всѣ ученики имѣли отличныя способности; я хочу наwerben солдатъ на золото, которое они мнѣ принесутъ, я хочу изгнать Парискаго принца изъ его владѣній и быть единымъ королемъ надъ всѣми областями; я хочу, чтобъ мои служители-духи изобрѣли для меня чудныя военныя машины.»*

Это тривиально по нашимъ понятіямъ, но совершенно соответствовало чувствамъ и понятіямъ публики того времени, когда жгли вѣдьмъ, когда существовало общераспространенное убѣжденіе, что можно входить въ сношенія съ злыми духами и цѣной вѣчнаго осужденія покупать земное блаженство.

Заклчивъ договоръ съ дьяволомъ, Фаустъ отправляется странствовать по свѣту и съ помощью чертовской силы совершаетъ разныя продѣлки,—бьетъ Папу по щекамъ, вырощаетъ рога на головахъ вельможъ, надуваетъ лошадиного барышника, продавъ ему соломенную лошадь, и тому подобныя самыя площадныя продѣлки, которыя однако приходились совершенно по вкусу тогдашней публикѣ и которыя сама публика не преминула бы совершить, еслибъ имѣла къ тому возможность. Наконецъ эти дурачества наскучаютъ Фаусту. Онъ вызываетъ Елену и приходитъ отъ нея въ восторгъ. Это мѣсто можетъ служить образчикомъ, какъ хорошо умѣлъ писать Марлоу, когда ему попадалъ подъ перо подходящий предметъ.

Приближается послѣдній часъ Фауста. Какъ и у многихъ изъ новѣйшихъ его подражателей, у него пробуждается голосъ совѣсти, когда уже поздно, когда уже все безвозвратно потеряно. Пресыщенный, онъ теперь приходитъ въ ужасъ, какою цѣной купилъ

онъ это пресыщеніе. Его отчаяніе изображено весьма сильно. Конецъ драмы вполне соответствуетъ началу: Фаустъ осужденъ на вѣчныя муки, потому что вступилъ въ договоръ съ дьяволомъ. Всѣ условія договора въ точности исполнены, Фаустъ былъ колдунъ и подвергается участи колдуна.

Вульгарность этой драмы объясняется отчасти требованіями вѣка, когда была написана, а отчасти должна быть отнесена къ винѣ самого автора. И не отступая даже нисколько отъ общихъ вѣрованій, можно было бы обработать эту тему несравненно драматичнѣе. Чего бы не сдѣлалъ изъ нея Шекспиръ! Впрочемъ если хотимъ быть справедливы къ Марлоу, то при сужденіи о его произведеніи должны принять во вниманіе господствовавшія въ то время понятія и должны признать, что всякая другая, болѣе высокая разработка этого сюжета менѣе пришлась бы по вкусу тогдашней публикѣ. Еслибъ Марлоу разработалъ эту тему метафизически, то публика бы его не поняла, — еслибъ онъ придалъ Фаусту болѣе высокія побужденія, то публика бы имъ не повѣрила. Спасти Фауста отъ конечной гибели значило бы совершенно извратить легенду и оскорбить публичную нравственность. Чернокожники не могли остаться безнаказанными! Колдунъ не могъ избѣжать ада! Публика того времени понимала легенду буквально, и Марлоу драматизировалъ ее совершенно согласно съ понятіями тогдашней публики. Символическое свое значеніе эта легенда получила уже только въ новѣйшія времена.

Перейдемъ теперь къ произведенію Кальдерона: *El Magico Prodigioso*. Какъ часто высказывалось мнѣніе, будто Гете заимствовалъ у Кальдерона основныя мысли своего *Фауста*, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ между двумя этими произведеніями рѣшительно нѣтъ ничего схожаго ни въ общемъ ходѣ, ни въ подробностяхъ, ни въ характерахъ, ни въ идеяхъ. *Faustus* Марлоу еще представляетъ нѣкоторое внѣшнее сходство съ Гетевскимъ *Фаустомъ*, такъ какъ въ основаніи обѣихъ этихъ драмъ лежитъ одна и та же легенда, но *El Magico* не представляетъ даже и этого внѣшняго сходства. Новѣйшій издатель Кальдерона, Донъ Еженіо-де-Охоа, удивляется, какъ могла быть рѣчь о сходствѣ между двумя столь различными произведеніями.

Въ драмѣ Кальдерона дѣйствіе происходитъ близъ Антиохіи. Съ

празднествомъ и пѣснями совершается освященіе храма, посвященнаго Юпитеру. Молодой философъ Кипріанъ, сомнѣваясь въ догматахъ своей религіи (политеизма), удаляется отъ городского шума, чтобъ лучше углубиться въ изученіе философій. Опредѣленіе бога, сдѣланное Плиніемъ, его не удовлетворяетъ, и онъ старается найти другое опредѣленіе, лучшее. Шумъ листьевъ прерываетъ его размышленія и передъ нимъ является демонъ въ одеждѣ кавалера. Завязывается споръ: Кипріанъ допазываетъ ложность политеизма, а демонъ утверждаетъ, что онъ есть истина. Изъ этого спора мы видимъ, что Кипріанъ приближается къ христіанству, становится монотеистомъ. Это обращеніе отъ политеизма къ монотеизму, совершающееся путемъ философскаго изслѣдованія, безъ сомнѣнія весьма льстило публикѣ Кальдерона. Въ самомъ началѣ этой сцены демонъ, говоря съ самимъ собой, утверждаетъ, что Кипріанъ никогда не дойдетъ до истины, а между тѣмъ происходитъ совершенно противное. Защита демономъ политеизма весьма слаба. Въ теченіе всего спора Кальдеронъ не допускаетъ ни одного момента, когда бы сила аргументаціи была на сторонѣ демона. Кальдероновскій демонъ—не духъ отрицанія, а злой врагъ, столько же безсильный, сколько и злой,—онъ самъ сознаетъ ложность своихъ аргументовъ и рѣшается достичь путемъ чувственнаго соблазна, чего не могъ достичь силой софизмовъ. По высшему опредѣленію ему предоставлено возбудить преслѣдованіе противъ сосѣдки Кипріана, прелестной Юстины. Онъ намѣревается соблазнить Кипріана прелестями Юстины и такимъ образомъ однимъ ударомъ достигнуть двухъ цѣлей. Нечего и говорить, что между Кальдероновскимъ демономъ и Гетевскимъ Мефистофелемъ нѣтъ рѣшительно ничего общаго.

Кипріанъ остается одинъ и снова углубляется въ свои занятія. На этотъ разъ занятія его прерваны ссорой между двумя его друзьями, которые оба влюблены въ Юстину и рѣшаются покончить свое соперничество дуэлью. Кипріанъ разнимаетъ ихъ, беретъ на себя посредничество и отправляется къ Юстинѣ, чтобъ узнать отъ нея, которому изъ двухъ соперниковъ отдаетъ она предпочтеніе; но при этомъ посѣщеніи онъ самъ влюбляется въ Юстину. Какъ это было общепринято въ испанскихъ драматическихъ произведеніяхъ того времени, одновременно съ рассказаннымъ нами ходомъ драмы происходитъ подобная же драма между

слугами, которые пародируютъ дѣйствія и чувства своихъ господъ. Я это опускаю, а также опускаю и тѣ сцены, которыя не имѣютъ въ драмѣ существеннаго значенія.

Юстина, новообращенная христіанка, есть типъ христіанской невинности. Она также отвергаетъ любовь и Кипріана, какъ уже отвергла любовь двухъ его друзей. Ея холодность приводитъ Кипріана въ отчаяніе: «Какъ она хороша! я истерзался любовью и ревностью, надеждой и страхомъ. Такая жизнь невыносима. Слушай, адъ! я готовъ отдать мою душу самому гнуснѣйшему изъ твоихъ духовъ, готовъ отдать ее въ вѣчное достояніе, на вѣчныя муки и терзанія, но только чтобы эта женщина была моею. Слышишь ли адъ? Я предлагаю тебѣ мою душу. Ты отвергаешь ее?— *Демонъ* (невидимый). Принимаю (буря съ громомъ и молніей).»

Какая несообразность! язычникъ обращается съ мольбой къ аду! У Байдерона подобныя несообразности встрѣчаются на каждомъ шагѣ.

Буря разбиваетъ корабль; демонъ является въ видѣ странника, спасагося отъ кораблекрушенія, и говоритъ съ самимъ собой: «для моихъ цѣлей необходимо было поднять бурю на морѣ; теперь меня не узнаютъ и я могу наконецъ поправить прежнюю неудачу, поведу снова атаку противъ души Кипріана, и даже самая его любовь и самая его мудрость послужатъ мнѣ орудіями къ побѣдѣ надъ нимъ.»

Кипріанъ старается утѣшить мнимаго странника въ постигшемъ его несчастіи, но демонъ отвѣчаетъ, что теперь его ничто уже утѣшить не можетъ, что онъ потерялъ все, что даетъ цѣну жизни. Далѣе демонъ рассказываетъ Кипріану свое прошлое. Въ этомъ разсказѣ иносказательно, но довольно прозрачно изображается исторія его паденія. Въ теченіе разсказа онъ мимоходомъ даетъ замѣтить Кипріану, что обладаетъ чудодѣйственной силой, надѣясь такимъ образомъ возбудить въ своемъ слушателѣ желаніе изучить магію. Кипріанъ предлагаетъ ему у себя гостепріимство и они удаляются со сцены.

Въ слѣдующей сценѣ демонъ спрашиваетъ Кипріана о причинѣ постоянной его грусти. Испанскій драматургъ не преминулъ при семъ удобномъ случаѣ представить образчикъ напыщенной любовной реторики. Кипріанъ пускается въ длинныя пышныя разглаголь-

ствованія въ Оссіановскомъ вкусѣ о своей возлюбленной и о своей любви. Его возлюбленная имѣетъ прелести утренней зари, жемчужной росы, благовоннаго вѣтра, весенней розы, извивающагося ручейка, сіяющихъ звѣздъ, поющихъ птицъ, хрустальныхъ скалъ, лавра, солнечныхъ лучей и т. д. Одно это перечисленіе прелестей занимаетъ не менѣе пятидесяти строкъ. Познакомивъ такимъ образомъ демона съ прелестями своей возлюбленной, Кипріанъ объявляетъ, что такъ плѣненъ этими созданіемъ, что совершенно оставилъ философію и готовъ отдать за нее свою душу. Демонъ принимаетъ предложеніе, разсказываетъ скалу, и Кипріанъ видитъ въ распахнутой скалѣ спящую Юстину, устремляется къ ней, но скала снова закрывается. Демонъ требуетъ, чтобъ предварительно былъ заключенъ договоръ. Кипріанъ мочитъ кинжалъ въ своей крови и пишетъ договоръ на кускѣ полотна. Демонъ обѣщаетъ научить его магіи, съ помощью которой, по истеченіи года, онъ будетъ въ состояніи овладѣть Юстиной.

Эта сцена искушенія весьма тривиальна, слабо задумана, слабо выполнена. Замѣьте притомъ, какая тутъ грубая несообразность. Кипріанъ предлагаетъ аду свою душу за Юстину, — демонъ отвѣчаетъ «принимаю». При этихъ словахъ поднимается буря съ громомъ и молніей. Все это можетъ быть довольно эффектно, но для драмы бесполезно, нисколько не подвигаетъ драмы впередъ, такъ какъ демонъ вслѣдъ затѣмъ является не для того, чтобъ вступить въ договоръ съ Кипріаномъ, и даже не для того, чтобы соблазнить его, а только чтобъ съ нимъ познакомиться, войти къ нему въ довѣріе и потомъ уже приступить къ соблазну. Сопровождающая эту сцену грубая и бессмысленная пародія еще ярче выставяетъ всѣ ея слабыя стороны. Слуга Кипріана также влюбленъ и въ подражаніе господину также предлагаетъ демону свою душу, разбиваетъ себѣ носъ и кровью изъ носа пишетъ договоръ на носовомъ платкѣ.

Въ этой сценѣ искушенія заключается единственный пунктъ сходства между драмой Кальдерона и драмой Гете. Очевидно, что это сходство крайне слабо, поверхностно, но тѣмъ не менѣе оно подало поводъ критикамъ утверждать, будто Гете заимствовалъ у Кальдерона. Договоръ съ дьяволомъ одинаково встрѣчается какъ въ легендѣ св. Кипріана, такъ и въ легендѣ Фауста. Во всемъ

остальномъ какъ легенды, такъ и драмы, не имѣютъ между собой рѣшительно ничего общаго. Любопытно сравнить, какими побужденіями руководятся, что хотятъ получить за свои души эти три героя: Фаустусъ, Кипріанъ и Фаустъ. Сравненіе не говоритъ въ пользу Кальдерона, — его герой оказывается самый жалкій изъ всѣхъ трехъ.

Вернемся къ дальнѣйшему ходу драмы. Годъ испытанія прошелъ и Кипріанъ съ нетерпѣніемъ ожидаетъ обѣщанной награды. Онъ прилежно изучилъ магію и сталъ въ ней не менѣе свѣдущъ, чѣмъ и его учитель, хвалится, что можетъ вызывать мертвыхъ изъ могилъ и совершать разныя другія не менѣе великія чудеса; но это знаніе остается у него совершенно безплоднымъ: онъ не примѣняетъ и даже не пытается примѣнить его къ дѣлу. Къ чему же былъ нуженъ годъ испытанія? Къ чему нужно было изученіе магіи? Это было нужно, чтобъ растянуть драму и сдѣлать ее разнообразнѣе. Такъ по всей вѣроятности отвѣтилъ бы Кальдеронъ на этотъ вопросъ, и такой отвѣтъ былъ бы совершенно удовлетворителенъ въ устахъ борзописца-драматурга, но совершенно не удовлетворителенъ въ устахъ человѣка, котораго въ настоящее время провозглашаютъ великимъ художникомъ. Едва ли было бы основательно съ нашей стороны требовать художественности отъ драматурга, который написалъ отъ ста до двухъ сотъ драмъ, и мы никогда и не подумали бы обратиться къ Кальдерону съ подобнымъ требованіемъ, еслибъ нѣмецкая критика не провозгласила его великимъ художникомъ и еслибъ эта критика не нашла себѣ многочисленной публики, которая повѣрила ей на слово.

Уступая настояніямъ Кипріана, демонъ призываетъ своихъ духовъ, чтобъ они возмутили душу Юстины нечистыми мыслями и расположили бы ее къ Кипріану. Не слѣдовало ли и начать прямо съ этого? Годъ испытанія, изученіе магіи, — къ чему все это? Юстина приходитъ въ сильное волненіе. Приведу часть сцены, какъ образчикъ Кальдероновскаго драматизма. Является демонъ и Юстина обращается къ нему съ вопросомъ: «Скажи, не призракъ ли ты ужаса и страха? — *Демонъ*. Нѣтъ: меня вызвала сюда мысль, которая теперь тираннически властвуетъ надъ твоимъ смущеннымъ сердцемъ, меня привело сюда состраданіе, я хочу указать тебѣ путь къ твоему Кипріану. — *Юстина*. Тебѣ это не удастся. Буря,



сокрушающая мою измученную душу, может безгранично раскатыть мое воображеніе, но разсудокъ мой никогда не подчинится ей безумной власти.—*Дем.* Но ты уже согрѣшила въ мысляхъ, — грѣхъ уже наполовину совершенъ! Зачѣмъ же будешь ты томиться и лишать себя наслажденія?—*Юст.* Надъ мыслями я не властна. Увы! тщетно стараюсь я ихъ побѣдить. Но я властна надъ своими поступками. Согрѣшить мыслью и согрѣшить поступкомъ — не одно и тоже, а грѣшнаго поступка я не совершу.—*Дем.* Противъ тебя высшая сила. Ты безсильная противъ нея и должна уступить.—*Юст.* Для борьбы съ этой силой у меня есть свободная воля.—*Дем.* Моей власти должна подчиниться твоя свободная воля.—*Юст.* Еслибы мы должны были подчиняться твоей власти, то наша воля не была бы свободна.—*Дем.* Слѣдуй за мной, тебя ждетъ блаженство!—*Юст.* Дорого будетъ мнѣ стоить это блаженство.—*Дем.* Тебя ждутъ миръ и любовь.—*Юст.* Нѣтъ! тамъ меня ждутъ горе и гибель.—*Дем.* Ты обретѣшь тамъ небесное счастье.—*Юст.* Тамъ нѣтъ счастья, тамъ страшное горе.—*Дем.* Кто защититъ тебя! (Тащить ее насильно, но не можетъ сдвинуть съ мѣста).—*Юст.* Моя защита—Богъ.—*Дем.* (освобождая ее изъ своихъ рукъ). Дѣва! ты побѣдила!»

Достаточно исповѣдывать вѣру въ христіанскаго Бога и—дьяволъ побѣжденъ! Какъ должна была восторгаться Кальдероновская публика такой побѣдой! Будучи не въ силахъ сдѣлать Кипріана обладателемъ Юстины, демонъ рѣшается его обмануть. Является фигура въ плащѣ и приглашаетъ Кипріана слѣдовать за собой. Въ слѣдующей сценѣ Кипріанъ является, держа въ своихъ объятіяхъ эту фигуру въ плащѣ. Онъ воображаетъ, что это—Юстина, срываетъ плащъ, но вмѣсто Юстины предъ нимъ скелетъ, который, на его возгласъ ужаса и отчаянія, отвѣчаетъ:

Así, Cipriano, son  
Todas las glorias del mundo!

«Таково величіе сего міра.» Эта страшная сцена достойна католика-фанатика, драматурга-борзописца, но она недостойна художника. По театральной своей эффектности и по религіозной назидательности она задумана не дурно, но въ высшей степени грѣшитъ противъ художественности, совершенно противорѣчитъ всему

ходу драмы. Демонъ хочетъ соблазнить Кипріана, но развѣ подобное средство можетъ служить орудіемъ соблазна. Тутъ вопіющая несообразность, но ради сценическаго эффекта Кальдеронъ не останавливается ни передъ какою несообразностію.

Кипріанъ приведенъ въ отчаяніе этимъ обманомъ и требуетъ объясненія. Демонъ сознается, что не можетъ побѣдить Юстину, такъ какъ ее охраняетъ высшая сила. Какая же это сила, спрашиваетъ Кипріанъ. Демонъ колеблется отвѣчать, но наконецъ вынужденъ сказать, что эта сила есть христіанскій Богъ. Кипріанъ, видя что христіанскій Богъ охраняетъ тѣхъ, кто въ него вѣруетъ, отказывается вѣрить въ какихъ-либо иныхъ боговъ. Демонъ приходитъ въ ярость и требуетъ отъ Кипріана его душу. Но Кипріанъ возражаетъ Демону, что тотъ не исполнилъ договора. Завязывается горячій споръ. Кипріанъ хватываетъ мечъ, ударяетъ Демона,—тутъ новый театралъный эффектъ, — удары меча оказываются безсплыны. Демонъ тащитъ Кипріана силой, но Кипріанъ, подобно Юстинѣ, призываетъ имя Бога, и Демонъ отступаетъ отъ него въ смущеніи.

Кипріанъ становится христіаниномъ и Юстина увѣряетъ его, что онъ будетъ спасенъ несмотря на всѣ его грѣхи, потому что

..... no tiene  
Tantas estrellas el cielo,  
Tantas arenes el mar,  
Tantas centelles el fuego,  
Tantos átomos el día,  
Como él perdona pecados.

Юстина и Кипріанъ умираютъ мучениками христіанской вѣры. Они осуждены какъ еретики и сожжены въ Антиохіи. Въ заключеніе драмы является Демонъ въ воздухѣ, верхомъ на змѣи, и объявляетъ публикѣ, что Богъ велѣлъ ему возвѣстить о невинности Юстины, объ освобожденіи Кипріана отъ его необдуманнаго обязательства, и что души обоихъ покоятся теперь въ царствѣ блаженныхъ.

Изъ представленнаго нами краткаго обзора читатель видитъ, что всѣ трое—и Марлоу, и Кальдеронъ, и Гете—воспользовались старинною легендою каждый на свой манеръ, соответственно характеру своего генія и соответственно требованіямъ своего вѣка. Мар-

лоу драматизировалъ легенду, какъ она есть, вполнѣ сохраняя все ея вульгарное значеніе. Кальдеронъ извлекаетъ изъ легенды религіозное назиданіе. Въ вѣкъ, когда жилъ Гете, легенда уже совершенно утратила свое прямое вульгарное значеніе какъ для умовъ высокообразованныхъ, такъ даже и для умовъ обиходныхъ, — договоръ съ сатаной не имѣлъ значенія факта, а имѣлъ значеніе только какъ символическое выраженіе волнующихъ насъ страстей и желаній. Требованія вѣка не позволяли Гете иначе отнестись къ легендѣ, какъ придавъ ей символическое значеніе, но самый характеръ ея разработки опредѣлился характеромъ его собственнаго генія. Разсматривая вторую часть *Фауста*, мы увидимъ, что впоследствии ослабшія силы поэта искали вдохновенія болѣе въ символизмѣ, чѣмъ въ поэзій, болѣе въ размышленіи, чѣмъ въ душевномъ движеніи; въ первой же части легенда и символъ, средневѣковое и новое чуднымъ образомъ сливаются въ одно цѣлое, — глубина мыслей, высокая поэтичность, яркость красокъ, остроуміе, юморъ, пафосъ, всѣ эти качества не могутъ пройти незамѣченными для любого читателя. Я бы охотно остановился еще на нѣкоторыхъ подробностяхъ, но эта глава и такъ уже вышла очень длинна и поэтому ограничусь только нѣсколькими общими замѣчаніями.

Въ чемъ состоитъ основная мысль *Фауста*? Кольриджъ говоритъ: «Гете хотѣлъ выразить въ *Фаустѣ*, къ какимъ послѣдствіямъ ведетъ презрѣніе къ разуму и наукѣ, порожденное неудовлетворенною жаждою знанія. Но чистая любовь къ знанію не можетъ порождать подобныхъ послѣдствій, — ихъ можетъ порождать только любовь не чистая, имѣющая низкія, недостойныя побужденія». О выполненіи онъ говоритъ такъ: «Въ *Фаустѣ* нѣтъ ни причинности, ни пропорціональности, съ первыхъ же строкъ чувствуется *incredulus odi*, — *Фаустъ* колдунъ съ первой же сцены. Между чувственностію и жаждою знанія нѣтъ никакой связи». Сужденіе Кольриджа можетъ служить образчикомъ помпуптой нами выше критики, которая подставляетъ художнику свои собственные требованія и цѣли. Составивъ себѣ собственный планъ драмы, Кольриджъ порицаетъ Гете за то, что тотъ не разработалъ темы такъ, какъ по его мнѣнію ее слѣдовало разработать. Еслибъ онъ болѣе углубился въ *Фауста*, то увидѣлъ бы, что мизологія, презрѣніе

къ разуму и наукѣ, вовсе не есть главная его тема. Эта тема исчерпана въ первыхъ же двухъ сценахъ, и далѣе о ней нѣтъ и помину. Послушаемъ лучше, что говоритъ самъ Гете о своемъ произведеніи. «Легенда о *Фаустѣ* затронула всѣ струны моей души. Подобно *Фаусту* я также извѣдалъ весь кругъ знанія и скоро позналъ всю его тщету; подобно ему, я также пускался во всѣ стези жизни и возвращался каждый разъ еще болѣе недовольный и измученный». Вотъ единственный ключъ къ *Фаусту* и гдѣ же намъ искать его, какъ не въ самомъ поэтѣ. Поэтъ выразилъ въ *Фаустѣ* пережитыя имъ самыя душевныя бури,—онъ собственнымъ опытомъ извѣдалъ всю тщету философіи и собственный его опытъ рано раскрылъ ему всю грязь, порочность, развратность, скрывающуюся подъ внѣшнимъ лоскомъ приличія и цивилизаціи. Если мы совершенно отрѣшимся отъ красокъ, которыми поэтъ нарисовалъ свою картину, и сосредоточимся на мысли картины, то придемъ къ заключенію, что поэма *Фауста* есть крикъ отчаянія о ничтожествѣ жизни. Мизологія есть часть и не болѣе, какъ только часть, но не вся тема. Разочарованный въ своихъ стремленіяхъ познать тайну жизни, *Фаустъ* отдается искустителю, который общается ему, что онъ познаетъ наслажденія жизни. Онъ обходитъ весь кругъ наслажденія, какъ передъ этимъ обошелъ кругъ знанія, но и здѣсь также не находитъ себѣ удовлетворенія. Оргіи въ погребѣ Ауэрбаха и въ Гарцскихъ горахъ не удовлетворяютъ снѣдающихъ его стремленій. Онъ любитъ Гретхенъ и любитъ страстно, но это любовь лихорадочная, преходящая,—она не даетъ ему даже ни одного мгновенія, которому бы онъ могъ сказать: «остановись! ты прекрасно!» Онъ не знаетъ покоя, вѣчно стремится все далѣе и далѣе, хочетъ обрѣсть абсолютное, т. е. необрѣтаемое. Таковъ жребій человѣчества!

Es irrt der Mensch, so lang'er strebt.

Гете ставили въ упрекъ, что онъ въ *Фаустѣ* только поставилъ проблему человѣческой жизни, но не разрѣшилъ. Я не нахожу этотъ упрекъ основательнымъ, потому что не думаю, чтобы можно было къ поэмѣ обращаться съ подобнымъ требованіемъ. Если поэтъ примется аргументировать, то онъ уже не поэтъ,—значить онъ отрѣкся отъ своего назначенія и принялся не за свое

дѣло. Притомъ мы должны замѣтить, что Гете не только ясно поставилъ въ своемъ *Фаустѣ* проблему жизни, но въ тоже время, вмѣстѣ и практически, своей жизнью, и теоретически, своими сочиненіями, далъ намъ возможно близкое ея разрѣшеніе, показавъ, какъ надо нести «тяжелую ношу великаго бремени». Его доктрина отреченія—*dass wir entsagen müssen* — представляетъ возможно близкое разрѣшеніе проблемы или по крайней мѣрѣ отнимаетъ у этой неразрѣшимой проблемы то, что насъ въ ней смущаетъ и гнететъ. Дѣятельность и чистота сердца дадутъ намъ много, если мы только подвигнемъ себя къ отреченію, удовольствуемся познаваемымъ и достижимымъ и отречемся отъ того, что не познаваемо и не достижимо. Наша жизнь есть страшная проблема, но мы не должны забывать, что эта проблема есть тайна, находящаяся за предѣлами человѣческихъ силъ. Сознаемъ это и отречемся отъ недостижимаго! Для насъ возможно только знаніе относительное, но невозможно знаніе абсолютное. И это относительное знаніе безконечно и для насъ безконечно важно: въ широкой его сферѣ да трудится каждый по своимъ способностямъ! Счастіе идеальное, абсолютное, также для насъ недостижимо: отречемся и отъ него! Сфера долга велика, тутъ есть къ чему приложить свои силы,—эта сфера высоко облагораживаетъ того, кто ей вѣрно служить. Трудъ въ самомъ себѣ заключаетъ стимулъ, дающій силу жить, а сознаніе, что нашъ трудъ содѣйствуетъ упроченію счастья нашихъ ближнихъ облегчаетъ намъ бремя жизни.

---

## ГЛАВА VIII.

---

### Лирическія стихотворенія.

Еслибъ Гете ничего не написалъ, кромѣ *Фауста* и лирическихъ своихъ стихотвореній, то никому бы и въ голову никогда не пришло оспаривать, что ему по всей справедливости принадлежитъ первое послѣ Шекспира мѣсто въ ряду поэтовъ новыхъ временъ. Но Гете кромѣ того написалъ очень много, другими словами сказать: от-

крылъ много подступовъ къ нападкамъ на заслуженную имъ славу. Его плодовитость умалила его славу, ослабила вѣру въ его гениальность. Подобно тому какъ силу луча измѣряютъ слабѣйшею его частію, такъ и поэтовъ оцѣниваютъ — что совершенно несправедливо — по слабѣйшимъ ихъ произведеніямъ, какъ скоро энтузіазмъ не довольно силенъ, чтобъ заглушить голосъ критики. Плодовитость вредитъ славѣ, — когда выставлено рядомъ много мишеней, то и самый плохой стрѣлокъ попадетъ въ какую-нибудь. Греческая литература потому главнымъ образомъ и представляется намъ столь великою, что до насъ дошли только ея лучшія произведенія, а все плохое, посредственное намъ неизвѣстно. Современная литература кажется намъ столь бѣдна не потому, чтобъ въ ней не было хорошихъ произведений, а потому, что въ ней много хламу, и этотъ хламъ заслоняетъ намъ то, что въ ней есть хорошаго. Гете написалъ сорокъ томовъ о самыхъ разнообразныхъ предметахъ. Въ этихъ сорока томахъ вы встрѣчаете произведенія, написанныя такъ хорошо, какъ еще никогда до Гете не писалъ ни одинъ нѣмецъ, и наряду съ ними встрѣчаются произведенія, написанныя столь плохо, что желательно было бы, чтобъ никто никогда такъ плохо не писалъ. Но замѣтимъ, что слабѣйшія произведенія Гете написаны прозой; въ стихахъ же онъ всегда поэтъ и даже самыя плохія его стихотворенія не лишены той поэтической прелести, которая столь неподражаема въ лучшихъ его поѣмахъ.

Изъ всѣхъ произведенийъ Гете лирическія стихотворенія имѣютъ наибольшую извѣстность. Много приходится слышать весьма странныхъ и противорѣчивыхъ сужденій о самомъ поэтѣ и его произведеніяхъ, но о мелкихъ его стихотвореніяхъ существуетъ только одно мнѣніе, свидѣтельствующее о высокомъ ихъ достоинствѣ. Они такъ хороши, что даже самые отъявленные враги ихъ автора говорятъ о нихъ не иначе, какъ съ восторгомъ. Въ нихъ столько жизни и прелести, что противъ ихъ чарующей силы не можетъ устоять никакое предубѣжденіе. Вы находите въ нихъ, облеченными въ чудную музыкальную форму, чувства въ высшей степени разнообразныя и всегда истинныя, искреннія. Разнообразіе ихъ чрезвычайно. Вы тутъ встрѣчаете пѣсни веселыя, граціозныя, кокетливыя, игривыя, нѣжныя, страстныя, печальныя, глубоко-

комысленныя, картинныя, иногда столь безъискусственныя и мелодичныя, что разъ прочитавъ, потомъ никогда не забываешь ихъ и въ свободную минуту онѣ невольно, сами собой, приходятъ на память, какъ музыкальный мотивъ, — то полныя высокихъ мыслей, то причудливо-фантастичныя, то просто рыдающія самымъ горькимъ рыданіемъ сокрушеннаго сердца. «Эти пѣсни—говоритъ Гейне, который самъ большой мастеръ цѣть,—обладаютъ невыразимыми чарами. Гармоническій стихъ обвивается вокругъ сердца, подобно нѣжной любовницѣ; слово обнимаетъ васъ, мысль цѣлуетъ (Das Wort umarmt dich, während der Gedanke dich küsst)».

Тайна ихъ чарующей силы заключается отчасти въ удивительной простотѣ ихъ языка. Между тѣмъ какъ у большей части поэтовъ вы встрѣчаете на каждомъ шагѣ изысканныя, придуманныя выраженія, которыми они стараются украсить свою мысль, у Гете, напротивъ, вы находите полное отсутствіе всякихъ прикрасть, всякихъ метафоръ. Стихъ у него разворачивается безпритязательно, граціозенъ, какъ цвѣтокъ, и разнообразится безъискусственно, естественно, по свойству предмета поэмы. Никакихъ искусственныхъ красотъ. Красоты его пѣсенъ такъ сказать органическія, а не внѣшнія, не прикладныя. Прочтите напр. балладу *Рыбакъ*. Какъ просты и безъискусственны образы и въ то же время какъ удивительно картинны! Или возьмите для примѣра стихотвореніе въ inomъ совершенно родѣ — *Коринѣскую Невѣсту*. Какъ тутъ выразительно, мѣтко каждое слово! Съ какою несравнимою яркостью тутъ каждая строка движетъ передъ вами рисуемое событіе. Юноша приходитъ въ Коринѣ изъ Аѳинъ за невѣстой. Родители обоихъ давно уже предназначили ихъ другъ другу, но послѣ того семейство невѣсты приняло христіанство, а «когда принимается новая вѣра, нѣрѣдко вырываются съ корнемъ и любовь и истина». Юноша ничего не знаетъ о перемѣнѣ, происшедшей въ семьѣ невѣсты. Приходитъ онъ поздно, — всѣ спятъ, — его встрѣчаетъ только мать невѣсты. Передъ нимъ ставятъ ужинъ и оставляютъ одного, но онъ очень усталъ, не прикасается къ кушаньямъ и не раздѣваясь бросается въ постель. Но едва онъ начинаетъ засыпать, какъ отворяется дверь и онъ видитъ при свѣтѣ лампы, что къ нему входитъ странная гостья—дѣвушка въ бѣломъ одѣяніи подъ бѣлымъ покрываломъ и въ черной съ золотомъ повязкѣ. Увидавъ

его, она въ ужасѣ поднимаетъ свою бѣлую руку и хочетъ бѣжать; но онъ умоляетъ ее остаться, показываетъ на ужинъ, проситъ вкусить съ нимъ отъ благъ Цереры, Вакха и Амура. Она отвѣчаетъ, что для нея умерли всѣ радости, что боги оставили этотъ домъ, гдѣ поклоняются только Единому на небесахъ и Единому на крестѣ, гдѣ не приносятъ болѣе въ жертву ни тельцевъ, ни быковъ, а приносятъ только жертвы человѣческія. Но юношѣ-язычнику не понятна эта рѣчь. Онъ продолжаетъ умолять невѣсту раздѣлить его любовь. Она говоритъ ему, что ее отдали въ монастырь, но онъ ничего слышать не хочетъ! Полночь бьетъ— часъ привидѣній и ей какъ будто становится легко. Блѣдными губами пьетъ она красное вино, но отказывается отъ предлагаемаго ей хлѣба,—даетъ ему золотую цѣпь, а себѣ беретъ локонъ его волосъ. «Я холодна какъ ледъ»,—говоритъ она, но онъ вѣритъ, что его любовь согреетъ ее, если бы даже она пришла къ нему изъ могилы:

Wechselhauch und Kuss!

Liebesüberfluss!

Brennst du nicht und fühlst mich entbrannt?

Любовь сливаетъ ихъ въ одно существо. Жадно срыпываетъ невѣста поцѣлуи съ пламенныхъ устъ жениха. Но хотя любовный пламень жениха и разогрѣлъ застывшую кровь невѣсты, въ груди у этой невѣсты не бьется сердце. Трудно передать ужасающее сладострастіе этой странной сцены, гдѣ брачатыя между собой жизнь и смерть, алтарь Гименею воздвигается на могилѣ. Поетъ пѣтухъ. Входитъ съ гнѣвомъ мать, услышавъ голоса и поцѣлуи,—она думаетъ, что въ комнатѣ жениха ея служанка, но что она видитъ! Тамъ ея дочь, и эта дочь ей говоритъ съ укоромъ, зачѣмъ лишаетъ она ее прекрасной ночи! Мало ей, что преждевременно свела ее въ могилу; но и могила не можетъ ее удержать! Молитвы и благословенія священниковъ не имѣютъ надъ ней власти, сама земля не можетъ загасить ея любовь. Она пришла къ жениху, высосала сердце жениха, дала ему золотую цѣпь, а у него взяла локонъ. На утро женихъ будетъ сѣдой; свою молодость онъ обрѣтетъ только въ могилѣ. Дочь проситъ мать приготовить по-



гребальный костеръ, отарыть ея гробъ и сжечь ея тѣло вмѣстѣ съ тѣломъ жениха, дабы они могли вмѣстѣ предстать скорѣе предъ богами.

Во всей этой чудной балладѣ вы не встрѣчаете ни одного образа, ни одного фигурнаго выраженія,—все въ высшей степени просто, ясно, и предъ вами какъ будто живая дѣйствительность. Тоже можно сказать и о извѣстной балладѣ: *Богъ и Баядерка*. Индѣйскій богъ странствуетъ по берегамъ Ганга. Баядерка приглашаетъ его войти къ ней и отдохнуть, кокетничаетъ, старается завлечь его. Богъ улыбается и съ радостию видитъ, что при глубокомъ развратѣ въ ней сохранилось чистое сердце. Онъ возжигаетъ въ ней любовь къ себѣ и, чтобъ лучше ее испытать, «проводитъ ее чрезъ наслажденіе, ужасъ и лютыя муки». Пронувшись утромъ, она видитъ его подлѣ себя мертвымъ и, обливаясь слезами отчаянія, тщетно пытается его пробудить. Раздаются торжественные, страшные звуки погребальнаго пѣнія священнослужителей. Она слѣдуетъ за тѣломъ на мѣсто сожженія. Священнослужители не допускаютъ ее къ костру, потому что она не жена усопшаго, не имѣетъ права умереть вмѣстѣ съ нимъ,—но любовь торжествуетъ. Баядерка бросается въ пламя, и Богъ возноситъ въ своихъ объятіяхъ спасенную грѣшницу. Въ этой балладѣ переходы отъ одного размѣра къ другому, сопровождаемые переходами отъ нѣжной легкости къ торжественной серьезности, производятъ чудный эффектъ, и предъ вами послѣдовательно рисуется весь ходъ событія такими яркими, художественными красками, какихъ еще никогда не достигалъ ни одинъ нѣмецкій поэтъ. Подобный же образецъ художественности представляетъ баллада *Льсной царь*. Тутъ естественное и сверхъестественное, рассказъ и образы, чуднымъ образомъ сливаются и картина рисуется предъ вами съ неподражаемой пластической яркостью. Обыкновенно эту балладу считали оригинальнымъ произведеніемъ Гете, но Вигофъ въ своихъ *Коментаріяхъ на поэмы Гете* говоритъ, что Гете заимствовалъ ея сюжетъ изъ переведенной Гердеромъ датской баллады: *Дочь льснаго царя*. Размѣръ стиха тотъ же, первая и послѣдняя строки почти тѣ же, но самый рассказъ у Гете совершенно иной, и при томъ въ датской балладѣ вы не находите и тѣни той художественности, какая у Гете. Вотъ рассказъ датской баллады: Олуфъ

ѣдетъ на свадьбу и на дорогѣ встрѣчаетъ дочь лѣснаго царя. Она приглашаетъ его танцовать, но онъ отвѣчаетъ, что танцовать съ ней не можетъ, не имѣетъ времени, снѣшить на свадьбу. Она предлагаетъ ему золотыя шпоры и шелковую рубашку, но онъ опять отвѣчаетъ: «завтра моя свадьба». Наконецъ она предлагаетъ ему груду золота. «Груды золота—говоритъ онъ—я возьму съ удовольствіемъ, но танцовать не смѣю.—не хочу». Разсерженная, она ударяетъ его въ сердце и говоритъ, чтобъ онъ ѣхалъ къ невѣстѣ. Когда Олуфъ пріѣзжаетъ домой, мать пугается его блѣдности. Онъ рассказываетъ ей, что былъ во владѣніяхъ лѣснаго царя. «А что должна я сказать твоей невѣстѣ?»—«Скажи ей, что я уѣхалъ въ лѣсъ верхомъ съ собаками». Утромъ собираются свадебные гости и спрашиваютъ объ Олуфѣ. Имъ указываютъ на красный плащъ. Невѣста поднимаетъ плащъ,—подъ плащемъ Олуфъ мертвый! Я рассказалъ вкратцѣ сюжетъ датской поэмы, чтобъ читатель могъ сравнить ее съ произведеніемъ Гете: это сравненіе превосходно выставляетъ всю разницу между народной легендой и художественной балладой.

Не въ однихъ только балладахъ выказался высокій лиризмъ Гете. Два тома его лирическихъ стихотвореній представляютъ столь богатый матеріалъ, что еслибы даже и представлялъ читателю ихъ разборъ, столь же длинный, какъ эта біографія, то и тогда не исчерпалъ бы вполне предмета. Въ дѣйствительности сама біографія Гете есть ни что иное, какъ комментарий этихъ его произведеній, такъ какъ они суть истинное выраженіе того, что имъ на самомъ дѣлѣ было продумано и прочувствовано:

Spät erklingt was früh erklang,  
Glück und Unglück wird Gesang.

Даже самыя баллады или такія поэмы, какъ напр. превосходная идиллія: «*Alexis und Dora*», хотя и не выражаютъ собой какого-либо эпизода изъ жизни поэта, но тѣмъ не менѣе не имѣютъ въ себѣ ничего придуманнаго, напускнаго. Нѣкоторыя изъ мелкихъ стихотвореній поражаютъ васъ глубиною мысли, а другія плѣняютъ васъ, какъ «щебетанье вольной птицы на вѣткѣ». Всѣ они безъ исключенія рѣшительно непереводимы.

КНИГА СЕДЬМАЯ.

---

1805—1832.

---

Ὡς εὖ ἴσθι ὅτι ἐμοίγε ὅσον αἱ ἄλλαι αἱ κατὰ τὸ σῶμα ἡδοναὶ  
ἀπομαφαινόνται, τοσούτων αὖξονται αἱ περὶ τοὺς λόγους ἐπιθυμίαι  
τε καὶ ἡδοναί. — ΠΛΑΤΩΝ, Ρεπυβ. 1, 6.

«Le temps l'a rendu spectateur.»

MADAME DE STAËL.

## ГЛАВА I.

---

### Сраженіе при Іенѣ.

Смерть Шиллера оставила Гете совершенно одинокимъ. Онъ потерялъ въ немъ не только друга, — онъ потерялъ энергическій стимулъ къ поэтическому творчеству, которое дѣлало жизнь полнѣе. И въ слѣдующіе годы онъ продолжалъ работать, изучать, обогащался опытомъ и знаніемъ, — изъ-подъ пера его выходили произведенія, которыми другіе могли бы гордиться, но жизнь его уже перешла свой полдень, и свѣтъ, восхищающій насъ въ его творествѣ, есть уже спокойный свѣтъ заходящаго солнца.

Какъ будто для того, чтобы дать ему еще сильнѣе почувствовать понесенную утрату, вскорѣ послѣ смерти Шиллера пріѣхалъ въ Веймаръ Якоби. Первая встрѣча двухъ старыхъ друзей была весьма радушна, но они вскорѣ увидѣли, что бывшее между ними умственное различіе — по мѣрѣ того какъ они развивались, каждый въ своемъ направленіи, — все болѣе и болѣе возрастало и наконецъ возрасло до такой степени, что они стали совершенно чужды умственной жизни другъ друга. Гете не понималъ ни мыслей, ни языка Якоби, а Якоби въ свою очередь чувствовалъ себя совершенно чужимъ въ мірѣ идей своего стараго друга. Такова одна изъ пеней, взимаемыхъ съ насъ нашимъ развитіемъ. Проходятъ

годы, и мы чувствуемъ себя совершенно отрѣзанными отъ прежнихъ радостей нашего сердца, — даже нашъ языкъ становится совершенно непонятенъ тѣмъ, которые нѣкогда были для насъ столь дороги и столь близки къ намъ.

Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ пріѣхалъ въ Іену Галль. Френологія была въ то время еще великою новостью. Признавая великое значеніе трудовъ Галля для физиологіи и психологіи (изъ чего ошибочно было бы заключить, что мы признаемъ его скороспѣлую доктрину, которая во многихъ отношеніяхъ не выдерживаетъ критики), намъ пріятно внести въ біографію Гете тотъ фактъ, что онъ не только посѣщалъ чтенія Галля, но и выказывалъ большое сочувствіе къ его трудамъ и высоко цѣнилъ ихъ. Когда Гете былъ боленъ, Галль перенесъ къ нему въ комнату свои инструменты, дѣлалъ тутъ сѣченія и объяснялъ свою доктрину. Гете не встрѣтилъ новую теорію насмѣшками и презрѣніями, какъ это обыкновенно дѣлаютъ люди ученые и люди свѣтскіе, — онъ отнесся къ ней безъ всякихъ предубѣжденій и хотя сознавалъ, что наука еще не можетъ произнести окончательнаго приговора, но тѣмъ не менѣе сразу оцѣнилъ всю важность основныхъ идей <sup>1)</sup> Галля и его новой методы сѣченія, которая теперь общепринята. Доктрина Галля приходилась ему совершенно по душѣ, потому что, признавая тожество душевныхъ проявленій во всемъ животномъ царствѣ, она устанавливала болѣе тѣсную связь между человѣкомъ и природой, чѣмъ какую допускали прежнія школы.

Въ слѣдующемъ году мирныя занятія Гете были прерваны громомъ пушекъ. 14 октября, часовъ въ семь утра, послышался въ Веймарѣ отдаленный грохотъ артиллеріи. Завязалась Іенская битва. Громъ орудій былъ слышенъ съ ужасающей ясностью, но къ полудню ослабѣлъ, и Гете по обыкновенію успѣлся обѣдать въ обычный часъ. Но едва успѣлъ онъ усѣсться за столъ, какъ зазвистѣли ядра надъ Веймаромъ. Столъ сейчасъ же былъ убранъ. Римеръ засталъ Гете расхаживающимъ взадъ и впередъ по саду. Ядра свистѣли надъ домомъ; за садовой стѣной видѣлись штыки

---

<sup>1)</sup> *Freundschaftliche Briefe von Goethe und seiner Frau an Nicolaus Meyer,*  
19.

пруссакѣвъ. Французы поставили нѣсколько орудій на высотахъ, господствующихъ надъ Веймаромъ, и оттуда стрѣляли по городу. Былъ тихій, ясный день. Веймарцы попрятались, и на улицахъ царствовала мертвая тишина. Только по временамъ пушечные выстрѣлы прерывали тишину и ядра со свистомъ разсѣкали воздухъ. Птицы распѣвали на эспланадѣ. Глубокое спокойствіе природы и дикое насиліе войны представляли потрясающій контрастъ.

Среди мертвой, ужасающей тишины, показалось на улицахъ нѣсколько французскихъ гусаръ. Они дѣлали рекогносцировку, отступилъ ли непріятель. Вслѣдъ затѣмъ показался большой отрядъ войскъ. Къ дому Гете подъѣхалъ молодой гусарскій офицеръ и объявилъ, что этотъ домъ будетъ избавленъ отъ грабежа и что тутъ назначается квартира для маршала Ожеро. Этотъ молодой гусаръ былъ сынъ Лили. Онъ проводилъ Гете во дворецъ. Въ это время нѣсколько гусаръ самовольно расположились въ домѣ Гете. Городъ горѣлъ во многихъ мѣстахъ. Солдаты насильно врывались въ погреба. Начался грабежъ. Гете воротился изъ дворца одинъ, такъ какъ маршалъ еще не прибылъ. Прождавъ до поздней ночи, наконецъ заперли ворота, и Гете расположился спать. Но около полуночи раздался стукъ въ ворота. Два французскіе стрѣлка настоятельно требовали, чтобы ихъ впустили. Тщетно имъ говорили, что домъ и такъ уже набитъ биткомъ и что ждутъ маршала. Они угрожали выломать окна, если имъ не отворятъ ворота. Дѣлать было нечего, — ихъ впустили и дали имъ вина. Но этимъ они еще не удовольствовались. Воздавъ вину должную честь, они потребовали видѣть самого хозяина. Тщетно говорили имъ, что онъ спитъ, но они не хотѣли слышать никакихъ резонѣвъ. Видя, что тутъ всякое сопротивленіе бесполезно, Римеръ разбудилъ Гете и передалъ ему желаніе незваныхъ гостей. Послѣднѣю накинувъ халатъ, Гете отправился на приглашеніе и своимъ появленіемъ такъ импонировалъ пьяныхъ гостей, что тѣ были вѣжливы, какъ только могутъ быть вѣжливы французскіе солдаты. Они вступили съ нимъ въ разговоръ, пригласили выпить съ ними, пріятельски чокнулись и потомъ спокойно отпустили спать. Но вскорѣ потомъ, будучи еще болѣе разгорячены виномъ, они потребовали постель. Другіе солдаты находили достаточно удобнымъ спать на полу, но эти два стрѣлка не удовольствовались поломъ и требовали, чтобы

непремѣнно дана была имъ постель. Они ворвались въ комнату Гете, и дѣло угрожало принять весьма серьезный характеръ, но наконецъ Христинѣ удалось ихъ выпроводить изъ спальни. Вообще Христина все это время выказывала много мужества и присутствія духа. Стрѣлки улеглись самовольно на постель, приготовленную для маршала, и никакія угрозы не могли ихъ заставить встать съ нея. Поутру приѣхалъ маршалъ и къ дому былъ приставленъ караулъ. Но и это не освободило Гете отъ безпокойствъ, какъ мы можемъ судить изъ того, что въ теченіе трехъ дней у него было выпито двѣнадцать бочекъ вина, готовились постели на двадцать восемь человѣкъ офицеровъ и солдатъ, и содержаніе этихъ гостей кромѣ того обошлось 2,000 талеровъ.

Все это время стояла ясная осенняя погода. Грабежъ былъ такъ великъ, что даже во дворцѣ нуждались въ самомъ необходимомъ и даже прилегавшія ко дворцу зданія были въ пламени. Въ этомъ крайнемъ положеніи герцогиня Луиза выказала безстрашное мужество, которое даже на Наполеона произвело глубокое впечатлѣніе. Когда онъ вступилъ въ Веймаръ, окруженный всѣми ужасами завоеванія, она невозмутимо спокойно и съ величественнымъ достоинствомъ встрѣтила его на верху дворцовой лѣстницы. «Voilà une femme, à laquelle même nos deux cents canons n'ont pu faire peur!» — сказалъ онъ своему адъютанту Раппу. Она просила побѣдителя за свой народъ, защищала передъ нимъ мужа, своимъ мужествомъ и твердостью расположила его къ кротости. Впослѣдствіи онъ не разъ язвительно давалъ чувствовать герцогу, что пощадилъ его единственно изъ уваженія къ герцогинѣ.

Гнѣвъ Наполеона противъ герцога былъ столь же безразсуденъ, какъ и чрезмѣренъ. Я останавливаюсь на этомъ не съ тою цѣлью, чтобы показать читателю, какъ мелоченъ можетъ быть великій завоеватель. Насъ интересуетъ, какъ отнесся къ этому Гете. «Я наклоненъ отъ природы къ спокойному созерцанію происходящаго кругомъ меня, — сказалъ онъ Фальку, — но не могу сдержать негодованія, когда вижу, что отъ человѣка требуютъ невозможное. Что герцогъ помогаетъ раненымъ прусскимъ офицерамъ, которые не получаютъ жалованья и не имѣютъ чѣмъ жить, — что онъ далъ Блюхеру послѣ сраженія при Любекѣ четыре тысячи талеровъ въ заемъ, — вы видите въ этомъ злоумышленіе,



злонамеренность! Объясните въ дурную сторону! Предположимъ, что еслибъ не нынче-завтра несчастье постигло вашу великую армию, — что сказалъ бы тогда императоръ о генералѣ или маршалѣ, который не сдѣлалъ бы того, что теперь дѣлаетъ герцогъ? Герцогъ поступаетъ именно такъ, какъ долженъ поступать. Да! долженъ. Онъ сдѣлалъ бы очень дурно, еслибъ поступалъ иначе. Да! еслибъ даже вслѣдствіе этого онъ долженъ былъ потерять свое герцогство, и корону, и скипетръ, какъ его предокъ, несчастный Іоаннъ, и въ такомъ случаѣ ни на іоту не отступить онъ отъ благороднаго своего образа дѣйствія и свято исполнить, что долгъ ему приказываетъ, какъ человѣку и какъ государю. Несчастье! Что такое несчастье! Вотъ это несчастье, когда государь вынужденъ переносить подобныя вещи отъ чужеземцевъ. Еслибъ его постигла такая же судьба, какая постигла его предка Іоанна, то я возьму посохъ въ руки и послѣдую за своимъ государемъ, какъ старый Лука Кранахъ слѣдовалъ за своимъ, и буду вѣренъ ему до конца. Женщины и дѣти, видя насъ странствующими изъ селенія въ селеніе, будутъ встрѣчать насъ со слезами на глазахъ и будутъ говорить другъ другу при видѣ насъ: вотъ старикъ Гете и бывший герцогъ Веймарскій, котораго французскій императоръ лишилъ трона, потому что онъ оставался вѣренъ своимъ друзьямъ въ несчастіи, посѣтилъ на смертномъ одрѣ своего дядю герцога Брауншвейгскаго и не допустилъ умереть съ голоду своихъ старыхъ товарищей и сослуживцевъ.» — При этихъ словахъ, — рассказываетъ Фалькъ, — слезы покатались у него ручьемъ. Придя нѣсколько въ себя, онъ продолжалъ: «Я стану пѣснями вымаливать себѣ хлѣбъ! Сдѣлаюсь странствующимъ нищимъ пѣвцомъ и въ своихъ пѣсняхъ буду пѣть о позорѣ Германіи. Пойду бродить по всѣмъ седамъ, по всѣмъ школамъ, гдѣ только извѣстно имя Гете, — дѣти заучатъ мои пѣсни и, когда подрастутъ, возстановятъ на престолѣ моего государя, а вашего низвергнутъ.»

Я еще буду имѣть случай вернуться къ этому взрыву патріотизма, а теперь спѣшу перейти къ важному событію въ жизни поэта, — къ его женитьбѣ.

## ГЛАВА II.

### Жена Гете.

Странны бываютъ людскія сужденія. Аристотель, въ теченіе всей жизни, ничѣмъ не возбудилъ противъ себя столько нареканій, какъ великодушнымъ своимъ бракомъ съ нелюбимой всѣми Питоіей. Нѣчто подобное случилось и съ Гете. Ни одинъ поступокъ во всей его жизни не произвелъ такого скандала, какъ его женитьба на Христинѣ. Находили уже весьма скандальнымъ и то, что онъ принялъ Христину къ себѣ въ домъ (въ глазахъ свѣта связь внѣ дома есть проступокъ извинительный, и становится тѣмъ неизвинительнѣе, чѣмъ ближе подходитъ къ браку), но чтобъ великій поэтъ и тайный совѣтникъ могъ завершить подобное безобразіе законнымъ бракомъ,—это превышало терпимость общества.

Я уже высказалъ мое мнѣніе объ этой несчастной связи, которая, конечно, была *mésalliance* въ полномъ смыслѣ, но не могу не высказаться энергически противъ того страннаго сужденія, которое видѣло скандалъ именно въ томъ, что было искупленіемъ сдѣланной ошибки. Конечно, лучше было бы, еслибъ этой связи вовсе не было, но если уже она была, то чѣмъ ближе подходила къ настоящему браку и чѣмъ болѣе утрачивала характеръ преходящей прихоти, тѣмъ, безъ сомнѣнія, становилась нравственнѣе и почтеннѣе. Женясь Гете на Христинѣ въ первое же время своего знакомства съ ней, его бракъ былъ бы, конечно, *mésalliance*, но чрезъ это были бы предотвращены многія другія зловредныя вліянія и Гете, быть можетъ, не зналъ бы никогда того горя, которое такъ отравляло впослѣдствіи его семейную жизнь. Взглянемъ, какова была эта жизнь.

Христина, какъ мы видѣли, была въ молодости предестная дѣвушка, живая, веселая, любящая удовольствія. Съ тѣхъ поръ прошло пятнадцать лѣтъ, и въ эти пятнадцать лѣтъ съ нею произошла грустная перемена. Годы и невоздержная жизнь сгубили всѣ

ея прелести. Дурная наклонность, сдерживаемая прежде молодостию, дошла впоследствии до такой крайности, которая может быть объяснена обстоятельствами, но не может быть оправдана. Отец Христины, какъ мы видѣли, разорился отъ пьянства. Тотъ же порокъ сгубилъ высокія дарованія ея брата. Она сама унаслѣдовала наклонность къ этому пороку и ея не спасли преграды, какія обыкновенно полагаетъ развитію подобной страсти жизнь въ образованной средѣ, такъ какъ связь съ Гете совершенно преградила ей всякій доступъ въ Веймарское общество. Внѣ Веймара, какъ мы видимъ изъ ея писемъ къ Мейеру, общество не чуждалось ея. Профессоръ Вольфъ и капельмейстеръ Рейхардтъ познакомили ее съ своими дочерьми и она танцевала въ Іенѣ на публичныхъ балахъ. Но въ Веймарѣ это было невозможно. Веймарское общество не зналось съ ней. Всѣ ея избѣгали и она вынуждена была вести уединенную жизнь, волей-неволей должна была исключительно посвящать себя домашнимъ занятіямъ, что не могло не повліять на нее дурно при ея веселомъ, живомъ характерѣ и при ея любви къ удовольствіямъ. Она любила общество и особенно любила танцы. Ее часто видали на студенческихъ балахъ въ Іенѣ. Тутъ привыкла она къ излишнему употребленію вина, и слѣдствіемъ этого нерѣдко бывали серьезныя семейныя непріятности. Грустно говорить объ этомъ, но это есть теперь общеизвѣстный, несомнѣнный фактъ. Семейная жизнь Гете имѣла свою трагическую сторону, которой вовсе не подозрѣвали люди, обыкновенно видѣвшіе его въ обществѣ невозмутимо-спокойнымъ. Какая борьба противоположныхъ чувствъ, гнѣва и состраданія, строгости и снисхожденія должна была происходить въ сердцѣ поэта! Я нашелъ въ печати только одно прямое указаніе на это семейное горе поэта. Шиллеръ писалъ Кернеру 21-го октября 1800 г.: «Вообще Гете производитъ теперь весьма мало. Онъ для этого недостаточно спокоенъ духомъ. Печальныя семейныя обстоятельства, которыя устранить у него не хватаетъ силъ, причиняютъ ему много горя.»

Не хватаетъ силъ устранить! Какая трагедія кроется подъ этими словами. Нѣжный и любящій, Гете не способенъ былъ къ такому образу дѣйствія, который причинялъ бы страданіе, — у него не было необходимой твердости, чтобъ положить конецъ подобному положенію. Онъ самъ много страдалъ, потому что былъ не

способенъ причинить страданіе. Постороннему зрителю такое терпѣніе кажется необъяснимымъ, такъ какъ отъ него скрытъ тотъ процессъ, какъ постепенно образуется подобное положеніе, и онъ не знаетъ, какъ въ такихъ случаяхъ терпѣніе укрѣпляется само собой по мѣрѣ переносимаго испытанія, какъ надежда на исправленіе удерживаетъ отъ всякаго рѣшительнаго поступка, какъ способна любовь питать и поддерживать самыя несбыточныя надежды. Посторонній зритель видитъ только крупныя, выдающіеся факты, и они кажутся ему необъяснимыми, потому что онъ не видитъ другихъ, ихъ соединяющихъ, мелкихъ фактовъ; отъ него скрыто, какъ боролся страждущій противъ возраставшаго зла, какъ постепенно покорялся ему, мирился съ нимъ, и кончилъ тѣмъ, что всѣ свои силы устремилъ на то, чтобъ переносить его какъ можно равнодушіе, считая его неотвратимымъ. Легко сказать: почему Гете сейчасъ же не разстался съ Христиной! Это не легко было ему сдѣлать. Онъ когда-то страстно ее любилъ, а теперь она была матерью любимаго сына и была ему все-еще дорога. Оставить ее не значило положить конецъ несчастной ея страсти, а напротивъ, тогда эта страсть еще болѣе бы усилилась. У Гете не хватало силъ устранить зло, но у него хватало силъ его переносить. Шиллеръ разгадалъ это своимъ нравственнымъ инстинктомъ: «я бы желалъ—пишетъ онъ въ одномъ недавно найденномъ письмѣ,—чтобъ Гете и въ семейной жизни былъ столь же безукоризненъ, какъ онъ въ моихъ глазахъ безукоризненъ въ своей литературной и общественной дѣятельности. Но, къ прискорбію, фальшивыя понятія о семейномъ счастьи и несчастное отвращеніе къ браку вовлекли его въ связь, которая теперь лежитъ на немъ тяжелымъ бременемъ въ его семейной жизни и дѣлаетъ его несчастнымъ. Грустно сказать, но это такъ. По слабохарактерности и мягкосердечію онъ не въ силахъ сбросить съ себя это бремя. Это есть единственный его недостатокъ. Притомъ самый этотъ недостатокъ тѣсно связанъ въ немъ съ благороднѣйшей стороною его характера и причиняетъ вредъ только ему самому.»

Такъ прожилъ Гете съ Христиной многіе годы. У нея было много хорошихъ качествъ, которыми искупались ея немногія дурныя качества. Онъ былъ къ ней искренно привязанъ; она была ему искренно предана; и теперь, когда на пятьдесятъ осьмомъ го

ду жизни, потрясенный событиями, сопровождавшими Йенскую битву, онъ «почувствовалъ необходимость ближе примкнуть къ своимъ друзьямъ», кому же другому могло принадлежать первое мѣсто въ числѣ его друзей, какъ не Христинѣ? и онъ рѣшился на ней жениться. Неизвѣстно, былъ ли этотъ бракъ рѣшенъ заранее и только теперь приведенъ въ исполненіе, когда Веймаръ былъ слишкомъ взволнованъ, чтобъ обращать много вниманія, что дѣлаетъ его поэтъ, или же тутъ ничего заранее рѣшено не было и Гете только теперь рѣшился совершить этотъ актъ, потому что наступившее смутное время возбудило въ немъ тревожныя заботы объ участи сына и онъ хотѣлъ его узаконить. По мнѣнію Римера, Гете женился на Христинѣ изъ благодарности за ея мужественное и благоразумное поведеніе во время неурядицъ, сопровождавшихъ Йенскую битву, но я не думаю, чтобъ можно было согласиться съ мнѣніемъ Римера, тѣмъ болѣе, что, по собственному показанію самой Христины, между ними была рѣчь о бракѣ еще въ первые годы ихъ знакомства. За отсутствіемъ положительныхъ свидѣтельствъ, что именно побудило Гете жениться, обратимся къ психологическому объясненію. Мы знаемъ, что Гете имѣлъ намѣреніе жениться на Христинѣ еще въ первые годы своей связи съ ней, и столь долгое неисполненіе имъ этого намѣренія объясняется той странной особенностью его характера, что онъ, столь твердый и энергичный въ исполненіи разъ принятаго рѣшенія, былъ крайне нерѣшительнъ, мнителенъ, когда предстояло ему рѣшиться на что-нибудь. Такова общая слабость людей впечатлительныхъ и съ пылкимъ воображеніемъ. Какъ бы ни была велика у нихъ сила воли, когда эта воля уже опредѣлилась, но вслѣдствіе сильной впечатлительности, особенно при умѣ пылкомъ и широкомъ, опредѣленіе воли у нихъ задерживается разносторонними впечатлѣніями и побужденіями, вслѣдствіе чего происходитъ колебаніе, нерѣшительность, близко подходящая къ слабохарактерности и отличающаяся отъ нея только тѣмъ, что смѣняется энергіей, какъ только опредѣленіе воли состоялось и рѣшеніе принято. Гете сознавалъ эту особенность своего характера и объяснялъ ее тѣмъ, что никогда не бывалъ въ такихъ обстоятельствахъ, которыя бы требовали отъ него быстрой рѣшимости, и онъ не воспиталъ своей воли; но, по нашему мнѣнію истинное объясненіе этого лежитъ го-

раздо глубже, заключается не во внѣшнихъ условіяхъ, а въ самой природѣ внутреннихъ психологическихъ процессовъ.

Какія бы ни были, впрочемъ, причины столь продолжительной отсрочки брака, несомнѣнно, что 19-го октября, т. е. пять дней послѣ Іенской битвы, а не «при громѣ пушекъ», какъ утверждали многіе, Гете бракосочетался съ Христиной въ присутствіи своего сына и своего секретаря Римера. Читатель, знающій свѣтъ, легко вообразить себѣ, какой великій скандалъ произвело это въ обществѣ. Но друзья Гете громко одобряли его, что онъ наконецъ вышелъ изъ ложнаго своего положенія. Съ этого времени кто не оказывалъ должнаго уваженія Христинѣ, тотъ не могъ рассчитывать на расположеніе Гете. Христина въ этомъ новомъ положеніи держала себя безукоризненно, съ большимъ тактомъ, и заслужила сердечное расположеніе большей части людей, ее знавшихъ.

### ГЛАВА III.

#### Веттина и Наполеонъ.

Весьма характеристично, что Гете, во время террора и грабежа, сопровождавшихъ Іенскую битву, заботился всего болѣе о сохраненіи своихъ рукописей. Вино, посуда, мебель,—все это замѣнимо, но утрата рукописей была бы незамѣнимой утратой. Въ это время погибли рукописи Гердера, оставшіяся по его смерти. Мейеръ въ это время потерялъ все, даже эскизы. Но Гете ничего не потерялъ, кромѣ вина и денегъ. Смѣшно и вмѣстѣ грустно сказать, что враги даже и это обстоятельство поставили ему въ укоръ: они не могли ему простить выпавшей на его долю счастливой случайности, что домъ его уцѣлѣлъ, тогда какъ дома другихъ были разграблены, и приписывали это его эгонистической предусмотрительности.

Герцогъ, повинувшись внушеніямъ Пруссіи, покорился Наполеону, сложилъ оружіе и вернулся въ Веймаръ. Народъ встрѣтилъ его съ

энтузіазмомъ. Миръ былъ восстановленъ. Веймаръ ожилъ. Пользуясь наступившимъ спокойствіемъ, Гете отпечаталъ *Farbenlehre* и *Фауста* и такимъ образомъ предохранилъ ихъ на будущее время отъ опасности погибнуть. Въ это время онъ снова принялся было за эпическую поэмѣ «*Вильгельмъ Телль*», но занятія его вскорѣ были прерваны смертью герцогини Амаліи, послѣдовавшей 10-го апрѣля.

23-го апрѣля пріѣхала въ Веймаръ Беттина. Мы должны нѣсколько подробнѣе остановиться на этой странной личности, на долю которой изъ всѣхъ нѣмецкихъ женщинъ выпала едва ли не самая видная роль въ исторіи нѣмецкой литературы девятнадцатаго столѣтія. Кто не знаетъ «ребенка» Беттина Brentano. Она была дочь той Максимилианы Ларошъ, съ которой Гете въ Вертеровскую эпоху находился въ дружескихъ отношеніяхъ,—жена фантастическаго романтика Ахима фонъ-Арнимъ,—почитательница Гете и Бетговена.—нѣкоторое время любимица Прусскаго короля Фридриха Вильгельма IV,—авторша весьма странной и весьма несправедливой книги: *Goethes Briefwechsel mit einem Kinde* (Переписка Гете съ однимъ ребенкомъ). Она принадлежала къ числу оригинальныхъ фантастическихъ личностей, которымъ какъ будто все дозволено. Скорѣе демонъ, чѣмъ женщина, но не безъ проблесковъ гениальности, придающихъ блескъ безсмысленной чепухѣ, она рѣшительно ускользаетъ отъ всякой критики. Какъ скоро вы станете судить о ней серьезно, вамъ въ отвѣтъ пожмутъ плечами и скажутъ: «вѣдь это Brentano», полагая, что этой фразой все сказано. Въ Германіи даже сложилась пословица: «Гдѣ кончается безуміе другихъ, тамъ начинается безуміе Brentano.»

Я бы не желалъ отнести къ Беттинѣ болѣе строго, чѣмъ сколько меня вынуждаетъ къ этому необходимость; но при самой широкой снисходительности къ ея фантазерству и при всей благодарности за интересныя подробности о поэтѣ, почерпнутыя ею изъ бесѣдъ съ его матерью, не могу я не отнести строго къ ея книгѣ, въ которой она изображаетъ свои отношенія къ Гете, такъ какъ эта книга подала поводъ къ обвиненію крайне несправедливому и крайне оскорбительному для памяти поэта. Какого бы ни были мнѣнія довѣрчивые читатели о ея страстныхъ изліяніяхъ любви къ Гете и о ея поведеніи при первомъ съ нимъ свиданіи, но одни изъ нихъ

возмущаются холодностію къ ней поэта, а другіе приходятъ въ негодованіе противъ поэта за то, что онъ поддерживалъ въ ней безумную страсть, давалъ этой страсти новую пищу своими пѣснями и комплиментами, дѣлая все это изъ эгоистическаго разсчета, чтобъ почерпнуть изъ нея писемъ матеріалъ для пѣсенъ. Какъ ни основательно выводятся эти мнѣнія изъ данныхъ, представляемыхъ книгой Беттины: *Переписка Гете съ ребенкомъ*, но тѣмъ неменѣе они совершенно ошибочны, такъ какъ вся эта переписка есть ни что иное, какъ романъ.

Обставить вымыселъ нѣкоторыми дѣйствительными фактами и потомъ выдать этотъ вымыселъ за біографическій матеріалъ, — что сказать о такомъ поступкѣ! У меня готово сорваться съ языка рѣзкое слово осужденія, не будь виновное лицо женщина и притомъ Brentano. Я не въ состояніи съ точностью опредѣлить, какая доля истины въ этой книгѣ и какая доля чистаго вымысла и преувеличенія. Римеръ, старый другъ Гете, жившій у него въ домѣ, когда его посѣщала Беттина, доказалъ, что эта переписка есть «романъ, въ которомъ изъ живой дѣйствительности взяты только время, мѣсто и внѣшніе факты.» Кромѣ Римера, я убѣдился изъ многихъ другихъ источниковъ, что отношенія между Гете и Беттиной имѣли совершенно иной характеръ. чѣмъ какой имъ придаетъ Беттина въ своей книгѣ.

Юная, пылкая дѣвушка обожаетъ великаго поэта издали, пишетъ къ нему пламенные письма, оказываетъ всевозможное вниманіе его матери, которая рада слышать похвалы сыну, рада поговорить о немъ. Поэтъ пораженъ ея необыкновеннымъ умомъ, благодаренъ ей за вниманіе къ матери и отвѣчаетъ ей такъ любезно, какъ только можетъ. Потомъ она пріѣзжаетъ въ Веймаръ, бросается поэту въ объятія, при первомъ свиданіи засыпаетъ у него на груди, — чему трудно повѣрить, но такъ по крайней мѣрѣ она рассказываетъ, — и послѣ того прямо, открыто и неустанно преслѣдуетъ его изъявленіями обожанія и ревности. Положеніе, какъ видить читатель, весьма затруднительное. Дѣвушка, по годамъ взрослая, но высматривающая ребенкомъ, неотступно преслѣдуетъ пятидесяти-осьми-лѣтняго поэта изъявленіями страстнаго обожанія. Что долженъ былъ дѣлать поэтъ въ такомъ положеніи? Онъ могъ гнушно воспользоваться ея страстію, могъ сурово оттолкнуть ее отъ



себя, или, наконецъ, могъ отнестись къ ней какъ къ причудливому, но милому ребенку, и приласкать ее, какъ ласкаютъ дѣтей. Надо было выбирать одно изъ трехъ, и онъ выбралъ послѣднее. Въ первое время она забавляла его своей дѣтской игривостью и причудливостью, привлекала своимъ быстрымъ умомъ, но потомъ ея изъясненія обожанія сдѣлались столь назойливы и утомительны, что онъ вынужденъ былъ часто «призывать ее къ порядку» и наконецъ совершенно потерялъ всякое терпѣніе. Очевидно, что продолженіе подобныхъ отношеній было невозможно. Она держала себя со всей вольностью ребенка и между тѣмъ не хотѣла, чтобы съ ней обращались какъ съ ребенкомъ, и это наконецъ утомило его.

Римеръ рассказываетъ, что еще при первомъ посѣщеніи Веймара Беттина жаловалась ему на холодность Гете. Но то, что она называла холодностью, — горделиво замѣчаетъ онъ, — было вовсе не холодность, а терпѣніе, которое она подвергала тяжкому испытанію. Въ первый разъ Беттина оставалась въ Веймарѣ не долго. Во второй разъ пріѣхала она въ 1811 г. Въ этотъ второй пріѣздъ сумасброднымъ своимъ поведеніемъ она дала поэту основательный предлогъ прервать съ ней всякія сношенія, и поэтъ, какъ я увѣренъ, не могъ не быть радъ этому предлогу. Однажды отправилась она съ Христиной на художественную выставку, которою Гете весьма интересовался. Извѣстныя ея замѣчанія, особенно о произведеніяхъ Мейера, задѣли Христину за живое, и та рѣзко отвѣтила ей. Слово за слово и дѣло дошло до грубыхъ оскорбленій. Гете принялъ сторону оскорбленной жены и отказалъ Беттинѣ отъ дому. Тщетно Беттина въ слѣдующій свой пріѣздъ въ Веймаръ просила принять ее, но Гете остался непреклоненъ и положилъ рѣшительный конецъ всякимъ съ ней сношеніямъ, такъ какъ эти сношенія не могли быть дружественны, а были бы только затруднительны.

Такова истинная исторія отношеній Гете къ Беттинѣ, насколько мнѣ удалось ее распутать. Остановимся теперь на достоверности *Переписки*, подавшей поводъ къ двойному обвиненію: 1) что Гете былъ то холоденъ, то нѣженъ къ Беттинѣ, и 2) что онъ пользовался ея письмами, какъ матеріаломъ для своихъ пѣсень. Римеръ рѣшительно отрицаетъ, чтобы Гете когда-нибудь былъ къ

ней нѣженъ. Онъ весьма основательно ставитъ вопросъ, можно ли повѣрить, чтобъ холодность, на которую она жаловалась въ свою бытность въ Веймарѣ, могла въ ея отсутствіе превратиться въ тотъ любовный пламень, какимъ пронизаны сонеты, будто-бы писанныя къ ней? Это совершенно невѣроятно, и вся загадочность сонетовъ вполне объясняется прямымъ указаніемъ Римера, что эти сонеты были писаны вовсе не Беттинѣ. Гете послалъ ихъ ей, также какъ и другимъ своимъ близкимъ знакомымъ, но писалъ ихъ вовсе не къ ней. Доказывается это весьма просто тѣмъ, что сонеты были написаны еще до пріѣзда ея въ Веймаръ, и Римеръ положительно зналъ, для кого они писались, но не хотѣлъ называть. Я не имѣю причинъ умалчивать имя этой особы и могу прямо сказать, что сонеты были написаны къ Миннѣ Герцлицъ, о которой мы будемъ говорить впоследствии. Это ясно подтверждается также шарадой, которою заканчиваются сонеты. Беттина не ограничилась утвержденіемъ, что эти сонеты обращены къ ней, но тоже утверждаетъ и о нѣкоторыхъ другихъ стихотвореніяхъ, которыя, какъ показываетъ Римеръ, были написаны въ 1813—19 гг., когда уже она была женой Ахима фонъ-Арнима и когда уже Гете давно порвалъ съ ней всякія сношенія и не принималъ ее къ себѣ въ домъ. Запереть женщинѣ дверь своего дома и въ то же время писать къ ней любовные стихи, холодно отвергать ея страстныя изліянія и въ то же время писать ей страстные сонеты, — есть ли тутъ какая сообразность! А между тѣмъ *Переписка съ ребенкомъ* свидѣтельствуетъ, что именно таково было поведеніе поэта по отношенію къ Беттинѣ. Послѣ этого насъ не удивило указаніе Римера, что нѣкоторыя изъ писемъ Беттины суть «ни что иное, какъ мечта и перефразированныя стихотворенія Гете, и что въ этихъ передѣлкахъ стиховъ въ письма сохранились даже слѣды размѣра и рѣзмы.» Итакъ, не Гете передѣлывалъ письма Беттины въ стихи, а Беттина передѣлывала его стихи въ прозу. Можно ли было оставить безъ отвѣта такое обвиненіе, прямо и публично высказанное и совершенно подрывавшее довѣрность *Переписки*! Предъявленіе оригинальныхъ писемъ съ ихъ почтовыми марками заставило бы сразу умолкнуть обвинителя. Но это обвиненіе осталось безъ отвѣта.

Хотя главные факты, мною здѣсь сообщаемые, давно уже по-

являлись въ печати, тѣмъ менѣе эта глава, при появленіи этой книги въ первомъ изданіи, вызвала въ Германіи настоящую бурю. Одинъ ревностный поклонникъ Беттины пустилъ въ меня памфлетомъ, который вызвалъ полемику въ различныхъ журналахъ и газетахъ <sup>1)</sup>, и я полагаю, что теперь немного найдется въ Германіи людей, которые бы поколебались признать, что «*Переписка Гете съ однимъ ребенкомъ*» есть отъ первой строки до послѣдней не болѣе какъ романъ. Впрочемъ я полагаю, не безынтересно будетъ для читателя видѣть, до какой очевидности доказательна подложность этой переписки.

Въ письмѣ отъ 1-го марта 1807 г. говорится о дворѣ Вестфальскаго короля, тогда какъ, если только исторія не лжетъ, въ то время Вестфальское королевство еще и не существовало. Въ другомъ письмѣ мать Гете рассказываетъ съ восторгомъ, что видѣла Наполеона, тогда какъ могла его видѣть не иначе, какъ четыре мѣсяца позднѣе того числа, отъ котораго писано письмо. Гете пишетъ къ Беттинѣ изъ Веймара—мало этого, приглашаетъ ее въ Веймаръ къ 16-му іюля, та ѣдетъ въ Веймаръ въ послѣднихъ числахъ іюля, посѣщаетъ его тамъ; 16-го августа онъ опять ей пишетъ изъ Веймара же, а между тѣмъ оказывается, что Гете 25-го мая уѣхалъ изъ Веймара въ Карлсбадъ и вернулся назадъ только въ сентябрѣ. Дюнцеръ на этомъ основаніи рѣшительно говоритъ, что эти письма подложныя. Беттина получаетъ отъ матери Гете письма отъ 21-го сентября и 7-го октября 1808 г., тогда какъ оказывается, что мать Гете въ то время уже не была въ живыхъ,—она умерла 13 сентября. Беттина говоритъ, что ей было тринадцать лѣтъ въ то время, когда въ дѣйствительности ей было двадцать два года, какъ это свидѣлствуютъ метрическія книги. Можно ли имѣть малѣйшее довѣріе къ книгѣ, наполненной такими очевидными и небрежными искаженіями фактовъ. Если я указываю съ нѣкоторой даже безпощадностью на факты, свидѣлствующие о лживости этой книги, то единственно потому, что эта книга бросаетъ тѣнь на высокую, благородную личность. Разъ признавъ книгу Беттины лживой, падаютъ сами собой всѣ основанныя на

<sup>1)</sup> *Dr G. H. Lewes: eine Epistel von Heinrich Stieffried. Berlin, 1858.*

ней гипотезы относительно отношеній къ ней Гете. Какъ подумаешь, странно даже себѣ представить, какъ могло найти вѣру подобное предположеніе, чтобъ поэтъ, столь богатый неисчислимымъ матеріаломъ и столь щедро его расточавшій, сталъ заниматься передѣлкой въ стихи чужихъ писемъ, и, замѣтимъ притомъ, поэтъ, имѣвшій ту яркую характеристическую особенность, что онъ пѣлъ только то, что самъ пережилъ и перечувствовалъ.

Довольно о Беттинѣ. Намъ предстоитъ теперь говорить о личности совершенно иного рода. Въ сентябрѣ 1808 г. императоры Франціи и Россіи съѣхались на конгрессъ въ маленькомъ городкѣ Эрфуртѣ, лежащемъ въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Веймара. Этотъ маленький городокъ представлялъ въ то время зрѣлище дѣйствительно необычайное. Двухъ императоровъ окружала цѣлая толпа второстепенныхъ государей, составлявшая какъ-бы ихъ cortège. Парижская труппа, имѣя въ своей средѣ знаменитаго Тальму, исполняла французскія трагедіи передъ партеромъ королей. «Впередѣ всѣхъ сидѣли въ партерѣ въ креслахъ два императора, дружески разговаривая между собой. Нѣсколько сзади сидѣли короли, а далѣе владѣтельные и наслѣдные принцы. Весь партеръ былъ наполненъ мундирами, звѣздами и орденами. Низшій рядъ ложъ былъ занятъ штабными и болѣе важными лицами императорскихъ канцелярій. Въ бельэтажѣ сидѣли принцессы и знатныя дамы. У подъѣзда стоялъ сильный караулъ, состоявшій изъ гренадеръ императорской гвардіи. Прибытіе императоровъ возвѣщалось троекратнымъ барабаннымъ боемъ, а прибытіе королей — двукратнымъ. Когда однажды Виртембергскаго короля встрѣтили по ошибкѣ троекратнымъ боемъ, то караульный офицеръ съ гнѣвомъ воскликнулъ: *taisez-vous, ce n'est qu'un roi!*

Во время Эрфуртскаго конгресса Наполеонъ былъ весьма привѣтливъ къ герцогу Веймарскому, къ Гете и Виланду. Гете пріѣхалъ въ Эрфуртъ 29-го сентября и въ тотъ же вечеръ присутствовалъ при представленіи *Андромахи*; на другой день былъ на большомъ обѣдѣ у Веймарскаго герцога, а вечеромъ на представленіи *Британика*. Мониторъ отъ 8-го октября упоминаетъ о немъ въ числѣ знаменитыхъ гостей: «Il paraît apprécier parfaitement nos acteurs, et admirer surtout les chefs-d'oeuvres, qu'ils représentent». 2-го октября онъ былъ приглашенъ на аудіенцію къ императору.

Императоръ завтракалъ. Рядомъ съ нимъ стояли Талейранъ и Дарю, нѣсколько сзади Бертье и Савари. Посмотрѣвъ пристально на Гете, Наполеонъ сказалъ: *Voilà un homme!* Эти слова произвели сильное впечатлѣніе на польщеннаго поэта. «Сколько вамъ лѣтъ?» спросилъ Императоръ. — «Шестидесять.» — «Вы очень хорошо сохранились.» Послѣ небольшой паузы Императоръ спросилъ: «вы писали трагедіи?» Тутъ вмѣшался въ разговоръ Дарю, съ жаромъ восхвалялъ произведенія Гете и упомянулъ о переводѣ трагедіи Вольтера: *Магометъ*. «Это не хорошая трагедія» сказалъ Наполеонъ и началъ критиковать *Магомета*, говоря, что тутъ личность завоевателя выставлена недостойнымъ образомъ, потомъ перешелъ къ *Вертеру*, котораго онъ читалъ семь разъ и который сопровождалъ его въ Египетъ. «Послѣ различныхъ совершенно вѣрныхъ замѣчаній, — рассказываетъ Гете, — онъ указалъ мнѣ одно мѣсто и спросилъ: зачѣмъ вы это такъ написали? Это противорѣчитъ природѣ, — и изложилъ свое мнѣніе весьма обстоятельно и ясно. Выслушавъ спокойно, и отвѣтилъ, что мнѣ до сихъ поръ еще никто не дѣлалъ этого замѣчанія, но что я съ нимъ совершенно согласенъ и вижу, что въ этомъ мѣстѣ дѣйствительно есть нѣчто неестественное. Поэту можно извинить, если онъ позволяетъ себѣ иногда прибѣгать къ искусственности и притомъ такъ, что эта искусственность весьма трудно распознаваема, и достигается такимъ образомъ цѣлей, которыхъ прямымъ, естественнымъ путемъ не могъ бы достигнуть. Императоръ повидимому остался доволенъ моимъ отвѣтомъ и снова заговорилъ о драмѣ. Видно, что онъ изучилъ трагическую сцену со всѣмъ вниманіемъ уголовного судьи и ясно сознаетъ, что французская трагедія отступила отъ природы и истины. Онъ порицалъ трагедіи, въ которыхъ играетъ роль судьба. «*Ces pièces appartiennent à une époque obscure. Au reste, que veulent-ils dire avec leur fatalité? La potitique est la fatalité!*»

Аудіенція продолжалась почти часъ. Наполеонъ спрашивалъ у Гете о его дѣтяхъ и семьѣ, былъ вообще весьма любезенъ и почти каждую фразу сопровождалъ вопросомъ: *qu'en dit M. Goet?* Когда Гете ушелъ, Наполеонъ опять повторилъ, обращаясь къ Бертье и Дарю: *Voilà un homme!*

Нѣсколько дней спустя пріѣхалъ Наполеонъ въ Веймаръ и въ

честь его были приготовлены большія празднества. Устроена была охота на Іенскомъ полѣ сраженія. При дворѣ былъ большой балъ. На театрѣ давали *La Mort de Cesar*. Тальма исполнялъ роль Врута. На балѣ Наполеонъ долго разговаривалъ съ Гете и Виландомъ. Разсуждая о древней и новой литературѣ, онъ коснулся Шекспира, котораго, какъ французъ, не понималъ, и сказалъ Гете: «Je suis étonné qu'un grand esprit, comme vous, n'aime pas les genres tranchés.» Гете могъ бы на это отвѣтить, что почти всѣ grands esprits далеко не были tranchés. Потомъ, краснорѣчиво распространяясь о трагедіи, Наполеонъ сказалъ Гете, что онъ долженъ написать *Смерть Цезаря*, но только въ болѣе высокомъ стилѣ, чѣмъ трагедія Вольтера. «Ce travail pourrait devenir la principale tâche de votre vie. Dans cette tragédie il faudrait montrer au monde, comment Cesar aurait pu faire le bonheur de l'humanité, si on lui avait laissé le temps d'exécuter ses vastes plans.» Нельзя при этомъ не вспомнить, что Гете въ молодости намѣревался одно время написать трагедію: Юлій Цезарь. Конечно, эта трагедія была бы совершенно противоположна тому genre tranché, который такъ нравился Наполеону.

Предложеніе пріѣхать въ Парижъ было болѣе удобоисполнимо, чѣмъ написать трагедію въ лѣта Гете. «Venez à Paris,—сказалъ ему Наполеонъ,—je l'exige de vous; là vous trouverez un cercle plus vaste pour votre esprit d'observation; là vous trouverez des matières immenses pour vos créations poétiques.» Гете никогда не видалъ ни одной большой столицы, ни Парижа, ни Лондона, и это предложеніе было для него весьма соблазнительно. Онъ часто заводилъ разговоръ—какъ свидѣтельствуешь Ф. фонъ-Мюллеръ—о расходахъ, какіе потребуются на это путешествіе, и о парижскихъ обычаяхъ; но неудобства, сопряженные въ тѣ времена съ столь дальнимъ путешествіемъ, и преклонный возрастъ помѣшали Гете исполнить это желаніе.

14 октября Гете и Виландъ получили ордена Почетнаго Легіона, что въ тѣ времена было большою почестью. Гете хранилъ глубокое молчаніе о томъ, что происходило между нимъ и Наполеономъ и даже въ своихъ воспоминаніяхъ, *Tag und Jahresheften*, писанныхъ много лѣтъ спустя, говоритъ объ этомъ весьма кратко. Когда его спрашивали, на какое именно мѣсто въ *Вертеръ*

указалъ Наполеонъ, какъ на противорѣчіе природѣ, то онъ отдѣливался шутивымъ отвѣтомъ, приглашалъ любопытнаго испробовать свою проникаемость и самому обратиться къ книгѣ. Онъ не хотѣлъ этого сказать даже Экерману. Вообще въ послѣдній періодъ своей жизни онъ любилъ играть въ прятки съ читателями и находилъ удовольствіе задавать имъ загадки, надъ которыми тѣ ломали головы. Тайна, въ какой онъ держалъ замѣчаніе Наполеона о *Вертерѣ*, вскрыта Миллеромъ, которому мы обязаны большей частью подробностей о его свиданіи съ Наполеономъ. Курьёзно, что замѣчаніе Наполеона относилось именно къ тому же самому, что вызвало критическія замѣчанія со стороны Гердера, когда тотъ читалъ *Вертера* въ первый разъ въ 1782 г. Оба они порицали, что меланхолія, доводящая Вертера до самоубійства, имѣетъ источникомъ не одну только несчастную любовь, но вмѣстѣ и неудовлетворенное честолюбіе. Гердеръ видѣлъ въ этомъ погрѣшность противъ искусства, а Наполеонъ находилъ это противнымъ природѣ. Гете былъ согласенъ съ обоими и сдѣлалъ измѣненіе въ *Вертерѣ* согласно съ критическими замѣчаніями Гердера, хотя и забылъ объ этомъ, когда Наполеонъ повторилъ ему то же самое замѣчаніе. Но мнѣнію Гердера, Наполеона и Гете мы можемъ противопоставить тотъ весьма краснорѣчивый фактъ, что Вертеръ (т. е. Іерусалемъ) дѣйствительно страдалъ въ одно и то же время и отъ неудовлетвореннаго честолюбія и отъ несчастной любви, какииъ и выставилъ его Гете. Стоитъ только заглянуть въ письмо Кестнера, въ которомъ описывается несчастная судьба Іерусалема, чтобы убѣдиться, что Гете въ своемъ *Вертерѣ* въ точности слѣдовалъ этому разсказу. Что сказать послѣ этого объ авторитетности критики для художественныхъ произведеній, если такіа три человека, какъ Гердеръ, Наполеонъ и Гете, могли найти погрѣшность противъ искусства и противорѣчіе природѣ именно въ томъ, что было точнымъ воспроизведеніемъ дѣйствительности.

Гете былъ весьма польщенъ вниманіемъ къ нему Наполеона, и люди, застрахованные отъ подобной чести, не преминули по этому случаю разразиться громкими возгласами о рабствѣ Гете. Но къ вниманію со стороны такого человека, какъ Наполеонъ, могъ бы остаться равнодушнымъ даже и самый суровый республиканецъ, а Гете никогда республиканцемъ не былъ и всегда былъ очень

чувствителенъ къ вниманію со стороны коронованныхъ особъ. По этому поводу было высказано много неправды, и, какъ обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, громче всѣхъ кричали именно тѣ люди, которые сами почли бы для себя великимъ счастіемъ, еслибъ удостоились какой-нибудь придворной милости. Слушая ихъ толки о раболѣпствѣ Гете, можно подумать, что и въ самомъ дѣлѣ они стоятъ на такой нравственной высотѣ, которая до нѣкоторой степени искупаетъ ихъ умственную низменность. Обыкновенно любятъ они приводить противъ Гете одинъ анекдотъ, который и мы приведемъ, чтобъ объяснить истинное его значеніе. Бетговень, познакомясь въ 1812 г. съ Гете въ Теплицѣ, писалъ оттуда къ Беттинѣ: «Короли и принцы могутъ конечно создавать профессоровъ, тайныхъ совѣтниковъ и т. п., раздавать титулы и ордена, но не могутъ они создавать великихъ людей, великихъ умовъ, возвышающихся надъ обыкновенной челядью,—на это не должны они и притязаній имѣть и поэтому ихъ надо держать въ респектѣ. Когда идутъ два такіе человѣка, какъ я и Гете, то и высокія особы должны чувствовать, что истинно высоко въ нашихъ глазахъ. Вчера, возвращаясь домой, мы встрѣтили всю императорскую фамилію. Мы ихъ увидѣли еще издали, и Гете сейчасъ же отдѣлился отъ меня и отошелъ въ сторону отъ дороги. Что ни говорилъ я ему, все напрасно, и я не могъ заставить его сдѣлать ни шагу болѣе. Надвинулъ я свою шляпу, застегнулъ сюртукъ и, сложивъ руки, направился прямо въ самую гущу толпы. Принцы и свита посторонились, эрцгерцогъ Рудольфъ снялъ шляпу, императрица первая мнѣ поклонилась. Этотъ высокій людъ меня знаетъ. Весьма забавно было видѣть, какъ вся эта процессія двигалась мимо Гете. Онъ стоялъ въ сторонѣ съ открытой головой и низко кланялся. Потомъ я ему за это сильно намылилъ голову безъ всякой пощады.»

Этотъ анекдотъ обыкновенно приводятъ въ доказательство раболѣпства Гете и независимости Бетговена. Стоитъ только немного поразмыслить, чтобъ убѣдиться, что Бетговень въ этомъ случаѣ высказалъ свою независимость даже изысканно грубо, а Гете исполнилъ только общее правило вѣжливости, сдѣлавъ то, что дѣлаютъ всѣ нѣмцы при встрѣчѣ съ лицами царствующихъ фамилій. Дать дорогу и снять шляпу при встрѣчѣ съ лицами царствующей



фамиліи, есть такое же правило вѣжливости, какъ и снять шляпу при встрѣчѣ съ знакомымъ. Если Бетговенъ не соблюдалъ этого простаго правила вѣжливости, то ему это извинительно, какъ натурѣ эксцентричной, вообще не любившей подчиняться условному, общепринятому, но Гете былъ человекъ свѣтскій, придворный и притомъ министръ,—сложить руки и нахлобучить шляпу при встрѣчѣ съ императорской фамиліей было бы съ его стороны грубой выходкой, совершенно не соответствовавшей ни его натурѣ, ни его воспитанію, ни положенію его въ обществѣ, и которою оскорбилось бы его собственное чувство приличія.

Очень возможно и даже весьма вѣроятно, что поклоны, которые Гете отвѣсилъ проходившей мимо его императорской фамиліи, были весьма низки, весьма почтительны, отличались даже большей почтительностью, чѣмъ поклоны другихъ проходящихъ. Я вовсе не думаю отрицать, что онъ очень цѣнилъ внѣшнія, условныя отличія. Я признаю, что онъ не только былъ далекъ отъ республиканизма, но даже болѣе цѣнилъ свои звѣзды и свой титулъ превосходительства, чѣмъ это желаютъ допустить ярые его приверженцы. Это есть слабость, и я признаю, что онъ имѣлъ эту слабость; но еслибъ подобными пустяками онъ и тщеславился даже не менѣе, чѣмъ англійскіе герцоги тщеславятся орденомъ подвязки, я не вижу основанія ставить ему это въ слишкомъ большую вину. Такъ мало было поэтовъ, которые были бы превосходительствами и носили бы звѣзды на груди, что трудно намъ судить, былъ ли Гете болѣе или менѣе тщеславенъ, чѣмъ сколько мы вправѣ отъ него требовать. Во всякомъ случаѣ мнѣ кажется, что насмѣшки надъ его титуломъ, эпиграммы надъ его звѣздами совершенно неумѣстны въ устахъ націи, которая ничѣмъ такъ часто не навлекаетъ на себя насмѣшекъ, какъ неумѣренной своей любовью къ титуламъ. И англичане также не отличаются слишкомъ большимъ равнодушіемъ къ рангамъ и титуламъ, чтобы имѣть право слишкомъ строго осуждать Гете за эту слабость.

## ГЛАВА IV.

### Сродство душъ.

Въ числѣ іенскихъ друзей, которыхъ Гете любилъ посѣщать, былъ нѣкто Фроманъ, книгопродавецъ. У этого книгопродавца воспитывалась, въ видѣ приемыша, Минна Герцлибъ, — личность для насъ весьма интересная, какъ оригиналъ Оттилии въ *Wahlverwandtschaften* (Сродство душъ). Еще ребенкомъ была она любимицей Гете, а ставши взрослой дѣвушкой производила на него неотразимое обаяніе, противъ котораго оказывался совершенно безсильнымъ голосъ разсудка. Разница въ лѣтахъ была велика, но какъ часто мы видимъ, что молодыя дѣвушки отдаютъ цвѣтъ своей любви людямъ, которые годятся имъ въ отцы, и люди преклонныхъ лѣтъ воспламеняются любовью со всѣмъ пыломъ юности! Сонеты и романъ *Сродство душъ* свидѣтельствуютъ, какъ сильна была страсть, охватившая поэта, и съ какой силой онъ противъ нея боролся. Вотъ что говоритъ онъ самъ: «въ этомъ романѣ (*Сродство душъ*) высказалось сердце, болящее глубокою, страшною раною и въ тоже время боящееся выздоровленія, заживленія этой раны... Тутъ, какъ въ погребальной урнѣ, я схоронилъ съ глубокимъ волненіемъ многое грустное, много пережитое. 3 октября 1809 г. (въ этотъ день было окончено печатаніе романа) я совсѣмъ сдалъ романъ съ рукъ, но не могъ при этомъ совершенно освободиться отъ чувствъ, его породившихъ.» Несомнѣнно, что этотъ романъ, также какъ и Вертеръ, выражаетъ собой дѣйствительно пережитое поэтомъ, но это пережитое мало извѣстно, а пускаться въ догадки въ подобныхъ случаяхъ весьма опасно; поэтому, считая нужнымъ ограничиться тѣмъ, что мнѣ положительно извѣстно, могу только сказать, что какъ друзья Минны, такъ и друзья Гете весьма огорчались и тревожились воз-

раставшей страстью и, чтобъ положить этому конецъ, отправили Минну въ пансіонъ (въ романѣ Оттилія также отправлена въ пансіонъ),—эта невольная разлука спасла обоихъ.

Имѣя въ виду эти обстоятельства, весьма любопытно прочесть *Die Wahlverwandtschaften*. Мы тутъ не только видимъ, изъ какихъ источниковъ черпаетъ поэтъ свое вдохновеніе, но и какимъ образомъ драматизируетъ онъ двѣ стороны своего собственнаго характера. Эдуардъ и Шарлота любили другъ друга въ молодости. Обстоятельства разлучили ихъ и оба они сдѣлали *mariages de convenance*. Но потомъ смерть освободила ихъ отъ брачныхъ узъ и тогда вдовецъ и вдова, имѣя возможность совершенно свободно распорядиться своей судьбой, исполнили мечту своей молодости, вступили между собой въ бракъ. Мы ихъ видимъ въ началѣ романа пользующимися невозмутимымъ счастьемъ. Хотя и замѣтны признаки нѣкотораго внутренняго разногласія въ ихъ природахъ, но это разногласіе можетъ развѣ только помѣшать полной гармоніи между ними и далеко не такъ сильно, чтобъ могло сдѣлать ихъ несчастными,—однимъ словомъ самый проникательный глазъ не въ состояніи открыть ничего, что могло бы угрожать прочности ихъ счастья. У Эдуарда есть другъ, котораго онъ любитъ какъ брата. Этотъ другъ называется Капитанъ. Эдуардъ приглашаетъ его пріѣхать гостить. Шарлота энергически сопротивляется этому приглашенію, смутно предчувствуя, что изъ этого выйдетъ недоброе, но потомъ уступаетъ, имѣя въ виду взять изъ пенсіона пріемную свою дочь Оттилію и поселить у себя.

Вотъ четыре лица предстоящей драмы. Какъ только они сходятся, естественное сродство ихъ душъ выступаетъ наружу. Шарлота и Капитанъ тяготеютъ другъ къ другу. Тоже происходитъ между Эдуардомъ и Оттиліею. Тутъ происходитъ нѣчто [въ родѣ химическаго сродства. Читатель чувствуетъ, что тутъ трагическое столкновеніе неизбежно и что это столкновеніе будетъ ужасно,—чувствуетъ, что тутъ предстоитъ дилемма и что эту дилемму двѣ стороны разрѣшать совершенно противоположно.

Критики, которые смотрятъ на человѣческую жизнь, и слѣдовательно на искусство, съ отвлеченной точки зрѣнія и, пренебрегая тѣмъ, что говоритъ дѣйствительность, приравниваютъ человѣческую природу къ шахматной доскѣ, на которой игрокъ можетъ

по усмотрѣнію дѣлать тѣ или другіе ходы, и притомъ представляютъ себя этого игрока какимъ-то безстрастнымъ существомъ, неспособнымъ сдѣлать опрометчивый ходъ, неспособнымъ просмотрѣть то, что очевидно постороннему, — такіе критики, говорю я, не колеблясь провозглашаютъ, что поэтъ не долженъ былъ вывести въ романѣ подобнаго положенія, такъ какъ оно безнравственно, и что въ дѣйствительной жизни чувство долга сразу кладетъ конецъ подобнымъ положеніямъ.

Но для тѣхъ, которые видятъ жизнь такою, какъ она есть въ дѣйствительности, а не такою, какъ она можетъ быть, и требуютъ отъ искусства воспроизведенія дѣйствительной, а не воображаемой жизни, — для тѣхъ это положеніе представляетъ страшную истинность. Оно трагично, но не безнравственно, потому что трагизмъ заключается именно въ столкновеніи страсти съ долгомъ, естественнаго влеченія съ социальнымъ закономъ. Еслибы Шарлота и Эдуардъ не состояли въ бракѣ, то представляемое романомъ средство душъ просто закончилось бы бракомъ; но тутъ существующій уже бракъ является преградой естественнымъ влеченіямъ и потому столкновеніе неизбѣжно.

Такимъ образомъ читатели, придерживаясь того или другаго изъ этихъ двухъ различныхъ мнѣній, распадаются на два класса, изъ которыхъ одинъ признаетъ романъ безнравственнымъ, а другой напротивъ считаетъ его глубоко нравственнымъ. По моему мнѣнію, и то, и другое не правильно. Какъ тѣ, которые провозглашаютъ романъ глубоко безнравственнымъ, потому что будто-бы онъ подрываетъ бракъ въ самой его основѣ, такъ и тѣ, которые — напротивъ — провозглашаютъ его глубоко нравственнымъ, потому что будто-бы онъ выставляетъ въ яркомъ свѣтѣ святость брака, высказываютъ не болѣе какъ только личные свои выводы изъ фактовъ, придавая этимъ фактамъ значеніе, какого самъ авторъ вовсе не имѣлъ въ виду. Каждое художественное произведеніе имѣетъ свою мораль, говоритъ Гегель, но эта мораль зависитъ отъ того, кто ее извлекаетъ. Поэтому изъ романа Гете можетъ быть одинаково выведено и заключеніе въ пользу брака, и заключеніе противъ брака, и оба эти заключенія будутъ одинаково неправильны или, лучше сказать, одинаково правильны, если принимать ихъ какъ выраженіе личнаго пониманія читателя. Гете былъ ху-

дожннѣ, а не адвокатъ; онъ рисовалъ съ жизни, и такъ какъ былъ вѣренъ жизни, то его образы также даютъ возможность къ противоположнымъ выводамъ, какъ и самая дѣйствительность. Предположите, что еслибъ на самомъ дѣлѣ вамъ пришлось быть свидѣтелемъ подобной исторіи, то вы услышали бы о ней сужденія, діаметрально противоположныя, даже отъ людей вполне знакомыхъ со всѣми ея обстоятельствами. Не трудно написать нравственный романъ даже такой, въ которомъ бы каждая страница была правоученіемъ, но когда писатель имѣетъ главнымъ образомъ въ виду разъясненіе какого-нибудь правила нравственности, то ему нечего слишкомъ много заботиться объ истинности характеровъ, такъ какъ изображеніе характеровъ не есть его цѣль, а составляетъ для него только средство къ цѣли, однимъ словомъ такъ какъ у него цѣль дидактическая, а не артистическая. Иное дѣло—художникъ. Его цѣль—воспроизведеніе человѣческой жизни. Главное для него—характеры, а характеры, какъ мы знаемъ, представляютъ собой весьма разнообразную ткань, въ которой добро и зло, добродѣтель и порокъ, истина и ложь, неразрывно переплетаются между собой.

Люди, не довольствующіеся тѣмъ, что художественное произведеніе истинно, могутъ, повидимому, не безъ основанія порицать Гете, зачѣмъ выбралъ онъ такую тему для романа. Но онъ выбралъ именно эту тему, а не другую, потому, что ее прочувствовалъ, пережилъ, а разъ оправдавъ выборъ, трудно порицать выполнение, такъ какъ оно есть вѣрное воспроизведеніе дѣйствительности.

Впрочемъ нельзя не признать, что въ романѣ есть одна сцена, хотя вполне истинная и даже глубоко истинная, но которая тѣмъ неменѣе грѣшитъ и противъ нравственности и противъ эстетики. Художникъ не вправѣ изображать безъ разбору все, что только бываетъ въ дѣйствительности, и если мы, англичане, въ девятнадцатомъ столѣтіи доходимъ нерѣдко до крайней щепетильности, то этотъ недостатокъ есть все-таки добродѣтель по сравненію съ деморализующей распушенностью французской литературы. Сцена, о которой идетъ рѣчь, по всей вѣроятности возбуждала больше негодованія противъ *Wahlverwandschaften*, чѣмъ вся остальная часть романа.

Этотъ романъ рассказываетъ весьма печальную исторію. Двое изъ дѣйствующихъ лицъ суть олицетвореніе страсти всепоглощающей, безразсудно, неодолимо, неудержимо стремящейся къ достиженію своихъ цѣлей, между тѣмъ какъ другія два лица съ меньшей силой и съ трогательнымъ благородствомъ олицетворяютъ собой идею долга. Эдуардъ и Оттилія пылаютъ другъ къ другу беззавѣтной страстью. Ихъ не смущаютъ никакія сомнѣнія. Чувство ихъ такъ естественно, просто, и такъ всецѣло ихъ поглощаетъ, что они походятъ на дѣтей, впервые ощущающихъ любовь. Какъ эта чета олицетворяетъ собою естественное влеченіе, такъ другая чета съ меньшей силой олицетворяетъ собой разумъ. Шарлота и капитанъ любятъ другъ друга такъ же глубоко, какъ Эдуардъ и Оттилія, но ихъ любовь есть любовь двухъ разумныхъ существъ: они разсуждаютъ, отдаютъ себѣ отчетъ въ окружающихъ ихъ обстоятельствахъ, признаютъ общество, его установленія, его законы, и страсти свои приносятъ въ жертву требованіямъ общества, — они побѣждаютъ свои страсти, сознание долга даетъ имъ силу переносить страданіе и законъ совѣсти указываетъ имъ такой образъ дѣйствія, который страстному Эдуарду никогда и не снился и о которомъ Оттилія имѣла только смутное представленіе.

Эдуардъ, какъ только узнаетъ, что его любятъ, нетерпѣливо требуетъ развода, чтобъ жениться на Оттиліи и дать возможность Шарлотѣ выдти замужъ за Капитана. Но, къ несчастію, Шарлота, до тѣхъ поръ бездѣтная, чувствуетъ, что скоро будетъ матерью. Это усложняетъ положеніе, бывшее до сихъ поръ, сравнительно говоря, не такъ сложно. Будучи бездѣтна, Шарлота могла бы согласиться на разводъ, а теперь она этого не можетъ. Между тѣмъ никакіе доводы не могутъ убѣдить Эдуарда, чтобы онъ оставилъ намѣреніе жениться на Оттиліи, и онъ только соглашается разлучиться съ ней навремя, чтобъ подвергнуть свою страсть испытанію.

Эдуардъ отправляется на войну, совершаетъ подвиги храбрости и возвращается еще болѣе страстный къ Оттиліи, чѣмъ когда-либо. Капитанъ въ это время также находится въ отсутствіи. Шарлота переноситъ свою судьбу съ покорностью, съ достоинствомъ. Оттилія безмолвно лелѣетъ свою любовь къ Эдуарду и съ

искренней привязанностью посвящаетъ себя заботамъ о ребенкѣ Шарлоты. Согласно съ народнымъ предразсудкомъ (который физиологія признаетъ совершенно неосновательнымъ), это дитя поразительно походить вѣсть и на Оттилію и на Капитанѣ, и такимъ образомъ представляетъ живое свидѣтельство любви Эдуарда къ Оттиліи и любви Шарлоты къ Капитану.

Шарлота, чувствуя въ себѣ достаточно силы воли, чтобы покориться судьбѣ, не перестаетъ надѣяться, что и у Эдуарда явится твердость послѣдовать ея примѣру. Но Эдуардъ остается непоколебимъ въ своемъ намереніи жениться на Оттиліи и препятствія только еще болѣе раздражаютъ его страсть. Ребенка постигаетъ несчастная судьба: Оттилія нечаянно роняетъ его въ воду и онъ тонетъ. Въ минуты глубокой скорби, лучъ свѣта нисходитъ въ душу Оттиліи и она впервые сознаетъ, что отступила отъ пути долга, желая быть женой Эдуарда. Это сознаніе ведетъ за собой рѣшимость никогда не принадлежать Эдуарду. Трагизмъ положенія растетъ. Оттилія умираетъ. Эдуардъ, для котораго вся жизнь сосредоточилась въ любви къ ней, нѣкоторое время безмолвно томится въ печали и наконецъ также находитъ покой въ могилѣ, на ряду съ могилою своей возлюбленной.

Такова въ главныхъ чертахъ страшная трагическая исторія, тщательно разработанная въ *Wahlverwandschaften*. Эта исторія, проходя черезъ различные эпизоды, и въ романѣ движется такъ же медленно, какъ это обыкновенно бываетъ въ дѣйствительной жизни, но, несмотря на медленность своего движенія, она постоянно жива и ясна.

Зная происхожденіе романа, становится яснымъ, что Гете изобразилъ самого себя въ этихъ двухъ различныхъ характерахъ, — въ страстномъ, увлекающемся Эдуардѣ и въ разсудительномъ, полномъ обладающемъ собою Капитанѣ. Оба эти характера взяты поэтомъ изъ жизни, изъ самого себя, и нарисованы мастерски. Слабый, страстный, нетерпѣливый Эдуардъ даже въ минуты самой крайней слабохарактерности внушаетъ къ себѣ сочувствіе. Съ какой поразительной мѣткостью схвачена эта черта въ характерѣ Эдуарда, что онъ «вдругъ почувствовалъ себя свободнымъ отъ всякихъ обязанностей долга по отношенію къ Капитану», потому что Капитанъ дурно отзывался о его игрѣ на флейтѣ. Таковы въ

дѣйствительности подобныя страстныя натуры какъ Эдуардъ: нѣтъ такого самаго ничтожнаго предлога, за который бы они не были готовы ухватиться, чтобы придать видъ справедливости внутреннимъ страсти. Шарлота и Кэпитанъ олицетворяютъ собой долгъ и разсудительность, въ противоположность Эдуарду и Оттиліи, олицетворяющимъ естественное влеченіе и мечтательность. Въ созданіи этихъ двухъ разсудительныхъ личностей Гете достигъ рѣдкаго успѣха, — сдѣлалъ разсудительность привлекательною.

Розенкранцъ замѣтилъ, что въ этомъ романѣ превосходно изображены различные роды супружества. Эдуардъ и Шарлота сначала испробовали *matriage de convenance*, а потомъ бракъ по дружбѣ. Первый былъ несчастливъ. Второй также не удовлетворялъ ихъ, потому что не былъ бракомъ по любви. Кроме того, связь графа съ баронессой представляетъ намъ еще особый образчикъ брака, часто встрѣчающійся въ большомъ свѣтѣ, — тутъ принятіе на себя брачныхъ узъ, какъ въ глазахъ самихъ брачующихся, такъ и въ глазахъ постороннихъ, есть не болѣе какъ только формальность. Графъ изображенъ пустымъ, беззаботнымъ свѣтскимъ человекомъ, который играетъ въ сенъ-симонистскія теоріи и смотритъ на бракъ какъ на опытъ, подлежащій возобновленію каждыя пять лѣтъ.

Нельзя не подивиться, какъ въ этомъ романѣ превосходно обрисовываются дѣйствующія лица своими мыслями, рѣчами, поступками, безъ всякихъ описаній и поясненій со стороны автора. Весь рассказъ до такой степени объективенъ, простъ, движется такъ спокойно и среди подробностей столь привлекательныхъ, что я рѣшительно нигдѣ не встрѣчалъ ничего подобнаго, исключая развѣ произведенія миссъ Остенъ (Austen). Англійскіе и французскіе читатели могутъ мѣстами утомляться мелкими подробностями, которыя загромаждаютъ ходъ рассказа и раздражаютъ любопытство, нетерпѣливо рвущееся къ развязкѣ; но для нѣмецкаго читателя эти подробности вовсе не утомительны; онъ останавливается на нихъ съ наслажденіемъ и старается разгадать, какія цѣли имѣлъ при этомъ поэтъ. Дорогой мнѣ другъ, котораго практическія замѣчанія всегда такъ многоцѣнны, полагаетъ, что длинные эпизоды, прерывающіе ходъ рассказа въ промежуткахъ между отъѣздомъ Эдуарда и его возвращеніемъ, суть ни что иное, какъ артистическая



уловка, чтобъ сильнѣе запечатлѣть въ умѣ читателя медленное движеніе событій въ дѣйствительной жизни. Я только сообщамъ это мнѣніе на обсужденіе читателя, но самъ съ нимъ не согласенъ, и нахожу его болѣе остроумнымъ, чѣмъ истиннымъ. Признаюсь, описанія улучшеній парка, постройки хижины изъ моха, возстановленія часовни, проложенія новыхъ дорогъ и т. п., мнѣ кажутся чрезмѣрно длинными и даже нѣсколько скучными. Юліанъ Смитъ замѣчаетъ, что поэтъ погрѣшилъ противъ художественности, вклавъ въ романъ цѣлыя страницы отрывочныхъ афоризмовъ и размышленій подъ предлогомъ, что это выписки изъ дневника Оттиліи. Назначеніе этихъ выписокъ—показать развитіе чувствъ Оттиліи,—выпускается поэтомъ изъ виду, такъ что эти отрывки не имѣютъ никакой связи съ романомъ и вмѣсто выраженія чувствъ молодой дѣвушки мы находимъ въ нихъ разсужденія старика. Первоначально поэтъ имѣлъ намѣреніе написать повѣсть, небольшой разсказъ, и для этого матеріалъ былъ у него достаточно обилень. Но растягивая повѣсть въ романъ онъ погрѣшилъ противъ художественности. Нельзя не согласиться, что вслѣдствіе ли неумѣнья, или вслѣдствіе нерадѣнія и высокоумнаго равнодушія къ читателю, романы Гете по своему построенію недостойны великаго артиста. Гете какъ будто вовсе и въ виду не имѣлъ, что романъ долженъ представлять собой органическое цѣлое.

Нѣмцы восторгаются языкомъ *Wahlverwandschaften*; Розенкранцъ называетъ его классическимъ. Но мы не должны забывать, что Германія не такъ богата произведеніями, хорошо написанными, какъ Франція и Англія, и что при томъ сужденія Нѣмцевъ о Гете слѣдуетъ принимать съ такою же осмотрительностью, какъ и сужденія Англичанъ о Шекспирѣ; поэтому въ такихъ случаяхъ должны заслуживать вниманія сужденія тѣхъ нѣмецкихъ критиковъ, которые вовсе не находятъ, чтобы языкъ *Wahlverwandschaften* былъ классическій. Иностранцу трудно отваживаться на сужденія о подобномъ вопросѣ, и еслибъ я писалъ для нѣмцевъ, то ограничился бы только указаніемъ ходячаго мнѣнія; но такъ какъ я пишу не для нѣмцевъ, то полагаю, не будетъ съ моей стороны излишней смѣлостью, если выскажу мнѣніе, что языкъ *Wahlverwandschaften* носитъ слѣды старческаго возраста. Сравнивая этотъ романъ съ прежними прозаическими произведеніями Гете, или съ

высокими образцами классической прозы, — а произведенія такого писателя, какъ Гете, нельзя конечно и сравнивать иначе, какъ съ классическими образцами, — мы находимъ, что въ этомъ романѣ языкъ часто холоденъ, слабъ, механиченъ въ построеніи, нѣсколько безжизненъ по абстрактности выраженій, и утомляетъ частыми повтореніемъ однихъ и тѣхъ же формъ. Конечно, въ немъ встрѣчаются мѣста чрезвычайной красоты и поэтичности. Последняя глава есть въ полномъ смыслѣ поэма. Ея пафосъ удивительно простъ и производитъ потрясающее дѣйствіе. Чрезвычайно хороша также сцена, изображающая Шарлоту и Капитана на озерѣ при слабомъ свѣтѣ восходящихъ звѣздъ. Въ этой сценѣ языкъ, по своей музыкальности, близко подходитъ къ стиху.

## ГЛАВА V.

### Политика и религія.

Минна Герцлибъ, вдохновившая *Wahlverwandschaften*, была по-томъ счастливой женой. Долго болѣло у Гете сердце по ней. Въ 1810 г. онъ облекъ этотъ эпизодъ изъ своей жизни въ новое поэтическое выраженіе, — написалъ эротическую поэму, въ которой выставлялось столкновение любви и долга. Но эта поэма по своему характеру не могла быть напечатана и до сихъ поръ существуетъ только въ рукописи. Въ томъ же году началъ онъ писать свою автобіографію, и первая часть ея появилась въ слѣдующемъ же 1811 г. Публика, нетерпѣливо ожидавшая появленія этой автобіографіи, была разочарована въ своихъ ожиданіяхъ, и это весьма понятно: при всей своей привлекательности во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, автобіографія не могла удовлетворить читателей, ма-дѣявшихся познакомиться чрезъ нее съ дѣтствомъ и юностью поэта. Когда Гете принялся писать автобіографію, матери его уже не было въ живыхъ. Она умерла 13 октября 1808 на 78-мъ году жизни. Она счастливо провела свои старческіе годы. Любовь къ сыну

и заботливость о ней сына были ей постояннымъ утѣшеніемъ и отрадою. Онъ приглашалъ ее жить вмѣстѣ съ нимъ въ Веймарѣ, но кругъ старыхъ друзей и старыя привычки удерживали ее въ родномъ городѣ, гдѣ она была всѣми уважаема.

Подробное описаніе остальной жизни Гете потребовало бы цѣлый томъ. Недостатка въ матеріалѣ нѣтъ. Какъ въ его собственныхъ письмахъ, такъ и въ письмахъ его друзей и знакомыхъ, мы находимъ большое обиліе подробностей. Но, къ сожалѣнію, біографическіе матеріалы становятся обильны только съ той именно эпохи его жизни, когда интересъ біографіи начинается уже слабѣть. Отъ шестидесяти до осмидесяти лѣтъ—времени много, но въ этотъ періодъ жизни люди и событія уже не вліяютъ на человѣка,—характеръ уже окончательно сложился и не воспринимаетъ въ себя ничего новаго. Въ этотъ періодъ жизни, собственно говоря, біографія уже кончается и начинается некрологія. Подробныя описанія того, что дѣлалъ, чѣмъ занимался старикъ Гете, какъ прогуливался, какъ простужался и страдалъ головою болью, съ кѣмъ разговаривалъ и т. п., всѣ эти подробности могутъ быть интересны развѣ только для нѣмцевъ, но не думаю, чтобъ могли представлять большой интересъ для другихъ читателей<sup>1)</sup>.

Не могу пройти молчаніемъ отношенія Гете къ Бетговену. Они встрѣтились въ Теплицѣ, провели тамъ вмѣстѣ нѣсколько дней и разстались, проникнутые глубокимъ уваженіемъ другъ къ другу. «Бетговенъ высоко цѣнилъ терпѣливость Гете къ его глухотѣ, но—замѣчаетъ біографъ Бетговена Шиндлеръ—великій поэтъ и министръ скоро забылъ великаго композитора, и когда тотъ, въ 1823 г., обратился къ нему съ почтительнымъ просительнымъ письмомъ, онъ не только не оказалъ существенной для него услуги, которую оказать ему не стоило рѣшительно никакого труда, но даже и не удостоилъ отвѣтить на письмо.» На основаніи этого факта построено цѣлое обвиненіе противъ Гете. Фактъ говоритъ только, что Бетговенъ писалъ къ Гете, а тотъ ему не отвѣтилъ. Въ письмѣ Бетговенъ просилъ Гете рекомендовать герцогу подпи-

<sup>1)</sup> Седьмая книга этой біографіи обнимаетъ собой періодъ жизни, описаніе котораго въ біографіи Вигоеа занимаетъ 563 стр., а между тѣмъ я не только не опустилъ, надѣюсь, ничего интереснаго, что есть въ біографіи Вольфа, но и добавилъ много подробностей, которыхъ у Вигоеа нѣтъ.

саться на его мессу. Конечно, не получить отвѣта на письмо — весьма оскорбительно, и оскорбленное самолюбіе всегда бываетъ склонно предполагать дурныя побужденія въ виновникѣ оскорбленія; но для человѣка посторонняго, который ясно отдастъ себѣ отчетъ, какъ разнообразны могутъ быть побужденія къ тому или другому поступку, и который не имѣетъ предрасположенія предполагать дурныя побужденія, когда это не свидѣтельствуется фактами, съ перваго же взгляда ясно, что приведенный фактъ далеко не даетъ достаточнаго основанія утверждать, что Гете «забылъ великаго композитора» и даже не хотѣлъ «удостоить отвѣтомъ его письмо». Зная, какъ Гете всегда былъ готовъ на услугу, какъ всегда охотно принималъ онъ на себя ходатайство предъ герцогомъ, когда только шла рѣчь о какомъ-нибудь добромъ дѣлѣ, зная при томъ, какъ высоко уважалъ онъ Бетговена и что онъ не имѣлъ никакой причины быть къ нему дурно расположеннымъ, не можемъ мы согласиться съ тѣмъ объясненіемъ, какое придаютъ приведенному факту раздраженный Бетговень и его биографъ.

1813-й годъ, когда началась война за независимость, былъ для поэта годъ тревожный. Онъ начался для него горемъ, — смертію стараго его друга Виланда. Эта утрата потрясла его даже глубже, чѣмъ этого ожидали самые близкіе къ нему друзья. Гердеръ, Шиллеръ, герцогиня Амалия, мать, потомъ Виландъ, — самые близкіе къ нему люди, — сходили въ могилу одинъ за другимъ и оставляли его одинокимъ въ старческомъ возрастѣ. Вслѣдъ за этимъ горемъ пришли новыя заботы. Политическія событія 1813 года разрушили всѣ его планы. Германія возстала противъ тиранніи Наполеона, но возстала безнадежно, — какъ думалъ Гете. Когда Кёрнеръ, отецъ поэта, сталъ изливаться передъ нимъ свои надежды на лучшее будущее, Гете воскликнулъ: «Вы надѣетесь свергнуть цѣпи! Наполеонъ слишкомъ силенъ. Цѣпей вы не свергнете, а сдѣлаете только то, что онъ еще больше врѣжутся вамъ въ тѣло.» Его сомнѣнія раздѣлялись многими, но, къ счастью, громадное большинство Германіи ихъ не раздѣляло. Между тѣмъ какъ патріоты старались воспламенить въ народѣ ненависть къ иноземному владычеству и подвинуть народъ на отчаянную борьбу, онъ искалъ «спастись отъ настоящаго, потому что невозможно жить среди такихъ обстоятельствъ и не сойти съума отъ заботъ и огорченія,» и какъ

всегда, нашелъ себѣ утѣшенье въ искусствѣ. Въ это время онъ написалъ баллады: «*Der Todtentanz*, *Der getreue Eckart*, *Die wandelnde Glocke*, трактатъ *Shakspeare und kein Ende*, окончилъ третій томъ автобіографіи, изучалъ исторію Китая, — въ самый день Лейпцигской битвы написалъ эпилогъ къ трагедіи *Эссекс* для любимой своей актриссы г-жи Вольфъ.

Патріотическіе писатели были безпощадны въ своихъ сарказмахъ противъ человѣка, который въ такіа смутныя и тяжелыя времена искалъ въ поэзіи спасенія отъ политики; они не находятъ этому другаго объясненія, какъ то, что онъ былъ эгоистъ. Но были также патріотическіе писатели, и въ ихъ числѣ даже нѣкоторые ультра-республиканцы, какъ напр. Карлъ Грюнъ, которые краснорѣчиво его защищали. Я не нахожу нужнымъ прибавлять что-либо къ тому, что уже прежде высказалъ объ отношеніи его къ политикѣ. Никакіе аргументы не подѣйствуютъ на людей, негодующихъ на него за то, что онъ не былъ таковъ, каковы они сами. Безполезно было бы имъ указывать, что человѣкъ, тщательно отстранявшій себя во всю жизнь отъ политической дѣятельности, не могъ вдругъ сдѣлаться политическимъ дѣятелемъ на шестьдесятъ четвертомъ году жизни, и что онъ былъ въ такомъ положеніи, которое вовсе не обязывало его къ какой-либо политической дѣятельности. Главная его вина въ глазахъ патріотовъ состоитъ, по-видимому, въ томъ, что онъ не писалъ воинственныхъ воззваній, не издавалъ манифестовъ и вообще старался держать себя сколько можно дальше отъ совершавшихся кругомъ его важныхъ политическихъ событій. Если это и составляетъ вину съ его стороны, то тѣмъ не менѣе побужденія, заставлявшія его поступать такимъ образомъ, были совершенно чисты. Осуждайте его образъ дѣйствій, если находите его дурнымъ, но не приписывайте же ему дурныхъ побужденій, совершенно ему чуждыхъ. Приписывать его поведеніе трусости или боязни скомпрометировать себя, — есть верхъ несправедливости въ виду тѣхъ очевидныхъ фактовъ, которые такъ краснорѣчиво говорятъ о высокомъ его характерѣ.

Мы видѣли, сколько энергіи нашлось у него, когда всемогущій Наполеонъ грозилъ Веймарскому герцогу. Онъ тутъ видѣлъ несправедливость и готовъ былъ къ энергической борьбѣ. Для Веймарскаго герцога онъ готовъ былъ сдѣлаться страствующимъ пѣв-

цемъ; но для германской націи у него не нашлось пѣсенъ,—почему? —очень просто: потому что такой націи и не существовало. Онъ и тогда ясно видѣлъ, что теперь мы всѣ ясно видимъ,—что германской націи не существуетъ, что Германія есть не болѣе, какъ географическая фикція, каковою остается и до сихъ поръ. Но онъ не видѣлъ тогда того, что теперь мы ясно видимъ,—не видѣлъ онъ, что въ то время всѣ германскіе народы были соединены однимъ общимъ чувствомъ, ненавистію къ французамъ и энтузіазмомъ къ сверженію французскаго ига. Не видя этого, онъ думалъ, что Германія не въ силахъ устоять въ борьбѣ съ Наполеономъ. Въ этомъ онъ былъ неправъ. Событія доказали, что онъ ошибался, но ошибочное мнѣніе не значитъ неискреннее мнѣніе. Вотъ что говоритъ историкъ Люденъ <sup>1)</sup> о своемъ свиданіи съ Гете, вскорѣ послѣ Лейпцигской битвы, а свидѣтельство Людена имѣетъ въ этомъ случаѣ большой вѣсъ, такъ какъ онъ былъ горячій патріотъ. «Теперь я глубоко убѣдился, что крайне ошибаются люди, утверждающіе, будто Гете не любитъ отечества, не имѣетъ истинно германскихъ чувствъ, не имѣетъ никакой вѣры въ свой народъ, будто онъ совершенно равнодушенъ къ чести и позору, къ счастью и несчастію Германіи.» Когда Люденъ заговорилъ съ нимъ о патріотическомъ журналѣ *Немезида*, то Гете сказалъ ему: «Не подумайте, чтобъ я былъ равнодушенъ къ этимъ великимъ идеямъ: свобода, народъ, отечество. Нѣтъ, — эти идеи присущи намъ, составляютъ часть нашего существа и ни одинъ живой человекъ не можетъ быть ихъ чуждъ. Германія дорога моему сердцу. Часто скорбѣлъ я горько, что германскій народъ, столь почтенный въ своихъ индивидуумахъ, сталъ весьма жалокъ и ничтоженъ какъ цѣлое. Сравненіе германскаго народа съ другими народами возбуждаетъ тяжелыя чувства и я нахожу отъ нихъ облегченіе только въ наукѣ и искусствѣ, потому что наука и искусство всемірны и предъ ними исчезаютъ всякія національныя разграниченія, но доставляемое ими утѣшеніе весьма скудно,—оно не вознаграждаетъ за отсутствіе гордаго сознанія, что принадлежишь къ народу великому, сильному, котораго бояться и уважаютъ.» Онъ говорилъ также о будущности Германіи и высказалъ при этомъ убѣж-

<sup>1)</sup> LUDEN, *Rückblicke in mein Leben*, p. 113 и слѣд.

деніе, что ея великое будущее еще очень далеко. «Намъ остается только одно: пусть каждый изъ насъ, сообразно съ своими способностями, наклонностями и съ своимъ положеніемъ, дѣлаетъ, что можетъ, для образованія и развитія народа, чтобъ нашъ народъ не отставалъ въ образованіи отъ другихъ народовъ, а напротивъ опережалъ ихъ, чтобъ онъ не падалъ духомъ, не впадалъ бы въ малодушіе, а сдѣлался бы способенъ на великія дѣла, когда придетъ къ тому время.» Слова весьма разумныя, но весьма непріятныя для энтузіаста-патріота. Перейдя отъ общихъ разсужденій къ вопросу о журналѣ и о пробужденіи германскаго народа къ свободѣ, онъ сказалъ: «дѣйствительно ли народъ пробудился? сознаетъ ли онъ, что можетъ и чего хочетъ? Развѣ вы забыли, съ какой радостію одинъ честный іенскій филистеръ возвѣстилъ своему сосѣду по уходѣ французовъ, что у него комнаты уже вычищены и готовы къ принятію русскихъ? Сонъ былъ слишкомъ глубокъ, чтобъ можно было сразу придти въ сознаніе, какъ бы сотрясеніе ни было сильно. И при томъ всякое ли движеніе есть движеніе къ лучшему? Можно ли людей двигать къ лучшему насиліемъ? Я говорю не о нѣсколькихъ тысячахъ юношей и мужей,—я говорю о массахъ, о миллионахъ. И что же мы выиграли, что приобрѣли? Говорятъ, мы приобрѣли свободу. Не правильнѣе ли будетъ вмѣсто свободы сказать освобожденіе, и при томъ освобожденіе не отъ иноземнаго ига вообще, а только отъ ига французовъ? Правда, итальянцевъ и французовъ я больше не вижу, но вмѣсто нихъ я вижу казаковъ, башкировъ, кроатовъ, венгровъ, синихъ и другихъ разныхъ гусаръ.»

Трудно, чтобъ человѣкъ, мыслившій такимъ образомъ, могъ стать въ ряды энтузіастовъ того времени, еслибы даже то время и застало его въ возрастъ, способный къ энтузіазму. Вотъ что отвѣчалъ онъ Экерману, когда тотъ намекнулъ ему о раздававшихся противъ него укорахъ за то, что онъ не писалъ воинственныхъ пѣсенъ: «Могъ ли я взяться за оружіе, не чувствуя ненависти? и могъ ли чувствовать ненависть въ мои годы? Еслибъ то время застало меня двадцатилѣтнимъ юношей, то я вѣрно былъ бы не изъ послѣднихъ, но мнѣ вѣдь было тогда за шестьдесятъ. Не всѣ одинаково могутъ служить своему отечеству, а каждый служить какъ ему по силамъ. Я работалъ цѣлыя полстолѣтія, — да, могу ска-

затѣ, я ревностно работалъ, не зналъ покоя ни днемъ, ни ночью, не зналъ отдыха, вѣчно трудился, какъ могъ и сколько могъ. Хорошо было бы, еслибъ каждый могъ тоже сказать о себѣ. Писать воинственные пѣсни, сидя у себя въ комнатѣ, возможно ли это! Другое дѣло, на бивакѣ, когда слышишь, какъ ржутъ лошади на непріятельскихъ форпостахъ. Но это не моя жизнь, не мое дѣло, на это былъ Федоръ Кёрнеръ. Ему было похвально пѣть воинственные пѣсни. Но у меня натура вовсе не воинственная, я совершенно чуждъ всякихъ воинственныхъ стремленій, мои воинственные пѣсни были бы маской, которая мнѣ была бы вовсе не къ лицу. Моя поэзія никогда не знала аффектаціи. Чего я не чувствовалъ, не переживалъ, того я и не пѣлъ, не высказывалъ. Могъ ли я пѣть пѣсни ненависти, когда ненависти не было у меня въ сердцѣ.»

Главной причиной его равнодушія къ политикѣ была преданность его искусству, подавшая поводъ къ крайне странному противъ него обвиненію, что онъ «смотрѣлъ на жизнь только какъ артистъ». Эта пустая фраза превратилась въ стереотипное изреченіе. Ее безъ сомнѣнія слышалъ каждый, кто только что-нибудь слышалъ о Гете. Ее высказываютъ со всей увѣренностью глубокаго убѣжденія и думаютъ, что тутъ сказано весьма много, больше, чѣмъ могъ бы сказать цѣлый томъ самыхъ ѣдкихъ укоровъ. Когда человѣкъ посвящаетъ себя какой-нибудь специальной наукѣ, отдаетъ ей все свое время, сосредоточиваетъ на ней свои мысли и свои симпатіи, мы дивимся его энергіи, восхваляемъ его, а не укоряемъ, не говоримъ о Фарадѣѣ, что онъ «смотритъ на жизнь только какъ химикъ», не говоримъ объ Оуэнѣ, что онъ смотритъ на жизнь только какъ зоологъ», — мы понимаемъ, что всякое серьезное дѣло необходимо отвлекаетъ мысль и дѣятельность отъ другихъ занятій. Но почему же искусство должно составлять въ этомъ случаѣ исключеніе? Почему же не восхвалять артиста за его преданность искусству, какъ восхваляютъ какого-нибудь естествоиспытателя за его преданность своей специальности? Я вижу къ этому только одно основаніе, нерасположеніе людей смотрѣть на искусство, какъ на дѣло серьезное. Потому что искусство доставляетъ непосредственное наслажденіе, на него смотрятъ какъ на роскошь, какъ на продуктъ праздности, и люди, неспособные подняться до высоты того



міросозерцанія, которое одушевляло Гете и Шиллера, принимаются за пустую реторику, за пустое самовосхваленіе, когда имъ говорятъ объ искусствѣ какъ о высшей формѣ человѣческой культуры. Понятно, что люди, для которыхъ живопись и скульптура суть только средства наполнять дорогими украшеніями ихъ столовые и галлерей, для которыхъ музыка есть только предлогъ имѣть ложу въ оперѣ, а поэзія есть только пріятное препровожденіе времени, понятно, что такіе люди могутъ имѣть не очень высокое мнѣніе о живописцахъ, скульпторахъ, музыкантахъ и поэтахъ. Но я не хочу предполагать, чтобъ читатель принадлежалъ къ этому классу людей, и ожидаю отъ него, что онъ вполне цѣнитъ все значеніе искусства, какъ одной изъ формъ національной культуры, и тѣмъ большую честь воздаетъ артисту, чѣмъ болѣе артистъ преданъ своему дѣлу.

Гете былъ человѣкъ слишкомъ серьезный, чтобъ не серьезно относиться къ своимъ занятіямъ. Онъ велъ постоянно трудовую жизнь, тогда какъ могъ бы жить въ удовольствіяхъ и праздности. «Пренебрегать удовольствіемъ и трудиться» безъ всякаго другаго возмездія, кромѣ того, какое заключается въ самой дѣятельности и въ наслажденіи саморазвитія, это было одной изъ необходимостей для его натуры. Работалъ онъ всегда съ такимъ рвеніемъ, какъ еслибъ дѣло шло для него о заработкѣ насущнаго хлѣба. Такъ какъ искусство было для него главной сферой, на которой сосредоточивались его стремленія, то понятно, что онъ стремился къ совершенству въ этой сферѣ. Для философа, посвятившаго себя изученію человѣческой природы, малѣйшія подробности будничной жизни, и театръ, и балльная зала, и улица, все составляетъ предметъ наблюденія, все даетъ ему матеріалъ для обобщенія, и мы не ставимъ ему это въ вину, не укоряемъ его, что онъ смотритъ на жизнь только какъ философъ, т. е. не такъ, какъ другіе: на какомъ же основаніи можемъ мы ставить Гете въ упрекъ, если онъ, какъ художникъ, неутомимо черпалъ изъ жизни матеріалъ для художественнаго творчества?

Если фразой «онъ смотрѣлъ на жизнь только какъ артистъ» хотятъ сказать, что для него, какъ для артиста, искусство было главнымъ занятіемъ въ жизни, то эта фраза есть трюизмъ; но если ею хотятъ сказать, что онъ обособилъ себя отъ другихъ лю-

дей, забавлялся жизнью и на жизнь других смотрѣлъ какъ на увеселительное зрѣлище, то это будетъ чистая клевета. Только человѣкъ глубокого чувствующій можетъ сдѣлаться великимъ артистомъ, а для человѣка, забавляющагося жизнью, искусство можетъ быть не болѣе, какъ только забавой. Великое значитъ серьезное, искреннее, а что Гете былъ великій артистъ, въ этомъ всѣ согласны. Развѣ разсказанная нами жизнь поэта свидѣтельствуетъ о недостаткѣ въ немъ доброты, любви, симпатіи къ людямъ и къ ихъ стремленіямъ? Развѣ она говоритъ намъ, что это былъ человѣкъ, до такой степени погрязшій въ самолюбіи и въ холодномъ эгоизмѣ, что жизнь была для него не болѣе какъ забавой? Оставимъ же эту бессмысленную фразу, что Гете смотрѣлъ на жизнь только какъ артистъ. Толпѣ свойственно отрицать то, чего она не понимаетъ, но не будемъ подражать толпѣ. «Le monde comprend peu un pareil stoïcisme,—говорить глубокомысленный и симпатичный писатель,—et voit souvent une sorte de sécheresse dans l'âpreté de ces grandes âmes,—dures pour elles-mêmes et par conséquent un peu pour les autres, qui ont l'air de se consoler de tout, pourvu que l'univers reste livré à leur contemplation. Mais au fond c'est là le plus haut degré du désintéressement et le plus beau triomphe de l'âme humaine. Ce que la conscience timorée des âmes tendres et vertueuses appelle l'égoïsme du génie, n'est d'ordinaire que le détachement des jouissances personnelles et l'oubli de soi pour l'idéal»<sup>1)</sup>.

Между тѣмъ какъ одни укоряли Гете въ политическомъ равнодушіи, другіе съ болѣею еще запальчивостью укоряли его въ недостаткѣ религіозности. Не видѣть въ сочиненіяхъ Гете глубоко религіознаго чувства могутъ только люди, для которыхъ слово религія значитъ ихъ собственныя религіозныя доктрины; но, съ другой стороны, доказывать неправославіе Гете было бы такъ же смѣшно, какъ еслибы вы вздумали доказывать присутствіе солнца надъ вашей головой въ ясный полдень. Онъ и не имѣлъ никогда ни малѣйшаго притязанія быть православнымъ. Религіозная жизнь началась для него рано и вмѣстѣ съ ней начались его сомнѣнія. Есть люди, для которыхъ сомнѣніе уже само по себѣ преступно, но ни одна истинно человѣческая душа, достаточно мужественная и

<sup>1)</sup> ERNEST RENAN: *Essais de Morale*, p. 138.

честная, чтобы не бѣжать смущающей мысли и не искать отъ нея спасенія во что бы то ни стало, не произнесетъ слова осужденія. Теннисонъ очень хорошо говоритъ: «Повѣрь, въ честномъ сомнѣннiи гораздо больше вѣры, чѣмъ во всѣхъ символахъ. Онъ боролся съ сомнѣннiями и окрѣпъ въ борьбѣ, не хотѣлъ мириться съ слѣпымъ сужденіемъ, смѣло смотрѣлъ въ глаза страшилищамъ, смущавшимъ душу, побѣдилъ ихъ и такимъ образомъ вѣра его стала крѣпка.» Религіозныя его мнѣнія, какъ мы видѣли, часто мѣнялись. Временами онъ былъ близокъ къ тому, чтобы сдѣлаться рьянымъ сентаторомъ, а временами вдавался въ крайній скептицизмъ. Подъ вліяніемъ дѣвицы фонъ-Клеттенбергъ онъ сочувствовалъ одно время Моравскимъ братьямъ, но потомъ лицемѣріе Лафатера и нравственное ничтожество итальянскаго духовенства мало по малу совершенно подkopали въ немъ уваженіе къ христіанской церкви и онъ сталъ относиться къ священству съ явнымъ, по временамъ даже саркастическимъ презрѣніемъ. Въ различныхъ эпохи долгой своей жизни онъ выражался относительно религіи столь различно, что и піетистъ и вольтеріанецъ, оба съ одинаковымъ повидимому основаніемъ, могутъ считать его своимъ; но это кажущееся противорѣчіе вполне объясняется тѣмъ, что въ немъ глубокое религіозное чувство соединялось съ полнымъ скептицизмомъ относительно религіозныхъ доктринъ. Нападки энциклопедистовъ на христіанство не находили въ немъ сочувствія, но съ другой стороны, когда православные навязывали ему свои догмы, то это возмущало его здравый смыслъ и онъ относился къ нимъ скептически. Къ энциклопедистамъ относится его изрѣченіе: «все, что освобождаетъ нашъ умъ, не давая въ тоже время намъ власти надъ самими собой, пагубно для насъ», — а также этотъ превосходный афоризмъ:

Nur das Gesetz kann uns die Freiheit geben.

[Только въ сферѣ закона возможна истинная свобода].

Онъ противопоставлялъ догматическимъ ученіямъ то основное правило, что всѣ понятія о божествѣ суть необходимо наши личныя понятія, которыя не могутъ быть одинаково пригодны для

всѣхъ и каждаго. Каждая душа имѣетъ свою религію, и эта религія есть ея индивидуальное достояніе. Пусть каждый остается вѣренъ своей религіи, — это гораздо лучше, чѣмъ поддаваться подъ чужія понятія.

Im Innern ist ein Universum auch!  
Daher der Völker löblicher Gebrauch,  
Dass Jeglicher das Beste, was er kennt,  
Er Gott, ja seinen Gott benennt.

[Внутри челоуѣка цѣлый міръ! По похвальному обычаю народовъ каждый называетъ своимъ Богомъ то, что по его понятіямъ есть лучшее].

«Вѣрую въ Бога, — говоритъ Гете, — это есть не болѣе какъ фраза, конечно очень хорошая и похвальная; познавать Бога въ его проявленіяхъ, вотъ въ чемъ собственно состоитъ истинное счастье на землѣ.» Онъ былъ протестантъ въ самомъ глубокомъ и чистомъ смыслѣ этого слова, требовалъ себѣ полной свободы «развиваться религіозно», полной независимости отъ всякихъ предписанныхъ догмъ. Относительно Библии онъ былъ одного мнѣнія съ новѣйшими спиритуалистами, признавалъ, что только то истинно, что прекрасно, что гармонируетъ съ чистѣйшей природою и чистѣйшимъ разумомъ и содѣйствуетъ даже и въ настоящее время нашему высшему развитію. О четырехъ евангеліяхъ онъ говорилъ: «въ нихъ есть отраженіе того величія, которое исходило отъ личности Христа и было настолько божественно, насколько божественное когда-либо проявлялось на землѣ. Если меня спросить: согласно ли съ моею природою воздавать Христу поклоненіе, то я отвѣчу: конечно, да! Я преклоняюсь предъ нимъ какъ предъ божественнымъ проявленіемъ высшаго принципа нравственности. Если меня спросить: согласно ли съ моею природою поклоняться солнцу, то я также отвѣчу: конечно, да! Потому что солнце есть также божественное откровеніе и самое великое, какое только извѣстно людямъ. Я поклоняюсь въ солнцѣ свѣту и творческой силѣ, посредствомъ которой мы живемъ, движемся и есмь. Какъ бы ни была высока умственная культура, какъ бы глубоко и широко ни разрослось знаніе и ни расширилась умственная сфера челоуѣка, но не мо-

жетъ никогда человѣкъ стать выше той нравственной культуры, которая намъ свѣтитъ въ Евангеліи. Современемъ все придетъ къ единству, исчезнетъ жалкое сектантство и вмѣстѣ съ нимъ исчезнутъ ненависть и вражда между отцомъ и сыномъ, между братомъ и сестрой. Какъ скоро люди вполнѣ поймутъ и усвоятъ себѣ чистое ученіе и любовь Христа, они станутъ выше, станутъ свободнѣе и не будутъ обращать вниманіе на внѣшній культъ. Мы постепенно переходимъ отъ христіанства слова и вѣры къ христіанству чувства и дѣла. Такъ говорилъ Экерману восьмидесяти-двухъ-лѣтній Гете.

Религію можно разсматривать съ двухъ сторонъ, съ божественной и съ человѣческой, т. е. какъ теософію и какъ этику. У Гете была та же теософія, что и у Спинозы, только видоизмѣненная его поэтическими стремленіями. Пантеизмъ Гете былъ не геометрическій, а поэтическій. Для него вселенная была не безжизненной массой, а живымъ проявленіемъ вѣчно дѣйствующей божественной силы. Апостолъ Павелъ говоритъ, что Богъ живетъ во всемъ и все живетъ въ Богѣ. И наука также учитъ насъ, что міръ не созданъ сразу, разъ навсегда, какъ нѣчто законченное, а постоянно и непрерывно создается. что первичныя силы жизни вѣчно молоды и дѣятельны, постоянно проявляютъ себя въ новыхъ формахъ и чрезъ рядъ метаморфозъ постоянно переходятъ отъ однихъ формъ къ другимъ, все болѣе и болѣе высшимъ.

Религія Гете была высоко конкретная. Дѣйствительность стояла въ его глазахъ неизмѣримо выше всякой фикціи и была для него предметомъ самаго благоговѣйнаго поклоненія. Человѣческая природа имѣла въ его глазахъ нѣчто священное, тѣло человѣческое было для него храмомъ святыни. Это есть греческое міросозерцаніе, но близко родственное ученію Спинозы. Подобно тому какъ Спиноза былъ совершенно далекъ отъ всякаго сочувствія къ философамъ, которые осмѣивали или унижали человѣческую природу а стремился понять ее, анализировалъ ея качества, какъ еслибъ она была математической фигурой, изучалъ и, безъ всякихъ предвзятыхъ понятій, вопрошалъ безпристрастно факты и не смущался ихъ отвѣтами <sup>1)</sup>, точно такъ же и Гете прежде всего стремился по-

---

<sup>1)</sup> *Ethices*, pars III, praefatio; «Nam ad illos revertere volo, qui hominum

нять фактъ, такъ какъ фактъ былъ для него проявленіемъ божественнаго. Таинственный переходъ отъ рожденія къ смерти, отъ слабыхъ проявленій зарождающейся жизни къ стройному развитію, отъ неустанныхъ стремленій къ невозмутимому покою, вѣчно движущійся «станокъ жизни», текущій «живую одежду божества», — все это было для него «вѣчно новое Божіе слово».

Между нравственной системой Гете и его теософіей тѣсная связь. Такъ какъ поклоненіе божеству значило для него поклоненіе природѣ, то, соотвѣтственно этому, нравственная его система состояла въ идеализаціи человѣчества. Человѣческое существо было въ его глазахъ высшимъ проявленіемъ божественнаго на землѣ, и поэтому высшее проявленіе человѣчества было для него идеаломъ нравственности. Прежде всего мы должны научиться ограничивать наши стремленія тѣмъ, что возможно, — въ этомъ первомъ самоограниченіи лежитъ зерно самопожертвованія: отрекаясь отъ извѣстныхъ стремленій ради ихъ недостижимости, мы научаемся отрекаться отъ другихъ стремленій ради любви къ ближнимъ, а любовь къ ближнимъ есть источникъ истиннаго благочестія. «Какъ одни явленія природы приводятъ насъ къ признанію, что существуетъ первоначальное зло, точно такъ же—говоритъ Гете — другія явленія приводятъ насъ къ признанію, что существуетъ первоначальное благо. Проявленіе этого блага въ жизни мы называемъ благочестіемъ. Древніе считали его основой всякой добродѣтели. Оно есть сила, составляющая противовѣсъ эгоизму, и еслибъ эта сила какимъ-нибудь чудомъ хотя на мгновеніе внезапно сказалась дѣятельнымъ образомъ во всѣхъ людяхъ, то съ этой минуты земля навсегда была бы свободна отъ зла».

Не трудно было бы привести изъ сочиненій Гете цѣлый рядъ изрѣченій самой высокой нравственности, но и это былъ бы трудъ бесполезный, такъ какъ всѣ его произведенія дышатъ нравственностію, ясно говорящей каждому непредубѣжденному сердцу, и такъ какъ нравственность въ нихъ выражается не столько въ не-

---

*affectus et actiones detestari vel ridere malunt, quam intelligere. His sine dubio mirum videbitur, quod hominum vitia et ineptias more geometrico tractare aggrediar, et certa ratione demonstrare velim ea quae rationi repugnare, quaeque vana, absurda et horrenda clamitant. Sed mea haec ratio est.»*

посредственныхъ нравственныхъ поученіяхъ, сколько въ отсутствіи всякаго рода эгоистическихъ и узкихъ взглядовъ. Упрекъ въ безнравственности, который иногда направляли противъ его сочиненій, имѣлъ своимъ источникомъ то недоброжелательство, съ какимъ обыкновенно сектаторы относятся ко всякой мысли, не принадлежащей къ догмамъ ихъ секты. Человѣку, который, читая сочиненія Гете, не чувствуетъ, что писавшій ихъ одушевленъ самыми высокими чувствами и самою чистою любовью къ людямъ, мы ничего не имѣемъ сказать, какъ развѣ только повторить ему это изрѣченіе изъ *Фауста*:

Du gleichst dem Geist, den du begreifst.

[Тыходишь на духа, котораго понимаешь] <sup>1)</sup>.

Въ чемъ бы, впрочемъ, ни обвиняли Гете, но никогда еще никто не упрекалъ его въ томъ, чтобъ онъ когда-либо ослабѣвалъ въ своихъ стремленіяхъ къ всестороннему саморазвитію и въ своихъ усиліяхъ содѣйствовать просвѣщенію своего народа. Последніе годы его жизни представляютъ зрѣлище поистинѣ великое; сколько въ нихъ спокойствія и вмѣстѣ какая неутомимая дѣятельность! Его симпатіи не охлаждали съ годами, а напротивъ какъ будто съ году на годъ становились все живѣе и дѣятельнѣе. Каждый новый шагъ въ наукѣ, каждое новое явленіе въ литературѣ, всякій успѣхъ въ искусствѣ, все пробуждало въ немъ пылкую любознательность, какъ будто бы онъ былъ еще совершенный юноша, и на все откликался онъ, съ горячей готовностію содѣйствовать, по мѣрѣ силъ своихъ, и словомъ и дѣломъ.

---

<sup>1)</sup> Мыъ рассказывали анекдотъ, какъ однажды Карлейль, на одномъ обѣдѣ въ Берлинѣ, столь свойственной ему саркастической выходкой заставилъ умолкнуть своихъ собесѣдниковъ, пустившихся въ разглагольствованіе о недостаткѣ религіи у Гете. Между тѣмъ какъ нѣкоторые благочестивые собесѣдники, воздымая глаза и вздыхая, выражали сѣтованія, что такой великій, такой богоподобный геній не посвящаетъ себя на служенію Христіанской истинѣ,—Карлейль сначала молчалъ, только хмурился и крутилъ салетку въ рукахъ, и наконецъ съ обычной ему медленностію и выразительностію проговорилъ: «Meine Herren! Слыхали ли вы исторію, какъ одинъ человѣкъ порицалъ солнце за то, что оно не зажигало ему сигары? Этотъ сарказмъ заставилъ умолкнуть благочестивыхъ собесѣдниковъ. Ни одинъ изъ нихъ не возразилъ Карлейлю ни слова. «Я готовъ былъ разцѣловать его»—воскликнулъ съ энтузіазмомъ артистъ, рассказывавшій мыъ этотъ анекдотъ.

Конечно, старческий возраст не имѣетъ точно определенной границы, и Гете въ семьдесятъ лѣтъ былъ моложе, чѣмъ другіе въ пятьдесятъ. Осьмидесяти двухъ лѣтъ написалъ онъ научный обзоръ знаменитаго спора между Бювье и Жоффруа С.-Илеромъ о сравнительной зоологіи, какой весьма немногіе въ состояніи написать даже и во всемъ цвѣтѣ своихъ силъ. Впрочемъ нѣкоторые физиологи утверждаютъ, что, говоря вообще, человѣкъ въ семьдесятъ лѣтъ еще не старъ. Такъ напр. Флурансъ говоритъ, что между пятидесятью пятью и семидесятью годами человѣкъ находится въ самомъ полномъ обладаніи своихъ способностей, а Реveille Париссъ (Reveille Parisse) въ своемъ сочиненіи *La Vieillesse* утверждаетъ, что между пятидесятью пятью и семидесятью пятью годами способности человѣка достигаютъ самаго высокаго развитія, — *c'est véritablement l'homme ayant atteint toute la hauteur de ses facultés*. Исторія наукъ и литературы представляетъ нѣсколько поразительныхъ примѣровъ умственной дѣятельности въ старческомъ возрастѣ. Такъ напр. Софоклъ написалъ лучшее свое произведеніе на осьмидесятомъ году. Умственные силы нерѣдко сохраняются до самыхъ преклонныхъ лѣтъ и даже какъ будто не перестаютъ возрастать по мѣрѣ возрастанія матеріала. Иное дѣло — творческая способность. Но у Гете даже и творческая способность удивительно сохранилась до самаго конца его жизни. Вторая часть *Фауста* была имъ окончена на восемьдесятъ первомъ году, *West-östliche Divan* былъ написанъ на шестьдесятъ пятомъ году, и хотя эти произведенія нельзя, конечно, сравнивать съ его прежними произведеніями, тѣмъ не менѣе они представляютъ въ высшей степени замѣчательный примѣръ поэтическаго творчества въ такіе престарѣлые годы.

*West-östliche Divan* былъ писанъ въ смутное время. Въ изученіи исторіи и поэзіи востока поэтъ находилъ себѣ убѣжище отъ политическихъ тревогъ. Онъ въ это время началъ даже изучать восточные языки и ему доставляло большое удовольствіе, когда онъ научился довольно удачно копировать красивыя письма Арабскихъ манускриптовъ. Фонъ-Гаммеръ, Де-Саси и другіе ориенталисты доставляли ему богатый матеріалъ, а поэтическое его творчество не замедлило облечь этотъ матеріалъ въ поэтическую форму. Но какъ ни рядился онъ въ тюрбанъ, тѣмъ не менѣе все .



такимъ оставался истымъ нѣмцемъ. Могъ онъ курить опиумъ, могъ пить Foukah, но не могъ стать не нѣмцемъ, — его сны были все-таки сны нѣмца и пѣсни его были чисто нѣмецкія. Въ этомъ и состоитъ особенность этого произведенія. Оно дѣйствительно есть западно-восточное: образы въ немъ восточные, а чувства западныя. Какъ нѣкогда, погружаясь въ классическій міръ, онъ воспроизвелъ его формы въ *Римскихъ элегіяхъ* съ неподражаемымъ совершенствомъ, ни на минуту не переставая въ тоже время быть оригинальнымъ, ни на минуту не переставая быть нѣмцемъ, такъ и теперь, погружаясь въ восточный міръ, слѣдуя за караваномъ въ его медленномъ движеніи по степи, слушая меланхолическую пѣснь восточнаго соловья надъ журчащимъ ключемъ, благоговѣнно внимая поученіямъ Магомета, восторгаясь звуками Гафиза, онъ все-таки остается западнымъ поэтомъ. Тѣмъ неменѣе его *West-östliche Divan* есть произведеніе весьма удачное и составило эпоху въ нѣмецкой литературѣ. Нѣмецкіе лирики сейчасъ же послѣдовали примѣру нѣмецкаго Гафиза, — воинственные пѣсни умолкли и отовсюду слышались пѣсни востока. Рюкертъ и Платенъ начали воспѣвать розы и газели. Другіе стали подражать имъ. Замѣчательно, что въ двѣ великія эпохи Германской исторіи, во времена крестовыхъ походовъ и въ войну за независимость, Германскіе поэты черпали свое вдохновеніе не изъ шумныхъ событій, совершавшихся кругомъ нихъ, а изъ иной совершенно сферы. Миннезингеры воспѣвали только любовь и наслажденіе, между тѣмъ какъ кругомъ ихъ раздавался звукъ оружія и совершались великіе рыцарскіе подвиги, а поэты новой Германіи, среди великой Европейской борьбы, находили вдохновеніе только въ романтизмъ или ориентализмъ. Не слѣдуетъ ли изъ этого заключить, что нерасположеніе къ дѣятельной политической жизни составляетъ характеристическую принадлежность Германіи? Во всякомъ случаѣ это обстоятельство тѣмъ болѣе заслуживаетъ вниманіе, что были люди, которые язвительно укоряли Гете «въ бѣгствѣ на востокъ». Но можно ли это ставить въ укоръ старику поэту, когда тоже самое дѣлали молодые поэты и ихъ не укоряли, а восхваляли?

*West-östliche Divan* состоитъ изъ двѣнадцати писемъ, которыя весьма разнообразны по содержанію, а также не мало различаются и по своимъ поэтическимъ достоинствамъ. Эпиграфъ

въ книгѣ Гафиза можетъ быть по справедливости приписанъ къ самому автору:

Sei das Wort die Braut genannt,  
Bräutigam der Geist;  
Diese Hochzeit hat gekannt,  
Wer Hafisen preis't.

Мы не можемъ сказать, насколько въ этихъ восточныхъ формахъ высказалось пережитое самимъ поэтомъ; замѣтимъ только, что въ книгѣ Зулейки стоитъ имя Hatem, между тѣмъ какъ рима требуетъ поставить имя Гете:

Du beschämst, wie Morgenröthe,  
Jener Gipfel ernste Wand  
Und noch einmal fühlet Hatem  
Frühlingshauch und Sommerbrand.

Многія стихотворенія, входящія въ составъ этого произведенія, отличаются необыкновенно граціозной прелестью; другія чаруютъ васъ привѣтливо улыбающейся житейской мудростію; то вы находитесь среди безмятежной, жаркой, полуденной тишины, то вдругъ поэтъ переноситъ васъ къ беззаботной веселости. Вообще поэтическія достоинства этихъ стихотвореній рѣшительно не воспроизводимы въ переводѣ. Для знающихъ нѣмецкій языкъ приведу хотя одинъ коротенькій отрывокъ, чтобы они могли составить себѣ понятіе о ихъ поэтичности:

Trunken müssen wir alle seyn!  
Jugend ist Trunkenheit ohne Wein;  
Trinkt sich das Alter wieder zur Jugend,  
So ist es wundervolle Tugend.  
Für Sorgen sorgt das liebe Leben,  
Und Sorgenbrecher sind die Reben.

Къ *West-östliche Divan* приложены пространныя историческія примѣчанія, которыя, конечно, свидѣлствуютъ о добросовѣстномъ изученіи имъ востока, но въ тоже время ярко выставляютъ всю слабость его прозы по сравненію съ превосходными достоинствами его стиха. Въ этой прозѣ едва ли не каждая строка говоритъ вамъ о старческомъ возрастѣ писавшаго.

Въ первыхъ главахъ своей *Автобіографіи* Гете помѣстилъ описаніе Франкфурта, весьма польстившее Франкфуртскимъ гражданамъ, и когда въ 1814 г. онъ проѣзжалъ черезъ этотъ городъ

франкфуртцы приняли его съ такими оваціями, которыя напоминають пріемъ, оказанный Парижемъ Вольтеру въ послѣдній его пріѣздъ туда. Въ честь гостя устроено было театральное представленіе, обставленное съ большою пышностію. Давался *Tasso*. Какъ только Гете показался въ приготовленной для него ложѣ, убранной цвѣтами и лаврами, оркестръ заигралъ симфонію Гайдена и театръ огласился восторженными криками, которые заглушали оркестръ. Наконецъ взвился занавѣсъ и въ театрѣ мало по малу установилась тишина. Представленіе началось прологомъ, заключившимъ въ себѣ привѣтствіе великому поэту, которое послужило сигналомъ къ новому шумному взрыву энтузіазма. По окончаніи *Tasso* слѣдовалъ эпилогъ. Съ бюстовъ Аріоста и Тасса сняты были лавровые вѣнки и переданы Гете. По окончаніи представленія густая толпа поклонниковъ восторженно привѣтствовала поэта въ корридорахъ и на лѣстницахъ театра.

## ГЛАВА VI.

### Дѣятельность старика Гете.

Въ 1816 г. Гете началъ издавать журналъ *Kunst und Alterthum* и продолжалъ его до 1828 г. Это изданіе составляетъ въ высшей степени любопытный памятникъ дѣятельности старика-поэта и свидѣтельствуетъ, что въ его воззрѣніяхъ на искусство произошла въ это время замѣчательная перемѣна. Мы видѣли, какъ относился онъ къ романтической школѣ. И по своей природѣ и по воспитанію онъ былъ предрасположенъ отдавать преимущество классицизму передъ романтизмомъ, и это его направленіе выразилось въ *Пропилеяхъ*. Въ новомъ же журналѣ: *Kunst und Alterthum* замѣтенъ до нѣкоторой степени поворотъ къ романтизму. Готическое искусство, древняя нѣмецкая живопись, нидерландская школа получили теперь въ его глазахъ достоинства, которыхъ прежде не имѣли. Но когда въ 1818 г. появились знаменитые слѣпки со скульптурныхъ произведеній, украшавшихъ Партеононъ, въ поэтѣ снова ожилъ во всей силѣ прежній его энтузіазмъ къ тому совершенству формы, которая составляетъ идеаль

греческаго искусства <sup>1)</sup>, и я слышалъ отъ скульптора Рауха довольно юмористическій разсказъ, какъ поэтъ съ горячностью выражалъ свое негодование противъ молодаго скульптора Ричеля, что тотъ, какъ ему казалось, губить свой талантъ, увлекаясь духомъ романтической школы.

При всемъ однако нерасположеніи къ такъ-называемому христіанскому искусству, въ немъ было слишкомъ много фаустовскаго духа, чтобъ онъ могъ оставаться совершенно чуждымъ романтизму. Съ годами разсудокъ все болѣе и болѣе заступалъ мѣсто вдохновенія и въ тоже время наклонность къ мистификаціи, проявлявшаяся въ немъ и прежде, достигла теперь такихъ размѣровъ, что онъ даже и самого себя едвали не столько же мистифицировалъ, какъ и другихъ. Его соотечественники съ такимъ упорствомъ отыскивали въ его произведеніяхъ глубоко сокрытый смыслъ даже тамъ, гдѣ онъ самъ вовсе и не подозрѣвалъ ничего подобнаго, и съ такой настойчивостью придавали его произведеніямъ какое-то пророческое значеніе, что это наконецъ ввело поэта въ соблазнъ, и онъ принялся пророчествовать, такъ какъ уже не могъ быть такимъ великимъ поэтомъ, какимъ былъ прежде. Каждой мелочи, каждой фразѣ придавалось особенное значеніе, напр. долженъ ли левъ (въ *Novelle*) въ такое-то время издавать ревъ или безмолвствовать, служило поводомъ къ длиннымъ соображеніямъ. *Wanderjahre* и вторая часть *Фауста* представляютъ настоящій арсеналъ символовъ. Престарѣлому поэту доставляло удовольствіе видѣть, какъ глубокомысленные критики, наперерывъ одинъ передъ другимъ, старались выказать дальновидную проницательность въ своихъ объясненіяхъ *Фауста* и *Мейстера*, а между тѣмъ самъ онъ лукаво сохранялъ молчаніе и отказывался придти къ нимъ на помощь. Накоплялись цѣлыя бібліотеки изслѣдованій о томъ, что онъ «хотѣлъ сказать», но ничто не могло побудить его нарушить молчаніе, тогда какъ его объясненіе сразу положило бы конецъ всѣмъ спорамъ. Не только не обнаруживалъ онъ ни малѣйшаго желанія разъяснить возникавшія недоразумѣнія, но, повидимому, находилъ даже удовольствіе постоянно задавать проницательности критиковъ новыя задачи. Однимъ словомъ онъ мистифицировалъ публику, и дѣ-

<sup>1)</sup> *Life of Haydon*, vol. II, p. 295

лалъ это такъ серьезно, даже какъ-бы полусознательно, что и самъ до нѣкоторой степени вдавался въ свою собственную мисти-фикацію.

Въ 1816 г. Саксенъ-Веймаръ былъ возведенъ на степень Великаго Герцогства. При этомъ случаѣ Гете получилъ орденъ Сокола и прибавку жалованья. Теперь его жалованье простиралось до трехъ тысячъ талеровъ и кромѣ того ему выдавались добавочныя на экипажъ. Этотъ 1816 г. ознаменовался для Гете еще двумя другими достопамятными для него событіями. Лотта, Вертеровская Лотта, теперь шестидесятилѣтняя вдова и мать двѣнадцати дѣтей, посѣтила поэта въ Веймарѣ. Они не встрѣчались по выходѣ Лотты замужъ. Какія чувства должны были заговорить въ нихъ теперь при этой встрѣчѣ! Какіе разговоры о далекомъ прошломъ, какое удивленіе видѣть другъ друга столь измѣнившимися! Другое, достопамятное въ жизни Гете событіе, совершившееся въ томъ же году,—смерть его жены. Люди, склонные судить о другихъ по самимъ себѣ и оцѣнивать подобныя утраты съ личной своей точки зрѣнія, не справляясь съ чувствами понесшаго утрату, видѣли въ этомъ событіи для поэта «счастливое избавленіе». Но эта утрата глубоко отозвалась въ душѣ поэта. Двадцать восемь лѣтъ прожили они вмѣстѣ; она любила его, заботилась о немъ, и какіе бы ни были ея недостатки, но она все-таки была для него тѣмъ, чѣмъ не была ни одна другая женщина, и ея смерть была для Гете тяжелымъ ударомъ. Одно время онъ совершенно потерялъ обычное свое самообладаніе, бросался на колѣни у ея постели, цѣловалъ ея холодныя руки, восклицая: «Ты меня не оставишь! Нѣтъ, нѣтъ, ты не оставишь меня!» Скорбь его выразилась въ этихъ прекрасныхъ строкахъ, которыя въ собраніи его стихотвореній озаглавлены днемъ ея смерти (6 іюня):

Du versuchst, o Sonne, vergebens  
Durch die düstern Wolken zu scheinen!  
Der ganze Gewinn meines Lebens  
Ist ihren Verlust zu beweinen.

[Напрасно, солнце, стараешься ты свѣтить сквозь мрачныя тучи!  
Вся отрада моей жизни — оплакивать ея потерю.]

Кромѣ того выраженіе этой скорби мы находимъ въ письмѣ къ

Цельтеру: «Если я тебѣ, человѣку многоиспытанному, скажу, что жена моя меня оставила, ты поймешь, что это значитъ.» Въ занятіяхъ наукой старался онъ заглушить свое горе.

Въ слѣдующемъ году осыротѣлый домъ его оживился вслѣдствіе женитьбы его сына на Оттиліи фонъ-Погвичъ, которая была одною изъ самыхъ веселыхъ и самыхъ блистательныхъ женщинъ веймарскаго общества. Гете очень полюбилъ свою невесту. Она не только хозяйничала у него въ домѣ и принимала многочисленныхъ его гостей, но и сдѣлалась привилегированной его любимицей, для которой все было дозволено. Вскрѣсь поэтъ сдѣлался дѣдушкой и написалъ колыбельную пѣснь для своего внука.

Служебныя обязанности Гете были не тяжелы, и онъ ихъ исполнялъ съ чрезвычайной точностью. Приведемъ здѣсь два анекдота, относящіеся къ этому времени, которые въ яркомъ свѣтѣ выставляютъ его настойчивый и рѣшительный характеръ. Одинъ изъ этихъ анекдотовъ онъ самъ рассказывалъ Эккерману. Вотъ его рассказъ, какъ передаетъ его Эккерманъ: «Іенская бібліотека находилась въ состояніи весьма жалкомъ. Ея помѣщеніе было сыро, тѣсно, вообще совершенно не пригодно, особенно когда къ ней прибавилось 13,000 томовъ Бютнеровской бібліотеки, которую купилъ для нея Великій Герцогъ. Однимъ словомъ помѣщеніе было такъ плохо, что книги просто валялись кучами на полу за неимѣніемъ мѣста, гдѣ ихъ разставить. Я былъ очень озабоченъ, какъ помочь этому обстоятельству. Сдѣлать новую пристройку не позволяли средства. Притомъ представлялась возможность помочь горю не прибѣгая къ такому значительному расходу; какъ разъ къ помѣщенію бібліотеки прилежала большая зала, которая стояла совершенно пустая, и оказалось, что если занять ее подъ бібліотеку, то помѣщеніе будетъ совершенно достаточное. Но, къ сожалѣнію, эта зала принадлежала не бібліотекѣ, а медицинскому факультету, который, по временамъ, собирался въ ней на свои конференціи. Поэтому я обратился къ членамъ факультета съ покорнѣйшей просьбой: уступить залу для бібліотеки, но они на это не соглашались. Правда, они соглашались, но съ тѣмъ, чтобы я сейчасъ же выстроилъ имъ для ихъ конференцій другую такую же новую залу. Я отвѣчалъ имъ, что готовъ позаботиться прискаты имъ другое помѣщеніе, но не могу обѣщать выстроить сейчасъ же

новую залу. Мой отвѣтъ показался имъ неудовлетворителенъ, и когда на другой день я послалъ просить ключъ отъ залы, мнѣ отвѣтили, что ключа нигдѣ не могли найти. Послѣ этого ничего мнѣ больше не оставалось дѣлать, какъ завоевать залу. Призвалъ я каменщика и сказалъ ему: «любезный другъ! стѣна эта должна быть довольно толста, но попробуй, какъ-то она крѣпка». Каменщикъ живо принялся за работу и едва успѣлъ онъ сдѣлать пять или шесть хорошихъ ударовъ, какъ посыпались известъ и кирпичъ, и сквозь образовавшееся отверстіе можно было уже разглядѣть нѣкоторые почтенные парики, украшавшіе залу. «Продолжайте, любезный другъ, — поощрялъ я каменщика, — тутъ еще не довольно ясно видно. Не стѣсняйтесь, распоряжайтесь рѣшительнѣе, какъ еслибы вы распоряжались у себя дома». Послѣ этого поощренія каменщикъ принялся за работу съ усиленнымъ рвеніемъ и въ короткое время образовалось отверстіе, достаточно широкое, чтобъ служить вмѣсто двери. Служители библіотеки, набравъ охапки книгъ, сейчасъ же вошли чрезъ отверстіе въ залу и свалили книги на полъ въ знакъ принятія залы въ свое владѣніе. Скамьи, кресла, бюитры, все исчезло въ одно мгновеніе, и мои вѣрные помощники работали такъ ревностно и неутомимо, что въ теченіе нѣсколькихъ дней всѣ книги были разставлены въ отличнѣйшемъ порядкѣ, какого только можно было желать. Представьте себѣ, какъ должны были изумиться почтенные члены факультета, когда, собравшись in согроге, вошли въ залу обыкновенной дверью и вдругъ увидали въ ней такое неожиданное для нихъ превращеніе. Они не знали, что сказать, и ушли молча, но въ тайнѣ были противъ меня сильно озлоблены. Когда я рассказалъ объ этомъ Великому Герцогу, онъ смѣялся отъ всей души и совершенно меня одобрялъ. Вслѣдъ затѣмъ случилось со мной еще промѣшествіе въ такомъ же родѣ. Помѣщеніе библіотеки было весьма сыро и для устраненія этого неудобства надо было, между прочимъ, сломать и снести часть совершенно бесполезной старой городской стѣны. Всѣ мои просьбы объ этомъ, всѣ мои доводы оставались безъ вниманія, такъ что я наконецъ вынужденъ былъ и на этотъ разъ поступить, какъ завоеватель. Но какъ только присланные мною работники принялись за разломку стѣны, члены городского управленія отправили отъ себя депутацію къ Великому

Герцогу, находившемуся тогда въ Дорнбургѣ, со всеподданнѣйшей просьбой, дабы Его Высочество соизволилъ запретить мнѣ самовольное разрушеніе городской стѣны. Великій Герцогъ, втайнѣ уполномочивъ меня на этотъ поступокъ, отвѣчалъ депутаціи: «Я не виѣшиваюсь въ дѣла Гете. Онъ самъ знаетъ, что ему дѣлать, и долженъ поступать, какъ признастъ за наилучшее. Поговорите съ нимъ самимъ объ этомъ, если только у васъ хватить на это духу».

Другой анекдотъ рассказываетъ Люденъ. Когда, въ 1823 г., Веймарскій ландтагъ, приступивъ къ повѣркѣ финансовой отчетности, потребовалъ отчета въ суммѣ, ассигнованной для коммисіи по части наукъ и искусствъ, предсѣдателемъ которой былъ Гете, то Гете оставилъ это требованіе безъ вниманія и пришелъ даже въ негодованіе на ландтагъ, съ раздраженіемъ отзываясь о его якобы педантической щепетильности требовать отчета въ такой ничтожной суммѣ (11,787 талеровъ). Однако, въ концѣ концовъ требованіе ландтага надо было исполнить, и Гете прислалъ наконецъ отчетъ, но какой! Весь отчетъ заключался въ нѣсколькихъ строкахъ, въ которыхъ значилось: получено столько-то, израсходовано столько-то, осталось столько-то, — и затѣмъ слѣдовала подпись. При чтеніи этого отчета многіе изъ членовъ ландтага разразились громкимъ смѣхомъ, другіе же пришли въ негодованіе и предлагали даже отказать на будущее время въ ассигнованіи денегъ на этотъ предметъ. Это предложеніе имѣло большіе шансы быть принятымъ, такъ какъ ландтагъ вообще выказывалъ большое расположеніе къ экономіи, и Люденъ употреблялъ всѣ усилія, чтобъ отклонить ландтагъ отъ подобной мѣры. Въ тоже время въ своей рѣчи онъ настаивалъ на необходимости, чтобъ ландтагу былъ представленъ другой полный обстоятельный отчетъ, выставляя при этомъ на видъ, что это необходимо не потому, чтобъ было какое-нибудь сомнѣніе въ правильности сдѣланныхъ расходовъ, а потому, что вообще при повѣркѣ расходованія общественныхъ суммъ ландтагъ обязанъ удостовѣряться въ правильности расхода и ни въ какомъ случаѣ не можетъ полагаться на вѣру. Кромѣ того другой членъ съ своей стороны утверждалъ, что ландтагу недостаточно удостовѣряться, сколько денегъ получено и сколько израсходовано, но что ему необходимо убѣдиться, сдѣланъ ли расходъ на предметы,



истинно полезные и желательные, не было ли при этомъ фаворитизма, не было ли расходовъ излишнихъ.

Хотя засѣданія ландтага не были публичны, но пренія объ этомъ предметѣ сейчасъ же разгласились и сдѣлались темой общаго говора. Гете пришелъ въ сильное негодованіе. Привыкши всегда распоряжаться самовластно и безотчетно, онъ былъ крайне раздраженъ мыслию, что обязанъ теперь отдавать ландтагу отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ. Несмотря на то, что въ этомъ случаѣ онъ былъ очевидно неправъ, тѣмъ не менѣе ни герцогъ, ни герцогиня вовсе не были расположены принять сторону его противниковъ. Карлъ Августъ имѣлъ по этому случаю совѣщаніе съ президентомъ ландтага и горячо доказывалъ ему, что не слѣдуетъ дѣлать Гете подобныхъ оскорбленій. Герцогиня пригласила къ себѣ Людена съ тою же цѣлью. Вотъ какъ рассказываетъ Люденъ объ этомъ свиданіи: «Она говорила мнѣ съ той благородной простотой и съ тѣмъ импонирующимъ достоинствомъ, противъ которыхъ не устоялъ даже и Наполеонъ. Было бы очень прискорбно,—сказала она,—еслибъ нарушились наши добрыя отношенія, и для меня тѣмъ прискорбнѣе, что это очень огорчило бы великаго герцога. Безспорно, что ландтагъ совершенно правъ въ своемъ требованіи, но несомнѣнно также, что тайный совѣтникъ Гете не считаетъ себя неправымъ. Кромѣ всѣхъ писанныхъ законовъ и выше ихъ существуютъ еще особые законы — для поэтовъ и женщинъ. Вѣдь ландтагъ совершенно убѣжденъ въ томъ, что ассигнованная сумма дѣйствительно израсходована. Слѣдовательно весь вопросъ можетъ быть только о томъ, хорошо ли, цѣлесообразно ли она израсходована. Но не слѣдуетъ же забывать, какое положеніе и въ теченіе сколькихъ уже лѣтъ занимаетъ Гете въ свѣтѣ, въ своей странѣ, при дворѣ, при великомъ герцогѣ, — весьма естественно, что это положеніе повліяло на его взглядъ на вещи. Поэтому я нахожу весьма понятнымъ, что онъ считаетъ себя болѣе вправѣ, чѣмъ кто-либо другой, судить о цѣлесообразности расходования суммъ, предоставленныхъ въ его вѣдѣніе. Конечно, я не понимаю этихъ вещей и не беру на себя судить, кто правъ; я желаю только, чтобъ сохранились наши добрыя отношенія и чтобы старику Гете не дѣлали непріятности. Какъ этого достигъ, я не знаю; но во всякомъ случаѣ не вижу, чтобъ дѣйствительно суще-

ствовала опасность, что этотъ случай послужитъ прецедентомъ и что другія вѣдомства и правительственныя лица также стануть, по примѣру Гете, отказывать ландтагу въ представленіи своихъ отчетовъ. У насъ только одинъ Гете, и кто знаетъ, долго ли еще мы его сбережемъ, а другой Гете едвали найдется.» Трудно было устоять противъ такихъ доводовъ! Неудивительно, что Людентъ былъ побѣжденъ, и ландтагъ замолкъ въ своихъ требованіяхъ.

Не можемъ мы не привести здѣсь еще одного анекдота, который самъ по себѣ не такъ интересенъ, но одно время, и въ Германіи и въ Англіи, былъ поводомъ къ весьма нелѣпнымъ и въ высшей степени оскорбительнымъ для поэта толкамъ. Утверждали, будто Гете укралъ слитокъ золота. Читатель можетъ себѣ представить, какое негодованіе овладѣло мной, когда я въ первый разъ объ этомъ услышалъ. Это рассказывали какъ фактъ, который можетъ быть неоспоримо доказанъ. Я требовалъ доказательствъ, но доказательства конечно не являлись, а между тѣмъ клевета переходила изъ устъ въ уста. Мнѣ случилось объ этомъ слышать даже въ самомъ Веймарѣ. Я старался разъяснить себѣ, что могло подать поводъ къ подобной клеветѣ, и оказалось слѣдующее: Русскій Императоръ прислалъ для знаменитаго химика Деберейнера самородный кусокъ платины. Его передали Гете, который долженъ былъ отправить его въ Іену къ Деберейнеру. Гете, какъ извѣстно, имѣлъ большую страсть къ минераламъ и собиралъ коллекцію. Трудно было ему разстаться съ превосходнымъ экземпляромъ платины и онъ помѣстилъ его въ числѣ другихъ своихъ минералогическихкихъ рѣдкостей. Деберейнеръ между тѣмъ нетерпѣливо ждалъ присылки платины и наконецъ написалъ Гете письмо, прося поспѣшить ее выслать. Но письмо это осталось безъ отвѣта. Тогда Деберейнеръ написалъ къ нему вторично, и опять безъ успѣха. Такимъ образомъ знаменитый химикъ попалъ въ такое же положеніе, въ какомъ находился профессоръ Бютнеръ, какъ мы это, выше рассказали, когда ссудилъ Гете свои призмы и оптическіе инструменты. Гете все медлилъ и медлилъ отсылкой платины и никакъ не могъ рѣшиться съ ней разстаться. Наконецъ Деберейнеръ, потерявъ терпѣніе, пожаловался Великому Герцогу. Карлъ Августъ засмѣялся и отвѣтилъ ему: «оставимъ стараго чудака въ покоѣ!

Онъ вамъ никогда не отдастъ платину. Я попрошу императора, чтобъ прислалъ другой экземпляръ.»

Упомянемъ здѣсь кстати, что однажды—это было еще въ ранній геніальный періодъ, взявъ онъ у Кнебеля до сотни гравюръ Альбрехта Дюрера, чтобъ разсмотрѣть ихъ дома на свободѣ, и потомъ эти гравюры никогда уже не возвращались къ Кнебелю. Подобные случаи могутъ быть, конечно, съ полною основательностію подведены подъ одну общую категорію съ нерѣдко встрѣчающимися случаями самовольнаго присвоенія чужихъ книгъ, зонтиковъ и т. п., но я вовсе не имѣю желанія ихъ оправдывать или извинять. Осуждайте эти поступки со всею строгостію, какой только они, по вашему мнѣнію, могутъ заслуживать, но не говорите же, что Гете *украдъ!*

Занятія старика были чрезвычайно разнообразны: съ Деберейнеромъ слѣдилъ онъ за новыми открытіями, которыми въ то время химія изумляла міръ,—приготовлялъ къ печати свое сочиненіе о метеорологіи, изучалъ греческую міеологию, англійскую литературу, готическое искусство, писалъ для своего журнала *Kunst und Alterthum* обзоръ *Манфреда*, привѣтствуя Байрона, какъ величайшаго поэта новыхъ временъ,—читалъ Скотта и проникался къ нему все большимъ и большимъ удивленіемъ. Гомеръ, бывшій для него всегда источникомъ высокаго наслажденія, теперь снова для него ожилъ въ своей индивидуальности,—Шуберта *Ideen über Homer* воскресили въ немъ вѣру въ существованіе «спящаго старика на утесистомъ Хіосѣ» <sup>1)</sup>. Живопись, скульптура, архитектура, геологія, метеорологія, анатомія, оптика, восточная литература, англійская литература, Кальдеронъ, французская романтическая школа, — всѣ эти предметы поочереды давали пищу его неутомимой дѣятельности. «Жизнь—говорилъ онъ — походить на Сивиллины кнпки,—она становится тѣмъ дороже для насъ, чѣмъ меньше намъ остается жить.» Не могла не быть дорога жизнь человѣку, который до самой послѣдней минуты умѣлъ пользоваться ею столь достойнымъ образомъ. Чѣмъ старѣе онъ становился, тѣмъ прилежнѣе работалъ. Общество теперь посѣщалъ онъ весьма мало, ко двору являлся весьма рѣдко. «Я не послалъ тебѣ картину — пи-

<sup>1)</sup> См. небольшое стихотвореніе: *Homer wider Homer*.

шетъ ему герцогъ, — надѣйся тебя этимъ выманить, но вотъ и Срѣтеніе прошло, когда даже всѣ медвѣди и барсуки выходятъ изъ своихъ логовищъ, а тебя все не видать.» Но если онъ самъ рѣдко являлся ко двору, за то герцогъ и герцогиня часто посѣщали его. Герцогиня бывала у него разъ каждую недѣлю и иногда приводила къ нему царственныхъ гостей, въ числѣ которыхъ мы можемъ упомянуть Русскаго Императора Николая, бывшаго тогда еще великимъ княземъ, и Короля Виртембергскаго. Карлъ Августъ также часто посѣщалъ Гете, но для этихъ посѣщеній не было никакихъ опредѣленныхъ дней. Герцогъ имѣлъ обыкновеніе входить безъ доклада въ кабинетъ поэта и тутъ засиживался въ дружеской съ нимъ бесѣдѣ. Однажды сидѣлъ у Гете одинъ студентъ изъ Іены; въ это время вошелъ въ кабинетъ безъ доклада какой-то старикъ и усѣлся на кресло; студентъ продолжалъ начатый разговоръ и какъ только кончилъ, Гете спокойно сказалъ: «надо васъ познакомить, — Его Высочество Великій Герцогъ Саксенъ-Веймарскій, — Г. Н. Н., студентъ Іенскаго университета.»

Въ 1821 г. вышло первымъ изданіемъ *Wilhelm Meister's Wanderjahre*. Мы остановимся теперь на этомъ произведеніи, такъ какъ сдѣланныя къ нему впослѣдствіи прибавки только увеличили его недостатки.

Конечно, въ *Wanderjahre* есть мѣста, которыя могъ написать только Гете, но, рассматриваемое въ цѣломъ, это произведеніе есть ни что иное какъ сборникъ отдѣльныхъ очерковъ, изъ которыхъ многіе написаны только вчернѣ и даже не заслуживаютъ, чтобъ тратить трудъ на ихъ обдѣлку. Различныя части этого произведенія имѣютъ весьма различныя достоинства: одни изъ нихъ весьма слабы, а другія весьма хороши. Разсказъ о пятидесятилѣтнемъ человѣкѣ имѣетъ капитальные достоинства. *Новая Мелузина* есть прелестная волшебная сказка. Но все, чему придаютъ въ этомъ произведеніи символическое значеніе, имѣетъ въ моихъ глазахъ только чисто фантастическій характеръ. Задумано это произведеніе слабо, выполнено съ небрежностью, переходящей даже всякія границы. Нетолько различные мелкіе разсказы подшиты къ цѣлому самымъ неискуснымъ образомъ, какъ дозвоительно развѣ только юношѣ, но и самыя эти разсказы по большей части скучны, а иногда даже просто тривіальны. Разсказъ *Nicht zu weit*

начинается довольно живо, но не имѣетъ конца, и замѣтите: этотъ рассказъ не есть отрывокъ, — авторъ обѣщаетъ даже дать конецъ, но между тѣмъ конца этого читатель не находитъ. Подобная небрежность со стороны автора, имѣвшаго столь высокое понятіе объ искусствѣ, по-истинѣ изумительна. Уже лучше было бы напечатать отдѣльно столь безсвязные и неискусно склеенные между собой рассказы, и если авторъ чувствовалъ себя не въ силахъ выполнить задуманную тему, то лучше было бы издать *Wanderjahre* въ неоконченномъ видѣ какъ отрывокъ, или даже наконецъ вовсе не печатать.

Не трудно найти въ этомъ произведеніи дѣйствительно превосходныя мѣста; не трудно придать какое хотите глубокомысленное толкованіе обильно разлитому въ немъ символическому мраку; но, признаюсь, при всемъ моемъ удивленіи къ гению Гете, это произведеніе стоитъ весьма низко въ моихъ глазахъ: оно дурно написано, дурно задумано, дурно выполнено. Я не намѣренъ вступать по этому случаю въ споръ съ людьми, которые находятъ его превосходнымъ, но искренность требуетъ сказать, что я нахожу въ немъ всѣ недостатки, какіе только можетъ имѣть литературное произведеніе; оно непонятно, скучно, безсвязно и, за исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстъ, весьма плохо написано. Когда читаешь нѣкоторые отрывки, то до такой степени поражаешься ихъ глубокомысліемъ и красотой, что сомнѣваешься въ правильности своей оцѣнки, но, перечитывая вновь все произведеніе, снова возвращаешься къ прежнему мнѣнію. Вашингтонъ Ирвингъ говоритъ, что въ эпизодѣ о трехъ религіяхъ больше истинной религіи, чѣмъ во всѣхъ богословскихъ писаніяхъ нашего времени. Карлейль не разъ указывалъ на глубокомысліе нѣкоторыхъ страницъ. И не можетъ же, въ самомъ дѣлѣ, произведеніе, вышедшее изъ-подъ пера Гете, не имѣть въ себѣ ничего хорошаго! Но нѣсколькихъ хорошихъ мѣстъ недостаточно, чтобъ составить хорошее произведеніе, — и могло ли выйти что-нибудь хорошее при такомъ способѣ писанія, какой былъ примѣненъ къ *Wanderjahren*, какъ это рассказываетъ Эжерманъ: «Принимаясь за передѣлку этого романа, появившагося первоначально въ одномъ томѣ, Гете намѣревался увеличить его до двухъ томовъ, но потомъ ему показалось, что выйдетъ больше. Писарь его писалъ очень разгониисто и это ввело его въ за-

блужденіе. Онъ думалъ, что выйдетъ не два, а три тома, и согласно съ этимъ предположеніемъ издатели приступили къ изданію. Когда значительная часть уже была отпечатана, оказалось, что Гете ошибся и что два послѣдніе тома будутъ очень малы. Издатели стали просить еще рукописи, а между тѣмъ сдѣлать въ романѣ какія-либо измѣненія, чтобъ увеличить его размѣръ, не было уже возможности и время не позволяло написать и включить въ него какіе-нибудь новые рассказы. Такимъ образомъ Гете попалъ въ положеніе довольно затруднительное. Въ такихъ обстоятельствахъ прислалъ онъ за мною, рассказалъ въ чемъ дѣло и объявилъ, что придумалъ выйти изъ затрудненія слѣдующимъ образомъ, указывая при этомъ на двѣ большія связки рукописей: «въ этихъ двухъ связкахъ—сказалъ онъ—вы найдете равныя до сихъ поръ незамѣченные вещи, оконченныя и неоконченныя, различные отрывки о естествознаніи, искусствѣ, литературѣ и т. п., все это безъ всякаго порядка. Не возьметесь ли выбрать отсюда подходящаго матеріала на шесть или восемь печатныхъ листовъ для включенія въ *Wanderjahre*. Строго говоря между этими рукописями и *Wanderjahre* нѣтъ рѣшительно ничего общаго, но кое-что изъ нихъ можно включить туда подъ предлогомъ, что это сохранилось отъ Макарьевского архива, о которомъ тамъ говорится. Такимъ образомъ не только устранится затрудненіе, но и представится удобный случай напечатать нѣкоторыя интересныя вещи.» Я одобрилъ планъ, принялся немедленно за работу и окончилъ ее въ самое непродолжительное время. Гете, повидимому, былъ очень доволенъ моею работой. Я сгруппировалъ выбранный матеріалъ въ два главные отдѣла; одному изъ нихъ мы дали заглавіе: «Изъ Макарьевского архива», а другому: «Въ духѣ странника»,—и такъ какъ Гете въ это время только-что окончилъ два довольно значительныя стихотворенія: *Cherch' Schillers* и *Kein Wesen kann zu Nichts zerfallen*, то пожелалъ и ихъ скорѣе напечатать, и мы помѣстили ихъ въ концѣ обоихъ отдѣловъ. При появленіи *Wanderjahre* публика пришла въ немалое недоумѣніе. Ходъ романа на каждомъ шагѣ прерывался разными энигматическими изрѣченіями, которыя могли быть понятны только специалистамъ, какъ напр. художникамъ, естествоиспытателямъ, литераторамъ, но остальнымъ читателямъ и особенно читательницамъ, должны были казаться

весьма неумѣстными. Мало также понимала публика и помянутыя два стихотворенія и недоумѣвала, зачѣмъ они тутъ попали. Все это смѣшило Гете.»

Послѣ этого разсказа излишни всякія критическія замѣчанія. Еслибъ Гете уважалъ публику, или еслибъ онъ жилъ въ Англіи или во Франціи, гдѣ рецензенты имѣютъ надъ писателями нѣчто въ родѣ полицейскаго надзора, то не рѣшился бы онъ такъ мистифицировать публику и не захотѣлъ бы рисковать своей репутаціей.

Но впрочемъ и въ Германіи не ушелъ онъ совсѣмъ отъ кары. Публика была мистифицирована, но не была довольна его произведеніемъ. Даже друзья были имъ недовольны. Однимъ словомъ оно нигдѣ не нашло себѣ одобренія. Только писатели нашего времени умудрились найти въ немъ какую-то социальную Библію, нѣчто въ родѣ Сивиллиной книги. Первые отзывы неодобренія слышались отъ ближайшихъ даже друзей поэта, но эти неодобрительные отзывы были такъ умѣренны, что ихъ можно назвать даже похвалою по сравненію съ тѣми нападками, которые по этому случаю посыпались на него со стороны враговъ. Нѣкто Пусткухенъ (Pustkuchen), бывшій пасторомъ въ Лимѣ, написалъ пародію на *Wanderjahre* въ подраженіе пародіи Николаи на Вертера, но только въ болѣе серьезномъ тонѣ. Въ этой пародіи Гете былъ выставленъ какъ человѣкъ, ненавидящій всѣхъ добрыхъ христіанъ. Въ то время это служило какъ-бы лозунгомъ для извѣстной партіи — утверждать, что Гете не христіанинъ, точно также какъ впоследствии сдѣлалось лозунгомъ другой партіи — утверждать, что Гете не патриотъ, а потомъ явился Менцель и превозгласилъ, что Гете не только не христіанинъ и не патриотъ, но даже и не гений, а просто человѣкъ съ талантомъ. Гете удовольствовался, отвѣтивъ Посткухену эпиграммой. Онъ говорилъ о своихъ врагахъ:

Hätten sie mich beurtheilen können

So wär'ich nicht was ich bin.

[Еслибъ они были въ состояніи судить обо мнѣ, то я не былъ бы такимъ, каковъ я есть.]

Es bellt der Spitz aus unserm Stall

Und will uns stets begleiten,

Und seiner lauten Stimme Schall

Beweist nur dass wir reiten.

[Шапка громко лаетъ и хочетъ насъ сопровождать. Ея громкій лай свидѣтельствуешь только, что мы ѣдемъ.]

Между тѣмъ какъ среди его соотечественниковъ постепенно возрастала противъ него оппозиція, съ которою, конечно, не могли помирить его подобныя произведенія, какъ *Wanderjahre* — слава его начала распространяться въ чужихъ краяхъ, въ Англіи, Италіи, Франціи. Живое сочувствіе, съ какимъ онъ относился къ наиболѣе выдающимся произведеніямъ иностранныхъ литературъ, нашло себѣ взаимность, и люди, какъ Манцони, Скоттъ, Байронъ, Карлейль, Стапферъ, Амперъ, Соретъ и др., выражали высокое уваженіе къ германскому поэту. Съ большимъ жаромъ заступился онъ за Манцони противъ непріязненныхъ къ нему критиковъ, и Манцони признаеть, что это заступничество обезпечило ему европейскую славу: «Гете обязанъ я похвалами, которыя мнѣ теперь воздаютъ. На меня дурно смотрѣли, пока онъ великодушно не заступился за меня, а съ тѣхъ поръ не только измѣнилось общее обо мнѣ мнѣніе, но и мнѣ самому мои произведенія представились въ совершенно новомъ свѣтѣ.» Извѣстно, какое высокое уваженіе питалъ Гете къ Байрону и какъ гордился этимъ Байронъ.

Занятія Гете не ограничивались литературой. Блистательное открытіе Эрштедта возбудило въ немъ сильный интересъ и онъ обратился къ Деберейнеру за объясненіемъ ему электроманнетизма, а вскорѣ потомъ его посѣтилъ и самъ Эрштедтъ. Замѣчательныя анатомическія изслѣдованія Д'Альтона онъ привѣтствовалъ со всѣмъ пыломъ юнаго рецензента. Кромѣ того въ это время писалъ онъ записки о французской кампаніи, свои *Tages-und Jahreshefte*, разныя статьи объ искусствѣ, разныя мелкія стихотворенія, *Zahme Xenien*, переводилъ ново-греческія пѣсни и начертилъ планъ возстановленія сохранившейся только въ отрывкахъ Эврипидовой драмы *Фазтонъ*.

Очевидно, что престарѣлый Юпитеръ былъ еще полонъ жизни. И физически онъ оставался замѣчательно крѣпокъ; корпусъ его вполне сохранялъ обычную свою массивность и прямизну; на лбу почти ни одной морщины; на головѣ ни малѣйшихъ признаковъ плѣши; въ глазахъ все тотъ же ослѣпительный блескъ, какъ и



въ былыя времена. Гуфеландъ говоритъ, что онъ не встрѣчалъ человека съ болѣе совершеннымъ организмомъ, что у Гете съ необычайной жизненностію соединялось необыкновенное равновѣсіе всѣхъ функций. «О немъ можно со всей справедливостію сказать, что характеристическая его особенность состояла въ гармоніи, съ какой у него работали всѣ его умственные способности, такъ что творческая сила воображенія у него постоянно находилась подъ руководствомъ разсудка. Тоже слѣдуетъ сказать и о физическихъ его способностяхъ: ни одна функция не преобладала у него надъ другой, а всѣ функции совмѣстно работали въ чудномъ равновѣсіи. Впрочемъ какъ въ умственномъ, такъ и въ физическомъ отношеніи творчество можно назвать преобладающею характеристическою чертою его организма. Питаніе и переработка крови совершались у него быстро и обильно. Даже и въ преклонной старости у него было много крови».

Не только жизнь вообще, но и эта жизнь жизни,—способность любить,—сохранялась у него до глубокой старости. *Quisquis amat, nulla est conditio senex*,—говоритъ Понтанусъ. Маркизь де Ласси превосходно замѣчаетъ, что утрата способности мечтать о любви есть признакъ приближенія вѣчнаго сна: «*Hélas, quand on commence à ne plus rêver, ou plutôt à rêver moins, on est près de s'endormir pour toujours*». И на семьдесятъ четвертомъ году жизни Гете былъ еще на столько молодъ, чтобъ влюбиться. Въ Маріенбадѣ познакомился онъ съ дѣвицею фонъ-Левецовъ и страстно въ нее влюбился. Она также воспылала къ нему не менѣе сильной страстью, и въ старикѣ-поэтѣ ожила вновь вся экзальтація Вертеровскаго періода,—думали, что онъ на ней женится и онъ дѣйствительно хотѣлъ жениться, но убѣжденія друзей и можетъ быть отчасти боязнь навлечь на себя насмѣшки удержали его отъ этого брака. Ему стоило большихъ усилій, чтобъ одолѣть эту страсть. Маріенбадскія элегіи, написанныя въ экипажѣ, уносившемъ его отъ предмета любви, свидѣлствуютъ, какъ сильно онъ любилъ и страдалъ.

Не одна дѣвица фонъ-Левецовъ была плѣнена «краснорѣчивымъ старикомъ». Г-жа Шимановская, какъ свидѣлствуетъ Целтеръ, была «влюблена въ него до безумія». Какъ ни риторична эта фраза, но въ устахъ такого положительнаго человека,

какъ Цельтеръ, она во всякомъ случаѣ несомнѣнно свидѣтельству-  
етъ, что семидесяти-четырехлѣтній поэтъ еще возбуждалъ къ  
себѣ въ женщинахъ такой энтузіазмъ, какой обыкновенно не спо-  
собны возбуждать къ себѣ старики.

7-го ноября 1825 г., нѣсколько недѣль послѣ праздника по  
случаю пятидесятилѣтія царствованію Карла Августа, Гете также,  
въ свою очередь, былъ почтенъ празднествомъ по случаю пятиде-  
сятилѣтія со времени прибытія его въ Веймаръ. «Рано утромъ,  
какъ только поэтъ растворилъ окно своей спальни, изъ сада раз-  
дались звуки серенады, и взоръ поэта былъ пріятно пораженъ  
разными прелестными издѣліями дамскихъ рукъ. Въ половинѣ де-  
вятаго началось по городу большое движеніе экипажей: все обще-  
ство, и городское и придворное, спѣшило къ дому, гдѣ жилъ Гете.  
Хоръ музыкантовъ и четырнадцать дамъ собрались въ залѣ, гото-  
вясь привѣтствовать поэта пѣснію, которую на этотъ случай на-  
писалъ Римеръ, а Эбервейнъ положилъ на музыку. Въ девять  
часовъ вышелъ Гете изъ кабинета въ сопровожденіи сына и одного  
изъ своихъ друзей. Толпа во всѣхъ комнатахъ была такъ велика,  
что пройти прямо въ залу не было возможности, и Гете прошелъ  
незамѣченный чрезъ боковую дверь. Какъ только появился онъ  
въ залѣ, грянула музыка и всѣ присутствующіе пришли въ силь-  
ное одушевленіе. Нимфы Ильма привѣтствовали золотой день доро-  
гаго имъ поэта и воспѣвали его безсмертіе. Звѣки музыки и пѣнія  
раздавались среди торжественной тишины; всѣ присутствующіе  
были глубоко тронуты. Скромно и съ достоинствомъ благодарилъ  
почтенный старикъ своихъ друзей краснорѣчивыми рукопожатіями  
и сердечными словами. Потомъ выступилъ впередъ баронъ Фрицъ  
и вручилъ поэту письмо отъ герцога и золотую медаль, которая  
была нарочно выбита на этотъ случай по распоряженію герцога.  
На одной сторонѣ медали были изображенія Карла Августа и Луи-  
зы, а на другой—увѣнчанное лаврами изображеніе поэта; кругомъ  
были вырѣзаны имена герцога и герцогини. Вслѣдъ затѣмъ на-  
чали выступать разныя депутаціи, какъ-то: отъ Іены, Веймара,  
Эйзенаха, отъ ложи Франкмасоновъ. Іенскіе студенты также присла-  
ли двухъ депутатовъ. Вскорѣ послѣ десяти пріѣхали Карлъ Августъ  
и Луиза и пробыли съ поэтомъ наединѣ около часу. Потомъ пріѣ-  
халъ наслѣдный герцогъ съ герцогиней и двумя своими дочерьми.

Между тѣмъ министры, важныя должностныя лица, придворныя чины, различныя депутація и большое дамское общество, въ числѣ котораго были дочери и внучки Гердера и Виланда, собирались въ верхней комнатѣ, и потомъ отсюда двинулись процессіей по парно, въ большую залу, въ которой были поставлены на прекрасномъ пьедесталѣ статуя Великаго Герцога и бюстъ Гете работы Рауха, увѣнчанный лавровымъ вѣнкомъ. Какъ только процессія приблизилась къ серединѣ залы, заиграла музыка на галлерей. Звуки музыки, раздаваясь подъ сводами высокой, прекрасной залы, украшенной бюстами и портретами, произвели впечатлѣніе невыразимое.

«Въ два часа въ залѣ ратуши былъ обѣденный столъ болѣе чѣмъ на двѣсти человѣкъ. Вечеромъ въ театрѣ давали *Ифигенію*. Послѣ третьяго акта Гете, по совѣту медика, удалился домой. Празднество заключилось вечерней серенадой, которая была исполнена передъ домомъ Гете оркестромъ Велико-Герцогской капеллы. Въ этой серенадѣ Гуммель съ большимъ чувствомъ и вкусомъ слилъ въ одно цѣлое торжественный маршъ изъ *Tita*, увертюру Глюка къ *Ифигеніи* и свое собственное превосходное *Adagio*. Всѣ дома въ Франкенплау, гдѣ жилъ Гете, были иллюминированы. У Гете ужинало большое общество, но самъ онъ пробылъ съ гостями не болѣе часу и удалился на покой.

Въ этотъ день были также празднества во Франкфуртѣ и Лейпцигѣ. Во Франкфуртѣ консулъ Бетманъ ознаменовалъ этотъ день помѣщеніемъ въ музей статуи Гете во весь ростъ, которая была сдѣлана Раухомъ» <sup>1)</sup>.

Читая подобныя описанія, какъ описаніе этого празднества, и подобныя рассказы, какъ напр. приведенный нами выше анекдотъ о столкновеніи съ Веймарскимъ ландтагомъ, намъ становится понятно, что человѣкъ, котораго такимъ образомъ превозносили какъ Бога, могъ дѣйствительно мало по малу вдаться до нѣкоторой степени въ эту роль и усвоить себѣ нѣкоторую повелительность въ обращеніи.

Въ слѣдующемъ году Германія, въ знакъ благодарности къ

<sup>1)</sup> Подробное описаніе этого празднества см. *Goethe's Goldenes Jubeltag*. Weimar. 1826. Я привожу здѣсь въ сокращеніи краткое описаніе въ книгѣ Mrs. Austin, *Goethe and his Contemporaries*, vol. III.

великому поэту, поднесла ему даръ, который самъ по себѣ составляетъ жестокий сарказмъ на германскій народъ. Bundestag далъ поэту привилегію на изданіе его собственныхъ сочиненій и принялъ на себя охранять его отъ грабительскихъ перепечатокъ въ различныхъ германскихъ владѣніяхъ. До сихъ поръ сочиненія Гете обогащали только книгопродавцевъ и эта поздняя привилегія обезпечила, по крайней мѣрѣ, хорошее наслѣдство его дѣтямъ.

6 января 1827 г. умерла г-жа фонъ-Штейнъ, на пятьдесятъ седьмомъ году своей жизни.

Вскорѣ умеръ и дорогой поэту братъ по оружію, Waffenbruder, — какъ называлъ Гете Карла Августа. 14 іюля 1828 г. герцога не стало въ живыхъ. Въ письмѣ Александра Гумбольдта мы находимъ весьма интересныя подробности о послѣднихъ дняхъ герцога. Приведемъ изъ этого письма небольшую выписку: «Никогда еще я не видалъ этого великаго человѣколюбиваго государя столь одушевленнымъ, умственно-дѣятельнымъ, столь кроткимъ, столь сочувственнымъ ко благу своего народа, какъ въ послѣдніе дни его жизни. Но увѣ! это походило на тотъ ослѣпительный блескъ, которымъ загораются высокія снѣжныя вершины Альпъ при солнечномъ закатѣ. Я не разъ говорилъ озабоченнымъ друзьямъ, что эта необыкновенная живость и необыкновенная ясность ума, въ соединеніи съ крайнею физической слабостью, предвѣщаютъ недоброе. Самъ герцогъ видимо колебался между надеждой на выздоровленіе и ожиданіемъ страшной катастрофы. Въ Потсдамѣ я провелъ съ нимъ вмѣстѣ много часовъ. Онъ былъ бодръ духомъ, но очень слабъ, постоянно засыпалъ и опять просыпался. Проснется, выпьетъ, и опять начнетъ засыпать. Въ промежутки принимался писать къ своей женѣ, или обращался ко мнѣ съ разными, не мало затруднявшими меня вопросами о физикѣ, астрономіи, метеорологіи, географіи, о прозрачности пометъ, объ атмосферѣ луны, о цвѣтныхъ двойныхъ звѣздахъ, о вліяніи солнечныхъ пятенъ на температуру, о первобытныхъ органическихъ формахъ, о внутренней теплотѣ земли. Онъ безпрестанно засыпалъ, нетолько не дослушавъ моего отвѣта, но даже и не досказавъ своей фразы, очнувшись приходилъ по временамъ въ безпокойство и потомъ привѣтливо извинялся въ своемъ невниманіи. «Вы ви-

дите, Гумбольдтъ, — сказалъ онъ, — и для меня скоро всему конецъ.» Потомъ вдругъ безсвязно заговорилъ о религіи, сталъ высказывать сожалѣніе о распространеніи піетизма, о связи этого рода фанатизма съ наклонностію къ политическому абсолютизму и къ уничтоженію всякихъ свободныхъ стремленій. «Есть нечестные люди, — воскликнулъ онъ, — которые хотятъ чрезъ это подслужиться государямъ и приобрести мѣста и ордена». Потомъ вскорѣ онъ нѣсколько успокоился и сказалъ, что находитъ много утѣшительнаго въ христіанской религіи. «Это — человѣколюбивое ученіе, но его извратили съ самаго начала. Первые христіане были крайніе вольнодумцы».

Друзья Гете, зная его привязанность къ герцогу, очень опасались, что извѣстіе о смерти герцога будетъ для него страшнымъ ударомъ. Онъ сидѣлъ за обѣдомъ, когда получено было это извѣстіе. Присутствующіе шепотомъ передавали его другъ другу, не рѣшаясь сказать ему. Наконецъ съ разными предосторожностями сообщили ему. Тутъ была для присутствующихъ весьма тревожная минута. Притаявъ дыханіе, они озабоченно ожидали, какъ перенесетъ Гете страшную для него вѣсть. Но поэтъ сохранилъ полное спокойствіе. «Ахъ! какъ это прискорбно, — сказалъ онъ, вздохнувъ, — будемъ говорить о другомъ.» Но самое это наружное спокойствіе изобличало глубокое внутреннее сотрясеніе. Онъ могъ не говорить о горестномъ для него событіи, но не могъ изгнать его изъ своихъ мыслей. Смерть герцога сильно потрясла его, и ему было тѣмъ тяжелѣе, что горе его не находило себѣ выраженія. Nun ist alles vorbei! — воскликнулъ онъ. Вечеромъ въ этотъ день Экерманъ нашелъ его крайне разстроеннымъ <sup>1)</sup>).

Уединясь въ прелестный герцогскій замокъ Дорнбургъ, преста-

---

<sup>1)</sup> Спокойствіе, съ какимъ Гете принялъ извѣстіе о смерти герцога, напоминаетъ тѣ превосходныя сцены въ *Malcontent* Мастопа и въ *Broken Heart* Форда, гдѣ подчиненіе душевныхъ движеній требованіямъ приличія имѣетъ все величіе подвига. Геродотъ коснулся этой струны въ своемъ разсказѣ о Тіестѣ (*Клио*, II 9). Гарпагъ остается спокоенъ, узнавъ, что въ собственнхъ дѣтей. Шекспиръ превосходно выразилъ это душевное состояніе:

Give sorrow words: the grief that does not speak  
Whispers the w'erfraught heart and bids it break.

рѣлый поэтъ старался въ трудѣ и въ созерцаніи природы разсѣять свое горе. Въ слѣдующемъ, т. е. 1829 г., окончилъ онъ *Wanderjahre*, работалъ надъ второй частію *Фауста*, пересматривалъ свои записки по естествознанію, причемъ ему помогалъ молодой французъ Соретъ, занимавшійся переводомъ *Метаморфозы растений*.

Въ февралѣ 1830 г. умерла герцогиня Луиза. Такъ быстро сходили въ могилу одинъ за другимъ близкіе къ нему люди. Скоро насталъ и ему чередъ.

Чтобы не прерывать описанія сценъ, заключившихъ долгую жизнь поэта, остановимся теперь на второй части *Фауста*, хотя эта часть была окончена не ранѣе 20 іюля 1831 г.

---

## ГЛАВА VII.

---

### Вторая часть Фауста.

Приступая къ разбору второй части *Фауста*, я чувствую себя въ большемъ затрудненіи, чѣмъ при разборѣ какого-либо другаго изъ произведеній Гете, такъ какъ въ настоящемъ случаѣ мое мнѣніе совершенно расходится съ мнѣніемъ многихъ, которые принадлежатъ не къ числу предубѣжденныхъ или невѣжественныхъ поклонниковъ, а къ числу цѣнителей съ умомъ свѣтлымъ и просвѣщеннымъ. Эти цѣнители видятъ во второй части *Фауста* величайшее произведеніе, превосходящее все, что только было написано великимъ поэтомъ, утверждаютъ, что оно есть верхъ совершенства по выполненію и представляетъ изумительное богатство самой глубокой мудрости. Но другіе, не менѣе ревностные поклонники Гете, находятъ, что вторая часть *Фауста* есть произведеніе весьма посредственное, далеко уступающее первой части, вполнѣ неудачное и по мысли и по выполненію. Къ числу послѣднихъ принадлежу и я. Я употреблялъ всѣ усилія, чтобы вполнѣ уразумѣть это произведеніе, чтобы стать на истинную точку зрѣнія, которая бы мнѣ вполнѣ раскрыла всѣ его красоты, но всѣ мои

усилія не только не разъясняли мнѣ его темныхъ сторонъ и не раскрывали мнѣ его красоту, какъ это было со мной при изученіи другихъ произведеній Гете, а напротивъ, все болѣе и болѣе укрѣпляли во мнѣ первое впечатлѣніе. Конечно, тутъ можетъ быть моя вина, можетъ быть я не понимаю. «Самая четкая рука дѣлается въ сумерки неразборчивою», — говоритъ Гете. Испытанное мною и другими при чтеніи первой части *Фауста* должно, конечно, служить для меня предостереженіемъ, чтобы я не спѣшилъ произнесеніемъ приговора, но тѣмъ не менѣе не могу я не высказать того, что въ настоящую минуту есть мое убѣжденіе. Въ этомъ случаѣ я могу съ полнымъ основаніемъ примѣнить къ себѣ слова Банингга: я отвѣтственъ въ искренности моего сужденія, но не отвѣтственъ въ его правильности.

Замѣтимъ кромѣ того, что разочарованіе, испытываемое при чтеніи первой части *Фауста*, вовсе не походитъ на то чувство недовольства, какое испытываешь при чтеніи второй части. Первая часть *Фауста*, при первомъ ея чтеніи, по причинѣ недостаточнаго еще съ ней знакомства, кажется вамъ безсвязной, отрывочной, разнорѣчащей, нерелигіозной, недостаточно философичной и т. п., но при первомъ же, даже самомъ поверхностномъ чтеніи васъ поражаютъ въ ней богатство содержанія, пафосъ, высокая поэзія, ярко очерченные характеры, другими словами: сущность произведенія сразу охватываетъ васъ и вы чувствуете недовольство только противъ выполненія, — произведеніе кажется вамъ отрывочнымъ, но его отрывки полны для васъ глубокаго смысла, — оно кажется дурно выполненнымъ, но не кажется слабымъ. Вторая же часть производитъ совершенно иное впечатлѣніе. Ваше недовольство относится не къ частямъ, а къ цѣлому, не къ выполненію, а къ самой сущности. Поэтому ближайшее ознакомленіе съ первою частью *Фауста* устраняетъ первое впечатлѣніе недовольства и увеличиваетъ въ васъ удивленіе къ поэтическимъ красотамъ произведенія, — ближайшее же ознакомленіе со второю частью, напротивъ, укрѣпляетъ первое впечатлѣніе и только раскрываетъ причины недовольства.

Просимъ читателя припомнить, что всѣ произведенія Гете имѣютъ біографическое значеніе, что всѣ они суть отрывки изъ жизни, выраженія дѣйствительно пережитаго, выражаютъ собой раз-

личные ступени пройденнаго поэтомъ развитія. Вотъ почему изученіе второй части *Фауста*, какъ произведенія старческихъ лѣтъ поэта, имѣетъ для насъ особую важность; вотъ почему также, говоря выше о первой части *Фауста*, мы ничего не сказали о второй. Собственно говоря, это не двѣ части одного произведенія, а два произведенія, совершенно между собою различныя, — между ними такая же большая разниа и по идеѣ и по выполненію, какъ между возрастами, въ которые ихъ писалъ поэтъ. Какъ мы видѣли въ предыдущихъ главахъ, у Гете съ годами постепенно все болѣе и болѣе усиливалась наклонность къ мистицизму и къ отвлеченной мыслительности. Зародышъ этой наклонности замѣтенъ еще въ ранніе годы, но въ старческой возрастъ она развилась до такой степени, что самый ясный и самый чистосердечнѣйшій изъ поэтовъ сталъ чѣмъ-то въ родѣ Изидина жреца. Для тѣхъ, — а такихъ не мало, — которые видятъ цѣль и назначеніе искусства въ созиданіи символовъ для философіи, такая перемѣна въ поэтѣ имѣетъ все значеніе прогресса. Но въ глазахъ людей, умѣющихъ вполне цѣнить истинное значеніе искусства, эта перемѣна есть ни что иное, какъ признакъ ослабленія способности къ поэтическому творчеству. Конечно, искусство новѣйшихъ временъ, для воспроизведенія современной жизни во всей ея многосторонней сложности, необходимо должно допустить значительное участіе мыслительности въ своихъ произведеніяхъ, но тѣмъ не менѣе преобладаніе мыслительности въ художественномъ произведеніи есть признакъ слабости художественнаго творчества. Кости составляютъ необходимую принадлежность каждаго, сколько-нибудь развитаго организма, но тѣмъ не менѣе возрастаніе костей насчетъ другихъ частей организма есть во всякомъ случаѣ или причина, или слѣдствіе ослабленія жизненныхъ силъ.

Сравнительный разборъ двухъ частей *Фауста* возбуждаетъ тѣ же самые вопросы, какъ и сравнительный разборъ первыхъ и послѣднихъ книгъ *Вильгельма Мейстера*. Вопросы эти слишкомъ важны и слишкомъ обширны, чтобъ мы могли ихъ рассмотреть здѣсь съ полною обстоятельностью, и поэтому ограничимся только краткимъ указаніемъ. Прежде всего считаемъ нужнымъ предпослать одно капитальное замѣчаніе: желая выразить въ символахъ какую-нибудь философскую идею, художникъ не долженъ за-



бывать, что художественность заключается въ изображеніи, и поэтому долженъ облекать идею въ такіе символы, которые бы имѣли прелесть сами по себѣ, независимо отъ идеи, какую хочеть ими выразить. Формы, символы, которыми онъ хочеть говорить, должны сами по себѣ имѣть такія красоты и представлять такой интересъ, которые были бы легко доступны даже и не понимающимъ выражаемой ими идеи; въ противномъ же случаѣ эти символы не будутъ художественныя произведенія, а просто іероглифы. Конечно, Бетговенскія симфоніи должны имѣть особенную прелесть для тѣхъ, кто понимаетъ въ нихъ выраженіе великихъ мыслей, но еслибы эти симфоніи не имѣли сами по себѣ очаровательной прелести, еслибы, независимо отъ выражаемыхъ ими мыслей, онѣ сами по себѣ не потрясали глубоко душу, то остались бы незамѣченными, такъ какъ отъ музыкальнаго произведенія требуется прежде всего не выраженіе великихъ мыслей, а непосредственное дѣйствіе на душу слушателя. Тоже должны мы сказать и о поэтѣ. Какъ бы ни были глубоки его мысли, но онъ не достигнетъ цѣли, пока не облечетъ ихъ въ такое выраженіе, которое бы открывало имъ непосредственный доступъ къ нашему сердцу, такъ какъ отъ поэзіи требуется прежде всего, чтобъ она насъ трогала, а не поучала.

Если высказанное нами замѣчаніе правильно, то мы должны признать, что вторая часть *Фауста* есть произведеніе неудавшееся, такъ какъ она не имѣетъ самаго главнаго качества, какое требуется отъ художественныхъ произведеній. Какія бы достоинства ни находили въ ней, но никто не скажетъ, чтобы она была интересна. Изображаемая въ ней сцена, характеры, не имѣютъ сами по себѣ той неодолимой прелести, которая васъ очаровываетъ въ первой части, получаютъ для васъ интересъ только вслѣдствіе идей, символически въ нихъ выраженныхъ, и такимъ образомъ степень возбуждаемаго ими интереса зависитъ отъ вашей способности проникать въ ихъ символическое значеніе. Мефистофель, являющійся въ первой части такимъ чуднымъ поэтическимъ созданіемъ, превращается во второй части въ механическую фигуру; Фаустъ совершенно утрачиваетъ всякую индивидуальность, въ немъ какъ-бы замерли всѣ чувства. Критики философской школы утверждаютъ, что эта пережѣна совершенно необходима, такъ

какъ во второй части все индивидуальное уступаетъ мѣсто универсальному; но это не есть оправданіе, а только засвидѣтельствованіе недостатка,—это значить возводить недостатокъ въ достоинство ради философской цѣли. Гете самъ признаетъ, что такова была его цѣль. «Первая часть—говоритъ онъ—почти совершенно субъективна, тутъ все исходитъ изъ страстей индивидуума; во второй же части нѣтъ почти ничего субъективнаго, здѣсь мы переходимъ въ другой, высшій, болѣе свѣтлый, безстрастный міръ». — «Это необходимо,—прибавляетъ онъ далѣе,—чтобъ ввести Фауста въ высшія сферы». Но если поэтъ находилъ необходимымъ измѣнить, такъ сказать, почву своей драмы, то это вовсе не требовало отъ поэта, чтобъ онъ отступился отъ поэтическаго творчества, чтобъ изображеніе жизни замѣнялъ безжизненными абстракціями,—ему не было никакой необходимости мѣнять сферу искусства на сферу философіи, жертвовать художественной красотой ради философскихъ цѣлей. Недостатокъ второй части заключается не въ сокровенности ея мыслей, а въ бѣдности поэтической жизни, одушевляющей эти мысли. Тутъ главное не въ большей или меньшей сокровенности мыслей, а въ большей или меньшей художественности образовъ, ихъ выражающихъ. Левъ можетъ, по произволу поэта, служить символомъ бдительности, силы, царственности и т. д., но во всякомъ случаѣ, сравнительно говоря, для насъ главное не въ томъ, правильно или неправильно мы понимаемъ мысль, какую поэтъ хотѣлъ выразить въ своемъ левѣ, а въ томъ, чтобъ этотъ левъ былъ хорошо изображенъ, чтобъ онъ возбуждалъ наше удивленіе, какъ левъ, — въ противномъ же случаѣ это не будетъ художественное произведеніе.

Критики спорятъ о философскомъ значеніи первой части *Фауста* и по всей вѣроятности будутъ спорить безъ конца, но ни одинъ изъ нихъ не отрицаетъ ея красоту. Страсть, поэзія, сарказмъ, фантазія, глубокія, животрепещущія мысли, какъ будто бы исходящія изъ какого-то высшаго міра, пагосъ и наивность Гретхенъ, жестокая холодность Мефистофеля, все это каждому понятно и каждому доставляетъ наслажденіе. Какъ бы ни смущалъ васъ таинственный философскій смыслъ этого произведенія, но его высокіе поэтическіе образы производятъ на васъ обаятельное дѣйствіе, — они плѣняютъ васъ, какъ дѣтей плѣняютъ, при чтеніи

*Pilgrim's Progress*, аллегорическія лица и событія, принимаемыя ими за живую дѣйствительность. Правда, прелесть аллегоріи еще болѣе увеличивается для ребенка, когда, подростая, онъ начинаетъ понимать выражаемую въ ней мысль, но и въ этомъ случаѣ доставляемое ему аллегоріей наслажденіе зависитъ главнымъ образомъ не отъ выражаемой ею мысли, а отъ художественности ея образовъ. Холодна, безжизненна, неинтересна аллегорія, въ которой на первомъ планѣ мысль, а форма пренебрежена. Облекая мысль въ разсказъ о лицахъ и событіяхъ, аллегорія достигаетъ своей цѣли только при томъ условіи, если ея разсказъ интересенъ самъ по себѣ, независимо отъ заключающейся въ немъ мысли. Вторая часть *Фауста* совершенно лишена этого качества; она не обращается прямо къ вашимъ чувствамъ; ея символы не имѣютъ никакихъ собственно имъ присущихъ красотъ. Конечно, я говорю это вообще обо всемъ произведеніи; конечно, и во второй части *Фауста* есть мѣста чрезвычайной красоты, есть строки, поражающія глубиной мысли или мѣткостью сарказма, но вы не найдете въ ней ни одного характера, ни одной сцены, которая бы живо отпечатлѣвалась въ вашей памяти и могли бы въ этомъ отношеніи сравниться со сценами и характерами первой части.

Въ первой сценѣ Фаустъ лежитъ на цвѣтистомъ лугу. Онъ утомленъ, неспокоенъ, ищетъ успокоенія въ снѣ. Кругомъ его порхаютъ небесные духи. Разсвѣтъ. Аріель поетъ и ему аккомпанируетъ Эолова арфа. Другіе духи подпѣваютъ хоромъ. Пробужденный восходомъ солнца, Фаустъ изливаетъ свои чувства въ превосходныхъ стихахъ. И въ его душѣ также наступаетъ теперь разсвѣтъ послѣ мрачной ночи, воцарившейся въ ней по смерти Маргариты. Вмѣстѣ съ свѣжимъ утреннимъ воздухомъ онъ вдыхаетъ въ себя свѣжія силы.

Du regst und rührst ein kräftiges Beschliessen,  
Zum höchsten Dasein immerfort zu streben.

[Ты возбуждаешь твердую рѣшимость стремиться далѣе къ высшему бытію.]

Слѣдующая сцена переноситъ насъ ко двору Императора. Дѣла крайне плохи. Канцлеръ жалуется, что народъ не уважаетъ законовъ; военачальникъ жалуется, что солдаты не слушаются и гра-

бять государство, вмѣсто того чтобъ его охранять; казначей жалуются на скудость государственной казны. Эта сцена весьма забавна и весьма саркастична. Мефистофель состоитъ при дворѣ въ должности придворнаго шута. Императоръ спрашиваетъ его совѣта. Золота въ землѣ много,—отвѣчаетъ онъ,—и человѣкъ добываетъ его силами своей природы и своего духа. Эти слова: природа и духъ смущаютъ православіе канцлера, онъ чувствуетъ въ нихъ ересь и прерываетъ Мефистофеля:

Natur und Geist—so spricht man nicht zu Christen.  
Desshalb verbrennt man Atheisten,  
Weil solche Reden höchst gefährlich sind.  
Natur ist Zünde, Geist ist Teufel.

[Природа и духъ—такъ не говорятъ христіанамъ. Такія рѣчи крайне опасны. За это сжигаютъ атеистовъ. Природа есть грѣхъ, духъ есть дьяволъ.]

Только два класса людей—продолжаетъ канцлеръ—достойнымъ образомъ поддерживаютъ тронъ императора: духовные и дворяне; они охраняютъ тронъ отъ всѣхъ бурь и въ награду за заслуги правятъ церковью и государствомъ. Какъ ни остроумна и какъ ни забавна эта сцена, но она много утрачиваетъ по отсутствію всякой связи съ ходомъ драмы; Фаустъ въ ней и не появляется. Одинаково непонятна и слѣдующая за тѣмъ сцена маскарада. Въ ней встрѣчаются хорошіе стихи, встрѣчается мѣткая сатира, но читатель совершенно озадаченъ, къ чему она тутъ нужна. Далѣе слѣдуетъ сцена въ императорскомъ увеселительномъ саду, заключающая въ себѣ сатиру на бумажныя деньги; тутъ богатый матеріалъ для комментатора, но обыкновенный читатель не много изъ нея извлечетъ. Слѣдующая сцена происходитъ между Фаустомъ и Мефистофелемъ въ мрачной галерей. Мефистофель удивляется, зачѣмъ Фаустъ увлекъ его сюда; Фаустъ объявляетъ ему, что обѣщалъ показать императору Троянскую Елену, и требуетъ отъ него исполнить это. Мефистофель отвѣчаетъ, что не имѣетъ власти надъ языческимъ міромъ и вызвать Елену не такъ легко, какъ произвести бумажныя деньги. Впрочемъ къ этому есть средство: Фаустъ долженъ проникнуть къ Матерямъ, обитающимъ въ страшномъ уединеніи:

Ins Unbetretene  
Nicht zu Betretende.

На всѣ настоянія Эккермана объяснить ему, кто эти «матери», Гете отвѣчалъ только указаніемъ, что самое названіе «матери» заимствовано имъ у Плутарха. Гегельянцы утверждаютъ, что подъ «матерями» разумѣются отвлеченныя категоріи ихъ логики. Впрочемъ, что касается до меня, то я рѣшительно отказываюсь отъ всякихъ объясненій и предоставляю это рѣшать проницательности самого читателя. Итакъ Фаустъ отправляется отыскивать «матерей». Затѣмъ сцена снова переносится въ императорскій дворецъ. Мефистофель пускаетъ въ ходъ свои чародѣйственныя силы, одну даму избавляетъ отъ веснушекъ, другую исцѣляетъ отъ хроманья, третьей даетъ любовный напитокъ. Потомъ начинается спектакль. Является Фаустъ и вызываетъ Париса; дамы въ восторгѣ, но мужчины дѣлаютъ разныя критическія замѣчанія. Наконецъ появляется Елена. Дамы критикуютъ, мужчины восторгаются. Мефистофель видитъ Елену въ первый разъ и сознается, что она очень хороша, но только не совсѣмъ въ его вкусъ. Самъ Фаустъ приходитъ отъ Елены въ восторгъ неописанный. Изъявленія этого восторга могутъ быть приняты за выраженіе чувствъ, возбуждаемыхъ въ нѣмецкомъ художникѣ созерцаніемъ идеаловъ Греческаго искусства. Фаустъ не можетъ сдержать порывы своего восторга, — тщетно увѣщеваетъ его Мефистофель, что это духи, а не дѣйствительность. Онъ воспламеняется ревностію къ Парису, прикасается къ видѣнію, — происходитъ взрывъ, духи исчезаютъ и Мефистофель уноситъ Фауста безъ чувствъ. Такъ кончается первый актъ.

Какъ бы высоко ни превозносили символическое значеніе этихъ сценъ, глубокомысліе и иѣткій сарказмъ, скрывающіеся подъ всей этой фантазмагоріей, но подобныя восхваленія относятся во всякомъ случаѣ не къ художнику, а къ философу, т. е. къ такимъ качествамъ поэтическаго произведенія, которыя вовсе не поэтичны. Поэтому насъ нисколько не удивитъ, если читатель, не проникающій въ сокровенный смыслъ этихъ сценъ или не находящій въ этомъ сокровенномъ смыслѣ ничего особенно высокаго, не проникнется восторгомъ при ихъ чтеніи.

Первая сцена втораго акта представляетъ Фауста лежащимъ

въ постелѣ въ старомъ своемъ кабинетѣ. Подлѣ него лежитъ Мефистофель. Входитъ *famulus*. Черезъ него узнаемъ мы, что Вагнеръ заступилъ мѣсто Фауста и стяжалъ себѣ почти такую же громкую славу, давно уже работаетъ надъ открытіемъ жизненнаго принципа, посредствомъ котораго могъ бы создать человѣка. Потомъ является нашъ старый знакомый, тотъ самый ученикъ, котораго нѣкогда поучалъ Мефистофель. Онъ сталъ теперь идеалистомъ, и это даетъ случай поэту нѣсколько подтрунить надъ Фихтевой философіей. Слѣдующая сцена переноситъ насъ въ лабораторію Вагнера, который только-что прозвелъ на свѣтъ своего *Homunculus* и держитъ его въ бутылкѣ. Сцена эта превосходно написана. Особенно хороша и характеристична рѣчь Вагнера, который, гордясь совершеннымъ имъ открытіемъ, провозглашаетъ, что теперь уже должны оставить старый методъ производить на свѣтъ людей:

Wie sonst das Zeugen Mode war  
Erklären wir für eitle Possen

Старый методъ пригоденъ только для животныхъ, а такое высоко одаренное существо, какъ человѣкъ, долженъ имѣть другое болѣе чистое, болѣе высокое происхожденіе.

Этотъ *Homunculus*, однако, оказывается неблагодарнымъ и непочтительнымъ дѣтищемъ, — Мефистофеля и Фауста приглашаетъ на классическую Вальпургіеву ночь, а родителя своего, Вагнера, оставляетъ коптѣть надъ старыми пергаменатами. Остальную часть акта занимаетъ Вальпургіева ночь, составляющая классическій *pendant* къ Вальпургіевой ночи въ Гарцовыхъ горахъ. Это нѣчто въ родѣ *olla radrida*. Тутъ сопоставлены довольно небрежно различные отрывки, написанные поэтомъ въ различныя времена. Значеніе этихъ отрывковъ по большей части чрезвычайно темно. Вообще тутъ представляется неистощимое поле для комментаторовъ. Замѣчательна черта, что Мефистофель чувствуетъ себя совершенно чуждымъ среди классическихъ фигуръ. Весьма юмористично высказываемое имъ неодобреніе античной наготы:

Zwar sind auch wir von Herzen unanständig,  
Doch das Antike find'ich zu lebendig!

[Хотя и мы не цѣломудренны сердцемъ, но античное ужъ черезчуръ живо.]

Первая часть *Фауста* представляет намъ въ Вальпургіевой ночи въ Гарцовыхъ горахъ германскій міръ волшебства, а въ Гретхенъ—Германскій идеалъ женской прелести и простоты; вторая же часть изображаетъ въ Вальпургіевой ночи классическій сверхъестественный міръ, а въ Еленѣ—греческій идеалъ женской прелести. Третій актъ посвященъ Еленѣ. Онъ первоначально былъ напечатанъ отдѣльно, какъ особое произведеніе, и Карлейль написалъ на него довольно пространный разборъ въ *Foreign Review*. Въ своемъ разборѣ Карлейль довольно вѣрно замѣчаетъ, что «смыслъ этого произведенія не настолько ясенъ, чтобъ можно было удовольствоваться бѣглымъ чтеніемъ,—онъ облеченъ въ нѣкоторую таинственность и читателю, привыкшему довольствоваться бѣглымъ чтеніемъ, можетъ показаться весьма темнъ и даже совершенно непонятенъ.» Мы готовы не поставить въ упоръ темноты смысла, если только этотъ смыслъ облеченъ въ прелестныя художественныя формы: и алебастровая ваза можетъ доставлять не меньшее наслажденіе, чѣмъ ваза хрустальная. Но самъ Карлейль вынужденъ далѣе признать, что «внѣшнія формы этого произведенія показались бы намъ недостаточно удовлетворительными, еслибъ мы не имѣли въ виду, что подъ ними всегда кроется глубокое и разнообразное значеніе и еслибъ разнообразныя фантастическія приманки не подстрекали насъ проникать въ ихъ таинственность». Такимъ образомъ и тутъ весь вопросъ сводится къ тому, какое значеніе имѣютъ въ художественномъ произведеніи форма и мысль. Карлейль замѣчаетъ, что «хотя Боніанъ (Bunyan) вовсе не лучшій нашъ теологъ и хотя, къ несчастію, теологія вовсе не самая привлекательная для насъ наука, но никакое ученое произведеніе, никакой романъ, никакая поэма не запечатлѣваются такъ свѣтло въ памяти столькихъ людей, какъ *Pilgrim's Progress*». Но это замѣчаніе, если только я правильно его понимаю, заключаетъ въ себѣ осужденіе, такъ какъ едвали кто рѣшится утверждать, чтобъ вторая часть *Фауста* вообще, или «Елена» въ особенности, живо запечатлѣвались въ памяти. Если любите загадки, темы для толкованій, то найдете въ «Еленѣ» неиссякающій источникъ,—найдете въ ней много привлекательности, если любите прекрасныя стихи, и проблески глубокаго созерцательнаго ума, но васъ ждетъ разочарованіе, если ожидаете въ ней найти образцовое художествен-

ное произведеніе. Впрочемъ другіе восторгаются аллегорическою Еленой, когда она обнимаетъ Фауста и оставляетъ въ его объятіяхъ только покровъ и одежду, между тѣмъ какъ тѣло ея исчезаетъ въ воздухѣ,—съ восторженной проницательностію раскрываютъ они значеніе этихъ аллегорическихъ объятій, знаменующихъ яко-бы объятія умершаго классицизма съ живымъ романтизмомъ, воскрешеннаго прошедшаго съ дѣйствительнымъ настоящимъ; но для насъ тысячи аллегорическихъ Еленъ не стоятъ одного поцѣлуя Гретхенъ.

Мы не будемъ растягивать нашъ анализъ, такъ какъ два послѣдніе акта не представляютъ ничего особенно замѣчательнаго. Богатый многостороннимъ знаніемъ жизни, Фаустъ вступаетъ теперь въ борьбу съ моремъ, хочетъ положить предѣлъ его захватамъ. Онъ старъ, грустенъ, задумчивъ. Являются четыре сѣдыя старухи—Нужда, Преступленіе, Бѣда и Забота. На вопросъ Заботы, зналъ ли онъ ее когда-нибудь, Фаустъ отвѣчаетъ: «Я пользовался жизнью, жадно наслаждался; что не доставляло мнѣ наслажденія, то я проходилъ мимо; что не давалось мнѣ, за тѣмъ я не гнался. Я желалъ, осуществлялъ желаемое, и опять желалъ,—такъ прожилъ я, и жизнь моя текла сначала величественно и могуче, а теперь течетъ смиренно и разсудительно. Я довольно извѣдалъ кругъ земной жизни, а будущая жизнь покрыта для насъ мракомъ. Глушецъ, кто устремляетъ свои взоры къ будущей жизни и тамъ надъ облаками воображаетъ себѣ подобныхъ! Мудрый не отвращаетъ своихъ взоровъ отъ земли, устремляетъ ихъ кругомъ себя и міръ не остается для него нѣмъ. Къ чему стремиться въ вѣчность! Мы можемъ познавать только то, что у насъ подъ руками». Эти послѣднія слова Фауста выражаютъ собственную философію Гете, поэтому считаю излишнимъ привести ихъ въ подлинникъ:

Thor! wer dorthin die Augen blinzend richtet  
Sich über Wolken seines Gleichen dichtet!  
Er stehe fest und sehe hier sich um;  
Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm.  
Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen!  
Wass er erkennt lässt sich ergreifen.



Фаустъ отказывается признать могущество Заботы. Она испускаетъ на него дуновение, и онъ слѣпнетъ. Но слѣпота не ослабляетъ въ немъ энергіи продолжать начатое дѣло. «Болото, идущее отъ горной подошвы,—говоритъ онъ,—заражаетъ все пріобрѣтенное уже нами пространство. Спустить гнилую воду было бы большимъ благомъ. Черезъ это я доставляю обитаніе многимъ милліонамъ, не безопасное, правда, но открывающее обширное поле для свободнаго труда.... Да, этому я себя отнынѣ вполнѣ посвящаю. Только тотъ и достоинъ жить и быть свободнымъ, кто долженъ ежедневно завоевывать себѣ жизнь и свободу; таково послѣднее слово мудрости. Здѣсь молодость, мужество и старость будутъ вести дѣятельную жизнь среди опасностей. Какъ бы желалъ я видѣть, когда тутъ, на этой свободной землѣ, закопошится свободный народъ. Этому мгновенію я могъ бы сказать: остановись, ты прекрасно. Жизнь моя не пропадетъ безслѣдно, — и въ предчувствіи такого великаго счастья я уже наслаждаюсь въ это мгновеніе великимъ блаженствомъ». Такъ наконецъ наступаетъ для Фауста мгновеніе, которому онъ можетъ сказать: остановись, ты прекрасно!—и Фаустъ умираетъ.

Venit summa dies et ineluctabile fatum!

Если только проблема, представленная *Фаустомъ*, допускаетъ болѣе общее рѣшеніе, чѣмъ какое высказано мной въ концѣ критическаго разбора первой части, то это рѣшеніе, по моему мнѣнію, заключается въ приведенной выше предсмертной рѣчи: пылкая душа, извѣдавъ тщету индивидуальныхъ стремленій и индивидуальныхъ наслажденій, приходитъ наконецъ къ сознанію той великой истины, что человѣкъ долженъ жить для человѣка и можетъ находить прочное счастье только въ трудѣ на пользу человѣчества.

## ГЛАВА VIII

### Заключительныя сцены.

Весна 1830 года застала восьмидесятиодно-лѣтняго поэта за работою надъ *Фаустомъ* и надъ предисловіемъ къ книгѣ Карлейля: *Жизнь Шиллера*. Кромѣ того, старикъ въ это время былъ сильно заинтересованъ великимъ философскимъ споромъ между Кювье и Жоффруа С.-Илеромъ по вопросу о единствѣ животныхъ организмовъ. Этотъ вопросъ, одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ биологій, лежащій въ основѣ почти всѣхъ теорій развитія, уже многіе годы занималъ Гете и представлялся ему въ томъ именно видѣ, въ какомъ его ставилъ теперь Жоффруа С.-Илеръ. Понятно, съ какимъ удовольствіемъ видѣлъ старикъ, что ученый міръ серьезно принимается за рѣшеніе этого вопроса. Весьма характеристиченъ анекдотъ, разсказываемый Соретомъ, который мы находимъ въ дополнительномъ томѣ къ запискамъ Эккермана.

«Понедѣльникъ, 1-го августа 1830 г. Сегодня пришло въ Веймаръ извѣстіе о Іюльской революціи и привело всѣхъ въ волненіе. Около полудня отправился я къ Гете. «Ну что!—воскликнулъ онъ, какъ только я вошелъ, — что думаете вы объ этомъ великомъ событіи? Волканъ взорвало, все въ пламени». — Страшное событіе,—отвѣтилъ я,—но вѣдь при такихъ обстоятельствахъ и съ такимъ министерствомъ трудно было и ожидать иного конца, какъ изгнаніе королевской фамиліи.—«Мы, кажется, совсѣмъ не понимаемъ другъ друга, — сказалъ Гете; — я говорю не объ этихъ господахъ, а о совершенно другомъ. Я говорю о спорѣ между Кювье и Жоффруа С.-Илеромъ, имѣющемъ столь великое значеніе для науки». Эти слова были для меня столь неожиданны, что я не нашелся что отвѣчать и сталъ совершенно въ тупикъ. «Это въ высшей степени важно,—продолжалъ Гете,—вы не можете се-

бѣ представить, что я почувствовалъ, читая отчетъ о засѣданіи 19-го іюля. Мы имѣемъ теперь въ С. Илерѣ могучаго и надежнаго союзника. Видно, что французскій ученый міръ сильно этимъ заинтересованъ, такъ какъ, несмотря на страшныя политическія волненія, засѣданіе 19-го іюля было полно народу. Самое важное тутъ въ томъ, что отнынѣ синтетическій взглядъ на природу сталъ твердой ногой во Франціи. Послѣ бывшихъ въ Академіи публичныхъ преній, и при такомъ огромномъ стеченіи публики, это дѣло не заглухнетъ уже теперь въ запертыхъ стѣнахъ. Отнынѣ и во Франціи въ изслѣдованіяхъ природы духъ будетъ властвовать надъ матеріей. Отнынѣ мысль будетъ стремиться проникнуть въ великіе принципы созданія, въ таинственную мастерскую Бога. И къ чему въ самомъ дѣлѣ могутъ привести всѣ изслѣдованія природы, если они будутъ ограничиваться только анализомъ отдѣльныхъ матеріальныхъ частей, если не будутъ проникать въ тотъ духъ, который опредѣляетъ дѣятельность каждой части и чрезъ внутренній, присущій явленіямъ законъ сдерживаетъ или санкціонируетъ уклоненія! Я трудился надъ этимъ великимъ вопросомъ въ теченіе пятидесяти лѣтъ. Сначала я былъ одинокъ въ этихъ трудахъ, потомъ сталъ находить поддержку, а теперь, къ великой моей радости, вижу себя превзойденнымъ родственными мнѣ умами».

Мы не послѣдуемъ примѣру другихъ, не станемъ укорять Гете въ холодности, потому что въ моментъ столь важныхъ политическихъ событій онъ могъ оставаться равнодушнымъ къ политикѣ и могъ сосредоточить все свое вниманіе на научномъ вопросѣ, — вмѣсто подобныхъ укоровъ напомнимъ читателю другой, близко подходящій къ этому примѣръ. Кто рѣшится бросить камень въ безсмертнаго Гарвея, а между тѣмъ вотъ что рассказываетъ о Гарвеѣ Д-ръ Энтъ. Вскорѣ послѣ самаго потрясающаго событія въ англійской исторіи, вскорѣ послѣ казни Карла I-го, посѣтилъ Гарвея Д-ръ Энтъ и засталъ его погруженнымъ въ анатомическія изслѣдованія. «Въ этихъ занятіяхъ — сказалъ великій философъ, — мой умъ нашелъ для себя цѣлительный бальзамъ, а иначе мнѣ было бы такъ тяжело, что просто хотъ не живи. Жизнь въ неизвѣстности, совершенное удаленіе отъ всякой общественной дѣятельности, приводящее столь многихъ въ отчаяніе и уныніе, оказались для меня великими цѣлительными средствами».

Гете не былъ политикъ. Онъ былъ біологъ. Понятно, что споръ между Кювье и С. Илеромъ имѣлъ въ его глазахъ больше важности, чѣмъ Іюльская Революція, событіе болѣе громкое, но по внутреннему своему значенію менѣе замѣчательное, — и съ этимъ его взглядомъ согласятся многіе мыслители, но, конечно, не согласится ни одинъ политикъ. Гете не ограничился выраженіемъ своего мнѣнія въ разговорахъ, — онъ принялся писать свой знаменитый обзоръ этого спора и къ сентябрю окончилъ его первую часть.

Въ томъ же году, въ ноябрѣ, его постигло страшное горе, послѣднее, которое было суждено ему испытать въ жизни. Онъ получилъ извѣстіе, что единственный его сынъ, не задолго передъ тѣмъ отправившійся въ Италію для поправленія здоровья, умеръ въ Римѣ 28 го октября. Старикъ по обыкновенію старался поборотъ свою скорбь и развлечься работой. Но всѣ усилія его были тщетны и этотъ ударъ едва не стоилъ ему жизни. У него внезапно сдѣлалось сильное кровотеченіе. Одно время его считали совершенно безнадежнымъ, но онъ поправился и снова принялся за работу, продолжалъ *Автобіографію* и *Фауста*.

Оттилія фонъ-Гете, оставшись теперь вдовой, совершенно посвятила себя заботамъ о старикѣ, который всегда ее очень любилъ. Она читала ему вслухъ Плутарха и *Римскую Исторію* Нибура. Это чтеніе переносило престарѣлаго поэта въ древній языческій міръ, гдѣ онъ чувствовалъ себя какъ бы между старыми знакомыми. И современная литература также интересовала его. Онъ читалъ со всѣмъ пыломъ юности всѣ современные замѣчательныя произведенія, какъ напр. произведенія Беранже, Виктора Гюго, Делавиня, Скотта, Карлейля. Вся Европа воздавала дань уваженія престарѣлому поэту и домъ его постоянно посѣщался знаменитыми гостями.

Въ Англіи также имѣлъ германскій поэтъ многочисленныхъ и преданныхъ почитателей. По мысли Карлейля изготовлена была печать: по срединѣ звѣзда, кругомъ нея змѣй — эмблема вѣчности, и надпись: *ohne Hast, ohne Rast*, намекающая на знаменитое стихотвореніе Гете:

Wie das Gestirn,  
Ohne Hast,

Aber ohne Rast,  
Drehe sich jeder  
Um die eigene Last

[Подобно звѣздѣ, не спѣша, но безъ усталы, да совершаетъ каждый свой путь.]

На золотой ручкѣ печати вырѣзаны были слова: *To the German Master: from friends in England; 28th August 1831.* Эта печать отправлена была къ Гете при письмѣ, подъ которымъ подписались Карлейль, Вальтеръ-Скоттъ, Вудсвортъ, Сутей, Фразеръ и др. Всѣхъ подписей было, пятнадцать. Въ письмѣ говорилось: «Сознавая, что воздать дань уваженія, кому надлежитъ, есть вмѣстѣ и великая обязанность и великое наслаждение, — сознавая также, что нашъ главный и можетъ быть даже единственный нашъ благодѣтель есть тотъ, кто поучаетъ насъ мудрости, мы, нижеподписавшіеся, питая къ поэту Гете тѣ чувства, какія духовный ученикъ питаетъ къ духовному учителю, пожелали засвидѣтельствовать эти чувства и т. д.» Какъ видитъ читатель, ученіе Гете уже приносило плоды и въ отдаленныхъ странахъ уже признавали великое превосходство его произведеній надъ произведеніями всѣхъ другихъ писателей новаго времени, — то превосходство, что въ нихъ выразилось глубокое и широкое міросозерцаніе.

Эта дань уваженія со стороны англичанъ доставила поэту большую радость, такъ какъ вообще онъ былъ весьма расположенъ къ Англіи и къ англичанамъ. Въ то время въ числѣ англичанъ, жившихъ въ Веймарѣ, былъ юноша, котораго имя теперь знаменито всюду, куда только достигаетъ англійская литература. Я говорю о Тэккереѣ. До сихъ поръ еще въ Веймарѣ съ гордостію показываютъ альбомы, которые юный въ то время сатирикъ украшалъ своими карикатурами. Онъ позволялъ мнѣ украсить эту книгу помѣщеніемъ его письма, въ которомъ онъ любезно изложилъ для меня свои Веймарскія воспоминанія.

Лондонъ, 28-го апрѣля 1855 г.

«Любезный Льюисъ! Немногое имѣю я сообщить вамъ о Веймарѣ и Гете. Назадъ тому двадцать пять лѣтъ, проживало въ

Веймаръ десята два молодыхъ англичанъ, чтобъ учиться, поселиться, и пользоваться обществомъ, такъ какъ все это имѣлось въ гостепріимной маленькой столицѣ. Великій Герцогъ и Герцогиня принимали насъ съ самымъ радушнымъ гостепріимствомъ. Дворъ былъ блистателенъ, вмѣстѣ съ тѣмъ пріятенъ и простъ. Насъ приглашали на обѣды, вечера, балы. Изъ насъ, которые имѣли право на какой-нибудь мундиръ, явились въ мундирахъ, а другіе прилуживали для себя разные фантастическіе мундиры, и любезный старшій Гофмаршалъ Шингелъ не дѣлалъ намъ ни малѣйшихъ затрудненій. Въ зимнія ночи мы обыкновенно начинали портшезы и такимъ образомъ отправлялись на придворныя празднества. А имѣть счастье пріобрѣсть шнагу Шиллера и эта шнага составляла всегдашнюю принадлежность моего придворнаго костюма. Она и до сихъ поръ виситъ у меня въ кабинетѣ и напоминаетъ мнѣ чудные, свѣтлые дни молодости.

Мы познакомились со всѣмъ Веймарскимъ обществомъ и, безъ сомнѣнія, научились бы превосходно говорить по-нѣмецки, еслибы молодыя дамы, всѣ до одной, не говорили превосходно по-англійски. Общество было весьма оживленное. У всѣхъ придворныхъ дамъ были положенные дни. Два или три раза въ недѣлю былъ театръ и мы собирались такъ какъ будто въ семейномъ кругу. Гете уже не заѣздивалъ театровъ, но еще живы были великія преданія. Театръ велся превосходно. Веймарская группа была очень хороша. Кромѣ того зимой пріѣзжали на время изъ разныхъ частей Германіи знаменитые актеры и пѣвцы. Въ эту зиму, какъ припоминаю, видѣлъ я Людовика Девріента въ роли Шейлока, Гамлета, Фальстафа, Франца Мора, и прелестную Шредеръ въ *Fidelio*.

«Двадцать три года спустя посѣтилъ я Веймаръ, провелъ тамъ нѣсколько дней и былъ такъ счастливъ, что встрѣтилъ нѣкоторыхъ друзей моей юности, въ томъ числѣ г-жу Гете, которая приняла меня и моихъ дочерей со всѣмъ радушіемъ прежнихъ лѣтъ. Мы пили съ ней чай на открытомъ воздухѣ подлѣ знаменитаго Gartenhaus, гдѣ такъ часто жилъ великій поэтъ. Этотъ Gartenhaus до сихъ поръ принадлежитъ семейству поэта.

«Хотя въ 1831 г. Гете уже совершенно удалился отъ свѣта, но тѣмъ не менѣе весьма радушно принималъ иностранцевъ. За чайнымъ столомъ его новѣстия для нихъ всегда было готово

мѣсто. Многіе часы пресиживали мы за этимъ столомъ, многіе вечера проводили въ разговорахъ, въ занятіяхъ музыкой, въ чтеніи различныхъ романовъ, поэмъ французскихъ, англійскихъ, нѣмецкихъ. Я въ тѣ времена очень любилъ рисовать карикатуры для дѣтей, и теперь, двадцать три года спустя, я былъ глубоко тронутъ, увидавъ, что эти карикатуры еще не совсѣмъ забыты и нѣкоторыя изъ нихъ даже сохранены, и былъ польщенъ, какъ юноша, узнавъ, что самъ великій Гете повременамъ ихъ разсматривалъ.

«Гете по большей части проводилъ время безвыходно въ своихъ комнатахъ, куда имѣли доступъ только немногіе привелигированные, но онъ всегда любилъ, чтобъ ему рассказывали все, что ни происходило у него въ домѣ, и особенно интересовался иностранцами. Когда ему кто нравился, сейчасъ же приглашался живописецъ и рисовалъ для него портретъ. Такихъ портретовъ у него была цѣлая галлерей. Домъ его былъ наполненъ картинами, рисунками, слѣпками, статуями, медалями.

«До сихъ поръ живо помню, въ какое сильное волненіе пришелъ я, девятнадцатилѣтній юноша, когда наконецъ получилъ давно ожидаемое приглашеніе предстать предъ г-на тайнаго совѣтника. Это достопамятное для меня свиданіе съ великимъ поэтомъ происходило въ небольшой комнаткѣ, ведшей въ его апартаменты, изукрашенной античными слѣпками и барельефами. Гете былъ въ длинномъ сюртукѣ темно-сѣраго или скорѣй кофейнаго цвѣта, въ бѣломъ галстукѣ и съ красной ленточкой въ петлицѣ. Онъ держалъ руки заложивъ за спину, точь въ точь, какъ изображаетъ его статуэтка Рауха. Лице у него свѣжее, чистое, розовое, глаза необыкновенно черны <sup>1)</sup>, проницательны и блестящи. Его глаза меня смутили, они напомнили мнѣ того героя въ романѣ *Melmoth the Wanderer*, который наводилъ на меня страхъ въ дѣтствѣ необыкновеннымъ блескомъ своихъ глазъ. Мнѣ показалось, что Гете должно быть въ старости былъ еще красивѣе, чѣмъ въ молодые годы. Голосъ у него былъ звучный и пріятный. Онъ распраши-

---

<sup>1)</sup> Глаза у Гете были не черные, а темно-каріе, и вѣроятно показались Тажеру черными вслѣдствіе падавшего на нихъ свѣта.

валъ меня о многомъ относительно меня самого, и я отвѣчалъ такъ хорошо, какъ могъ. Сколько припомню, меня въ первую минуту нѣсколько удивило его дурное произношеніе по-французски.

«*Vidi tantum*. Кромѣ того я видѣлъ его еще два раза: одинъ разъ, когда онъ гулялъ въ своемъ саду въ Grauenplan, а другой разъ когда собирался сѣсть въ экипажъ,—онъ былъ въ фуражкѣ и въ плащѣ съ краснымъ воротникомъ и ласкалъ свою внучку, прелестное дитя съ золотыми кудрями, теперь также давно уже сошедшее въ могилу.

«Какъ только кто-нибудь изъ насъ получалъ какія-либо книги или журналы изъ Англіи, то мы сейчасъ отсылали ихъ къ Гете и онъ разсматривалъ ихъ съ большимъ любопытствомъ. *Frazer's Magazine* былъ еще въ то время литературной новостью, и я помню, что его весьма интересовали превосходные гравированные портреты, которые одно время помѣщались въ этомъ журналѣ. Г-жа Гете мнѣ рассказывала, что, увидавъ въ этомъ журналѣ довольно отвратительную карикатуру Роджерса, онъ съ досадой отложилъ его въ сторону, и сказалъ: «они и меня могутъ представить такимъ же». Но признаюсь, я не могу себѣ представить личности болѣе свѣтлой, болѣе привлекательной и величественной, чѣмъ личность старика Гете.

«Хотя солнце великаго поэта уже заходило, но заходило оно на небѣ столь ясномъ и свѣтломъ, что продолжало еще ярко озарять маленькій Веймаръ. Во всѣхъ столь гостепріимныхъ веймарскихъ салонахъ только и было рѣчи что объ искусствѣ и литературѣ. Театръ хотя и не имѣлъ особенно замѣчательныхъ актеровъ, но былъ веденъ съ большимъ порядкомъ и знаніемъ дѣла. Актеры читали, изучали, были люди приличные, образованные и стояли на хорошей ногѣ съ дворянствомъ. При дворѣ обращеніе было чрезвычайно радушно, просто и изящно. Великая Герцогиня (теперь вдовствующая) брала у насъ книги, давала намъ свои и привѣтливо бесѣдовала съ нами о нашихъ литературныхъ мнѣніяхъ и занятіяхъ. Уваженіе, какимъ дворъ окружалъ патріарха литературы, дѣлало честь обоимъ, и герцогской семьѣ и ея подданному. Много видѣлъ я въ теченіе двадцати пяти лѣтъ, прошедшихъ со времени тѣхъ счастливыхъ дней, о которыхъ говорю, но нигдѣ не случалось мнѣ встрѣтить общество, болѣе про-



стое, доброе, болѣ изящное и джентльменское, чѣмъ общество прелестнаго маленькаго города, гдѣ жили и похоронены добрый Шиллеръ и великій Гете.

Искренно вамъ преданный

W. M. Thackeray.»

Свидѣтельство Тэкерей не только вполне подтверждается всѣми другими свидѣтельствами, но съ полной справедливостью можетъ быть примѣнено къ Веймару даже и въ наше время. Тамъ и теперь англійскій путешественникъ встрѣчаетъ у царствующей семьи въ высшей степени любезный и радушный приѣмъ; тамъ еще и теперь живы преданія классическаго періода.

Вернемся къ Гете. Послѣдній его секретарь, Крейтеръ, который не могъ иначе говорить о немъ, какъ въ восторженныхъ выраженіяхъ, описываетъ, что и въ глубокой старости онъ былъ немовѣрно дѣятеленъ и при томъ чрезвычайно систематиченъ въ своей дѣятельности. Въ извѣстные часы дня онъ писалъ письма, а въ извѣстные часы занимался приведеніемъ въ порядокъ своихъ бумагъ или продолженіемъ начатыхъ сочиненій. Въ одно прекрасное весеннее утро сказалъ онъ Крейтеру (я слышалъ этотъ рассказъ отъ самого Крейтера): «Будетъ диктовать. Надо пользоваться хорошей погодой. Пойдемте въ паркъ и тамъ поработаемъ». Взявъ нужныя для работы книги и бумаги, Крейтеръ послѣдовалъ за нимъ. Въ длинномъ синемъ сюртукѣ и въ синей шапкѣ, прямо и величественно выступалъ онъ по аллеѣ парка, заложивъ, по обыкновенію, руки назадъ. На дорогѣ повстрѣчался старикъ крестьянинъ. Величественная наружность поэта произвела такое впечатлѣніе на крестьянина, что, опершись на грабли и положивъ подбородокъ на руки, онъ не сводилъ съ поэта глазъ и стоялъ какъ-бы прикованный къ мѣсту, такъ что Крейтеръ долженъ былъ посторониться чтобъ обойти его.

Обыкновенно говорятъ, что Гете не обнаруживалъ никакихъ признаковъ старости, но это есть ни что иное, какъ одно изъ тѣхъ преувеличеній, какія перѣдко возникаютъ вслѣдствіе неточности въ

выраженіяхъ. Правда, умъ Гете и въ преклонной старости сохранялъ необыкновенную ясность и энергію, и никто конечно не станетъ оспаривать, что человекъ, который былъ способенъ на во-семьдесятъ второмъ году жизни писать *Фауста* и трактатъ о спорѣ между Кювье и С.-Илеромъ, имѣетъ полное право занять мѣсто между Несторами «подвизавшимися въ дѣяніяхъ, достойныхъ тѣхъ героевъ, которые боролись съ богами». Но біографъ не можетъ пройти это преувеличеніе молчаніемъ и долженъ засвидѣтельствовать, что престарѣлый поэтъ въ послѣдніе годы жизни очевидно дряхлѣлъ и умственно и физически. Слухъ его замѣтно ухудшался, память о недавнихъ событіяхъ нерѣдко ему измѣняла, но зрѣніе у него сохранилось превосходно и аппетитъ былъ постоянно хорошъ. Въ противоположность привычкамъ прежнихъ лѣтъ онъ полюбилъ подъ старость спертый комнатный воздухъ. Онъ чувствовалъ себя такъ хорошо въ удушливой и нечистой атмосферѣ дурно провѣтриваемой комнаты, что трудно бывало убѣдить его отворить окно, чтобъ сколько-нибудь освѣжить воздухъ. Онъ всегда былъ чувствителенъ къ холоду, подобно сынамъ юга, и подъ старость любилъ въ комнатахъ такое тепло, что постоянно простуживался. Это впрочемъ не мѣшало ему наслаждаться свѣжимъ воздухомъ, когда случалось ему быть за-городомъ. Особенно благотворно дѣйствовалъ на него горный воздухъ Шльменау, возвращалъ ему здоровье и бодрость. Передъ наступленіемъ дня своего рожденія, — послѣдняго, который суждено было ему провести въ этой жизни, — онъ удалился въ Шльменау, чтобъ избѣжать готовившихся въ честь его празднествъ, поднялся на дорогія для него высоты Гикельгана, вошелъ въ хижины, гдѣ нѣкогда съ Карломъ Августомъ провелъ столько счастливыхъ часовъ, и тамъ на стѣнѣ увидѣлъ онъ эти строки:

Ueber allen Gipfeln  
Ist Ruh,  
In allen Wipfeln  
Spürest du  
Kaum einen Hauch;  
Die Vögelein schweigen im Walde.  
Warte nur, balde  
Rühest du auch.

Слезы брызнули у него изъ глазъ, онъ вспомнилъ Карла Августа, вспомнилъ Шарлоту фонъ-Штейнъ, счастливую свою молодость и, глубоко вздохнувъ, повторилъ послѣднія строки: «Да, подожди немного, скоро отдохнешь и ты».

Этотъ отдыхъ былъ ближе, чѣмъ ожидали. 16 марта слѣдующаго года (1832) внукъ его Вольфгангъ, по обыкновенію, вошелъ къ нему въ комнату, когда наступило время завтрака, и къ удивленію нашелъ его лежащимъ въ постелѣ. За день до этого онъ выходилъ изъ теплой комнаты въ садъ и простудился. Медикъ нашелъ, что у него сильное лихорадочное состояніе, нѣчто въ родѣ первой горячки. Къ вечеру ему сдѣлалось лучше и онъ былъ разговорчивъ и веселъ. 17 числа онъ чувствовалъ себя настолько хорошо, что продиктовалъ длинное письмо къ Вильгельму фонъ-Гумбольдту. Его считали совершенно вне опасности. Но съ 19-го на 20-е марта, послѣ слабаго сна, около полуночи онъ почувствовалъ сильную боль и стѣсненіе въ груди, руки и ноги были у него холодны какъ ледъ, но онъ не хотѣлъ никого безпокоить, «такъ какъ чувствовалъ только боль. опасности же никакой не было». Поутру призванъ былъ медикъ и нашелъ, что въ состояніи его здоровья произошла весьма опасная перемѣна. Онъ весь дрожалъ и въ ознобѣ: боль въ груди была такъ сильна, что онъ стоналъ и по временамъ вскрикивалъ, не могъ ни на минуту успокоиться и метался на постелѣ. Лице у него поблѣднѣло, глаза впали, помутились, глядѣли тѣмъ взглядомъ, какимъ глядитъ человѣкъ, чувствующій приближеніе смерти. Спусти нѣкоторое время онъ сталъ покойнѣе, его подняли съ постели и усадили въ стоявшее близъ постели кресло. Къ вечеру онъ совершенно успокоился и былъ разговорчивъ, — видимо обрадовался, когда ему сказали, что его хатайство за одного молодого артиста имѣло полный успѣхъ, — дрожащей рукой подписалъ бумагу о выдачѣ пособія одной молодой артисткѣ.

На слѣдующій день близость смерти стала несомнѣнна. Боль прошла, но силы у него видимо слабѣли и онъ по временамъ впадалъ въ совершенное забытіе. Сидя спокойно въ креслахъ, онъ привѣтливо разговаривалъ съ окружающими, сказалъ своему слугѣ, чтобы принесъ ему книгу Сальванди *Seize Mois, ou la Révolution et les Révolutionnaires*, которую только-что началъ читать, когда

зацепогъ, но, передѣставъ нѣсколько страницъ, отдалъ книгу назадъ, чувствуя себя не въ силахъ читать. Потомъ онъ попросилъ принести ему списокъ лицъ, освѣдомившихся о его здоровьѣ, и, разсматривая списокъ, сказалъ, что если поправится, то не забудетъ выказаннаго къ нему участія. Вечеромъ онъ всѣхъ отпустилъ спать. Даже старому своему слугѣ не позволилъ сидѣть подлѣ своей кровати и настоялъ, чтобъ тотъ также легъ спать.

Путру на другой день — это было 22 марта 1832 г. — онъ попробовалъ пройти по комнатѣ, но едва сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, какъ почувствовалъ большое утомленіе и опустился въ кресла. Сидя въ креслахъ, весело разговаривалъ онъ съ Оттиліей, что скоро наступитъ весна и съ весной возвратится къ нему сила. Онъ не предчувствовалъ, что конецъ его уже такъ близокъ. Оттилія сидѣла подлѣ него и держала его руку въ своихъ рукахъ. Онъ безпрестанно повторялъ ея имя. Вскорѣ замѣтили, что мысли его начинаютъ путаться. «Посмотрите—воскликнулъ онъ,—какая хорошенькая женская головка съ черными кудрями, въ яркихъ цвѣтахъ, на черномъ фонѣ». Увидавъ на полу доску съ бумагами, онъ сказалъ: «какъ можно такъ небрежно обращаться съ письмами Шиллера». Нѣсколько вздремнувъ, онъ попросилъ, чтобъ ему показали опять рисунки, которые только-что разсматривалъ. Оказалось, что рисунки, о которыхъ онъ говоритъ, видѣлъ онъ во снѣ. Смерть быстро наступала. Рѣчь его становилась все болѣе и болѣе невнятна. «*Pobolше сити!*» — таковы были послѣдніе его слова, которые можно было понять. Потомъ онъ объяснялся знаками, писалъ пальцемъ буквы въ воздухъ, пока имѣлъ къ тому силы. Слабость быстро усиливалась. Скоро руки его опустились и онъ продолжалъ писать пальцемъ буквы на шали, покрывавшей его колѣни. Около полудня пріютился онъ въ уголъ кресла и остался недвижимъ. Приложили палецъ къ губамъ, чтобъ удостовѣриться, не заснулъ ли онъ. Оказалось, что онъ дѣйствительно заснулъ, но уже тѣмъ сномъ, отъ котораго не пробуждаются.... Такъ угасла великая жизнь.